

Столетие русской революции 1917 года
и её значение в мировой истории и культуре

The Centenary of the 1917 Russian Revolution(s):
its Significance in World History

Книги по русистике XLV.

Ruszsztikai Könyvek XLV.

СТОЛЕТИЕ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1917 ГОДА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

THE CENTENARY
OF THE 1917 RUSSIAN REVOLUTION(S):
ITS SIGNIFICANCE
IN WORLD HISTORY

*Материалы международной научной конференции
будапештского Центра Русистики
15–16 мая 2017 г.*

*Materials of the International Conference
at the Centre for Russian Studies in Budapest
May 15–16, 2017*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ • EDITORIAL BOARD

Szergej FILIPPOV, Zsuzsanna GYIMESI,
Tamás KRAUSZ (Главный редактор / Chief Editor),
Zsófia MÉSZÁROS (Заместитель главного редактора /
Deputy Chief Editor), Orsolya SZANISZLÓ

**ПОМОЩНИК РЕДКОЛЛЕГИИ •
ASSISTANT TO THE EDITORIAL BOARD**

Anastasia NOVIKOVA

СОДЕРЖАНИЕ • CONTENTS

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА (ТАМАШ КРАУС) /	9
FOREWORD (TAMÁS KRAUSZ)	12

ОСМЫСЛЕНИЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ THOUGHTS ON THE RUSSIAN REVOLUTION	15
--	----

TAMÁS KRAUSZ 1917 – Сто лет, сто заветов	17
---	----

SHEILA FITZPATRICK Was the Russian Revolution a Failure? Reflections on the Centenary	31
--	----

А.И. КОЛГАНОВ Октябрьская революция: неудачный эксперимент или прорыв в будущее?	43
--	----

PAUL LE BLANC Bolshevism as a Revolutionary Collective	53
---	----

LARS T. LIH The Proletariat and its Ally: “Hegemony” Before, During and After 1917	62
--	----

В.П. БУЛДАКОВ Метанарративы и микронарративы Русской революции: к переосмыслению сложившихся представлений	77
--	----

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО ECONOMY, POLITICS AND SOCIETY	91
--	----

ANDRÉ MOMMEN Lenin, Bolshevism, Menshevism: the Revolution of 1917	93
---	----

GYÖRGY BEBESI Русские революции и крайне правые	113
--	-----

Д.О. ЧУРАКОВ	
Роль фабрично-заводских комитетов в революционных событиях Октября 1917 года	120
IVÁN HALÁSZ	
Lenin and the Bolsheviks in the Propaganda and Memoirs of the White Guards	128
VIKTOR SZABÓ	
«Революционный канон»: как переименовали улицы Екатеринбурга после Октябрьской революции	137
XU-LI ZHAO	
«Октябрьская революция» в российской деревне и ее последствия (на примере борьбы большевиков и крестьянских общин)	148
ТЕОРИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ	
THEORY AND INTERPRETATION	
	157
GÁBOR SZÉKELY	
Ленин о «Великой Октябрьской Социалистической Революции»	159
PÉTER CSUNDERLIK	
“The Specific Adjudication of a Given World Condition”: the Theoretical Significance of Lenin’s Practice in the Works of Georg Lukács	167
ZSÓFIA MÉSZÁROS	
Оценка русской революции 1917 года в произведениях Н.А. Бердяева	174
А.В. АНТОШИН	
«Истинный социализм» против Октября 1917? Социалистическая альтернатива в восприятии меньшевиков и их европейских товарищей	184
PHILIPPE KELLERMANN	
“There is No Socialism in Russia”: the Reflection of German Anarchists and Anarcho-syndicalists on the Russian Revolution in 1919	194
SLÁVKA OTČENÁŠOVÁ	
Between Glorification and Oblivion: the Images of the 1917 Russian Revolution in Czechoslovak and Slovak History Textbooks (Published from 1918 until Present)	203

CAMILA OLIVEIRA DO VALLE The Bolsheviks and the Dual Power: Yesterday and Today	212
М.А. БЕЗНИН; Т.М. ДИМОНИ Социально-экономическая динамика России после 1917 года: был ли решен основной вопрос революции?	221
О.С. ПОРШНЕВА Характер общественного развития Советской России / СССР в 1917–1930-х годах: оценки и дискуссии в современной российской историографии	229
Л.П. РЕПИНА Русская революция 1917 года и теоретические модели всемирной истории	239
А.В. БУЗГАЛИН Октябрь: оптимизм трагедии (к дискуссии о природе Октябрьской революции)	249

МЕСТНЫЕ И ГЛОБАЛНЫЕ АСПЕКТЫ

LOCAL AND GLOBAL ASPECTS

Г.Г. ХМУРКИН О масштабах человеческих жертв, вызванных изъятием церковных ценностей в России в 1922–1923 годах	263
SZERGEJ FILIPPOV И. Тиса и П.А. Столыпин	272
GÁBOR GYÓNI Русская революция и Венгрия	281
ÁKOS FÓRIS The Russian Prisoners of War in the Hungarian Soviet Republic	290
BRIGIT FARLEY The Russian Expeditionary Force on the Landscape of Great War Commemoration in France, 1917–2017	298
THOMAS SCHMUTZ A Caucasus without Russia: the Implications of the Russian Revolutions on the German-Ottoman War Partnership	306
OLGA DUBROVINA Special Aspects of the Soviet Foreign Policy in an Italian Context	316

ARON SHNEYER	
Советская власть и феномен коллаборационизма в СССР 1941–1945 годов	325
SUI-AN LI	
Чжан Симань – предвестник распространения идей Российской революции 1917 года в Китае	334
КУЛЬТУРА И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ CULTURE AND THE VALUES OF REVOLUTION	345
OXANA IGNATENKO-DESANLIS	
Images of the Russian Revolution	347
Л.А. БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА	
Красный Октябрь: рождение и становление Нового человека	366
Ю.А. РУСИНА	
«Приподнять завесу истории»: журнал петроградских студентов о русской революции 1917 года	385
ZSUZSANNA GYIMESI	
Начало документальной прозы в России: творчество С.З. Федорченко	394
ANNA DI GIUSTO	
The Russian Amazons and the Bolshevik Revolution	402
ANN KLEIMOLA	
Threading the Rapids of Revolution: the Art of Il'ia Efimovich Repin (1844–1930)	411
Г.В. МАЛЯСОВА	
Новое искусство для нового мира: революция и формирование сети Свободных государственных художественных мастерских	419
ROLAND GÁSPÁR	
Революционная власть и водка в 1917 году	429
М.С. ПЕТРОВА	
Журнал «Символ» как способ установления кросскультурного диалога в христианской традиции советской и постсоветской эпохи	438
АВТОРЫ / AUTHORS	449
RUSZISZTIKAI KÖNYVEK / КНИГИ ПО РУСИСТИКЕ	453

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Около сорока ученых из четырнадцати стран мира приняли наше приглашение принять участие в международной научной конференции, посвященной 100-летней годовщине великой российской революции. Несомненно, на научных конференциях редко собирается столько докладчиков и слушателей, сколько их присутствовало в Большом зале гуманитарного факультета Будапештского университета им. Лоранда Этвеша на конференции, организованной университетским Центром русистики 15-16 мая 2017 г. Даже руководство университета, присутствовавшее на торжественном открытии, было удивлено столь большим интересом к нашей конференции, который показал, как много ученых и студентов может мобилизовать ныне в Восточной Европе такая тема, которая сейчас считается уже «старомодной» или прямо «преодоленной».

Перед участниками конференции стояла чисто научная цель определить, в какой степени дискурсы с преобладанием неототалитаристских теорий, снова вошедшие в мейнстрим, изменили историю русской большевистской революции и оценку идей, научно-теоретической и практической деятельности Ленина, и насколько сохранилось в нашем регионе поле для критического мышления, являющегося отличительной чертой ревизионистских и постревизионистских школ западного мира, в то время как революционная традиция жива во всем мире. Проще говоря, на конференции была сделана попытка рассмотреть, как продвигается *переосмысление* истории революции, начавшееся после смены общественного устройства в 1989–1991 гг., причем не только в Восточной Европе. Надеюсь, читатель не сочтет за нескромность, если я процитирую себя самого. В статье «К переосмыслению 1917 г.», опубликованной в 1992 г. к 75 годовщине революции, я с несколько бóльшим оптимизмом, чем ныне, писал: «С течением времени выяснилось, что утвердились как раз те преконцепции и предрассудки, которые представляют опасность для более взвешенного, свободного научного мышления. Так, например, снова вошла в моду старая гипотеза, согласно которой октябрьская революция в России была вовсе не революцией, а контрреволюцией. Другие утверждают, что в октябре произошел лишь военный или полувоенный *путч*, осуществленный несколькими тыся-

чами человек. Не секрет, что в настоящее время легитимационной целью подобных изношенных представлений является намерение идеологическими средствами вычеркнуть из истории человеческого прогресса позитивные социально-исторические ценности и движения. Эти стремления «методологически» подготавливают ту принципиальную перемену в историческом подходе, необходимость которого преподносится на разных совещаниях по вопросам обучения и учебников как новое пожелание, исходящее от политиков».¹

То есть в то время вопрос был в том, в какой степени вернуться и вернуться ли подходы, характерные для периода холодной войны. Пять лет спустя, в 1997 г., на этот вопрос можно было еще решительнее дать положительный ответ, причем так, как будто речь шла о непосредственных прообразах нынешних дискуссий. Тогда я писал: «*Вместо революции принято говорить о путче*, в ущерб социальной тематике возросла роль проблематики *финансово-банковского заговора*, включавшей в себя и тему флирта немецкого правительства с еврейским банковским капиталом. Демонизация роли Парвуса, который становится чуть ли не ключевой фигурой революции, предоставляет хорошую возможность для легализации антилиберального и антисемитского сюжета. Две революции, как и в сталинские времена, интерпретируются не как тесно связанные, а как взаимно отрицающие друг друга явления. Как будто не было ни Э.Н. Бурджалова, ни его работ. Сторонники либеральной интерпретации февральской революции считают нелегитимной революцией и простым захватом власти октябрьские события, а сторонники национально-патриотической интерпретации октябрьской революции считают таковыми события февральские. В исторической науке стал обсуждаться фактор массовой психологии и возросло значение ментальных моментов, отрицать важность которых, конечно, было бы глупо».²

Для того чтобы работа конференции не обуславливалась преконцепциями и не осложнялась политической неуравновешенностью, мы решили пригласить ученых, представляющих разные политические направления, но сохраняющих верность свободному мышлению. Вместе с тем мы стремились обеспечить молодым, начинающим исследователям, докторантам возможность выступить вместе с историками с мировым именем.

¹ KRAUSZ TAMÁS, “1917 újraértelmezése felé”, *Múltunk*, no. 2-3 (1992), 3.

² KRAUSZ TAMÁS, “Megnyitó. A forradalom története és a rendszerváltás történetírása,” in *1917 és ami utána következett. Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből*, ed. KRAUSZ TAMÁS (Budapest: Magyar Ruzszisztikai Intézet, 1998), 8.

Как показали все конференции в разных уголках мира, в работе которых я участвовал в этом юбилейном году, желая сохранить автономию научных исследований, нужно ставить вопросы вопреки актуально-политическим запросам, так было и на нашей нынешней конференции. Читатель может убедиться в том, что авторы докладов, включенных в настоящий сборник, хотя, конечно, и не могут полностью освободиться от политических симпатий и антипатий нашего времени, но все же решительно стремятся к самостоятельным интерпретациям, независимым от «легитимационных ответов», унаследованных от политики. Конечно, главный вопрос в том, победила или провалилась русская революция с ее социалистическими целями и во многих отношениях не социалистической практикой, иначе говоря, что получило от нее человечество. Этот вопрос постоянно мелькал в мыслях почти всех докладчиков. Можно сказать, что на нашей конференции прежде всего велся поиск места, роли и значения революции как в глобальных, так и локальных масштабах.

* * *

Необходимо особо поблагодарить наших российских коллег, прежде всего Майю Станиславовну Петрову, за помощь в организации конференции, а также высказать благодарность всем ее участникам, как венгерским, так и зарубежным.

Нельзя забывать и о поддержке, оказанной руководителем Центра русистики профессором Дюлой Сваком. Отдельной благодарности заслуживают и давние сотрудники нашей кафедры, прежде всего Жужанна Димеши и Сергей Филиппов, представители молодого поколения, Жофия Месарош и Оршоа Санисло, а также наши докторанты, Роланд Гашпар, Адам Фаркаш и Виктор Сабо. Без них было бы невозможно организовать эту двухдневную конференцию, совместные экскурсии и обмен мнениями.

Хотел бы выразить особую благодарность редакции журнала «Eszmélet», оказавшей поддержку в организации конференции, ректорату Университета им. Лоранда Этвеша, деканату и студенческому самоуправлению гуманитарного факультета университета, Фонду развития русского языка и культуры, Центру российской культуры и Институту всеобщей истории РАН, а также Фонду Лукача, оказавшему помощь в издании настоящего сборника, прежде всего Петеру Агарди.

ТАМАШ КРАУС
Будапешт, 15 февраля 2018 г.

FOREWORD

Around 40 researchers from 14 countries accepted the invitation to our international conference on the 100th anniversary of the Russian Revolution of 1917. We were very pleased to see that so many speakers and such a numerous audience gathered together at this scientific event organized by the Centre for Russian Studies of Eötvös Loránd University at the Council Hall of the Faculty of Humanities on the 15-16th of May 2017. The great interest, which was also a surprise for the leadership of the University, who was present at the conference, clearly shows that a topic, which is regarded as “un-fashionable” in Eastern Europe, is still capable of “mobilizing” so many people from the scholarly world.

The stakes of the conference were purely scientific: our agenda was to document to what extent today’s historiography of the revolution – or at least the mainstream literature, which is dominated by the neo-totalitarian perspective – differs from the pre-1989 concepts in Eastern Europe or the more progressive directions in various countries of the world (I can mention here the revisionist or post-revisionist schools of the West but the revolutionary tradition survived in many other places all over the world), in other words: how far the *reinterpretation* of the history of the revolution has gone since the change of regimes in 1989–1991. We kindly ask the reader not to consider the author of the foreword immodest for citing himself, as the same question was posed in the 1992 publication “*Toward the reinterpretation of 1917*” on the 75th anniversary of the revolution, although with greater optimism than nowadays: “As time progressed, it turned out that those preconceptions and prejudices had been consolidated, which endanger the positions of free scientific thought, as well as differential thinking. For instance, the old-fashioned hypothesis stating that the October revolution in Russia was not a revolution, but the counterrevolution itself, has become fashionable again. Some formulate this thought differently, saying that only a military or paramilitary *putsch* was executed by a few thousands of people. The professed legitimizing purpose of worn-out theories like these is to eradicate the positive social-historical values and movements linked to the tradition of socialism from the history of human progress by ideological means. These

aspirations intend to prepare ‘methodologically’ a fundamental transition in the approach to history, the necessity of which is formulated as new requirements of politics at different educational forums and in textbooks.”¹

In other words, the following was at stake: whether questions posed in the period of the Cold War would reappear, and if so, to what extent. Five years later, in 1997, this question had to be answered with a more affirmative yes, almost as if a prefiguration of today’s debates had been outlined: “It is proper to talk about a *putsch instead of a revolution*, the topic of *financial and banking conspiracy* – which includes the flirtation of the German government with Jewish banking capital – has become more appreciated than socio-historical research. The demonized role of Parvus, as if he were the key figure of the revolution, creates a good opportunity to legalize an antiliberal and anti-Semitic theme of storytelling. The two revolutions – as in the Stalinist era – emerge not as a consequential process, but as pure negations of each other. As if Burdzhalov never lived. The liberal understanding of the February Revolution regards October as illegitimate or a mere takeover, whereas the national-patriotic understanding of the October Revolution perceives February as illegitimate. The role of mass psychology has appeared in historiography, and the context of the history of mentality has become more valued (denying its significance would be idiotic, of course).”²

Since we are committed to academic diversity and historical objectivity as a method, we decided to invite researchers committed to free thinking from different areas of the political spectrum. Furthermore, we ensured to provide a lecturing opportunity to young researchers and doctoral students, just as well as to world-renowned historians.

Questions at the conference had to be formulated against the backdrop of politics – as the experience from the conferences attended by the author around the world during the centenary confirms – to preserve the autonomy of scientific research. Our reader can be ascertained that authors of the papers in this volume (edited versions of the speeches at the conference), although naturally cannot free themselves from the political context of our time, firmly strive to have interpretations which are independent of the “legitimizing responses” of politics. The main question was, of course, whether the Russian Revolution (with all its socialist objectives and, in many re-

¹ KRAUSZ TAMÁS, “1917 újraértelmezése felé”, *Múltunk*, no. 2-3 (1992), 3.

² KRAUSZ TAMÁS, “Megnyitó. A forradalom története és a rendszerváltás történetírása”, in *1917 és ami utána következett. Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből*, ed. KRAUSZ TAMÁS (Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1998), 8.

spects, non-socialist practices) had failed or not; that is, what had remained of it for humanity. This question was more or less apparent in the thoughts of almost all speakers. We can say that first and foremost we sought to establish the place, role and significance of the revolution in a global, as well as in a local context.

* * *

We must express our gratitude to our Russian colleague, Maya Stanislavovna Petrova for the help in organizing our conference, and to all participants, whether from abroad or Hungary.

We shall not forget the support provided by the leader of the Centre for Russian Studies, Gyula Szvák. We would like to show gratitude to long-time members of staff at the Centre, Zsuzsanna Gyimesi and Szergej Filippov, members of the young generation, Orsolya Szaniszló and Zsófia Mészáros, as well as our PhD students, Roland Gáspár, Ádám Farkas and Viktor Szabó. Our two-day conference, as well as excursions and discussions with our guests could not have been realized without them.

We would like to express our gratitude to the editorial board of the journal "*Eszmélet*", the Rector of Eötvös Loránd University, the Dean and the Student Government of the Faculty of Humanities of Eötvös Loránd University, the Foundation for Russian Language and Culture, the Russian Cultural Centre at Budapest and the Institute of World History of the Russian Academy of Sciences for their support in organizing our conference, and we thank the Lukács Foundation, namely Péter Agárdi for supporting the publication of this volume.

TAMÁS KRAUSZ
Budapest, 15 February 2018.

**ОСМЫСЛЕНИЕ РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ**



**THOUGHTS ON
THE RUSSIAN REVOLUTION**

TAMÁS KRAUSZ

1917 – Сто лет, сто заветов*

1.

НА ГРАНИЦЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ

Плохие историки обычно бывают очень умны. Задним числом они выигрывают войны, изменяют течение революций или даже подавляют их, задним числом хотят указать историческим лицам и даже целым классам, как им нужно было действовать в ходе революции, чтобы соответствовать... Чему? Кому? Плохие историки недоумевают или возмущаются, упрекая большевиков за то, что они в некоторых случаях действовали не так, как, например, либералы, а либералов за то, что те иногда не следовали примеру большевиков, будучи уверены, что тогда Россия превратилась бы в земной рай или по крайней мере «догнала бы Западную Европу».

Конечно, не стоит быть наивным. Историю революций нельзя писать бесстрастно, даже самый хладнокровный ученый рано или поздно появится на той или иной стороне баррикады. Это факт, доказываемый огромным числом книг и статей (!).

Первая крупная, быть может, до сих пор наиболее значительная, классическая история революции была написана одним из вождей этой революции, Львом Давидовичем Троцким, с тем революционным пылом, с которым писал только он. По сей день с нее порой

* Работа выполнена в рамках совместного проекта (№ 17–21–07001) «Россия и Венгрия в мировой культуре: источник и его интерпретация в ракурсе исследовательской парадигмы XXI века», поддержанного Фондом за русский язык и культуру в Венгрии (Будапешт) и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ, Москва).

«списывают» даже историки, стоящие на противоположной стороне. Страстными полемическими работами, написанными с позиции анархистов, были «Два Октября» Петра Аршинова, опубликованная в 1927 г., и знаменитая книга Пола Аврича. Страстностью характеризовались и первые чисто теоретические обобщающие работы, появившиеся после революции, например, труды марксиста Дьердя Лукача и религиозного философа Николая Бердяева. Первые, написанные с большой эрудицией работы, рассказывающие об истории русской революции, как правило, вышли из-под пера просоветски настроенных, марксистских или близких к марксизму авторов. Кто не слышал о грандиозной двухтомной книге Уильяма Генри Чемберлена «Русская революция 1917–1921 гг.» или о «коллекции реликвий» ушедшего из жизни в прошлом году Дэвида Кинга? Работы И. Дойчера или Э.Х. Карра, ознаменовавшие смену вех и до сих пор высоко оцениваемые историками, уже были пронизаны скорее пафосом открытия, исторического исследования.

Конечно, революционным (или контрреволюционным) пылом были пронизаны не только история или философия, но и искусство. Нужно быть узким специалистом, замкнувшимся в своей области науки, чтобы не заметить аутентичные «истории революции», пронизанные художественной страстностью и превращающие познание в эстетическое наслаждение. Среди таких произведений можно упомянуть, например, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Конармию» Исаака Бабеля, «Голый год» Бориса Пильняка, «Россию, кровью умытую» Артема Веселого, «Чевенгур» Андрея Платонова, «Белую гвардию» Михаила Булгакова или «Железный поток» Александра Серафимовича, творчество Максима Горького, поэзию Александра Блока, Сергея Есенина или Владимира Маяковского, фильмы Сергея Эйзенштейна или Дзиги Вертова, картины Марка Шагала, Натальи Гончаровой или Кузьмы Петрова-Водкина.

Искренней «классовой страстью» руководствовались и сторонники контрреволюционного подхода, а позже – т.н. концепции тоталитаризма, выдвинутой в годы холодной войны. Вершиной этого направления стала «неототалитаристская» книга, быть может, его наиболее влиятельного представителя, Ричарда Пайпса, опубликованная в 1990 г. Эта книга также пронизана «страстью разоблачения», имевшей непосредственную политическую подоплеку, это помогало, заставляло автора ставить под сомнение буквально все основные тезисы, методы и результаты т.н. ревизионистской и марксистской исторической науки. Несмотря на то, что Советского

Союза нет уже четверть столетия, эта страстность понятна, ведь *история великих революций рассказывает о возможности и невозможности изменить мир*. Особенно бурные страсти вызывает до сих пор русская революция, ведь она объявила войну всему буржуазному миру, «актуализировала» часто цитируемый революционный вывод Маркса: «Бьет час капиталистической частной собственности». Эту настроенность хранит и сделанный в 1920 г. классический плакат В. Дени «Последний час». Правда уже Ленин усомнился в том, что у капиталистического производства вообще есть «последний час», в полемике с Розой Люксембург он подчеркнул, что «последний час» наступит лишь тогда, когда сами широкие массы людей, рабочие ведущих стран, следуя русской революции, сами «объявят» об этом принятием революционных мер.

Следовательно, нельзя считать случайностью, что историков можно найти и в конкретной истории русской революции, причем в первых рядах воюющих сторон. Один из вождей либералов, министр иностранных дел Временного правительства Павел Милоков, был по профессии историком, написанные им история русской культуры и история революции до сих пор не потеряли своего значения. Представитель другого лагеря, революционер-большевик Михаил Покровский, основатель советской исторической науки, также был в начале XX в. выпускником историко-филологического факультета Московского университета. Однако наше поколение повсеместно в Восточной Европе выросло на официозных марксистско-ленинских трудах 1960-х – 1970-х гг., в которых даже в постсталинскую эпоху было множество белых пятен: в них отсутствовали имена многих руководителей революции, а если эти имена и упоминались, то в сопровождении бранных характеристик. Первые «бунтари» в 1970-х годах вступили в борьбу как раз за уничтожение этих «белых пятен», опираясь при этом на первичные источники, а также на работы уже упомянутых западных историков, прежде всего Александра Рабиновича.¹ Если и не в Москве, то, например, в Будапеште эти работы были доступны ученым, имевшим официальный статус. В то же время нельзя не вспомнить советских ученых, которые в Москве познакомили молодых венгерских и других восточноевропейских исследователей с особенностями устной истории и самиздата. По личному опыту я хотел бы упомянуть уже покойных Владимира Турок-Попова и Виктора Иосифовича Миллера, приближающегося к 90-летнему юбилею Генриха Зиновьевича Иоффе или уже перешедшего 90-летний рубеж Роя Александровича Медведева, которых я и сего-

дня вспоминаю с глубокой благодарностью. Что же касается первых попыток работать в московских архивах, то о них и о связанных с ними фантастических ситуациях интересно рассказано в недавно вышедших в свет, наполненных жизнью мемуарах Шейлы Фитцпатрик.² Несмотря на то, что по-прежнему существуют связанные с историей революции личные фонды, недоступные для изучения, в целом доступ к источникам уже открыт, однако по каким-то причинам за последнее время, как в России, так и в Восточной Европе, было опубликовано меньше работ по истории революции.

Конечно, за последние десятилетия параллельно с возможностью свободнее работать в архивах на страницах книг по истории снова появились имена Троцкого и Бухарина, Зиновьева и Каменева, а то и Махно, но это не приносило и не приносит большого удовлетворения. История русской революции, как и многое другое, стала частью легитимационной идеологии нового господствующего порядка и повсеместно – от Москвы до Киева, от Вильнюса до Варшавы и Будапешта – попала в плен старых предрассудков. При посредничестве «неототалитаристской школы» со свалки истории были принесены казавшиеся безвозвратно устаревшими заблуждения, более того, лживые утверждения и забытые сплетни, получившие статус объяснительных «теорий». Создается впечатление, будто бы уже не существует достижений т.н. ревизионистской школы, казавшейся победительницей в нашем регионе в 1980-х гг. В этом выразились идеологические посылки, характерные для интеллектуального климата в странах Восточной Европы, сложившегося после смены общественного строя, в котором, несколько упрощая, можно выделить, с одной стороны, либеральную русофобию, а с другой стороны – имперский государственный национализм или этнонационализм. Явная цель подобной переоценки истории русской революции состоит в том, чтобы очернить ее участников, ее цели, ценности, надежды и реальные результаты, поставить под сомнение сам факт октябрьской революции.

На сотом году после русской революции, быть может, наибольшей популярностью пользуется интерпретация октябрьских событий как путча. Эта интерпретация распространилась в Восточной Европе по многим каналам от мейнстрима пропаганды до книг по истории. Ныне 90-летний историк революции А. Рабинович, который провел свое детство в США среди русских эмигрантов, принадлежавших к самым разным политическим направлениям, слышал дома рассказы именитых гостей об октябрьских событиях. За длин-

ными обедами и ужинами Керенский и Набоков или меньшевистские руководители, Церетели и Николаевский, убеждали себя и своих слушателей в том, что октябрьское восстание было всего лишь военным путчем, организованным бандой заговорщиков во главе с Лениным на деньги германских разведслужб или, по другой версии, «инородцев», еврейских банкиров. (Между тем ученым давно известно, что в 1917 г. великороссы составляли немногим более половины 145-миллионного населения империи и в то же время приблизительно две трети партии большевиков. Согласно любым статистическим данным, «инородцы», евреи, составляли менее 2% населения и 9% членов партии). Исследовательская деятельность маститого историка может отчасти рассматриваться как ответ на этот «тезис».³

Вряд ли можно было предположить, спустя семь десятилетий «криминализация» истории революции и абсолютизация нарратива насилия и террора превратятся в, можно сказать, официальную доктрину в целом регионе Европы и прежде всего в той стране, где произошла эта революция. Председатель Российского исторического общества академик Чубарьян прямо вывел насилие из революции, а отнюдь не наоборот.⁴

2.

ИСТОКИ РЕВОЛЮЦИИ

В наши дни иногда даже и историки задают наивный вопрос: почему же революционеры не слушались «умеренных» либералов, которым будущее России виделось в движении по западноевропейскому пути развития под эгидой буржуазной или подобной ей республики или буржуазной монархии? С другой стороны, возникает и такой вопрос: как случилось, что почти все эти «умеренные» либералы позже оказались в лагере белогвардейской офицерской диктатуры?

«Своеобразие русской истории»

Системный кризис, который взорвал в 1917 г. монархию и традиционное русское общество, разразился не случайно. Либералы и марксисты, Плеханов и Милуков, Ключевский и Покровский, Ленин и Струве, Троцкий и Рязанов много лет вели полемику о связи между кризисом самодержавия и *«своеобразием исторического развития России»*. Это «своеобразие» вырвалось на поверхность в 1905

году. Немногочисленный, но сконцентрированный в нескольких крупных городах пролетариат с его советами и десятки миллионов безземельных крестьян, захватывавшие землю, показали в 1905 г. всему миру, что судьба царского самодержавия теперь зависит в первую очередь от них. Одни поняли, другие не поняли уроки истории 1905 г. Однако русское общественное мнение, начиная с посланных революционеров и кончая группировкой сборника «Вехи», осознало, что ни кровавый террор, ни царская «конституция», ни осуществленные «наполовину» столыпинские аграрные реформы не только не смягчили, но, напротив, обострили внутренние противоречия самодержавного режима, социальную напряженность в стране. Русские социал-демократы уже в начале XX в. писали о «скоплении» различных, принципиально и структурно конфликтовавших друг с другом современных и досовременных социальных форм при утверждении господства капиталистических отношений как о фундаментальной особенности исторического развития России.⁵ В России сложилась такая «многоукладная», «полупериферийная» форма развития, которая являлась переходной между капитализмом евроамериканского ядра и «досовременным» колониальным регионом. Таким образом, в иерархической мировой экономике Россия зависела от этого ядра, от иностранного капитала и в то же время и сама была своеобразной колониальной державой в соответствии с понятием «внутренней колонизации» (Ленин). Докапиталистические формы постепенно превратились в функцию формы капиталистической, что к большой радости отечественного и иностранного капитала сделало процесс воспроизводства, накопления капиталов на «полупериферии» повышено ориентированным на получение прибыли. Самодержавию удавалось сдерживать волнения в значительной степени неграмотной, дешевой, но недовольной условиями жизни «рабочей силы» лишь путем применения жестоких форм насилия. В Западной Европе в то время уже существовали гораздо более утонченные средства насилия. Эта социальная масса, современный промышленный пролетариат, составляла перед Первой мировой войной уже около 10 миллионов человек.⁶

При царском самодержавии *eo ipso* не сложилось третье сословие, экономически и политически самостоятельной демократической буржуазии не было даже в XX веке. Значительная часть русской революционной социал-демократии, особенно большевики, сделала из этого вывод, что без демократической буржуазии западная либеральная буржуазная демократия невозможна. Поэтому социалисти-

ческое рабочее движение пришло к необходимости «интегрировать» «досовременные» движения безземельного крестьянства (рабоче-крестьянский союз), что было опробовано в ходе «генеральной репетиции», пролетарской революции 1905 г., а затем осуществлено во время революции 1917 г. и гражданской войны. Большинство меньшевиков выступало не за союз с «консервативным крестьянством», а за сотрудничество с либеральной буржуазией, а позже – с Учредительным собранием. Это противоречие очень рано проявилось в политическом противостоянии Плеханова и Ленина.

Развитие глобализации, которую в российском и международном рабочем движении называли в то время *империализмом* и *колониализмом*, означало не только экономическую и политическую экспансию капитала и великих держав. Новые формы развития капитала, войны привели к эрозии империй, возникли национальные движения, обрисовались контуры новых национальных государств с присущими им новыми противоречиями. Царь, властные институты, Охрана и правительство не только не знали решения этих проблем, но и не понимали всей тяжести и сути большинства из них. После поражения первой русской революции «модернизация самодержавия» двинулась по «прусскому пути» развития капитализма. Эти обстоятельства снова заставили многих задуматься о перспективах буржуазной эволюции, заманив в трясину иллюзий даже часть социал-демократов.

Революционное наследие

Несмотря на правительственный гнет, накопленное в XIX в. *революционное наследие* продолжало увеличиваться как в интеллектуальном, так и социальном отношении.⁷ В соответствии с особенностями социального развития России российское рабочее движение и Российская социал-демократическая рабочая партия формировались на интеллигентской основе. Как много лет назад отметил Эрик Хобсбаум, чем дальше мы движемся с запада на восток Европы, тем большую роль играет интеллигенция в рабочем движении. Несмотря на это или именно поэтому русская революционная традиция XIX века стала органической, направляющей деятельностью частью революционной практики. В документах II съезда РСДРП (1903) отражается характерная черта русской революционной традиции, неспособность к бюрократическим компромиссам и устремленность к конечным целям, пролетарской революции, диктатуре пролетариата и социализму (коммунизму), к ликвидации социально-экономичес-

кого неравенства. Историки давно выяснили, что российская социал-демократия и рабочее движение ведут свою «родословную» прежде всего от русского якобинства (ткачевизма), бакунизма (анархизма), народничества, «Народной воли» и т.н. революционных демократов, Герцена, Добролюбова и Чернышевского. Составные части этого «наследия» в разных пропорциях были представлены в различных революционных интеллектуально-политических течениях. Марксизм пустил прочные корни уже в начале века только среди социал-демократов во главе с «патриархом» движения Плехановым.

Отечественное революционное наследие было оплодотворено французским Просвещением и французским социализмом, а также немецкой социал-демократией на базе интегрирующего влияния Маркса и марксизма. Уже в знаменитом письме к Вере Засулич Маркс писал, что в России возможна социалистическая революция. Ленин очень рано, еще до революции 1905 г., понял, что эпицентр революционного движения переместился в Россию. На основании работ Маркса Ленин представлял себе русскую революцию в качестве исходной точки революции европейской. Уже в письме к Засулич говорится, что, если русская революция не останется в одиночестве, и рабочее движение Запада не примирится с капиталистическим строем, то победа революции и социализма в России с ее крестьянской общинной традицией будет обеспечена. В противном случае русская революция как революция *коммунистическая* будет обречена на провал.

В предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 1882 г. Маркс и Энгельс связывали воедино вопросы о местной и всемирной революции. Они рассматривали русскую общину и возможность русской революции в свете различия в развитии России и стран ядра: «Спрашивается теперь: может ли русская община – эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей – непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада? Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополняют друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».⁸

Своеобразие революции

Собственно говоря, с этого пункта Ленин и продолжил ход мысли Маркса. Русская революция произошла не по представлениям Маркса и Энгельса. Плеханов и Ленин уже в самом начале XX в. считали, что капитализм безвозвратно «подорвал» общину, и ее разложение – необратимый процесс. С другой стороны, Запад не показал пример русскому революционному движению и не возглавил процесс смены цивилизации.

Ленинская революционная альтернатива, нацеленная на «смену цивилизации», получила свою окончательную теоретическую форму во время мировой войны. Ленин сформулировал закон *неравномерности развития* капитализма в эпоху империализма. Он писал, что в рамках этого закона Россия является «слабым звеном империализма», где будет легче всего пробить стену капитализма. Он считал, что все слои, наиболее пострадавшие от международной капиталистической конкуренции и составляющие базу «пролетарского сопротивления», прежде всего рабочие стран ядра, не входящие в «рабочую аристократию», и пролетариат «полупериферии», могут вступить в союз с выступающими против колониализма «демократическими национально-освободительными движениями». И хотя Ленин преувеличивал антикапиталистический потенциал антиколониальных движений, он понимал, что антиколониальные и национальные движения могут быть очень разными с исторической и классовой точки зрения. Критерием его оценки была направленность этих движений к «Средневековью» или «Новому времени». Порвав с господствовавшим тогда и у левых Запада *«евроцентризмом»*, Ленин искал возможности глобального сопротивления. Однако революционный кризис и глобальное распространение революционной борьбы, в конечном итоге были ускорены мировой войной, напоминающей нам о русско-японской войне, «ответственной» за начало первой русской революции.

Позиции революционных течений в противовес позициям сил, надеявшихся на реформирование царизма, укреплялись благодаря тому, что возможности реформирования самодержавия иссякли, а главное – благодаря мировой империалистической войне с ее апокалиптическими последствиями. Таким образом, Первая мировая война была непосредственной «предысторией», можно сказать, «колыбелью» революции. В 1916 г. разразился не простой продовольственный кризис, недееспособной стала вся система производства, что выразилось и в военных поражениях. Сразу после революции в результате

наступившего кризиса был закрыт целый ряд производственных предприятий. Как пишет известный специалист по этой тематике, даже частный капитал не слишком доверял новому Временному правительству, хотя оно было «своим» с классово-экономической точки зрения. Это фатальное недоверие нашло однозначное выражение в массовом закрытии частных предприятий. К октябрю промышленное производство сократилось на 40% по сравнению с предыдущим, 1916 годом.⁹ Таким образом, хаос, насилие, вспыхнувшие эпидемии и голод были следствиями не революции, а мировой войны и краха царского режима. На некоторых предприятиях заработная плата рабочих сократилась наполовину по сравнению с предвоенным временем. Октябрьская революция, как и всякая революция, поначалу не могла похвастаться успехами в организации производства. Несмотря на все усилия, «советская смена общественного строя» не улучшила положения на производстве, в области борьбы с голодом и безработицей. Типичными явлениями повседневной жизни стали грабеж, опустошение продовольственных складов, и массовое бегство от голода в деревни. Подавляющее большинство русского рабочего класса и крестьянства, пусть с недовольством и волнениями, но все же пошли на жертвы, за которыми стоял союз «консервативного» крестьянского и современного пролетарского антикапитализма.

3.

РЕВОЛЮЦИЯ НА ВЕСАХ ИСТОРИИ – КОНЕЧНЫЕ ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Государственный социализм vs самоуправленческий социализм

С весны 1917 г. постепенно установился рабочий контроль на заводах крупных городов. На капиталистических предприятиях рабочий контроль резко ограничивал выработку прибыли, поскольку рабочие внесли в производственный процесс социальные соображения. К тому же во многих местах капиталисты не желали платить даже условленную заработную плату, как показывали получившие известность харьковские и екатеринбургские события.¹⁰ Эта ситуация привела к удержанию предпринимателями денежных средств, а позже к национализации предприятий, не обязательно означавшей огосударствление. Во многих местах еще существовали новые организационные формы рабочего контроля, рабочий совет или фабрич-

но-заводской комитет непосредственно пользовались правами собственника, хотя с все более узким кругом полномочий.

Дольше всего общественное, коллективное самоуправление сохранилось там, куда позже протянулась длинная рука политики, государственной власти, прежде всего в сельскохозяйственном производстве. Производственные и потребительские кооперативы и сообщества, существование которых поддерживалось их членами и которые Ленин называл «островками социализма», по существу не пережили сталинского перелома в конце 20-х гг.

Подводя итоги, можно сказать, что вскоре после победы октябрьской революции, в противоположность целям, изложенным Лениным в «Государстве и революции», отмирать начало не государство, а советское самоуправление. Гражданская война и голод, кадровый голод в аппаратах власти и эпидемии практически уничтожили главную движущую силу предполагаемого «перехода» к социализму, российский рабочий класс, «пролетарско-социалистическую составную часть» революции. В действительности советское государство поддерживало самоуправление лишь до тех пор, пока оно не мешало военным усилиям, объединению экономических ресурсов.

Данные исторические условия и «одиначество» революции поставили советский режим и советское государство, а также большевистскую партию в такое положение, которое не мог предугадать ни один революционер. В течение семи десятилетий в различных формах и с различными особенностями шло строительство «социализма в одной стране», ставшее опытом создания «новой, социалистической цивилизации». Понятийное описание строя, разрушенного в 1989–1991 гг., вызывает споры.¹¹ Ленин уже в «Государстве и революции» вел полемику против смешения понятий «капитализм» и «государственный социализм». Слово «капитализм», писал Ленин, «приходится подчеркнуть, ибо самой распространенной ошибкой является буржуазно-реформистское утверждение, будто монополистический или государственно-монополистический капитализм уже не есть капитализм, уже может быть назван “государственным социализмом” и тому подобное».¹² И как далеки еще были тогда большевики от сталинского осуществления «государственного социализма», который в то время не представлялся им даже в страшных снах!

Позже, после завершения гражданской войны, Ленин многократно касался этого вопроса, представлявшего интерес, как с точки

зрения практики, так и с точки зрения теории формаций, и писал, что в России необходимо «несколько переходных периодов», пока на основе многоукладной смешанной экономики не обозначатся контуры нового «социального формирования», низшей ступени коммунизма, социализма, которого «нельзя ввести», «ибо мы безграмотны».¹³

Что осталось от революции?

К концу 1920-х гг. все более широкие слои общества стали понимать, что октябрьская социалистическая революция «замерзла».¹⁴ Доказательством этого могут служить и многие литературные произведения, достаточно сослаться на «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Советская революция «одомашнилась», «озверела», «исказилась» или просто «трансформировалась» в «модернизационную революцию» или «бюрократическую контрреволюцию». За различными формулировками, определениями скрываются или могут скрываться различные убеждения, теории и концепции. Быть может, Николай Устрялов, бывший руководитель колчаковской пропаганды, был первый, кто восславил Ленина как героя «модернизационной революции», поместил его в «Пантеон национальной истории», поскольку Ленин перебросил Россию из Средневековья в Новое время. Для Устрялова Ленин одновременно воплощает в себе Петра Великого и Наполеона, Мирабо и Дантона, Пугачева и Робеспьера.¹⁵ Несмотря на признание роли Ленина и все похвалы, Устрялов замалчивает именно то исторически действительно совершенно оригинальное наследие, которое Ленин и октябрьская революция оставили потомкам, – социалистический аспект революции. Устрялов как бы предвещал типичного историка или идеолога наших дней, который в лучшем случае отсылают все цели Октября в область утопий, а в худшем случае вешают на революцию даже и ответственность за нацизм. Важнейшим и наиболее прочным доказательством сохранения в истории социалистического аспекта является советская гуманистическая культура, никогда не разрывавшая связи с революцией. Этот аспект был особенно важен для международного левого движения, которое с этих позиций формулировало свою критику искажившейся структуры развития СССР, ГУЛАГа и бюрократического беспредела.

Прежде всего, русская революция вырвала из царства утопий чаяния низших социальных слоев во многих странах мира. К числу этих чаяний принадлежали ликвидация безграмотности, безработи-

цы и экстремального социального неравенства, введение бесплатного образования и здравоохранения, освобождение женщин от средневекового угнетения и т.д. В одно историческое мгновение возникла конкретная возможность убедить миллионы людей в том, что они способны создать более гуманную цивилизацию, в которой были бы возможны осуществление общества без угнетения, социальная самоорганизация и освобождение наемного труда.

Гуманистические ценности революции, *социальная свобода и равенство и кооперативно-коллективное хозяйствование*, и поныне овладевают фантазией и душами людей в любой точке планеты. Октябрьская революция как исторический опыт, как *методология* коллективистского преобразования мира пережила крах (государственного) социализма как практического эксперимента. Ее всемирное влияние дало сильные импульсы национально-освободительным движениям и всей антиколониальной борьбе в целом, окончательный исход которой был предопределен победой в Великой Отечественной войне. Все это не должно отвлекать нашего внимания от основной дилеммы, возникшей *после революции*. Вслед за Ключевским Ленин писал, что Петр Великий боролся с варварством варварскими средствами. Я думаю, что унаследованный потомками вопрос ныне нужно ставить так: можно ли бороться с варварством не варварскими средствами? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но я убежден в том, что в структурном смысле объективные предпосылки новой революции в различных формах и с различной степенью зрелости постоянно присутствуют во многих регионах мировой системы. И это не безусловно оптимистическое заключение. Когда мы плывем между Скиллой (утопией) и Харибдой (т.н. реальной политикой), то, как известно, несомненно лишь одно: плавать необходимо.

Примечания

¹ Надеюсь, меня не обвинят в самовосхвалении, если среди попыток уничтожения «белых пятен» я упомяну и свою небольшую книгу «A vártól a komisszárokig. Az 1917-es oroszországi forradalmak történetéből» (Budapest: Kossuth Kiadó, 1987), в которой в списке использованной литературы «мирно соседствовали» работы Э. Бурджалова и А. Рабиновича, венгра И. Долманёша, а также Т.Х. Ригби, Г. Йоффе и Н. Думовой, Б. Николаевского и П. Аврича.

² SHEILA FITZPATRICK, *A Spy in the Archives. A Memoir of Cold War Russia*. (London – N.Y.: I.B. Tauris, 2014.)

³ MICHAEL S. MELANCON; DONALD J. RALEIGH, “Alexander Rabinowitch Rewrites the Russian Revolution”, 2. — https://slavica.indiana.edu/sites/default/files/bookContent/pdf/Rabinowitch_Introduction.pdf (февраль, 2018).

⁴ См.: АНТОН РАЗМАХНИН, «Александр Чубарьян об уроках революции 1917 года», *Новости сибирской науки*, 25.01.2017. — <http://www.sib-science.info/ru/ras/god-ne-dolzhen-24012017> (февраль, 2018).

⁵ Венгерская историческая наука находилась в несколько ином положении по сравнению с наукой в большинстве союзных соседних стран. В Венгрии уже в самом начале 80-х гг. было возможным изучение проблематики своеобразия исторического развития в свете первоисточников. См.: KRAUSZ TAMÁS, SZVÁK GYULA (eds.), *Az orosz történelem egyetemessége és különössége* (Budapest: ELTE Állam- és Jogiudományi Kar, 1982).

⁶ М.И. ВОЕЙКОВ, «Материальные и социально-экономические предпосылки Русской революции», *Октябрь 1917: вызовы для XXI века*, ред. А.А. СОРОКИН (Москва: URSS, 2008), 62-90.

⁷ Во время холодной войны эта тематика привлекла и внимание историков в США. Одной из первых книг по этой теме была работа: LEOPOLD HAIMSON, *The Russian Marxists. The origins of Bolshevism* (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1955). Первая серьезная работа в эмиграции принадлежала Федору Дану. См.: ФЕДОР ДЭН, *Происхождение большевизма* (New York, 1946.)

⁸ КАРЛ МАРКС, ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС, *Сочинения*. Изд. 2-е. Т. 19 (Москва, 1961), 305.

⁹ Д.О. ЧУРАКОВ, «Революция и социально-экономическое положение рабочих (конец 1917–1918 гг.)», *Октябрь 1917: вызовы для XXI века*, ред. А.А. СОРОКИН (Москва: URSS, 2008), 213-214.

¹⁰ О екатеринбургских и харьковских событиях см.: В.И. ЛЕНИН, *Полн. собр. соч.* Т. 50 (Москва: Издательство политической литературы, 1970), 405-406, 407-408.

¹¹ Об этом см.: KRAUSZ TAMÁS, SZIGETI PÉTER (eds.), *Államszocializmus – Értelmezések-viták-tanulságok* (Budapest: L’Harmattan, 2007).

¹² В.И. ЛЕНИН, *Полн. собр. соч.* Т. 33 (Москва: Издательство политической литературы, 1969), 68.

¹³ В.И. ЛЕНИН, *Полн. собр. соч.* Т. 45 (Москва: Издательство политической литературы, 1970), 377.

¹⁴ Троцкий описал это понятие «сталинский термидор», который в конечном итоге породил новую социальную форму, *государственный социализм*.

¹⁵ Н. УСТРЯЛОВ, *Национал-большевизм* (Москва: Алгоритм, 2003), 372-376.

SHEILA FITZPATRICK

Was the Russian Revolution a Failure? Reflections on the Centenary

Introduction

For the British Marxist historian Eric Hobsbawm, the Russian Revolution was *the* event that shaped the twentieth century, and the dichotomy between capitalism and socialism its dominant paradigm. “The October revolution had far more profound and global repercussions than its ancestor [the French Revolution]. For, if the ideas of the French revolution have, as is now evident, outlasted Bolshevism, the practical consequences of 1917 were far greater and more lasting than those of 1789... A mere thirty to forty years after Lenin’s arrival at the Finland Station in Petrograd, one third of humanity [from the Elbe to the Adriatic, China, Korea, Vietnam, Laos, Cambodia, Cuba, and parts of Africa as well as the Soviet Union] found itself living under regimes directly derived from the [Soviet one]”.¹

Yet for Hobsbawm, writing in the mid-1990s, this was already a picture of the past. The “short twentieth century” had ended, and chaos and confusion lay ahead. In an ironic twist, it now appeared “that the most lasting results of the October revolution, whose object was the global overthrow of capitalism, was to save its antagonist” by providing it with “the incentive, fear, to reform itself after the Second World War”.²

In his 2000 biography of Lenin, Robert Service had already ventured the prediction that “perhaps in a few years hence [Lenin] will be seen to have thrust his country and, under Stalin’s leadership, a third of the world down a cul-de-sac”.³ In 1996, Orlando Figes entitled his popular and influential history of the revolution *A People’s Tragedy*.⁴ In a centenary volume focussing on the question of historical inevitability, Tony Brenton reiterated the “tragic” characterization,⁵ and turned the volume on the “cul de sac” image up a notch, suggesting that while the 1917

revolution might be seen as “profoundly important in the events it gave rise to”, it increasingly looked like “one of history’s great dead ends, like the Inca Empire”.⁶

What we have learnt from this revolution, Brenton concluded, is what does not work. It is hard to see Marxism making any sort of comeback. As a theory of history, the revolution tested it, and it failed. The dictatorship of the proletariat did not lead to the communist Utopia, but to more dictatorship. It also failed as a prescription for economic governance. No serious economist today is advocating total state ownership as the route to prosperity...not the least of the lessons of the Russian Revolution is that for most economic purposes the market works much better than the state. The rush away from socialism since 1991 has been Gadarene.

Even more historians more sympathetic to the revolution than Brenton were talking in terms of failure as the centenary approached. The British social historian S.A. Smith wrote in a 2015 symposium that “Historians today are more likely to see the revolution as the initiation of a cycle of violence that led inexorably to the horrors of Stalinism and Nazism rather than as a flawed attempt to create a better world. They are more likely to see the mass mobilization as motivated by irrationalism and aggression than by outrage at injustice or a yearning to be free. Such a view derives... from the correct sense that the Russian Revolution was a failure and from a sense that 20th-century revolutions in general tended to produce regimes worse than the ones they overthrew”.⁷ To be sure, Smith was uneasy about this – “We see the violence and bloodshed easily enough, but it is harder for us to descry the idealism, hope, and self-sacrifice that were also the revolution’s key constituents...”⁸ and thought that in “in key respects, our ability to understand – certainly to empathize with – the aspirations of 1917” had been diminished.⁹ In the same symposium, the American social historian Don Raleigh, evidently trying to make a case a partly positive view of the Russian Revolution, could only suggest that “the ideals of failed revolutions, if we may call the Russian Revolution that, remain vital even today”.¹⁰

Nature of revolutionary success / failure

Before we embrace the idea of failure too wholeheartedly, however, it is necessary to pause to consider what exactly we mean by it.

Does failure mean non-achievement of revolutionary goals? If so – since all revolutions have a range of (often incompatible) goals, and consequently a range of outcomes – how do we judge exactly what the revo-

lution's "real" goals are? What percentage of non-achieved goals would equal failure? E.g. in concrete terms with regard to the Russian Revolution, would failure to reach the egalitarian goal trump success in implementing the industrialization one?

Or does failure mean a revolutionary outcome that, while it may or may not deliver on what the revolutionaries stated to be their goals, is morally unacceptable regardless? Here the obvious concrete example is large-scale repression ("terror"), acceptable to the Bolsheviks as a revolutionary method, though presumably not as a revolutionary outcome, but unacceptable in its Stalinist dimensions to almost all contemporary commentators.

It will already be obvious that any posing of the question of failure involves a huge amount of subjective judgement and is very often politically loaded. Disappointed early supporters of the revolution may call it a failure, implying that there could have been a success if things had not been mismanaged (e.g. Trotsky, *Revolution Betrayed*, contra Stalin). But that means something different from the similar claims of those who in principle disapprove of revolution (or this revolution), and are generally quick to point out "failure" as confirmation of their opinion, regardless of the fact that in their terms there could have been no revolutionary success.

This brings us to the question of what revolutionary success would look like. Would it mean a legacy of ideas that continue to be discussed down the centuries? (On that Hobsbawm gave preference to the French Revolution.) Is it a matter of the scope and significance of political / social / economic / cultural change effected, and if so, in what timespan? Is a revolution successful if it gives birth to a nation, like the American Revolution? In that case, was the Russian Revolution a success until 1991, at which point it became a failure?

Trotsky and others have written of "permanent revolution", but this is an oxymoron. Revolution is by definition a transient state, although a revolutionary must believe otherwise, at least for a while. Revolutions are "moments of madness", in Aristide Zolberg's phrase. Crane Brinton saw revolution as a pathological state – a bout of illness which rises to a climax, at which point the patient either dies or recovers.¹¹ Unless the state is to collapse into anarchy, someone at some point has to restore order and, in effect, end the revolution. Or, to put it another way, if the revolutionaries succeed in establishing a new order, they must at some point stop being revolutionaries (interested primarily in upheaval and destruction) and become rulers (interested in making things work in order to re-

alise revolutionary goals, in the sympathetic interpretation, or just in keeping power, in the critical one).

The problems of ending the revolution were first noted with regard to the French Revolution by the French / Polish historian Bronislaw Baczko.¹² There will never be agreement among revolutionaries about the moment when the necessary work of destruction has been accomplished and they can move on to the task of rebuilding according to their desired model. Hence the process of transition is always highly fraught. If we consider the Russian case, the “retreat” of the New Economic Policy at the beginning of the 1920s could be seen as an initial effort to end the revolution (depending how one interprets the justification Lenin offered) that failed because party activists, eager for more violent action against enemies, were not ready to end the revolution and / or because of the new “revolution from above” launched by Stalin at the end of the 1920s. A second and more successful effort, the émigré sociologist Timasheff suggested, was made in the mid-1930s with the new social and cultural policies that he labelled “the Great Retreat”.¹³

This brings us to the *historians’* problem about ending the revolution. How simple it would be if revolution was like a university term, whose beginning and end are clearly established in the statutes. But unfortunately, revolutions are not things-in-the-world but mental constructs: within some constraints, historians can define their beginnings and ends as they please, i.e. in the way that suits their (partly à priori) understanding of what a revolution is. So we have historians ending their studies of revolution at quite different times: with the October seizure of power, the Red victory in the Civil War, the death of Lenin, the end of NEP (perplexing as a climax, until you see that the point is to separate “the revolution” from “Stalinism”), and the conclusion of the First Five-Year Plan. In my *Russian Revolution* (1st edition, 1982), after some initial hesitation, I treated the Great Purges as the last act of the revolution.¹⁴ But if I were to write the book again, I might take the Second World War as the “end of the revolution”, for the simple reason that the country and the party went into the war with October as the foundational event and came out of it with a new foundational event, victory in the Great Patriotic War, and the revolution silently reassigned to history. Of course, all these judgments are subjective too, depending on what you think is the “right” story to tell. When the Soviet Union collapsed, a lot of people started to reconfigure the revolution as a 74-year-old nation-building experiment that ended (of course) in failure.¹⁵

Interpretations of the significance of the Russian Revolution

Historiographically, success or failure has often been related to a particular (stated or implied) revolutionary goal deemed by particular writers to be the crucial one. These include international overthrow of capitalism and, domestically, freedom; equality; end of exploitation; proletarian rule (at least in the transitional period); and general improvement in the condition of the people. On all of these, the verdict is likely to be negative, though with various nuances depending on the timeline involved.

In Marxist terms, *replacement of capitalism with socialism* was what the proletarian revolution was meant to achieve, via the transitional process of proletarian (party) dictatorship. Stalin defined his rapid industrialization programme of the 1930s as “the building of socialism”. This involved a contraction of the understanding of “socialism” to a particular set of economic-institutional arrangements (nationalization of large industry, centrally planned economy etc.) designed to further socialist-modernization goals (collectivization, industrialization, as well as popular education, literacy, public health etc, devised and implemented from above by the state. Success in these aims, quantitatively measured, was a basic Soviet claim that made sense to many, especially after the unexpected Soviet victory in the Second World War. For E.H. Carr, “the foundation of a planned economy” in the early 1930s was *the* revolutionary achievement.¹⁶ While this judgement was often disputed by Sovietologists, Carr’s sense of the importance of economic planning, and its possible status as a portent of the global future, was nevertheless shared by many economists in the 1930s and ‘40s.¹⁷

For non-Marxists, the Soviet/revolutionary goal of socialism was often treated as the functional equivalent of *modernization*. In the 1950s and ‘60s, while the totalitarian model of the Soviet political system held sway among Sovietologists, specialists on the Third World (and some sociologically-minded Sovietologists) were more likely to apply a modernization model, and their view of Soviet achievements was a lot more generous.¹⁸ Hobsbawm, writing in the mid-1990s, was not alone in concluding that, in the longer perspective, the main message and example of the Russian Revolution turned out not to be about effecting a transition from capitalism to socialism but rather about modernizing in the wake of liberation from colonial rule: “Soviet-based communism became primarily a programme for transforming backward countries into advanced ones.”¹⁹

For quite a while, those who considered modernization the basic revolutionary goal were inclined to judge it a success. But then came the

“information revolution”, widely discussed by the 1970s, in which the Soviets missed the boat, and bureaucratic state socialism was judged to lack the innovation technological potential of capitalism. The smokestack industry that had been the triumphant symbol of Soviet achievement came to look quite different – more like environmental blight than economic progress. This brought another twist to the “success or failure” argument. Was it still success if the (more or less reached) industrialization goal now looked not modern in a contemporary sense, but yesterday’s notion of modernity?

After the fall: the revolution revalued post-1991

Nothing fails like failure, and it’s clear that in international scholarly and popular assessment the revolution suffered a major loss of status with the collapse of the regime it had given birth to. This may not be entirely logical, since nation-building was not, strictly speaking, a revolutionary goal. The Bolsheviks were, after all, internationalists; and Stalin’s socialism-in-one-country formulation was in effect a rationalization of the unfortunate fact that everywhere but the former Russian empire, revolution had failed. Nevertheless, while it may not have been a goal, it became nevertheless an achievement much touted by Stalin and his successors – and felt as such by much of the population, particularly after the winning of the Second World War.

As has been widely remarked, Putin’s regime holds Stalin in high regards as a nation-builder on the Peter the Great model. Apart from that, which is clearly in Putin’s eyes Stalin’s outstanding achievement and the thing that makes Putin want to be part of the same tradition, there are other things that Putin says he valued in the Soviet system: planned economy, public health and education, industrialization of the ‘30s making possible war victory.²⁰ He does not mention public order and discipline, but almost certainly values that too. Yet the relationship of Putin’s regime to the Soviet one is profoundly ambiguous – not one of clear succession, but not one of outright repudiation either.

Lenin and the revolution have much less appeal to Putin than Stalin. Putin’s grandfather may have worked as Lenin’s cook, but the grandson has always seemed to prefer Stalin, the nation-builder to Lenin, the revolutionary. He has expressed uneasiness about repressions of the Lenin period, particularly the execution of the whole royal family and entourage, and the terror against the clergy, which he notes Lenin personally endorsed. He dislikes the divisive, sectarian aspect of revolutions. And he particularly holds against Lenin his insistence (in an early 1920s argu-

ment with Stalin) on the federal nature of the USSR, giving republics the possibility of secession – the equivalent to laying a “time bomb” under Russia that went off in 1991.²¹

Putin’s Minister of Culture, Vladimir Medinsky likes revolution still less. Revolutions, in Medinsky’s opinion, are always bad and bloody, making things worse not better, leading to injustice and ‘moral degradation’, destroying society’s ‘best people’ and giving opportunities to its worst.²² True, there were idealists (as well as “war criminals”) among both Red and White protagonists in the Revolution and Civil War, but the Russian Revolution should be seen as a “tragedy”, albeit with “heroic elements.” “The worst thing that could happen to Russia with the 2017 celebrations would be a revival of old sectarian passions... *Raskol*, the acrimonious splitting of society, must be avoided at all costs.²³ Putin made a similar point at the end of 2016;²⁴ and the monument to reconciliation favoured by Medinsky, to be erected in the Crimea supposedly in time for November 2017 appears in fact to be going ahead, if with little publicity and much behind schedule.²⁵

The Russian demographer Anatoly Vishnevsky, interviewed in *No-vaia gazeta* on 26 May 2015, described the current state of planning for the upcoming centenary as “completely incompatible with the scale and the nature of the event” (“*совершенно не сомасштабно событию и не созвучно ему*”), noting indignantly that “You can’t mark the centenary of the revolution by pretending it didn’t happen”. But it turns out that you can.²⁶ Despite a very belated and bland official order from Putin on 19 December 2016 on the formation of an Organizing Committee for centenary celebrations,²⁷ his government has now apparently decided not to have public celebrations or issue any kind of official position paper on the revolution, or so a Putin spokesman told the *New York Times* in March 2017.²⁸ It had long been Putin’s preference that responses to the centenary take the form of “deep, objective *professional*” (my emphasis) evaluation by historians,²⁹ but even that took its time to get organized. Invitations for an academic conference on the Revolution, to be held in late September in Moscow under the auspices of the National Commission of Historians, went out only at the end of January; and the draft program, when it followed a few months later was indeed, as promised, so lacking in (Russian) political spin that it would not have been out of place in a grant application to an American foundation.³⁰

Conclusion

Should we be celebrating? Commentators from the Left say yes, but in a remarkably qualified way.

Tariq Ali,³¹ China Miéville,³² Tamás Krausz³³ and Slavoj Žižek³⁴ all suggest that what needs to be celebrated / remembered about the Russian Revolution is that it demonstrated that things can be changed as a result of human will to change. Ali and Miéville have perhaps the most optimistic (though still very low-key) conclusions about the actual achievements of the Revolution. “The world’s first socialist revolution deserves celebration”, he writes, because “things changed once, and they might to do so again”³⁵ (how’s that for a really minimal claim?) “Liberty’s dim light” shone briefly, even if “what might have been a sunrise [turned out to be] a sunset”.³⁶ But it could have been otherwise with the Russian Revolution, and “if its sentences are still unfinished, it is up to us to finish them”.³⁷

Ali’s book ends with a Lenin text from 1922, “On climbing a high mountain”, reflecting on the necessity of temporary retreat (as in NEP) which, however, does not mean abandonment of the ultimate revolutionary aim; he thinks that “had Lenin lived another five years, the country and the party would have moved forward differently. The New Economic Policy would have been dismantled with greater care, and the brutal leap to industrialisation might not have transpired. Nor would Lenin have killed off the bulk of Old Bolsheviks on the Central Committee and the country as a whole”. However, he leaves in a caveat about the unknowability of how much of Lenin’s goals would have been achieved had he lived. For Ali, celebrating the revolution is, in any case, a necessary “act of resistance given how hostile the current ideological climate is to anything associated with “the social and liberation struggles of the last century” makes recovering Lenin’s “an act of resistance”.³⁸

At the end of his sober and scholarly critical study of Lenin, Krausz argues that Lenin has not become irrelevant as long as socialism matters; and socialism is still the only alternative to capitalism. His book ends with a quotation from Žižek’s 2007 dictum that “to repeat Lenin does not mean that we must repeat what he achieved, but rather what he was not able to achieve”.

Žižek, unusually for a commentator from the Left, acknowledges essential continuity between Lenin and Stalin, writing that the tragedy of the Old Bolsheviks who perished in Stalinist purges was “that they were not able to perceive in the Stalinist terror the ultimate offspring of their own acts”. While the possibility exists that things might have gone

somewhat better had Lenin survived in good health another ten years, Žižek suggests that the likely outcome was “nothing essentially different: the same Stalinism, just without its worst excesses”.³⁹ “Let’s face it,” Žižek writes, “today, Lenin and his legacy are perceived as hopelessly dated, belonging to a defunct ‘paradigm.’ Not only was Lenin understandably blind to many of the problems that are now central to contemporary life (ecology, struggles for emancipated sexuality, etc.), his brutal political practice is totally out of sync with current democratic sensitivities, his vision of the new society as a centralized industrial system run by the state is simply irrelevant.”⁴⁰ We have to “accept that ‘Lenin is dead’, that his particular solution failed, even failed monstrously.”⁴¹ Still, for Žižek, ever the contrarian and provocateur, that doesn’t mean abandoning Lenin. Lenin is at his “Beckettian best,” he writes approvingly, as he teaches us the lesson “Fail again. Fail better”.⁴² Who but Žižek would offer us, approvingly, a Lenin “at his Beckettian best” whose true lesson (like Samuel Beckett’s in *Worstward Ho*) is how to “Fail again. Fail better”?⁴³

From Žižek’s philosophical standpoint, it is not clear that “success” is a real possibility, for revolutions or any other human endeavour. This seems reasonable, especially as applied to revolutions. The concept of success, like the concept of the modern, is time-bounded: what was once modern (successful) is after a while no longer so. The finite nature of revolutions, and the inevitability that at a certain point (which may be regarded as success or failure) they yield to (or produce) something that is not revolutionary, only compounds the problem. In this sense, there is a simple answer to the original question “Was the Russian Revolution a failure?”: yes, of course it was, no other outcome was possible.

If, on the other hand, we abandon philosophy and go boldly where angels fear to tread, i.e. into the realm of historical success / failure assessment, my own would be something like this:

1. In terms of establishing socialism, understood as a new realm of freedom and non-exploitation, then the Russian Revolution was a failure, indeed an egregious one, given the huge damage to the population and society inflicted in the Stalin period. On the other hand, I personally cannot imagine real-world success along these lines or what it might look like.
2. In terms of establishing state socialism (not exactly an original revolutionary objective, but close, since the idea was to use the power of the state to make possible the emergence of a socialist society), the Russian Revolution may be counted a sort of

success – but one that quickly demonstrated that state bureaucracy can oppress / exploit people as well as capitalists and feudal lords.

3. In terms of modernizing the Russian Empire economically and culturally, a success for a while; then failure as that particular concept of the modern went out of date.

Those are subjective judgements, and necessarily conditioned by the circumstances of the present as I interpret them, but so are all such judgements. It would be naïve to think that we are now (or ever will be) in a position to make a permanently-valid evaluation of the Russian Revolution. All we can be sure of is that when the bicentenary comes around, the Russian Revolution will look different to our great grandchildren than it does to us. And my guess (though who knows) is that in 2117 the Russian Revolution – like the French, two hundred years after – will still seem worth thinking about.

Notes

¹ ERIC HOBSBAWM, *The Age of Extremes. A History of the World, 1914–1991* (New York: Pantheon, 1994), 55.

² HOBSBAWM, *The Age of Extremes*, 7-8.

³ ROBERT SERVICE, *Lenin. A Biography* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000), 494.

⁴ ORLANDO FIGES, *A People's Tragedy. The Russian Revolution, 1891–1924* (London: Pimlico, 1996).

⁵ TONY BRENTON (ed.), *Historically Inevitable? Turning Points of the Russian Revolution* (London: Profile Books, 2016), 1.

⁶ BRENTON, *Historically Inevitable?* 299.

⁷ S.A. SMITH, “The Historiography of the Russian Revolution 100 Years On”, *Kritika* 16 / 4 (2015), 748.

⁸ SMITH, “Historiography”, 740.

⁹ SMITH, “Historiography”, 733.

¹⁰ DONALD J. RALEIGH, “The Russian Revolution after all these 100 Years”, *Kritika* 16 / 4 (2015), 797.

¹¹ See CRANE BRINTON, *Anatomy of Revolutions* (New York: Prentice-Hall, 1938); ARISTIDE ZOLBERG, “Moments of Madness”, *Politics and Society* 2 / 2 (1972), 183-20.

¹² BRONISLAW BACZKO, *Comment sortir de la terreur* (Paris: Gallimard, 1989); and SHEILA FITZPATRICK, “Ending the Russian Revolution: Reflections on Soviet History and

its Interpreters”, 2008 Kedourie Lecture, *Proceedings of the British Academy*, vol. 162 (2009).

¹³ N.S. TIMASHEFF, *The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia* (New York, 1946).

¹⁴ SHEILA FITZPATRICK, *The Russian Revolution* (Oxford: Oxford University Press, 1st edition, 1982); 4th edition forthcoming July 2017.

¹⁵ E.g. MARTIN MALIA, *The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia, 1917–1991* (New York: The Free Press, 1994).

¹⁶ This is implied by the title and content of the culminating volumes of his multi-volume history of Soviet Russia, *Foundations of a Planned Economy* (vol. 1, with ROBERT W. DAVIES 1969; vol. 2, 1969).

¹⁷ DAVID ENGERMAN, *Modernization from the Other Shore: American Intellectuals and the Romance of Russian Development* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003).

¹⁸ See DAVID ENGERMAN, *Know your Enemy. The Rise and Fall of America’s Soviet Experts* (Oxford: Oxford University Press, 2009).

¹⁹ HOBSBAWM, *The Age of Extremes*, 376.

²⁰ Responses to questions at a meeting in Stavropol, 25 January 2016. – <http://kremlin.ru/events/president/news/51206> (accessed: April, 2017).

²¹ Responses to question at meeting in Stavropol, 25 January 2016.

²² VLADIMIR MEDINSKY, “Revoliutsiia. Mify i real’nost’ ”. – <http://patriotplatform.ru/news/4058.html> (accessed: January, 2017).

²³ Speech at roundtable in May 2015 on ‘100 Years of the Great Russian Revolution’. – <http://edinstvoistorii.odnako.org> (accessed: October, 2016).

²⁴ Quoted from a message from Putin to the Federal meeting (*Federal’noe sobranie*), 1 December 2016, not otherwise identified. – <http://akostyuhin.livejournal.com/286561.html> (accessed: January, 2017).

²⁵ ‘Pamiatnik Primireniia ustanoviat v Kerchi vozle mosta v Krym’, 25 January 2017. – <http://moicrimea.ru/pamiatnik-primireniia-ystanoviat-v-kerchi-voze-mosta-v-krym.html> (accessed: April, 2017). For earlier information on the plan, see the 2015 announcement of the competition (www.nakanune.ru/news/2015/11/30/22421796 [accessed: January, 2017]) and a follow-up call for submissions in October 2016 (<http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-2917> [accessed: January, 2017]).

²⁶ Press release, RIA Novosti, 5 November 2014. – <https://ria.ru/politics/20141105/1031839813.html> (accessed: October, 2016).

²⁷ <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/001201612200017?index=1&rangeSize=1> (accessed: January, 2017).

²⁸ NEIL MACFARQUHAR, “Revolution? What Revolution? Russia Asks 100 Later”, *The New York Times*, 10 March 2017.

²⁹ Press release, RIA Novosti, 5 November 2014. – <https://ria.ru/politics/20141105/1031839813.html> (accessed: October, 2016).

³⁰ Emails to author from National Committee, 31 January (invitation) and 28 March 2017 (preliminary program). Among the five panels listed were ‘Revolution and violence’ (a very Western formulation) and ‘The collapse of empires’.

³¹ TARIQ ALI, *The Dilemmas of Lenin. Terrorism, War, Empire, Love, Revolution* (London and New York: Verso, 2017).

³² CHINA MIÉVILLE, *October. The Story of the Russian Revolution* (London: Verso, 2017).

³³ TAMÁS KRAUSZ, *Reconstructing Lenin: an Intellectual Biography* (New York: Monthly Review Press, 2015).

³⁴ SLAVOJ ŽIŽEK, *Lenin 2017. Remembering, Repeating, and Working Through* (London and New York: Verso, 2017); also SLAVOJ ŽIŽEK, ed. with SEBASTIAN BUDGEN and STATHIS KOUVELAKIS, *Lenin Reloaded* (Durham and London: Duke University Press, 2007).

³⁵ MIÉVILLE, *October*, 317.

³⁶ MIÉVILLE, *October*, 315.

³⁷ MIÉVILLE, *October*, 3.

³⁸ ALI, *Dilemmas*, 1.

³⁹ ŽIŽEK, *Lenin 2017*, xlvii.

⁴⁰ ŽIŽEK, *Lenin 2017*, xiv.

⁴¹ ŽIŽEK, *Lenin 2017*, xv.

⁴² ŽIŽEK, *Lenin 2017*, xxviii. The reference is to Samuel Beckett’s *Worstward Ho* (1983).

⁴³ ŽIŽEK, *Lenin 2017*, xxviii.

А.И. КОЛГАНОВ

Октябрьская революция: неудачный эксперимент или прорыв в будущее?

Сегодня, в год 100-летия Великой Русской Революции, многие люди неизбежно ставят вопросы, касающиеся причин краха долговременного «социалистического эксперимента». В противоположность этому, я постараюсь показать, что это вовсе не был ни «социалистический эксперимент», ни «эксперимент» вообще.

Очевидно, что Советское общество не могло утвердить стабильную социальную систему, которая могла бы развиваться от первой исторической стадии (называемой «социализм») до более высокой (называемой «коммунизм»). Есть множество сомнений даже и в том, что первая историческая стадия была успешно достигнута. Но должны ли мы расценивать этот результат как негативный, если мы примем во внимание, что колоссальное социальное движение, выразившееся в Октябрьской революции, не имело возможности сделать строительство социалистического общества своей главной и ближайшей целью (независимо от того, что об этом думали те или иные участники движения). Почему же?

Потому что отсутствовали необходимые материальные, экономические, социальные и культурные условия для формирования в России социалистического общества, и это не было секретом для партии большевиков. Социально-экономическая система Российской Империи в начале XX века не была, в целом, капиталистической. Сектор капиталистического производства, быстро развивающийся, не был, тем не менее, преобладающим. Подавляющее большинство российского населения (около 80%) представляло собой крестьянство, и значительная часть его была лишь незначительно втянута в товарное производство, существуя почти в патриар-

хальных условиях. Рабочий класс (и особенно индустриальные рабочие) был меньшинством.

Существовало острое противоречие между крестьянами, владевшими небольшими клочками земли, и помещиками и другими крупными собственниками, контролировавшими почти 40% сельскохозяйственных земель. Политическая система представляла собой династическую монархию с привилегированным положением дворянства и при отсутствии основных демократических прав и свобод (крайне ограниченная их часть появилась лишь как результат революции 1905 года).

В подобных обстоятельствах непосредственной целью революционного движения была борьба против существенных пережитков феодального прошлого России в экономической, социальной и политической сферах. Для строительства социалистического общества не было материальных оснований. Социализм может сформироваться как результат развертывания противоречий капиталистического способа производства на достаточно высокой ступени его развития. Подобные противоречия должны выразиться в формировании элементов социалистических производственных отношений внутри капиталистической системы. С современной точки зрения, в начале XX века целостные материальные предпосылки для перехода к социалистическому обществу (с точки зрения уровня развития производительных сил) отсутствовали не только в России, но и в наиболее развитых капиталистических государствах. Например, среди таких предпосылок должно быть вытеснение человека из процесса непосредственного материального производства, и превращение технологического применения науки в непосредственную производительную силу, что было предвидено Марксом еще в середине XIX века. К. Маркс подчеркивал, что «царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства»¹.

Какой же уровень производительных сил может обеспечить продвижение к такому состоянию? Новые производительные силы, по мысли Маркса, должны создать такие условия, при которых человек покидает сферу непосредственного участия в производстве материальных благ, когда «прекратится такой труд, при котором человек сам делает то, что он может заставить вещи делать для себя, для человека», когда труд выступает «в виде деятельности, управляющей всеми силами природы»² и превращается в «эксперимен-

тальную науку, материально творческую и предметно воплощающую науку», когда развитие человека происходит «как беспрестанное устранение *предела* для этого развития», и является «абсолютным выявлением творческих дарований человека»³.

Хотя уже индустриальное производство XIX века позволило обнаружить зарождение этих тенденций, они в более или менее значимом виде стали проявлять себя лишь во второй половине XX века. И лишь в конце XX века некоторые элементы производственных отношений коммунистического типа стали появляться на подобной материальной базе в сфере творческой деятельности⁴. В этом контексте можно упомянуть такие явления, как краудсорсинг, викиномика, копилефт и некоторые виды экономики солидарности. Подобные явления являются более или менее соответствующими определению коммунистического производства: добровольный труд, свободная и открытая кооперация труда, работа без расчета на вознаграждение и т.д.

Но даже с точки зрения более традиционных марксистских представлений, разделявшихся тогда и большевиками, Россия не представляла собой общество, в материальном и социально-экономическом плане обладающее достаточными предпосылками для перехода к социализму, а была обременена многочисленными пережитками феодализма и прямой патриархальщины, страдала от недостаточных возможностей развития капиталистического производства. Таким образом, большевики оценивали природу будущей революции, как буржуазную. Даже незадолго до Октябрьской революции, Ленин, разъясняя смысл своих «Апрельских тезисов», писал: «Я не только не “рассчитываю” на “немедленное перерождение” нашей революции в *социалистическую*, а и прямо предостерегаю против этого...».⁵ Для большевиков (так же, как и для меньшевиков) было вполне понятно, что Россия для социализма не созрела и поэтому невозможно было ставить строительство социалистического общества как непосредственную цель революции: «Неужели не ясно, – писал В.И. Ленин, – что в *материальном*, экономическом, производственном смысле мы еще в “преддверии” социализма не находимся? И что иначе, как через это, не достигнутое еще нами, “преддверие”, в дверь социализма не войдешь?».⁶

Для теоретически хорошо подготовленных лидеров большевиков было совершенно ясно, к каким печальным последствиям может привести попытка поставить «социалистический эксперимент» без необходимых для этого предпосылок. Им были хорошо знакомы строки из

письма Энгельса, который описал возможные последствия подобных попыток: «Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы в конце концов проводить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюционным и специфически мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс, связанные своими собственными, в известной мере ложно истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, мы будем вынуждены производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем головы – надо надеяться, только в физическом смысле, – наступит реакция и, прежде чем мир будет в состоянии дать *историческую* оценку подобным событиям, нас станут считать не только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и дураками, что уже гораздо хуже».⁷

Непосредственные мотивы для большевиков брать власть в Октябре 1917 года лежали вовсе не в области их намерений немедленно заняться строительством социалистического общества, а были связаны с полным провалом попыток российской буржуазии решить основные задачи буржуазной революции. Происходил нарастающий коллапс государственной власти, и в этой ситуации большевики оказались единственной партией, которая рискнула взвалить на себя бремя ответственности за судьбу страны.

Понятно, что взятие власти в таких условиях никак нельзя квалифицировать как «социалистический эксперимент», да революцию и вообще нельзя называть экспериментом, ибо Октябрьская революция предпринималась вовсе не для проверки возможности построения социалистического общества, а была ответом на крайнее обострение социально-экономических и политических противоречий осенью 1917 года.

Октябрьская революция была предпринята при таких обстоятельствах, которые, при прочих равных условиях, должны были бы привести к внушительному фиаско – если большевики начали бы «коммунистические опыты и скачки», говоря словами цитированного выше письма Энгельса. Но почему же тогда они все же предприняли эти «опыты и скачки»? Не только по тем причинам, на которые ссылался Энгельс. Первоначальными намерениями Советского правительства было проведение преобразований социалистического характера в очень узких рамках – только там, где наличествовали

необходимые материальные предпосылки, созданные развитием капиталистического производства, главным образом в сфере господства крупного монополистического капитала. Для остальной части экономики предполагалось развитие капиталистического производства под контролем пролетарского государства и постепенное преобразование мелкобуржуазного производства в капиталистическое, что позволяло поставить «мелкобуржуазную стихию» также под государственный контроль.

Однако сопротивление российской буржуазии, поддержанное интервенцией капиталистических держав, привело к нарастанию гражданской войны и вынудило Советское правительство применить такие методы, как национализация большей части крупной и средней промышленности, введение «продовольственной диктатуры» и ограничение свободы торговли. После окончания гражданской войны большевики постарались вернуться к политике государственного капитализма. Ленин в 1922 году повторил свою идею, которую он сформулировал еще в начале 1918 года: «было бы лучше, если бы мы раньше пришли к государственному капитализму, а уже затем – к социализму».⁸

Эта концепция начала практически применяться в рамках «новой экономической политики». Однако, реализация этого подхода, позволявшего оставаться более или менее на почве учета реального уровня зрелости предпосылок социализма, столкнулась с геополитической ситуацией. Опасность развязывания новой мировой войны при крайне неблагоприятном для молодого Советского государства соотношении сил на мировой арене вынуждала его идти на проведение политики форсированной индустриализации, чтобы нарастить свою оборонную мощь. Такая ускоренная индустриализация, проводимая в преимущественно аграрной стране, имела очень узкий базис в виде внутрипромышленных накоплений (а возможности привлечения иностранного капитала на практике оказались ничтожными), и поневоле требовала применения безжалостной концентрации всех ресурсов для создания современной промышленности. Инструментом такой концентрации выступила плановая экономика, что привело к наделанию формы социалистических производственных отношений на все существовавшие экономические уклады, к ликвидации тем самым всех несоциалистических элементов экономической системы, независимо от реального уровня имевшихся на тот момент экономических и материальных предпосылок, необходимых для движения к социализму. Вряд ли у Советского государства был вы-

бор: при сохранении многоукладной экономики с преобладанием сектора мелкого крестьянского производства у СССР не оказалось бы эффективных экономических инструментов чрезвычайной мобилизации ресурсов для ускоренной индустриализации.

Однако, несмотря на столь неблагоприятные обстоятельства, СССР смог добиться беспрецедентных и очень быстрых успехов в экономике, науке, образовании, культуре. Совокупность этих достижений позволила Советскому Союзу не только выжить во Второй мировой войне, но и сыграть главную роль в сокрушении самой эффективной в мире военной машины, созданной нацистской Германией, которая опиралась на ресурсы почти всех европейских стран и на множество европейских добровольцев, желающих принять участие в антикоммунистическом походе. А в послевоенный период СССР, быстро восстановив свою экономику, понесшую колоссальный урон во время войны, начал сокращать экономический и технологический разрыв с наиболее развитыми странами.

Однако, в то же самое время, эти достижения имели не слишком надежный базис, поскольку законченная и целостная система социалистических производственных отношений не могла быть сформирована при тех условиях, на которые я указывал выше. Оценивая уровень развития производительных сил СССР, мы должны придти к выводу, что имевшиеся промышленный базис и качество человеческих ресурсов были адекватным основанием для капиталистических производственных отношений, но не для социалистических.

Предпринятое в СССР в начале 30-х годов XX века скачкообразное, буквально за два-три года, формальное обобществление всех сфер экономики создало очень противоречивый экономический базис. Под внешней оболочкой социалистических производственных отношений можно было обнаружить материальные условия, отвечавшие производственным отношениям капиталистического и мелкотоварного производства. При таких условиях реальные социалистические черты экономической системы развивались в деформированном и урезанном виде.

Таким образом, реальная экономическая система СССР может быть охарактеризована как комплекс разнородных элементов, лишь формально принявших вид социалистических производственных отношений. И это является основной социально-экономической причиной гипертрофированной роли бюрократии, которая явилась единственной социальной силой, способной принудительно объединить эти разнородные элементы в нечто целостное. Другая причина

усиления бюрократии лежит в социальной сфере. В СССР рабочий класс не имел достаточного уровня политической и культурной зрелости, чтобы контролировать собственную бюрократию.

Как я заметил выше, миссия Октябрьской революции по отношению к социально-экономическому развитию страны с точки зрения своего реального содержания состояла, прежде всего, в проведении промышленного переворота, который является функцией капиталистического способа производства. Лишь уникальное стечение обстоятельств (банкротство российской буржуазии в деле обеспечения этой «миссии») выдвинуло на историческую авансцену классовых противников капитализма. И в силу определенной слабости рабочего класса бюрократия выдвинулась на роль своеобразного субститута буржуазии в деле руководства индустриализацией.⁹ Бюрократия была вынуждена в той или иной мере опираться на поддержку рабочего класса, поскольку он был единственной социальной силой, способной поддержать государственную власть, но в тоже время бюрократия неизбежно конкурировала за власть с рабочим классом.

В результате шаг за шагом оказался разрушен тот компромисс между бюрократией и рабочим классом, который составлял социальный базис Советской власти в начальный период ее существования. В то же самое время это означало и разрушение основы власти и самого существования советской бюрократии. Разрыв с интересами рабочего класса делал для бюрократии бесполезным сохранение социалистических целей и социалистической идеологии, в определенной мере ограничивающих ее социальные претензии и амбиции. Большая часть прежней советской бюрократии в таких условиях предпочла пойти на демонтаж советской экономической и политической системы и трансформироваться в капиталистов или в капиталистическую бюрократию.

Итак, провал СССР не представляет собой историческую загадку. Необходимо объяснить не эту неудачу, а, напротив, беспрецедентный прорыв в будущее по многим направлениям, который был достигнут в Советскую эпоху. Объяснение, на мой взгляд, лежит в сфере того огромного творческого потенциала, который заключен в социальном освобождении, в преодолении социального отчуждения во множестве его проявлений. Даже первые и не слишком удачные попытки такого освобождения, предпринятые в стране, которая не имела для этого достаточного уровня социально-экономического развития, демонстрируют колоссальные возможности более свободного и справедливого общества.

В СССР во многих сферах отмечалась беспрецедентная волна массового участия в социальном творчестве: от новых экономических институтов, включая и такие, которые формировались именно по инициативе снизу, вплоть до инициатив в области науки, изобретательства, спорта, литературы, поэзии, театра, кинематографа и т.д. Только такая массовая вовлеченность граждан сделала возможными огромные успехи в экономическом и технологическом развитии, обеспечивая массовую социальную поддержку политики ускоренной индустриализации.

В то же время, эти тенденции сталкивались с ростом бюрократической сверхцентрализации, избыточным применением насилия и ограничением человеческих прав, что было признаками недостаточного развития социализма и повлекло за собой внутреннюю слабость советской системы и ее последующий упадок.

Логика социально-экономической системы, в которой бюрократия занимала наиболее влиятельные позиции, оказалась преобладающей над всякими попытками применять инструменты контроля снизу. Возможно, институты непосредственного участия рабочих в экономическом управлении, в принятии решений на различных уровнях – от производственной бригады до экономики в целом – могли бы сыграть роль противовеса всемогущей силе бюрократии. К сожалению, рабочий класс, сумев выдвинуть очень многообещающие и перспективные инициативы, не смог организовать эффективное сопротивление натиску на них со стороны бюрократии.¹⁰

Я категорически отвергаю ответ, будто бы было бессмысленно предпринимать революцию при таких мизерных шансах на успешное движение к социализму. Прежде всего, революции не могут быть сделаны по заказу, они приходят как неизбежный результат развития экономических, социальных и политических противоречий. Мы имеем бесценный опыт социального творчества рабочего класса, рядовых граждан, который, несомненно, будет востребован при последующих попытках движения к социализму.

Уроки, которые можно извлечь из этого опыта, приводят к двум основным выводам:

- 1) Необходимо принимать во внимание, что попытки захватить экономику в социалистическую оболочку, не считаясь с реальным уровнем необходимых экономических и материальных предпосылок, неизбежно будут подрывать эти формальные социалистические производственные отношения.

- 2) Необходимо избегать ситуации, при которой шаги к обобществлению экономики будут носить лишь формальный характер, затрагивая лишь поверхность производственных отношений. В первую очередь это значит, что экономические отношения социалистического типа должны основываться на широком реальном участии и вовлечении в управление экономикой трудящегося населения.

Даже деформированные и усеченные реальные элементы социализма были главным основанием беспрецедентных экономических успехов СССР. И мы имеем право поставить вопрос: каков может быть эффект от полного и целостного развертывания социалистических производственных отношений, опирающихся на современные материальные и социальные предпосылки?

Мне хотелось бы сделать еще один вывод, извлеченный не из опыта СССР непосредственно, а из сопоставления этого опыта с современными тенденциями в развитии производительных сил и социальных практик. Новые производительные силы, развивающиеся в рамках того, что называется сегодня «когнитивным капитализмом»,¹¹ позволяют нам увидеть формирование элементов – в весьма ограниченной, но хорошо видимой степени – таких производственных отношений, которые могут рассматриваться как вполне коммунистические по содержанию. Таким образом, мы можем предсказать развитие таких новых типов экономических и социальных взаимодействий между людьми, которые делают возможным выстраивание элементов коммунистического производства, основанных на адекватных материальных предпосылках. Такое развитие порождает надежды, что первые попытки создания в СССР реальных социалистических отношений могут получить более успешное историческое продолжение.

История социалистического строительства в СССР, несмотря на все провалы, ошибки, и даже преступления, приведшие к многочисленным жертвам, не была потерянными историческим временем. Было бы несправедливо отвергать этот опыт, обращаясь только к негативным сторонам Советской истории. Мы должны принимать во внимание, что попытки формирования социалистического общества в СССР развивались при крайне неблагоприятных условиях, делавших почти невозможным любой прогресс в социалистическом направлении. Однако мы можем увидеть в Советской истории не только быстрое экономическое и технологическое развитие, но и формирование некоторых реальных элементов социализма, включая и те, которые создавались снизу, по инициативе рабочего класса.

Мой конечный вывод: упадок Советского Союза не является признаком провала Октябрьской революции. Историческое движение, частью которого является история Советского общества, будет идти дальше, опираясь как на опыт СССР, так и на современное развитие производительных сил и социальных практик.

Примечания

¹ КАРЛ МАРКС, «Капитал, т. III», в: МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., *Собр. Соч.*, 2-е изд., Т. 25, Ч. II (Москва: Издательство политической литературы, 1962), 386-387.

² КАРЛ МАРКС, «Экономические рукописи 1857–1859 гг.», в: МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., *Собр. Соч.*, 2-е изд., Т. 46, Ч. I (Москва: Издательство политической литературы, 1968), 280, 476.

³ МАРКС, «Экономические рукописи», 35, 110, 221.

⁴ Подробнее смотри: Entretien avec ANDRÉ GORZ, “L’écologie, une éthique de la liberation”, *Ecorev*, no. 21 (2005 / 2006, automne-hiver). – <http://ecorev.org/spip.php?article449> (апрель, 2018); ANDRÉ GORZ, “The Exit from Capitalism has Already Begun”, *Cultural Politics*, Volume 6, Number 1 (2010), 5-14; STEFAN MERETZ, “Freie Software. Über die Potenziale einer neuen Produktionsweise”, *Widerspruch*, Jg. 45, N. 3, 55-59.

⁵ В.И. ЛЕНИН, «Письма о тактике», в: *Полн. собр. соч.* Т. 31 (Москва: Издательство политической литературы, 1969), 142.

⁶ В.И. ЛЕНИН, «О “левом” ребячестве и о мелкобуржуазности», в: *Полн. собр. соч.* Т. 36 (Москва: Издательство политической литературы, 1974), 303.

⁷ ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС, «Письмо Иосифу Вейдемейеру, 12 апреля 1853 г.», в: МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., *Соч.*, 2-е изд., Т. 28 (Москва: Издательство политической литературы, 1962), 490-491.

⁸ В.И. ЛЕНИН, «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции. Доклад на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 г.», в: *Полн. собр. соч.* Т. 45 (Москва: Издательство политической литературы, 1970), 280.

⁹ См.: ISTVÁN MÉSZÁROS, *Beyond Capital* (New York: Monthly Review Press, 1995), 981.

¹⁰ А.И. КОЛГАНОВ, «Индустриализация: достижения и цена», в: *Пик великой революции. К 100-летию Октября* (Москва: Алгоритм, 2017), 572-580.

¹¹ ANTONELLA CORSANI, “Some hypotheses on ‘Neoliberal cognitive capitalism’”, в: *Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и наук СПбГУ* (Москва – Санкт-Петербург: Издательство института Гайдара, 2013), 117-131.

PAUL LE BLANC

Bolshevism as a Revolutionary Collective

The Russian Revolution of 1917 clearly reveals the complexities of Bolshevism, Lenin's party, as a revolutionary collective. In fact, there is a convergence of complexities related to several different factors I would like to touch on in these remarks. These include party structures, personalities, and outlooks.

The point is that we cannot really understand the Bolshevik Revolution of 1917 with conventional but simplistic conceptualizations which focus on a Heroic Lenin (or an Evil Genius Lenin) leading an abstract entity – The Party, or Party-and-Soviets – to take political power. There is no doubt that Lenin's role in history merits a focused study of who he was, and what he thought and wrote and said and did. But Lenin cannot be understood as the personification of the Bolshevik party. What he thought and wrote and said and did cannot be comprehended if we abstract these things, and the man himself, from those who were his comrades. If we fail to understand Bolshevism as a revolutionary collective that was an integral part of a broader working-class movement, and as a vibrant and complex and living entity, we will not be able to comprehend the actualities either of Lenin or of the Russian Revolution.

This comes into a better focus if we engage with some of the historical specifics.

Let us start with “the Word” – Marxist theory and analysis as developed by the Bolsheviks – before we move on to the Flesh and the Bone (the personalities and the structure) of the Bolshevik party.

The theoretical orientation of Marxism was grounded in a dialectical, materialist and humanistic methodology, one that viewed history as being shaped by economic development and class struggle. It saw an increasingly dominant capitalism as immensely productive and dynamically creative, but also as compulsively expansive and exploitative, and as a

violently destructive global system. Yet capitalism was proletarianizing more and more people in society and throughout the world, creating an ever-growing working class of people dependent on the sale of their labor-power. Such laboring people *potentially* would have the need, the will, the consciousness and the power necessary for effectively challenging the oppressiveness of capitalism and replacing it with the humanistic economic democracy of socialism.

Of course, Marxism is far more complex than this, with more than one interpretation being possible, and more than one way of applying this complex and sophisticated approach to the specifics of late 19th and early 20th century Russia. Marxists in Russia generally agreed that the country's small but growing working-class was the hope for the future in both challenging the Tsarist autocracy, and helping to overthrow it in what they termed a "bourgeois-democratic revolution". The development of capitalism after this democratic revolution would, most agreed, create the preconditions for a socialist revolution. But there were disagreements over how this working-class scenario would relate to the peasant majority. Marxists in the Menshevik faction argued that the peasants were too backward-looking to be a reliable ally, and that the obvious partner in overthrowing Tsarism would be pro-capitalist liberals. The Bolsheviks led by Lenin insisted that the principle of working-class hegemony would be most consistent with a worker-peasant alliance for a democratic revolution. Menshevik spokesman Raphael Abramovitch was not the only one to scoff that this added up to "a bourgeois revolution without the bourgeoisie, against the bourgeoisie, by means of a dictatorship of the proletariat over the bourgeoisie" – but Lenin and his comrades called for a revolution that would culminate in what they termed "a revolutionary democratic dictatorship of the proletariat and the peasantry".¹

We should linger over an ambiguity in Lenin's position, as articulated in 1905. On the one hand, he was inclined to agree that the democratic revolution must usher in capitalist economic development, in order to establish the wealth and productivity, and a working-class majority, that would make socialism possible. In his polemic *Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution*, he argued that because the democratic revolution was, in fact, a "bourgeois-democratic revolution", it would "for the first time, really clear the ground for a wide and rapid... development of capitalism", and would "for the first time, make it possible for the bourgeoisie to rule as a class".²

On the other hand, Lenin seemed to leave open the possibility that some variant of Trotsky's "permanent revolution" scenario might be pos-

sible – that (as Lenin put it in his article *Social Democracy's Attitude Toward the Peasant Movement*) “from the democratic revolution we shall at once, and precisely in accordance with the measure of our strength, the strength of the class-conscious and organized proletariat, begin to pass to the socialist revolution. We stand for uninterrupted revolution. We shall not stop half-way”.³

This openness to the possibility of the democratic revolution flowing into the socialist revolution expanded with the explosion of the First World War. As Lenin emphasized time and again, this was a war “waged ‘for the sake of the profits of the capitalists’ and ‘the ambitions of dynasties’ on the basis of the imperialist, predatory policy of the great powers”, and that it must be opposed with “the tactics of revolutionary struggle by the workers on an international scale against their governments, the tactics of proletarian revolution. ...Socialists must... take advantage of the governments’ embarrassments and the anger of the masses, caused by the war, for the socialist revolution”.⁴

According to his companion, Krupskaya, during the war Lenin “spoke a lot about the questions that occupied his mind, about the role of democracy”, arriving at “a very clear and definite view of the relationship between economics and politics in the epoch of struggle for socialism”. Krupskaya elaborated:

“The role of democracy in the struggle for socialism could not be ignored. ‘Socialism is impossible without democracy in two respects’, Vladimir Ilyich wrote... 1. The proletariat cannot carry out a socialist revolution unless it has prepared for it by a struggle for democracy; 2. Victorious socialism cannot maintain its victory and bring humanity to the time when the state will wither away unless democracy is fully achieved”.

These words of Lenin's were soon fully borne out by events in Russia. The February Revolution [of 1917] and the subsequent struggle for democracy prepared the way for the October Revolution. The constant broadening and strengthening of the Soviets, of the Soviet system, tends to reorganize democracy itself and to steadily give greater depth of meaning to this concept”.⁵

Krupskaya went on to quote at length from one of Lenin's war-time polemics:

“We must *combine* the revolutionary struggle against capitalism with a revolutionary program and tactics in respect of *all* democratic demands, including a republic, a militia, election of government officials by the people, equal rights for women, self-determination of nations, etc. So

long as capitalism exists all these demands are capable of realization only as an exception, and in incomplete, distorted form. Basing ourselves on democracy as already achieved, and showing up its deficiency under capitalism, we demand the overthrow of capitalism and expropriation of the bourgeoisie as an essential basis both for abolishing the poverty of the masses and for *fully and thoroughly* implementing *all* democratic transformations. Some of those transformations will be started before the overthrow of the bourgeoisie, others *in the course of* this overthrow, and still others after it. The social revolution is not a single battle but an epoch of a series of battles on all and every problem of economic and democratic transformations, whose completion will be effected only with the expropriation of the bourgeoisie. It is for the sake of this ultimate goal that we must formulate *every one* of our democratic demands in a consistently revolutionary manner”.⁶

To sum up Lenin’s orientation, he believed that the revolutionary party must interweave socialism with working-class consciousness and struggles, that it must emphasize struggle for full democracy as pathway to socialism, and that it should press for working-class hegemony, predominance, in the struggle for a democratic revolution – with no confidence in pro-capitalist liberals. Related to this was the distinctive Bolshevik perspective of a worker-peasant alliance in the struggle against Tsarism. The anti-bourgeois orientation was further intensified with the eruption of the First World War, as opposition to the imperialist war was accompanied by an intensified revolutionary internationalism and class struggle thrust. The heightened concern to interweave struggles for democracy and socialism, and the conviction that the conflict would facilitate the spread of socialist revolution in various countries, strengthened the inclination to consider the possibilities of “uninterrupted revolution” in Russia.

Much of this orientation was the collective product and property of the Bolsheviks as they evolved from 1905 to 1917, shared (sometimes with significant nuances of difference) among various comrades. Its contours and specifics are particularly well explained by Nadezhda Krupskaya, in her *Reminiscences of Lenin*.

The crystallization of the Bolshevik political perspective of a worker-peasant alliance to push forward the democratic revolution was collective, as was the translation of that perspective into social and political action. This brings us to the organizational structures that made this so. Krupskaya emphasized that Lenin “always, as long as he lived, attached tremendous importance to Party congresses. He held the Party congress to be the highest authority, where all things personal had to be cast aside,

where nothing was to be concealed, and everything was to be open and above board".⁷

The *Draft Rules of the RSDLP*, which Lenin wrote in 1903, establishes the party congress, or convention, as the "supreme organ of the Party". Composed of representatives of all units of the Russian Social Democratic Labor Party, the congress was to meet "not less than once in two years" and was to be responsible for determining party policies and perspectives and for appointing a central committee and an editorial board for the party's central organ (its newspaper). The central committee "coordinates and directs all the practical activities of the Party", while the editorial board "gives ideological guidance".

The draft rules suggest a balance between democracy and centralization. For example: "Each committee... organization or group recognized by the Party has charge of affairs relating specifically and exclusively to its particular locality, district or national movement, or to the special function assigned to it, being bound, however, to obey the decisions of the Central Committee...". Most important, however: "All Party organizations and collegiate bodies decide their affairs by a simple majority vote...".⁸

Lenin's organizational perspective could be summarized in this way:

- 1) Members are activists, who agree with the basic Marxist program of the party and are committed to collectively developing and implementing the program, and who collectively control the organization as a whole.
- 2) The party functions openly and democratically, with the elective principle operating from top to bottom. All questions are decided on the basis of democratic vote, and the decisions are carried out.
- 3) The highest decision-making body is the party congress, made up of democratically elected delegates.
- 4) Between congresses, a central committee (elected by and answerable to the congress) ensures cohesion and coordinates work on the basis of the party program and the decisions of the congress.
- 5) Local units of the party operate within the party program and decisions of the party as a whole, but within that framework they operate under the democratic control of the local membership.

It is interesting to consider the conception of the Bolshevik party which John Reed's old friend, Max Eastman, had absorbed through his studies in Soviet Russia. In his 1926 book *Marx, Lenin, and the Science of Revolution*, Eastman wrote:

“It is an organization of a kind which never existed before. It combines certain essential features of a political party, a professional association, a consecrated order, an army, a scientific society – and yet it is in no sense a sect. Instead of cherishing in its membership a sectarian psychology, it cherishes a certain relation to the predominant class forces of society as Marx defined them. And this relation was determined by Lenin, and progressively readjusted by him, with a subtlety of which Marx never dreamed”⁹.

In fact, there were different personalities and personality types giving life to the Bolshevik organization. Of course, central from beginning to end was Lenin, who by most accounts combined in his person considerable warmth, humor, selflessness, zest for life, and tactical flexibility interwoven with revolutionary intransigence.

Women were a minority among the Bolsheviks in patriarchal Russia. Among those who played central roles were Nadezhda Krupskaya and Alexandra Kollontai. Krupskaya, an educated Marxist and devoted revolutionary activist, deployed her considerable talents and energies in the practical work of building up and maintaining Bolshevik communications and organizational functioning. This enabled her to write her authoritative *Reminiscences of Lenin*, which surveys Lenin’s development very much within the revolutionary collective that was Bolshevism. Playing a more public role, Kollontai channeled her keen intellect and passion into theorizing and organizing around the so-called “woman question” – pushing hard against male chauvinist attitudes and patterns within the revolutionary movement. Her contributions bore fruit as increasing numbers of women workers flowed into the revolutionary movement. This was an essential development. International Women’s Day in 1917 helped spark the upsurge that overthrew the Tsar.

The two brothers-in-law, Leon Trotsky and Lev Kamenev, were incredibly different in multiple ways. While Kamenev was a capable speaker, writer, organizer, and political analyst, in each of these realms Trotsky could be incandescent. Kamenev was extremely sociable in ways that Trotsky could not be, yet he was also prone to be influenced by others – including political opponents – in ways that, also, Trotsky could not be. Yet Trotsky (a relative newcomer to Bolshevik ranks) had a reputation for arrogance, and his immense popularity and demonstrated ability to work with people was offset by an often prickly personality. Kamenev’s charm could often be a valuable asset – and it matched epicurean tastes that Trotsky found repellent. Trotsky’s combination of energy, brilliance and Spartan inclinations served him well as he organized the Octo-

ber 1917 insurrection, and also when he assumed the role of organizer and commander of the Red Army during the Russian Civil War.

Gregory Zinoviev, often associated with the far steadier and more consistent Kamenev, sometimes could match Trotsky in oratory and arrogance, but like Kamenev he was one of Lenin's closest collaborators over many years. All three (Trotsky, Kamenev, Zinoviev) – at various moments, and on different issues – were also in open conflict with Lenin amid the hurly-burly of internal democracy within Bolshevism. Zinoviev's intellectual breadth and feel for revolutionary politics come through clearly in his valuable popularization *History of the Bolshevik Party*. His organizational abilities were certainly greater than those of another popular figure, the youthful and impetuous Nikolai Bukharin. Bukharin was an innovative theorist who proved more than once quite willing to challenge Lenin from the left. Both Zinoviev and Bukharin were to play important and influential roles in the Communist International that would be formed after the Russian Revolution. But in 1917 as well, although in quite different ways and from different standpoints, the influence of these two prominent Bolsheviks had significant impact.

Two eminently practical organizers – not inclined to be distracted by theoretical fireworks – were Alexander Shlyapnikov and Joseph Stalin. A worker-Bolshevik par excellence, with a reputation for courageous and principled action, Shlyapnikov's strength was organizing among factory workers and in trade unions. A former divinity student, inclined to be blunt and sometimes brutal, Stalin's specialty was as an organization man devoted to building and maintaining Bolshevik structures. Shlyapnikov's qualities brought him close to Lenin's intensified revolutionary-democratic drive predominant from 1914 to 1917. With Lenin's turn to more authoritarian expedients (temporary as they were supposed to be) amid the horrific difficulties of civil war and social collapse in 1918-1921, Shlyapnikov's qualities put the two at loggerheads. With assistance from Alexandra Kollontai, he formed the Workers' Opposition. Other Bolsheviks also formed oppositional groups to defend the revolutionary-democratic goals of the October Revolution. Stalin's inclinations, of course, went very much in the opposite direction – to the point of developing a bureaucratic-authoritarian apparatus that would eventually destroy the revolutionary collective that had been Bolshevism. This process unfolded with increasing velocity from the mid-1920s to mid-1930s.

The cause was the isolation of the revolution, turned in on itself in an economically backward Russia. As Lenin explained more than once, “we are banking on the inevitability of the world revolution”, and “we are

now, as it were, in a besieged fortress, waiting for the other detachments of the world socialist revolution to come to our relief. These detachments *exist*, they are *more numerous* than ours, they are maturing, growing, gaining more strength the longer the brutalities of imperialism continue. ...Slowly but surely the workers are adopting communist, Bolshevik tactics and are marching towards the proletarian revolution, which alone is capable of saving dying culture and dying mankind".¹⁰

In the wake of the Bolshevik Revolution, then, we can see the attempt to internationalize Bolshevism, with the creation of a global revolutionary collective, or a centralized network of such collectives – the Communist International. By the time of the Second World Congress in 1920, the assembled delegates from revolutionary organizations proclaimed: "The Communist International has made the cause of Soviet Russia its own. The international proletariat will not lay down its sword until Soviet Russia is but a link in the world federation of soviet republics". Comintern President Gregory Zinoviev, optimistically suggested that "probably two or three years will be needed for the whole of Europe to become a Soviet republic". According to a retrospective account by two participant-observers (Julian Gumperz and Karl Volk), "hundreds of delegates came from all countries of the world: real labor representatives elected and re-elected a hundred times [to mass workers' organizations], revolutionaries and opportunists, workers from the factories and shrewd attorneys, terrorists and elegant Socialists from the salons of Europe".¹¹

Another eyewitness, Alfred Rosmer, would recount: "There was something intoxicating about the atmosphere of Moscow in that month of June 1920; the quiver of the armed revolution could still be felt. Among the delegates who had come from every country and every political tendency, some already knew each other, but the majority were meeting for the first time. The discussions were heated, for there was no shortage of points of disagreement, but what overrode everything was an unshakable attachment to the Revolution and to the new-born communist movement". The history of this movement contains much that has the quality of comic opera, also much that constitutes deep and sometimes horrific tragedy, but also – despite its ultimate failure – a remarkable heroism, with lessons to be learned¹².

Those who not only wish to understand what happened in history – but also how a world (badly in need of change for the better) might actually be changed – will need to wrestle with the convergence of complexities that add up to Bolshevism as a revolutionary collective.

Notes

¹ RAPHAEL ABRAMOVITCH, *The Soviet Revolution 1917–1939* (New York: International Universities Press, 1962), 214.

² LENIN, “Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution,” in *Collected Works, Volume 9* (Moscow: Progress Publishers, 1962), 48.

³ LENIN, “Social Democracy’s Attitude Toward the Peasant Movement”, in *Collected Works, Volume 9* (Moscow: Progress Publishers, 1962), 236-237.

⁴ LENIN, “Socialism and War”, in Lenin, *Revolution, Democracy, Socialism: Selected Writings*, edited by Paul Le Blanc (London: Pluto Press, 2008), p. 227.

⁵ N.K. KRUPSKAYA, *Reminiscences of Lenin* (New York: International Publishers, 1970), 328.

⁶ KRUPSKAYA, *Reminiscences of Lenin*, 328-329.

⁷ KRUPSKAYA, *Reminiscences of Lenin*, 89.

⁸ PAUL LE BLANC, *Lenin and the Revolutionary Party* (Chicago: Haymarket Books, 2015), 48.

⁹ MAX EASTMAN, *Marx, Lenin and the Science of Revolution* (London: George Allen and Unwin, 1926), 159-160.

¹⁰ LENIN, “Letter to American Workers”, in Lenin, *Revolution, Democracy, Socialism: Selected Writings*, edited by Paul Le Blanc (London: Pluto Press, 2008), 299-300.

¹¹ YPSILON, *Pattern for World Revolution* (Chicago: Ziff-Davis, 1947), 19.

¹² ALFRED ROSMER, *Lenin’s Moscow* (Chicago: Haymarket Books 2016), 46.

LARS T. LIH

The Proletariat and its Ally: “Hegemony” Before, During and After 1917

In 1924, Lev Kamenev rather plaintively asked “Is it true that, in order to solve the problems of the revolution, Bolshevism had to renounce its own past?”. The question is a good one. Were the Bolsheviks fundamentally prepared or were they fundamentally unprepared by their previous outlook to meet the challenges of 1917?

The usual answer to these questions asserts that in order for the party to adopt revolutionary tactics in 1917, it had to be *rearmed* by Lenin’s April Theses. The metaphor of rearming was first used by Lev Trotsky in the early 1920s, but today it is by no means restricted to writers in the Trotskyist tradition. Indeed, the rearming narrative is the heart of a broad consensus about the Bolsheviks in 1917 upheld by both activists and academic historians. Among the basic themes of the rearming narrative are the following:

- Lenin’s April Theses contained a radical political and ideological innovation. The exact nature of this innovation is vague, with little agreement among writers, but usually it has something to do with socialist revolution in Russia.
- The April Theses represented Lenin’s de facto acceptance of Trotsky’s “permanent revolution” outlook.
- The April Theses “exploded like a bomb” among the Bolsheviks; they were shocked and scandalized by the Theses because of their rejection of Old Bolshevism or perhaps even of basic Marxist principles.
- The April Theses constituted a sharp change of political line from the “semi-Menshevik” policies hitherto pursued by Petrograd Bolsheviks.

- Lenin won over the party to his views in a hard-fought campaign, although a significant portion of the party and its leadership were never convinced.
- The April Theses were thus a necessary condition for the Bolshevik victory in October.

I believe these propositions are all incorrect or, at best, seriously misleading. As a challenge to them, I argue for what I call the “fully armed” interpretation of Bolshevik politics in spring 1917. As opposed to the rearming narrative, which cuts Bolshevism off from its past, I stress the *continuity* with Old Bolshevism. The Bolsheviks were *not* flummoxed by the February revolution; they faced the post-February situation with a winning strategy that was based firmly on the earlier class scenario of Old Bolshevism. The return of Lenin and other émigré leaders to Russia in early April marked an important shift in tactics – but this shift was *not* due to the controversial April Theses. Bolshevik praktiki who expressed misgivings about the April Theses did so *because* they shared the goal of soviet power.¹

In order to show essential Bolshevik continuity, this talk will be divided into two parts. In the first part, I will outline the “hegemony” scenario of Old Bolshevism. We will then turn our attention to spring 1917 to find out how this scenario was applied to the post-February political situation. In particular, we will look at the role of the April Theses and the intra-party discussion of April 1917. We will then conclude with a look at developments beyond 1917.

***The hegemony scenario:
the heart of Old Bolshevism***

A coherent political strategy for Russia had to answer two fundamental questions. First, what are the *driving forces* of the revolution in Russia – that is, what classes of Russian society will determine the course of the revolution, what are their interests and degree of organization, how will these classes clash and interact? Second, what are the *prospects* of the upcoming revolution – that is, what progressive accomplishments can socialists reasonably hope for and what accomplishments are unlikely to happen?

In late 1906, Karl Kautsky published an article that responded to exactly these questions, as shown by its title: “The Driving Forces and the Prospects of the Russian Revolution”. Kautsky’s analysis was greeted by the left wing in Russian Social Democracy with high enthusiasm and unqualified endorsement. Lenin, Trotsky and even Stalin arranged for edi-

tions in Russian and Georgian and provided commentaries. I won't take up time quoting all these endorsements, except for this one by Lenin: "what is important here, of course, is not this or that formula used the Bolsheviks to describe their tactic, but the essence of this tactic, totally affirmed by Kautsky". In other words, this material – the Kautsky article plus the Russian commentaries – gives us the underlying logic of the Bolshevik position. In fact, in my opinion, every historian of the Soviet Union – everyone interested in the dynamics of the 1917 revolution – should be thoroughly familiar with these texts.²

Kautsky entitled his final section "The Proletariat and its Ally" and Lenin borrowed these words for the title of one of his commentaries. They express the heart of the political strategy of Old Bolshevism: the relationship between the Russian socialist proletariat and the peasantry. After the 1905 revolution, the Bolsheviks summed up their political strategy by labeling it "hegemony", by which they meant the *leadership* provided by the proletariat and its party in the common revolutionary struggle of workers and peasants.

The revolutionary scenario set out by Kautsky was based on the empirical finding that in Russia "a solid community of interest [*Interessengemeinschaft*] exists only between the proletariat and the peasantry. This community of interest must furnish the basis of the whole revolutionary tactic of Russian Social Democracy." Thus the possible worker-peasant alliance pointed to *both* the victory of the revolution *and* the limits to its advance. Why? Because of what I call the axiom of the class ally: *If* it is not possible for Social Democracy to achieve victory without the help of another class, *then*, in Kautsky's words, "as a victorious party it will not be able to implement any more of its program than the interests of the class that supports the proletariat allow". This axiom was not questioned by any Social Democrat and any reasoning about the nature of the Russian revolution had to take it into account.

This community of interest was not the only reason why the Russian peasant made a good ally for the workers. According to Kautsky, the Russian peasant was steadily becoming less passive and more active, more insightful, more interested in national affairs and political questions.

"He will no longer allow others to think for him – he must think for himself, use all his wits, all his energy, all his ruthlessness, abandoning all his prejudices, if he is to hold his own in the whirlpool into which he has been sucked... The easy-going, sleepy and unthinking creature of habit is transformed into an energetic, restless and inexhaustible warrior for the new and the better".

This enthusiasm about the capacities of the peasant should be kept in mind, because the whole logic of Old Bolshevism stems from it. The hegemony scenario – or, as I called it in my biography of Lenin, the scenario of heroic leadership – can only work if the heroic proletarian leaders can inspire heroic peasant followers.³

Despite the growth in the peasant's awareness and independence, the role of leader or political leadership on a national scale – the “hegemon”, or, in warmer Russian, the *vozhd* – was still assigned to the proletariat. This leadership role is not tied to any specific prediction about the constellation of political parties and the relations between them. Perhaps the peasantry will become organized in relatively coherent political parties, perhaps not. As Lenin was at pains to point out, the role of leadership could be exercised in many ways; it was not dependent on such unpredictable matters.

The point of creating a worker-peasant *vlast* was to carry out a program based on “the community of interests” that bind together the two class allies. This situation defines what the revolution *can* do: carry out the vast agenda of far-reaching changes deemed “democratic” by the Marxist tradition. The same situation defines what the revolution *cannot* do: bring about a lasting *socialist* transformation of the economy.

There is perhaps a tendency among some Marxists today to look down on a “merely” democratic revolution as one restricted to paltry reforms and a measly “minimum program”. The Bolsheviks had a very different attitude. They saw the democratic transformation of Russia – creation of a radical democracy, land to the peasants, liquidation of the landowning gentry as a class, the eight-hour day for workers, and modernization of all spheres of life – as a highly ambitious and rewarding mission. Furthermore, it was a mission that only committed socialists could carry out. “The liberals recoil before such gigantic tasks” (Kautsky), but the socialists do not. Let us repeat this sentence, since it reveals the logic behind the Bolshevik message in 1917: “The liberals recoil before such gigantic tasks” – or, in 1917 terms, the Provisional Government is incapable of carrying out its own declared program and responding effectively to the national crisis.

The hegemony scenario can now be summed up in a single (if rather bulky) sentence: In order to carry the revolution as far as permitted by the community of interests between worker and peasant (“to the end”), the socialist proletariat and its party should strive to institute a worker-peasant *vlast* based on proletarian leadership of the peasantry, and they should also combat any attempt by liberals to retain leadership of the

revolution as well as any attempts by moderate socialists to come to some sort of political agreement with the liberals.

The hegemony scenario after the February revolution

As soon as the dust had cleared after the collapse of the Romanov dynasty in early 1917, the Bolsheviks had little trouble mapping the hegemony strategy onto the basic political realities of the new situation. The vehicle of the worker / peasant *vlast* would obviously be the soviets, first in Petrograd and then nation-wide. Unlike the prototype soviets of 1905, the Petrograd Soviet of 1917 also represented the soldiers in the Petrograd garrison, and thus, indirectly, the peasants. The anti-tsarist liberals were ensconced in the Provisional Government and, as predicted, they were trying to take over the leadership of the revolution and put a halt to revolutionary change as rapidly as possible. The implications of the hegemony strategy for political strategy under these circumstances were straightforward: worker / soldier soviets must take over the full *vlast* and carry out the revolutionary program come what may.

In March 1917, this strategy was given concrete application in March by Petrograd Bolsheviks, including Kamenev and Stalin. Faced with a Soviet that (on the one hand) was recognized as an authority by the workers and soldiers but also (on the other hand) had itself ceded state authority to the Provisional Government, the Bolshevik leaders wagered on an inevitable confrontation between the Provisional Government and the soviet constituency. They were confident that events would rapidly reveal the Provisional Government's total inability to carry out the demands of the soviet constituency and indeed would expose its hostile and counterrevolutionary desire to eliminate soviet influence. As soon as the soviets and their mass base grasped these realities (so the Bolshevik leaders assumed), they would take "full and complete *vlast* [*vsia polnota vlasti*]" into their own hands. Insofar as the revolution is going to develop and to deepen, it will come to this, to the dictatorship of the proletariat and the peasantry" (Lev Kamenev, *Pravda* editorial of 14 March 1917).

Although the Petrograd Bolsheviks put the goal of soviet power firmly on the agenda, they refrained from issuing a direct call for soviet power in slogan form. Two main tactical dilemmas led to this restraint. First, such a call would be perceived as anti-Soviet, given its present leadership and majority outlook. Second, a premature call to overthrow the Provisional Government, prior to acquiring support among the soviet constituency in the capitals and in the provinces, would be extremely disorganizing. As Kamenev remarked in March, "*Nevazhno – vziat' vlast'*,

vazhno – uderzhat’ ” (It’s not such a big deal *taking* power – but *keeping* it, that’s a big deal). Kamenev’s remark foreshadows the title of Lenin’s pamphlet from early October 1917: “Will the Bolsheviks Keep State Power? [Uderzhat li Bolsheviki gosudarstvennuiu vlast?]”.

These fears on the part of Bolshevik leaders in March were not the result of a namby-pamby lack of revolutionary fervor, but rather of some very real tactical dilemmas – dilemmas that caused problems for the Bolsheviks throughout the year (consider the July Days). In the meantime, the Bolshevik leaders undertook to hasten the great day by “organization, organization, and organization” (*Pravda* in March), as well as by setting in motion the standard Social Democratic technique of an exposure campaign. A typical campaign of this kind made concrete demands on the ruling elite with the aim of persuading the masses that these demands *would not be met* as long as the “bourgeois” elite government was in power. A paradigmatic example in 1917 was the demand to publish the secret treaties. This campaign was launched in March before Lenin’s return and continued right up to the moment when Trotsky entered the Foreign Affairs building.

An open call for full soviet power became part of the Bolshevik message in April, along with the crucial proviso that persuading the soviet constituency was an essential prerequisite. This shift (*not* turnaround) in tactics can be ascribed to the return of the émigré leaders Lenin and Zinoviev (a perusal of *Pravda* in April will quickly reveal Zinoviev’s major role) and also to the accelerating political crisis that (as predicted by Petrograd Bolsheviks in March) deepened the rift between the Provisional Government and the soviet constituency.

The Impact of the April Theses

The impact of these various factors should not automatically be assigned to Lenin’s April Theses in and of themselves. Let us take a look at the issue of *Pravda* on 8 April that appeared very soon after the publication of Lenin’s Theses. On page four can be found a short article by Kamenev entitled “Our Disagreements” that contained a critique of Lenin’s Theses, thus signaling disagreement within Bolshevik ranks and the beginning of an intra-party debate.

Kamenev’s article is often mentioned, but more revealing of party opinion is another article in the same issue: an extensive front-page article by Zinoviev that was emblazoned in a manner suggesting a semi-official statement reflecting a party consensus. Zinoviev’s editorial is a clear, succinct and authoritative exposition of the thinking behind “All Power to the Soviets!”, – with special emphasis on the “all”.

As Zinoviev accurately states in this article, “revolutionary Social Democracy in Russia” (aka Bolshevism) had traditionally seen a victorious Russian revolution as “a prologue, an introduction to socialist revolution in the West”. This perspective imposed a duty upon Russian revolutionaries which Zinoviev summed up using the time-honor formula of “carrying the Russian revolution *to the end (do kontsa)*”. And how would this goal be accomplished?

“Among the Kadets we hear protests that are more and more envenomed against the dual power [*dvoevlastie*] that now exists in Russia. We protest against the fact that alongside the government of Lvov / Guchkov / Miliukov there exists another *vlast*, the *vlast* of the Soviets of Worker and Soldier Deputies: so say the Kadets.

We also do not want dual power: so we, the revolutionary Social Democrats, answer. We also desire that in our country there be only a single *vlast*. And that *vlast* should be the Soviets of Worker and Soldier Deputies.”

On 8 April, then, we find in *Pravda* both a clear and unambiguous statement of the goal of soviet power in a manner that suggests party unity *and* an opening round in the party dispute over Lenin’s Theses. In order to assess the impact of the famous Theses, therefore, we need to take a careful look at the reception of the April Theses. Since this document does not present a unified message, but rather sets forth a number of disparate propositions, it is not helpful to speak of a reaction to the Theses as a whole. We need to break down the Theses in a way that helps us distinguish different reactions to different points.

The reception of the April Theses by party activists can be divided into two main categories. In the first category are positions that were not controversial because they expressed a Bolshevik consensus. The goal of soviet power was definitely one of these widely-shared positions, along with the imperialist nature of the war, no confidence in the Provisional Government, and rejection of “revolutionary defencism”. These positions – by far the most important – did not lead to any pushback. On the contrary. Here are the words of the most articulate critic of Lenin’s Theses, Sergei Bagdatev: “Everywhere and always, every day, we have to show the masses that until the *vlast* has been transferred into the hands of the Soviets of Worker and Soldier Deputies, there is no hope for an early end of the war and no possibility for the realization of their program”.⁴ Bagdatev used these words in April precisely to explain *why he had misgivings* about some of Lenin’s propositions.

Bagdatev's remarks lead us to the other category of the reception of the Theses: misgivings about the possible practical implications of this or that proposition. These misgivings were not occasioned by the *goal* of soviet power, but rather by disagreements about the *best way* to attain it. These misgivings arose because Lenin was far from clear, both in his elliptical Theses and in various other comments made after his return. According to recent news stories, a group of Catholic cardinals have presented Pope Francis with a set of *dubia* or request for clarifications about the implications of some of his pronouncements. These *dubia* are an excellent model for the misgivings expressed by Bolshevik activists: they were asking Lenin for clarification.

The essential feature of Bolsheviks misgivings in April 1917 was that they were passionately *pro-soviet power*. This certainly is true of the two most extensive critiques of the April Theses, those of Sergei Bagdatev and Lev Kamenev. Although the former is usually placed on the extreme left of the party and the latter on the extreme right, their critiques substantially overlapped – indeed, Bagdatev quoted Kamenev and solidarized with him. There is no mistaking the fervor with which these two Bolsheviks warn against what they consider to be fatal missteps in achieving the goal of soviet power.

The process of clearing up misunderstandings began almost immediately, since Lenin already had to provide defensive glosses to prevent misunderstanding in the very article that contains the canonical text of the Theses. After repeating what he had earlier made public in speeches immediately after his return, Lenin adds: some people deduce from my Theses that I don't support the Constituent Assembly – what slanderous nonsense!

The party activists were not the only ones with misunderstandings: having just arrived in Russia from abroad, Lenin himself had misconceptions about the position of the Petrograd Bolsheviks. Probably the most important of these misconceptions concerned the propriety of making “demands” on the Provisional Government. Due to his passionate émigré polemics against Kautsky and the Social Democratic “center”, Lenin came back to Russia breathing fire and brimstone against the whole idea of making “demands” – in his eyes, such demands only spread illusions about the possibility of reform. What?! (asked the critics) – do you mean to say we should forego exposure campaigns that make “demands” such as “publish the secret treaties”?

A very similar issue was *kontrol*, which is better translated as “supervision” than as “control”: in the present context, *kontrol* means keep-

ing an eye on the government to ensure that they carried out the demands of the Soviet. Lenin rejected any talk of *kontrol* for the same reason that he was hostile to making “demands”: any such talk seemed to imply a belief that the Provisional Government would actually carry out the program of the Soviet. But Kamenev and other Bolsheviks wanted to use *kontrol* by the Soviet precisely in order to *expose* government failure – because, like Lenin, they were sure that there was no chance that the government would actually carry out the policies demanded by the Soviet.

The following comments about the issue of “demands” from the party conferences in April are a miniature paradigm of the rather messy process of clearing up misunderstandings. According to Lenin: “Our line should not consist of showing that we are demanding the publication of treaties from the government. That would be an illusion. To demand this from a government of capitalists – it’s just like demanding that it uncover commercial frauds. If we say that we must reject annexations and indemnities, then we have to point out how this can be done; and if we are asked how to do it, we will say that it is basically a revolutionary step, and such a step can only be taken by the revolutionary proletariat”.

Kamenev responded: “Should we, as a political party, take on ourselves to demand the publication of the secret treaties – announce that this is our political demand? People will say to me: excuse me, you’re demanding something impossible. But the demands I make are not founded on the expectation that Miliukov will respond to me and publish the treaties. The policy of making demands that I am advocating is an agitational device for the development of the masses, a method that will expose the fact that Guchkov and Miliukov cannot do this, that they do not want the publication of the secret treaties, that they are against the policy of peace. It is a device for showing the masses that if they really want to create a revolutionary policy on an international level, then the *vlast* must be transferred into the hands of the Soviet”.

After this exchange, Kamenev and Lenin strove to minimize their differences. Kamenev affirmed that he was dissatisfied with Lenin’s reports “mainly for technical reasons”. According to Lenin, “Kamenev and I are on the same path, except on the question of *kontrol*. Subjectively, he understands this word better than Chkheidze and others”. Chkheidze was a Menshevik leader of the Soviet who genuinely hoped that the Provisional Government would really and truly carry out the program of the Soviet.

What was apparent to Lenin at the end of April 1917 needs to become equally as apparent to us in 2017 – namely, that Kamenev and others were on the same page as Lenin and *not* on the same page as Menshe-

viks, SRs and other “defencists.” For the present, let us note that the Bolsheviks found it perfectly possible to have agitation campaigns about the secret treaties that met the criteria of both Lenin and Kamenev. I am now looking at a photograph that shows soldiers during the April days standing under a banner reading “Trebuyem [sic] Nemedlennogo Vskrytiia Soiuznykh Dogovorov” – We *Demand* the Immediate Uncovering of the Allied Treaties (emphasis added).

In this way, misgivings about “demands”, *kontrol* and a variety of other topics were not rebutted – they were *cleared up*. Consensus about the April Theses was reached not because Lenin changed the minds of the praktiki – rather, he made it clear to them that they didn’t have to change their minds in order to accept his Theses.

Another category of the reception of the April Theses can be labelled “Lenin’s enthusiasms”: those parts of the April Theses that were not in the core consensus, but also were not perceived by his fellow Bolsheviks as antithetical to it. Under this category falls bank nationalization, renaming the party, and the soviets as a higher form of democracy (in contrast to the soviets as a vehicle for the worker / peasant *vlast*). These proposals were not shocking or controversial as such, but nevertheless Bolshevik activists wondered how relevant or helpful they were to the task of crafting a dynamic party message in the ongoing revolution. In the end, these points were not rejected but were simply allowed to drift into the fine print of the Bolshevik message – even as set forth in Lenin’s own writings directly addressed to the soviet constituency in 1917 (which means that *State and Revolution* is excluded, since it was published in 1918).

The complicated reception of the Theses is exemplified by some remarks at the April party conferences by the prominent Bolshevik activist Mikhail Kalinin. The fundamental propositions put forth by the Theses caused no controversy. For example, Kalinin specifically endorses Lenin’s agrarian policy and refers to his own *Pravda* article from 17 March. The basic message of this earlier article can be summarized as “all power to the peasant committees!”. Crucially, in his comments to the conference, Kalinin also specifically endorses the goal of soviet power: “the Soviet of worker and soldier deputies is for the present moment the only possible *vlast*”.

Because of his agreement on these fundamental positions, Kalinin insisted that the April Theses did *not* constitute a radical break with the longstanding party outlook: “the method of thinking remains an Old Bolshevik one that can handle the particularities of this revolution”. Neither

did they constitute a break with recent Bolshevik tactics in March: “All you have to do is read our first document during the revolution—the manifesto of our party, and you will be persuaded that our picture of the revolution and our tactics differ in no way from com. Lenin’s theses”.

Nevertheless, Kalinin had practical misgivings: has Lenin considered the full implications of this or that point – implications that we praktiki believe will hamper the drive for soviet power? For example, Kalinin did not object to changes in the name of the party per se, but he felt that “from practical considerations” the party should go slow, when instituting the change. Kalinin shows his awareness that the source of some of Lenin’s concerns was émigré polemics: “I understand the comrades who have arrived from abroad, where the word ‘Social-Democrat’ has been so befouled. But that’s not the case with us”.

Finally, Kalinin addressed Lenin’s personal enthusiasms without condemnation but with skepticism about making them a central part of the actual Bolshevik message. For example, one of Lenin’s Theses insisted on bank nationalization. Kalinin had no substantive objection to such a measure, but he commented that “the point about the banks doesn’t have much practical propagandistic significance”. As we saw earlier, Kalinin endorsed the soviets as a vehicle for the class *vlast* of the workers and peasants, à la Old Bolshevism. Nevertheless, he did not endorse Lenin’s personal enthusiasm about the soviets as a higher type of democracy:

“The only thing new in com. Lenin’s theses is the assertion that the Soviet of worker deputies is the only [acceptable] form of government. That’s not true, but what is true is that the Soviet of worker and soldier deputies is for the present moment the only possible *vlast*. So a correction is needed here”.

In the event, Lenin’s rationale about the soviets as a higher type of democracy was certainly not rejected but it was also not given more than marginal status in the Bolshevik message during 1917. This issue thus illustrates the way Lenin’s personal enthusiasms that become no more than the fine print of the Bolshevik message.

All in all, we get a more accurate picture of the Bolshevik message throughout the year by reading Kalinin’s remarks than by reading the April Theses. The core of this message was based on what Lenin and Kalinin had in common, that is, the twin goals of power to the soviets and land to the peasants. But, as accurately foreshadowed by Kalinin, bank nationalization, the soviets as a higher type of democracy, and the party name-change all remained marginal.

The hegemony scenario in 1917

We have looked in detail at intra-Bolshevik debates in April. Let us now take a step back and ask if the key features of the hegemony scenario of Old Bolshevism made an appearance in 1917. Let us go through the list:

Establishment of a worker-peasant vlast. Check. The official title of the Petrograd Soviet from its inception was “Soviet of Worker and *Soldier* Deputies” (emphasis added). The soldiers in the Petrograd garrison and in the tsarist army generally were overwhelming peasant in origin, and thus the Soviet claimed even in February to be the authoritative voice of a class alliance. The slogan “All Power to the Soviets!” was another way of saying “the creation of a worker-peasant *vlast* ready to carry the revolution to the end”.

As I have stressed throughout, peasant support was always basic to this scenario. Thus, when Lenin passionately argued in autumn 1917 that the time was ripe for a full exercise of soviet power, one of his central arguments was the nation-wide wave of peasant disturbances. In making this argument, he insisted on continuity with the hegemony scenario: events have “confirmed the Old Bolshevik formulation, correspondingly modifying it, that the peasants must be wrested from the influence of the bourgeoisie”.⁵

Hegemony proper: political leadership by a socialist party based in the proletariat but claiming to represent basic peasant interests. Check.

Proclamation of an ambitious and transformational set of measures based on the community of interests between workers and peasants. Check. The rationale for soviet power presented by the Bolsheviks throughout 1917 was a “democratic” one: the immediate aims of the revolution – land to the peasants, a democratic peace, economic regulation in the interests of the people – could not be attained in coalition with the elites (“agreementism”), but only by an exclusively soviet government supported by the majority of the Russian people. As for any further “steps toward socialism”, Lenin made it clear that these would be taken only if they responded to perceived peasant interests.

Combatting any attempt by liberals to lead the revolution, or to halt the unfolding of the revolution, or to turn against the revolution. Check.

Rejection of the “agreementism” of the other socialist parties. Check.

Opposition to militarism and imperialism, hopes for a European revolution that will in turn accelerate the development of the Russian revolution. Check.

We may therefore conclude with confidence that in 1917 the Bolsheviks were indeed fully armed by the hegemony scenario that had always constituted the heart of the Bolshevik strategy for revolution. They did not have to be rearmed by Lenin's April Theses. The crucial assertions of the Theses – the goal of soviet power, the imperialist nature of the war, lack of confidence in the Provisional Government, and a rejection of “revolutionary defencism” – were not controversial among Bolsheviks. The disputes among Bolsheviks in April 1917 cleared up misunderstandings and set priorities. Lenin fully participated in this process of give and take; he did not lay down the law or impose a viewpoint at basic odds with historic Bolshevism.

Hegemony: Victory and Limits of the Revolution

In 1926, the pioneer party historian Vladimir Nevsky published the first substantial source-based history of Bolshevism. His book appeared in the brief interval after primary sources had been collected but before Stalinist orthodoxy ended genuine historical debate. Nevsky himself was active in the Petrograd Bolshevik organization in March / April 1917 and therefore speaks with the authority of an eyewitness as well as of a highly regarded historian. He makes the following extremely revealing comment about the reception of the April Theses:

“We must stress that even in the ranks of our party were people who at first understood these theses incorrectly, taking them as a call to an immediate implementation of socialism, despite categorical explanations [to the contrary].

In fact, Lenin's position [in the April Theses] was the natural development of the doctrine that he had worked out long ago in the previous periods of the history of our party, since one of the basic propositions of Bolshevism... was the one put forward already during the first Russian revolution [in 1905]: the idea of the dictatorship of the proletariat and the peasantry. This same idea also implied all the conclusions and all the measures inevitably arrived at, as soon as the party was convinced of the necessity and the inevitability of a proletarian-peasant dictatorship”.⁶

Nevsky certainly knew Bolshevik party history better than anyone living today and his testimony in support of the interpretation advanced here should be given its due weight. To round off our discussion of the hegemony scenario and its role in the Russian revolution, we will now look briefly at the years following 1917.

According to Nevsky, the Bolsheviks continued to be loyal to the idea from the 1905 revolution that the party's goal should be a “dictator-

ship of the proletariat and peasantry”. But when this formula was first put forward, it was in aid of “carrying the bourgeois-democratic revolution to the end”. In contrast, after 1917, the Bolsheviks often referred to the revolution of that year as a socialist revolution led by the proletariat. Does this shift mean that the goal of a worker-peasant *vlast* was abandoned? No — what changed was rather the definition of a “socialist revolution”.

Before 1917, such a revolution by definition excluded the peasants. But after 1917, “socialist revolution” as defined by the Bolsheviks *included* the peasantry as class allies. This change in the definition of a socialist revolution (which, by the way, applies to the prewar views of Trotsky as well as the Old Bolsheviks) should not mask the underlying continuity. Before and after 1917, the goal was the same: “to carry the revolution as far as permitted by the community of interests between worker and peasant” (quoted from my earlier summary of the prewar hegemony scenario). The heart of Soviet power was its self-definition as a worker / peasant *vlast*.

The hegemony scenario also helps us understand Bolshevik victory in the civil war. Let us recall this fundamental assertion, in Kautsky’s words: “The revolutionary strength of Russian Social Democracy and the possibility of its victory rests on this community of interests between the industrial proletariat and the peasantry – but this same factor establishes the limits to the possible utilization of this victory”. And indeed, in the civil war: the Bolsheviks relied on “a solid community of interest” between workers and peasants, but – a point that is forgotten or even denied – they were determined not to overstep the limits imposed by the interests of their peasant allies.

The Russian revolution set off tremors around the globe and unleashed strivings for vast democratic as well as socialist changes. As far as Russia itself was concerned, however, the bottom line was that the West European proletariat did not take power in any country. To the surprise of the Bolsheviks, the worker-peasant *vlast* survived. Why? Because the core insight of the hegemony scenario proved more robust than even its proponents believed. As pointed out in the title of a *Pravda* article written by Evgenii Preobrazhensky for the third anniversary of the October revolution in 1920, the “middle peasant” turned out to be the “Social Base of the October Revolution”.

Preobrazhensky (later a member of the Left Opposition) argued that “over the whole course of the civil war, the middle peasantry did not go along with the proletariat with a firm tread. It wavered more than once,

especially when faced with new conditions and new burdens; more than once it moved in the direction of its class enemies. [But] the worker-peasant state, built on the foundation of an alliance of the proletariat with 80% of the peasantry, already cannot have any competitors for the *vlast* inside the boundaries of Russia”.

We began by asking ourselves the same question as Kamenev in 1924: “Is it true that, in order to solve the problems of the revolution, Bolshevism had to renounce its own past?” Our answer: the hegemony scenario as set out in 1906 by Karl Kautsky, the spokesman of revolutionary Social Democracy, and enthusiastically endorsed by Lenin, Trotsky, and Stalin, tells us how and why a worker-peasant *vlast* was created in 1917, how and why it survived in the civil war that followed, and how and why it became the abiding heart of the self-definition of Soviet power.

Notes

¹ For further discussion and documentation, see my ongoing series “All Power to the Soviets!” posted on the blog site of John Riddell; the link to the first entry in the series is <https://johnriddell.wordpress.com/2017/03/23/all-power-to-the-soviets-part-1-biography-of-a-slogan/> (accessed: March, 2018.)

² Kautsky’s article plus excerpts from commentaries by Lenin and Trotsky can be found in *Witnesses to Permanent Revolution: The Documentary Record*, eds. RICHARD B. DAY and DANIEL GAIDO (Leiden, Boston: BRILL, 2009).

³ LARS T. LIH, *Lenin* (London: Reaktion Books, 2011).

⁴ This passage and all other material from the April party conferences are taken from *Седьмая (апрельская) всероссийская конференция РСДРП (большевиков); Петроградская общегородская конференция РСДРП (большевиков)* (Москва: Госиздат, 1958).

⁵ В.И. ЛЕНИН, *Полн. собр. соч.* Т. 34 (Москва: Издательство политической литературы, 1969), 198.

⁶ В.И. НЕВСКИЙ, *История РКП(б): краткий очерк* (Ленинград: Рабочее издательство «Прибой», 1926).

В.П. БУЛДАКОВ

Метанарративы и микронарративы Русской революции: к переосмыслению сложившихся представлений

На протяжении 100 лет в описании и осмыслении революции 1917 г. в России доминировал политический метанарратив европейского типа. История революции писалась так, как ее понимали идеологи соответствующих политических партий (и социального темперамента): большевики, социал-демократы, либералы, взявшие на себя представительство определенных (скорее, воображаемых) классов – преимущественно пролетариата и буржуазии. Инерция такого подхода сохраняется по сей день.

В свое время подавляющее большинство партийных теоретиков исходило из модернизационной парадигмы: в ходе революции Россия должна, прежде всего, *политически* догнать Запад. Однако реальная траектория революции была иной: не «закономерное» восхождение по ступенькам прогресса, а циклический синергетический процесс.¹ Отсюда, кстати, доминирование эмоционального над рациональным *внутри* этого процесса.²

Совершив переворот, большевики стали убеждать, что они, якобы, выполнили историческую миссию – свершили «рабоче-крестьянскую» революцию, а затем по праву занялись строительством «социализма в одной, отдельно взятой стране». Выдающийся социолог Э. Геллнер как-то заметил, что коммунистические правители ухитрились сделать официальной государственной доктриной и основой социального порядка «не что иное, как саму *теорию истории*».³ Эта амальгама «науки» и мифа – поистине выдающееся государственное «достижение» КПСС. Нынешние представления о ре-

волюции – не только посткоммунистические, но и антикоммунистические – формируются в пределах этого дискурса.

В советском взгляде на революции примечателен еще один момент. Строго говоря, все *микрон*арративы революции выводились из марксистского – классового – *метан*арратива. Но при этом динамика революции выстраивалась по этатистской схеме: даже события на местах описывались по столичному сценарию. Трудно представить более сомнительную историографическую ситуацию.

Не следует думать, что такой подход к революции был сформирован искусственно – путем индоктринации исторической памяти и с помощью архивной политики. Свою роль сыграли и естественные потоки исторической памяти, связанные с воспоминаниями и легендами былых лет. При этом годы революции и Гражданской войны могли быть только «героическими» – иной интерпретации болезненного прошлого общество бы не выдержало. И этот образ революции до определенного времени был по-своему функционален, востребован этически и психологически.

Сегодня очевидно, что этот «метанарратив» не выдерживает критики: в СССР строилось нечто такое, что оказалось не более устойчивым, чем дореволюционная система. Как бы то ни было, из нынешнего состояния данного метанарратива можно сделать вывод: XX в. стал временем реализации архаичных утопий через «восстание масс», а отнюдь не эпохой «пролетарских революций». При всем размахе борьбы рабочих за свои социальные права ни они, ни политики, выступавшие от их имени, построить подлинный социализм не могли. Зато востребован *иллюзорный* метанарратив социализма, в чем в значительной степени помогли литература и искусство так называемого социалистического реализма.

Антикоммунистический метанарратив, оживившийся после падения СССР, также не сулит познавательных перспектив. Во-первых, в основе его лежит представление, что большевики действовали «не по правилам», игнорируя демократию западного образца. Во-вторых, победа большевиков связывается то ли с набором «случайностей», то ли с «роковыми» ошибками российской демократии, то ли с их «дьявольской» изворотливостью Ленина и его последователей. Подобный телеологизм также далек от реалий 1917 года.

В известном смысле коммунизм и антикоммунизм оказались «сиамскими близнецами», неспособными существовать в истории друг без друга. И не стоит думать, что их «хирургическое» разделение даст заметный познавательный эффект. До сих пор ни опыт их

«параллельного» существования, ни попытки взаимной притирки и мимикрии не принесли сколько-либо ощутимых результатов. Это отнюдь не удивительно с точки зрения эпистемологии.

Дело в том, что практически *вся* нынешняя историография русской революции по-прежнему исходит из парадигмы эпохи Просвещения: события 1917 г. представляются продолжением буржуазных революций прошлого с их императивами «свободы, равенства и братства». При всей гуманистической непреложности этих лозунгов, подобный подход означает, что в XXI веке революцию XX века оценивают по критериям XIX века. И это не случайно: европейский XX век считается «коротким», но воздействие его на глобальное сознание, напротив, стало непропорционально длительным – он предложил «удобную» мыслительную парадигму.

Благодаря наследию позапрошлого века, современный историк верит, что история развивается по своего рода восходящей экспоненте. С другой стороны, он считает, что этот процесс строится на рациональной основе. Наконец, он убежден, что это движение в будущее осуществляется по всеобщему закону. Такой образ мысли выглядит более чем странно на фоне тех потрясений, которые пережили Россия и мир в XX веке.

Спрашивается, почему в связи с этим не вспомнить о кризисном ритме всей российской истории⁴? В сущности, все события 1917 года определялись тем, что архаика российского системного кризиса срезонировала с новейшим европейским кризисом, породившим Первую мировую войну. Отсюда и масштабы разрушений, и последующее воздействие утопических идей на европейский мир. Увы, в наше время историки все еще пытаются анализировать русскую революцию, опираясь на ее самоописания или поверхностные сравнения с Великой французской революцией.

Примечательно, что в наши дни революцию вновь стали называть Великой, как видно, подсознательно оглядываясь на французский образец.⁵ Трудно сказать, как будет воспринято это сообществом историков. Нет сомнения, что революция 1917 года была великой по своим социальным потрясениям; громадное влияние она оказала и на ход мировой истории. Однако ценности этой революции в наше время вызывают сомнения.

Вероятно, стоит вспомнить и еще об одном историографическом недоразумении. Имеется в виду концентрация ряда исследователей на мнимых заговорах.⁶ Конечно, их опровергают,⁷ но спрос на «тайны» революции не ослабевает. Конспирологов подпирают, с

одной стороны, нынешние «политтехнологи»,⁸ убежденные, что всякая революция непременно направляется из того или иного центра,⁹ с другой, – любители поиска ее якобы «объективных» причин. Последние рассуждают удивительно прямолинейно: если, судя по бюрократической статистике, благосостояние населения росло, то и революции быть не могло. А поскольку этот образ мысли расходится с существованием революции *de facto*, значит, имела место не революция, а действия неких «злоумышленников». Удивительно, но данный «метанарратив» – в сущности, перверсия былых марксистских представлений об «обнищании» населения и «мудром» большевистском руководстве – встречает поддержку даже у профессиональных историков.

Сегодня мы оказались в ситуации своеобразного напластования различных *мета-* и *микронарративов* – как старых, так и подновленных. Как и сто лет назад, очередная волна информационной революции в полном смысле слова смела «разумные» основания того мира, который пыталась утвердить эпоха Просвещения. К тому же революцию и современность связывают застарелые «иллюзии прогресса»: вопреки тревожному дрожанию почвы под ногами, люди вновь ожидают прорыва «в светлое будущее». Тем временем госпожа Клио только и поджидает удачного момента, чтобы вновь наказать нерадивых учеников за незнание ее уроков.

Само начало XX в. ввергло весь европейский мир в круговорот иллюзий и мифов. Сегодня причины, породившие это явление, стали различимыми: демографический бум привел к «омоложению» всего европейского населения; промышленный прогресс убеждал во «всеисилии» человека; миграционные потоки снизили возможности управления общественными процессами; средства массовой информации резко усилили иллюзорный компонент сознания. Возросла агрессивность и непредсказуемость поведения масс. Учитывая эти моменты, распознать истоки старых мифов, а равно особенности их ревитализации, не столь сложно.

Люди верили и ждали, что успехи прогресса и демократии приведут в Европе к торжеству космополитизма, интернационализма и рационализма. Произошло нечто противоположное: XX век стал веком империализма, национализма и иррационализма. Все это стало заметно еще до Первой мировой войны, однако политики того времени – и правые и левые – не могли сдержать этот процесс. Понять происходящее в рамках ментальности эпохи Просвещения было невозможно, поэтому тогдашние решения шли не от науки, а от веры.

Социокультурные результаты информационной революции понятны лишь сегодня: «демократизация» *mass media* приводит к тому, что информационное пространство теряет привычную смысловую и ценностную упорядоченность – плоды человеческого гения опускаются на один уровень с архаичными пережитками и потаенными страхами. Действительно, впервые в истории кабинетные ученые заговорили не только с политиками, но и с «профанами». В мире виртуальных «очевидностей» российские верхи и низы получили возможность взглядеться друг в друга, проецируя на оппонента весь спектр (в том числе и своих) реальных и воображаемых пороков. Для страны, в которой элиты и социальные низы пребывали в разных культурных измерениях, это приобрело катастрофические последствия: прогрессистские иллюзии сомкнулись с эсхатологическими утопиями, плоды высокой культуры стали восприниматься как результат магических действий.

Наиболее заметно столкновение старых реалий и вызовов будущего стало перед Первой мировой войной. К этому времени в Европе были подавлены массовые рабочие выступления. Одновременно в социалистическом движении стала заметной патриотическая и милитаристская струя. Тем временем росли внутриевропейские противоречия, все чаще именуемые империалистическими. В Германии Военно-морская лига выступала с лозунгами: «Грядет война!», «Англия – наш враг!», «Англия собирается напасть на нас в 1911 году». Звучали и пангерманские заклинания: «Германии принадлежит мир!». ¹⁰ Старые лозунги II Интернационала, связанные с представлением, что «пролетарии не имеют отечества», смог взять на вооружение только большевизм.

Так называемое патриотическое сознание куда древнее чувств общечеловеческой или классовой общности. Тем более, в империи, более 80% населения которой принадлежало к крестьянскому сословию. В этих условиях ресентиментный протест (латентно накопившаяся неотреагированная агрессивность) легко можно было представить «классовой ненавистью», а отсутствие гражданского сознания выдать за интернационализм. На примере большевизма видно, что XX век стал веком не только грандиозных открытий, но и масштабных заблуждений.

Непонимание природы большевизма обернулось тем, что существующие метанарративы русской революции уперлись в когнитивный тупик. Это, в свою очередь, привело к нелепому представлению: если дореволюционная Россия уверенно двигалась «от

традиции к Модерну», то все то, что помешало этому победоносному шествию можно отнести к сфере конспирологии или даже демонологии. Поразительно, но в основе такого представления лежит вульгарно-марксистское представление об якобы обязательном для всех народов восхождении по ступенькам пресловутых общественно-экономических формаций. Если такое восхождение не состоялось, виноватыми оказываются «темные силы».

Так или иначе, в основе доминирующих ныне метанарративов революции лежат экономика и политика. Социальной психологии и, особенно, культуре отводится второстепенное место. Даже растущий интерес к историко-антропологическим сюжетам не может противостоять этой тенденции. Вероятно, это связано с поветрием постмодернизма, спутавшим карты сторонникам привычных научных школ в угоду безграничному субъективизму, опирающегося на *case-study* и *минисюжеты*. Разумеется, и они бесполезны: и как критика не оправдавших себя метанарративов, и в качестве фрагментов больших культурно-антропологических проектов.

Между тем, уже в дореволюционный период обозначился метанарратив, связанный с морально-правовым нигилизмом высших слоев.¹¹ Но этого часть историков не замечает. Вероятно, это связано с тем, что этатизированные представления о российской истории были подкреплены канонизацией Николая II. Имплицитно подразумевается, что погубить сакральную фигуру, а вместе с тем довести Россию до «краха» могли только изменники, которым, понятное дело, несть числа.

Сегодня очевидно, что подобные подходы к истории революции, исходящие из ложных теорий или политических эмоций (часто это одно и то же), не оправдали себя. Очевидно, что следует идти от естественных нарративов прошлого – от социокультурной, повседневной и бытовой истории, связанных психологией и воображением масс. На этот счет уже имеется фактологический задел. В любом случае следует отойти от так называемого презентизма – навязывания прошлому логики и психологии сегодняшних дней, не говоря уже о политических пристрастиях.

К примеру, историки никак не могут договориться относительно материального положения трудящихся в предреволюционной России – то ли оно ухудшалось, то ли было стабильным. Отсюда выводятся и их политические пристрастия. Между тем, первостепенное значение имеет не реальные доходы, а представления о том, какими они должны быть «по справедливости». К тому же, люди обычно

реагируют не на тренды, выявленные задним числом социологами, а на повседневные перепады своего благосостояния.

В условиях продолжающейся войны в сознании масс в России реактивировались и получили преобладание императивы неполитического (в европейском понимании) архаичного типа. Так, русский рабочий – это по преимуществу человек традиционного сельского общества, социальный маргинал, психика которого основательно деформирована городской средой. До революции в стихах пролетарских поэтов было заметно не только преобладание пессимистических эмоций, но и стремление к коллективному преодолению своего униженного положения.¹² Элементы бунта в рабочем движении по мере развития революции усиливались. После революции рабочие не случайно сопротивлялись «пролетарской» государственности.¹³ К сожалению, историки почти не учитывают этот момент. Между тем известно, уже в марте 1917 г. событиям был навязан имидж «пролетарской» революции. Конечно, так называемое пролетарское сознание вовсе не было социал-демократической выдумкой: над русской революцией действительно витала тень Маркса – по иронии судьбы человека далекого от идеализации России. После Февраля едва ли не все люди наемного труда принялись отождествлять себя с пролетариями.¹⁴ В июне 1917 г. даже крестьяне отдаленных местностей в своих наказах использовали социал-демократическую фразеологию.¹⁵ Обычно это была демонстративная риторика, которая подчас зависела от демагогических талантов того или иного агитатора. Как бы то ни было, пролетарий стал символическим «страдальцем» от старого режима. Отсюда «странные» идентификационные завихрения людей, далеких от пролетарской среды – даже полицейские готовы были причислить себя к наиболее угнетенному классу.

В значительной степени «организованность» русского пролетариата определялась остаточной общинной психологией вчерашних крестьян. Неслучайно от отраслевого профсоюзного движения порой звучали порицания в адрес спонтанных изолированных стачек, наносящих удар пролетарской солидарности. Несколько быстрее профсоюзов шло образование фабзавкомов. Однако они не только поставляли большевикам красногвардейцев, но и старались договориться с предпринимателями ради сохранения производства¹⁶. В любом случае ход событий определялись психологией *выживания*, а не идеями «пролетарского социализма». Недовольство властью не носило идейного характера. Пролетарские забастовки не случайно продолжались на протяжении всего нэповского периода.¹⁷

Крестьянство менее всего было подготовлено к представительной демократии европейского типа. В основе их устремлений лежала идея «черного передела». При этом казалось, что «всемогущая» власть может совершить это моментально. Поскольку этого не происходило, последовала «общинная революция», в ходе которой крестьяне в первую очередь постарались ликвидировать столыпинские новации.¹⁸ «Сложность» демократических институтов и процедур вызывала у крестьян растущее раздражение. Они *sui generis* не принимали всеобщего, равного, прямого, тайного избирательного права.¹⁹ По их мнению, «справедливое» решение – в соответствии с общинной традицией – могло быть достигнуто открытым единогласным голосованием. «В комитеты мы не верим. И даже в Учредительное собрание не верим», – писал в июле 1917 г. о настроениях масс писатель М. Пришвин.²⁰

Солдатское движение подчинялось логике разложения армии, не желающей воевать. Знаменитый приказ № 1 Петроградского Совета был скорее следствием, нежели причиной этого процесса. В условиях «войны машин против людей» в 1917 г. солдаты руководствовались этикой общинной деревни: вся армия должна быть перестроена соответственно их пожеланиям; «механической» (барской) дисциплины не должно быть; все тяготы войны следовало распределить «поровну». Поведение воюющего народа фактически стало определяться императивами «мирного» выживания. Трудно представить себе более нелепую ситуацию. Но еще более вздорным смотрится поведение правящих верхов, толкавших разложившуюся солдатскую массу в наступление, которому предписывалось стать победоносным.

В прошлом было принято считать, что революционность солдат неуклонно нарастала.²¹ На деле они далеко не везде и не всегда были столь непримиримы даже по отношению к офицерам.²² Усиливалось лишь нежелание оставаться в окопах. Немногим офицерам, сохранившим добрые отношения с солдатами, приходилось их уговаривать, что не могло продолжаться до бесконечности. Продолжать войну вопреки официальным заявлениям о стремлении к «миру без аннексий и контрибуций» было невозможно.

В этих условиях крикливые «миротворцы» закономерно брали верх.²³ Их влияние было заметно и в местных Советах. Постепенно солдаты (особенно отпускники или дезертиры) стали оказывать революционизирующее влияние на деревню. В конечном счете, радикальные представители солдатской массы стали главной опорой большевиков.

Влияние на российскую революционность традиционалистской архаики наиболее ощутимо в связи с так называемыми национальными революциями. В 1917 г. довольно скоро возродилось представление о «сепаратизме окраин». Оказалось, что официальный интернационализм не является противоядием против привычных имперских страхов. Хаос революции породил массовый этноизоляционизм – попытку отгородиться от «красной смуты» границами национальной автономии или государственности.²⁴

Русская революция представляла двуликим Янусом: внешне она выглядела продолжением демократических революций, а внутри себя несла «непонятные» черты разинщины и пугачевщины. Фактически события 1917 г. включали в себя целый спектр «революций»: рабочую, солдатскую, крестьянскую, «национальные», «церковные», не говоря уже о гендерных подвигах. Эти движения должны быть изучены на микроуровне (взгляд изнутри) с использованием соответствующих герменевтических практик. Только таким образом можно преодолеть давление мифов, рожденных недоумевающими политиками 100 лет назад.

События 1917 г. в России имели два истока: эндогенный революционный процесс, в котором преобладали силы социальной деструкции, лишь внешне окрашенные политическим телеологизмом, и европейский кризис с его империалистическими и социалистическими императивами. Очень немногие мыслители того времени это уловили. Тем не менее, прозрения прошлого и опыт социальных движений XX в. позволяют представить микронарративы 1917 г. частью системного кризиса империи, включавшего в себя этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, рекреационный компоненты.

Этот системный кризис тогдашние элиты пытались направить в модернизационном направлении, начав с преобразований политического ландшафта России. Между тем, массы, минуя демократические политические процедуры, требовали моментального разрешения насущных проблем: окончание войны и аграрный вопрос. Можно сказать, что в силу «справедливого» нетерпения масс модернизационный проект оказался отвергнут. Со своей стороны, большевики, пришедшие к власти на волне массового бунтарства, постарались убедить себя и народ, что теперь может быть совершен «исторический рывок» в социализм.

Сегодня очевидно, что стороны партии Ленина это был грандиозный самообман, который лег в основание ложного метанарратива

русской революции. В современных условиях от него предстоит отказаться. Опыт XX в. убеждает, что революция вовсе не обязательно означает восхождение к более высоким ступеням общественного развития. Она может оказаться попятным движением от Модерна, насильно и необдуманно навязываемого элитами, к более понятным традиционным ценностям. Русская революция неслучайно стала своеобразным состязанием утопий, обернувшихся «трагедией конструирующих невозможностей».²⁵

Возможно, для понимания фантомов и фантазмов русской революции в нашем столь же «непрозрачном» мире²⁶ требуется «другая организация разума и желаний, о которых мы можем пока мечтать».²⁷ Произошедшее было революцией «человеческой массы». Феномен такого рода бесполезно оценивать в рамках линейных причинно-следственных зависимостей. Величайший российско-мировой системный кризис протекал по принципам социальной синергетики, то есть по законам самовоссоздания «порядка из хаоса». А его конечный итог определялся малозаметным, но решающим фактором – психикой «маленького человека», вынужденного решать проблему выживания не согласно предписаниям ученых мужей, а заглядывая в «утраченное» прошлое.

Известно, что ни одна проблема не может быть решена на том уровне, на котором она возникла. Тем не менее, мы до сих пор воображаемое времен революции мысленно переводим в сферу реального, а затем на основании такого произвольного подлога строим «универсальные» социологические теории. При этом заметно, что количество теорий увеличивается по мере удаления от реальности.

Были времена, тогда история представляла историей античных богов. Ее сменила европейская «история королей», за которой последовала «история политиков». В противовес последней возникла социальная история, все более основательно подпитываемая культурной антропологией. В настоящее время происходит становление «истории субъективности»²⁸ – истории становления человеческой личности в постреволюционный период.

Поэтому куда ближе к реальному метанарративу революционного процесса оказывается агрегированный поток слухов, исходящих от политически неразвитых слоев. Социологи обычно связывает интенсификацию слухов с недостатком информации о животрепещущих вопросах. Но, вместе с тем, всякий слух сопряжен с реакцией глубинных культурных архетипов на «непонятные» события. Соответственно исследование слухов позволяет разглядеть подлинное «глубинное» течение революции.

Слухи 1917 года словно опережали политические события. И этому есть свое объяснение. Чем более непредсказуемым кажется обыденность, тем основательнее носители традиционного сознания обращаются к опыту прошлого, пытаясь найти там некое приемлемое объяснение происходящему. А образованным людям не остается ничего иного, как списывать «нелепости» массового сознания на действия «темных сил».

Слухи 1917 г. имели два основных ориентира: образы власти и поиск «врага». ²⁹ Представления о власти всегда амбивалентны, а враг «многолик». Все это причудливо перемешивалось. Слухи подсаживали, чего не должно было быть. В этом психоментальном поле и шел поиск «выхода» через «свою» власть. Вовсе не случайно после июльского кризиса все ожидали следующего выступления большевиков. С помощью слухов массовое сознание словно готовилось к приходу «настоящей» власти. Напротив, существующие политические «верхи» словно исторгались из властного поля. Большевикам оставалось только прийти на готовое.

На протяжении всего 1917 года происходила своего рода ротация не только «вождей», но и «врагов». Вопреки усилиям элит, на роль последних выдвигался всякий «чужой», «негодный» и неугодный. И хотя политики, особенно левые, пытались действовать с интернациональных позиций, в массовом сознании враг неуклонно «этнизировался». ³⁰ Все это становится понятным, если смотреть на революцию как на стихийный синергетический процесс.

Метанарратив революции, исходящих от носителей традиционного сознания, образованные люди нашего времени упорно игнорируют. Собственные теории для них ближе и понятнее, нежели «нелепости» ушедших веков. Так складывается ситуация, когда историческое сознание начинает бессильно блуждать в потемках всевозможных мифов и «универсалистских» доктрин. Между тем и те, и другие – всего лишь химеры воображения «необразованных» и «слишком образованных» людей.

Основу исторического сознания народа составляет миф. В той мере, в какой он перестает удовлетворять потребностям исторического оптимизма, вперед выдвигается утопия. Но когда мифические и утопические компоненты массового сознания приходят в равновесие, то радоваться не стоит – на народ и власть ложится печать застоя, вновь провоцируя поиск революционных путей «прогресса». ³¹ В общем, цикличность развития лежала и лежит в основе исторического существования человека.

Человечество, не случайно, живет иллюзиями и мечтами. Между тем, подлинный прогресс может быть только эволюционным, ибо единственной реальной его основой является совершенствование самого человека. При этом человек должен сам превратиться в участника прогресса. Все остальное – вечный «революционно-этатистский» соблазн и самообман.

Примечания

¹ См.: В.П. Булдаков, «Революция как проблема российской истории», *Вопросы философии* по. 1 (2009).

² См.: В.П. Булдаков, «Революция и эмоции: К реинтерпретации политических событий 1914–1917 гг.», в: *Эпоха войн и революций: 1914–1922: Материалы международного коллоквиума (Санкт-Петербург, 9–11 июня 1916 года)* (СПб.: Нестор-История, 2017); В.П. Булдаков, «Революция, эмоции, политики: К переосмыслению событий 1914–1917 гг.», *Политическая концептология. Ростов-на-Дону* по. 2 (2017).

³ E. GELLNER, “Foreword”, in E. LOONE, *Soviet Marxism and Analytical Philosophies of History* (London, New-York: W W Norton & Company Incorporated, 1992), VIII.

⁴ См.: А. АХИЗЕР, И. КЛЯМКИН, И. ЯКОВЕНКО, *История России: конец или новое начало?* (Москва: Новое издательство, 2005); В.П. Булдаков, *Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления* (Москва: Издательство «Политическая энциклопедия», 2007).

⁵ См.: А.В. ШУБИН, *Махно и его время. О Великой революции и Гражданской войне 1917–1922 гг. в России и на Украине* (Москва: ЛИБРОКОМ, 2013); А.В. ШУБИН, *Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года* (Москва: Родина Медиа, 2014); В. ИДЗИНСКИЙ, *Движущие силы и сущность Великой российской революции* (Москва: ЭРА, 2017); Ю.А. ПЕТРОВ, «Россия накануне Великой революции 1917 г.: современные историографические тенденции», *Российская история*, по. 2 (2017); Т.А. ФИЛИППОВА, «Братание идеи со штыком. Политико-культурные смыслы Великой российской революции», *Российская история* по. 2 (2017).

⁶ См.: П.В. МАКАРЕНКО, «Германский фактор в Октябрьской революции 1917 г.», *Вопросы истории* по. 5 (2008); В.И. КОЗОДОЙ, *Александр Иванович Гучков и Великая русская революция* (Новосибирск: НУ ВПО Сибирская академия управления и массовых коммуникаций, 2015).

⁷ См.: Г.Л. СОБОЛЕВ, *Тайна «немецкого золота»* (СПб.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002); Г.Л. СОБОЛЕВ, *Русская революция и «немецкое золото»* (СПб.: Нева, 2002); В.И. СТАРЦЕВ, *Немецкие деньги и русская революция. Непубликованный роман Фердинанда Оссендовского*, 3-е изд. (СПб.: Крига, 2006); А.И. КОЛГАНОВ, «Миф о “немецком золоте”», *Альтернативы*, по. 2 (2006); С.С. ПОПОВА, *Между двумя переворотами. Документальные свидетельства о событиях лета 1917 г. в Петрограде* (Москва: Ладомир, 2010).

⁸ Б. КАГАРЛИЦКИЙ, «Наваждение. Симптомы одной болезни: конспирология и политехнология», *Русская жизнь*, по. 23 (2008 / 6).

⁹ Ф.А. ГАЙДА, *Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.)* (Москва: РОССПЭН, 2003); Ф.А. ГАЙДА, *Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917)* (Москва: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016).

¹⁰ Б. ТАКМАН, *Европа перед катастрофой. 1890–1914* (Москва: АСТ, 2016), 561.

¹¹ См.: В.П. Булдаков, «Пир во время чумы? Деморализация российского общества в предреволюционную эпоху: причины и следствия (1914–1916 годы)», *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история, филология*. Т. 13. Вып. 8: История (2014), 101-111; В.П. Булдаков, «Мировая война и деморализация “Святой Руси”», в: *Дальний Восток России накануне и в годы Первой мировой войны* (Владивосток, 2016); В.В. КАМИНСКИЙ, В.А. ВЕРЕМЕНКО, «Дворянская семья Барановских на сломе эпох», *Новейшая история России*, по. 17 (2016 / 3), 76.

¹² В.П. Булдаков, «Поэтические завихрения “Красной смуты”, 1917 – 1920», *Историк и Художник. Сборник воспоминаний и статей памяти профессора Сергея Сергеевича Секиринского* (Москва: Институт российской истории, 2013), 367-393.

¹³ См.: Д.О. ЧУРАКОВ, *Бунтующие пролетарии: рабочий протест в Советской России (1917–1930-е гг.)* (Москва: Вече, 2007); Ю.В. АКСЮТИН, *Послеоктябрьское похмелье гегемона: Рабочий класс и политические партии России в первый год Советской власти (ноябрь 1917 – конец 1918 гг.)* (Москва: МГОУ, 2013).

¹⁴ В. Булдаков, А. ИВАНОВ, Н. ИВАНОВА, В. ШЕЛОХАЕВ, *Борьба за массы в трех революциях в России: Пролетариат и средние городские слои* (Москва: Мысль, 1981), 71-72, 88, 221, 225-226.

¹⁵ S. WADCOCK, *Politics and the People in Revolutionary Russia: A Provincial History* (Cambridge, New-York: Cambridge University Press, 2007), 190.

¹⁶ В.П. Булдаков, Т.Г. ЛЕОНТЬЕВА, *Война, породившая революцию* (Москва: Новый хронограф, 2015), 446, 522-523, 531, 629-630.

¹⁷ В.П. Булдаков, *Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930 гг.* (Москва: Российская политическая энциклопедия, 2012), 210, 215, 226, 229.

¹⁸ См.: Д.И. ЛЮКШИН, *Вторая русская смута: крестьянское измерение* (Москва: Агро ХХ, 2006).

¹⁹ О.А. ГАВРИЛОВА, *Земство и революция. 1917 год в Петроградской губернии* (СПб.: СПбГУ, 2009), 56.

²⁰ М.М. ПРИШВИН, *Дневники* (Москва: Правда, 1990), 82.

²¹ См.: В.И. МИЛЛЕР, *Солдатские комитеты русской армии в 1917 г. (Возникновение и начальный период деятельности)* (Москва: Наука, 1974).

²² Не случайно известный американский историк А. Уайлдман признал, что некоторые его прежние представления о солдатской революционности были не-

сколько наивными в методологическом отношении. См.: А. WILDMAN, "From the editor", *The Russian Review*, vol. 53, no. 2. (April 1994): VI.

²³ Д.С. АНИН, *Революция 1917 года глазами ее руководителей* (Roma: Edizioni Aurora, 1971), 194.

²⁴ В.П. БУЛДАКОВ, *Хаос и этнос. Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ* (Москва: Новый хронограф, 2010), 331, 399, 474, 1024.

²⁵ Э. АКТОН, У.Г. РОЗЕНБЕРГ, В.Ю. ЧЕРНЯЕВ (сост.), *Критический словарь Русской революции: 1914–1921* (СПб.: Нестор-История, 2014), 48.

²⁶ С. ЖИЖЕК, *13 опытов о Ленине* (Москва: Издательство «Ад Маргинем», 2003), 11, 18.

²⁷ Ю. ХАБЕРМАС, *Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций* (Москва: Издательство «Весь Мир», 2008), 296.

²⁸ См.: К. УНЛ, " 'Oppressed and Brainwashed Soviet Subject' or 'Prisoners of the Soviet Self?' Recent Conceptions of Soviet Subjectivity", *Bylye Gody* 2013, no 28 (2013 / 2), 4-10.

²⁹ См.: В.Б. АКСЕНОВ, «Слухи и страхи петроградцев и москвичей в 1917 г.», в: *Социальная история: Ежегодник. 2004* (Москва: Российская политическая энциклопедия, 2005); В.Б. АКСЕНОВ, «Война и власть в массовом сознании крестьян в 1914–1917 годах: Архетипы, слухи, интерпретации», *Российская история*, no. 4 (2012); Б.И. КОЛОНИЦКИЙ, «Слухи об императрице Александре Фёдоровне и массовая культура (1914–1917)», в: *Вестник истории, литературы искусства*. Т. 1 (Москва: Наука, 2005).

³⁰ В.П. БУЛДАКОВ, *Хаос и этнос*, 940, 1024, 1026, 1055, 1072.

³¹ В.П. БУЛДАКОВ, «Модернизация и Россия. Между прогрессом и застоём?», *Вопросы философии*, no 12 (2015), 15-26.

**ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО**



**ECONOMY, POLITICS
SOCIETY**

ANDRÉ MOMMEN

Lenin, Bolshevism, Menshevism: the Revolution of 1917

*“Yes, the victory of the revolution was irrevocable!
I remembered the soldiers tearing down the portrait of
Nicholas that morning. Nicholas was still free and
calling himself Tsar. But where was Tsarism?”*

N.N. SUKHANOV

Introduction

One of the main features of the Russian Revolution of February 1917 was the speed and comprehensive nature of its outburst. After a few days of popular protests, the Romanov dynasty was replaced by a Provisional Government. Impressive was the implosion of Tsarist power structures in the whole country. Tsarist authorities were deposed in the provinces where power was taken over by committees of citizens, workers and soldiers. During the revolutionary events militants of the Socialist Revolutionaries', the Social Democrats' and the Constitutional Democrats' parties reappeared and demanded democratic and social reforms. These parties presented themselves as the leading revolutionary forces of workers, peasants and liberal bourgeoisie contesting the hegemony of the estate owners.

The second revolution in October 1917, with the Bolshevik seizure of power inspired bourgeois historians to develop the thesis that the October Revolution had been a (military) coup executed by a tiny minority of armed workers and soldiers. Lenin's revolutionary take-over was also depicted as a foolish *Blanquist* coup d'état, the Social Democrats in the western world condemned. Hence, the common notion could spread that the Bolsheviks came to power after having duped a politically unsophisti-

cated populace through a Machiavellian conspiracy. Reality is more complex. The urban masses played in both revolutions a major role. But the Bolsheviks were many times bypassed by the workers of the large firms and the poor peasants parcelling out the estates of the big landowners.

The Russian Revolution

The 1917 February Revolution began in Petrograd in a cascade of mass strikes.¹ Early in the morning of 23 February, International Women's Day, women from several textile factories in the Vyborg district left their looms for a street demonstration. Soon, they also mobilised the metal workers of the factories in the neighbourhood. By noon, about 50,000 workers had already joined the mass manifestation which spread rapidly in other districts of the city. By Saturday 25 February the city was entirely lamed by a general strike. On 28 February the Tsar, who could no longer contain the revolt, resigned. A provisional government was formed by a liberal zemstvo member, Prince G. E. Lvov.²

Main-stream historiography has highlighted the February / March 1917 events in Petrograd, but neglected to analyse the events in the provinces and how the revolutionaries could conquer the masses. This happened by putting forth proposals, if not solutions, for the social and economic problems of the workers. Hungry people were receptive to this agitation. Because their lives had been ripped apart by a seemingly endless and meaningless war, workers responded favourably to anybody promising a way out of their misery. Sometimes, historians argued that the revolutionary events in Petrograd were copied by the urban masses in the provincial towns. But the revolutionary events in the provincial towns had their specific origins and causes and were not necessarily a copy of the events in Petrograd. Due to the railway and telegraph networks, messages about the political events in the capital could reach in no time the most remote parts of the Russian Empire. Local revolutionaries took over power in the provincial cities, usually with the help of a rebellious local garrison. These local revolutionaries were not necessary radicalised Socialists, but in many cases Liberals representing the middle classes. They established administrative structures in order to guarantee "order" in the city. The Provisional Government recognized this situation and replaced the Tsarist Governors by Commissars. In the villages the revolutionary events followed another class divide. Here the poor and landless peasants started spontaneously parcelling out the large estates abandoned by their owners. These peasants became the social backbone of the Socialist-Revolutionary Party (SR).

Political historians also paid much attention to the origins of Bolshevism and to the personality of Lenin who was the architect of the Russian Revolution of October 1917. But what was Lenin's real role in the October Revolution? Of course, Lenin was the person who decided to go ahead, but Trotsky attested later that Lenin had been astonished when the Bolsheviks could take over power without heavy fights.³ How could a small group of revolutionaries conquer power in the largest state of Europe?

Two major hypotheses about the origins and success of Bolshevism were formulated.

The first hypothesis refers to the backwardness of the country's economy due to resistance of the big landowners and the Tsarist bureaucracy to capitalist development. The middle class was too weak to carry out the necessary economic and political reforms, while the Russian industrialists and merchants were still trusting the Tsarist bureaucracy for subsidies and protection. Meanwhile, the landowners were mainly interested in preserving the traditional agricultural structures with its medieval communal system. This ruled out the possibility of development along the lines of Western democracy. Some authors, like Nikolay S. Timasheff, have argued that Russia could have opted for the British or German (Prussian) road to a modern capitalist society.⁴ But in this period Russia's economic and political development was already largely determined by the inflow of foreign capital financing heavy industry, railways and most armament industries. This made structural reforms in agriculture less urgent.

With the growth of manufacturing, however, an industrial proletariat arose, drawn from the peasantry, and badly exploited by local and foreign capitalists. Food produced by the villages should have provisioned the workers in the cities. This did not sufficiently happen. The village population had also increased, while the size of individual holdings had contracted, and productivity had decreased. Hence, the villages were barely able to feed themselves.⁵ Finally, the low living standard of the population in the cities hindered the development of a wide domestic market for Russian manufactured goods, which created an alarming economic stagnation. In addition, high prices artificially maintained by monopolies and high tariffs, forbade any perspective on economic growth. The February Revolution was thus chiefly the result of a difficulty to solve basic social and political contradictions.

The second hypothesis is defended by Marxists, who also stress the backwardness of the Tsarist regime that rested upon a quasi-feudal landed

nobility. The entrepreneurial class was politically too weak to contest Tsarist power because many industrialists were depending on governmental protection and subsidies. Even the larger Russian industries had the Tsarist government as their principal customer. Imperialism played its role in this process. Many Russian enterprises were, in addition, directly or indirectly owned by foreign capital. By 1900, Russia was depending on the inflow of British, German, French and Belgian capital and foreign loans, which also guaranteed the survival of Tsarism.⁶ Meanwhile, the Russian economy had already been fully integrated into the capitalist world economy and become a major exporter of raw materials, timber and cereals.

An alliance of industrialists and workers for a democratic society was improbable. The Russian bourgeoisie needed the repressive Tsarist states against the rebellious unskilled workers concentrated in her large factories. On the other hand, this mass could be used by the Social Democrats to extort political, social and economic reforms from Tsarism and industrialists. For Lenin, it was a matter of going ahead of the spontaneously revolting and striking industrial workers in their struggle for better working conditions and higher wages.⁷ But Tsarism violently repressed the nascent labour movement. Unions were not tolerated. Workers were arrested in case of strikes. As a result of these conflicts Socialist intellectuals could find a common ground with these workers to fight the Tsar and the capitalists.

Lenin and Martov

By then, a transformation of Marxism from a speculative theory of the intelligentsia into a doctrine of the revolutionary working-class movement occurred. Lenin, whose political career was in the beginning intimately linked to Peter Struve's,⁸ saw in Marxism not necessarily a sociology, but a revolutionary theory for the working class. The development of capitalism in Russia had made the working class, and not the peasantry, the only revolutionary force able to cope with Tsarism and capitalism. The creation of a nation-wide and effective socialist vanguard party was Lenin's answer to the penetration of capitalism in Russia. But as long as the repressive situation in Russia persisted, Lenin's Russian Social Democratic Workers Party, founded in 1898, remained a small and secret society separated from the proletariat, necessarily operating from outside Russia. According to Lenin, the task of overthrowing Tsarism and bourgeois rule could no longer be left to people only sympathizing with Social Democracy. Lenin, who believed in a highly centralized vanguard

party of professional revolutionaries, devoting their whole life to the revolutionary cause. This opinion was opposed by Martov and his faction of Mensheviks.

In Martov's opinion, it was of crucial importance to be connected as socialist party to the real workers' movement, i.e. the trade unions and the socialist debating clubs. Hence, he defined a party member as anyone who acknowledged the party programme and gave the party regular assistance under the guidance of one of its organizations. For Lenin, a party member was a person who acknowledged the party programme and supported the Party in one of the party organizations. Lenin also argued that the revolutionary party had to be a vanguard of class struggle, selecting its members and appointing them on responsible functions. Hence, proletarian political power should have to be concentrated in the hands of a small number of revolutionary leaders. The difference between the two definitions seems "rather thin", Lars T. Lih concluded.⁹

"Thin"? Most historians of the Russian Revolution later argue that in 1903 the breach between Bolshevism and Menshevism was already deep, because the debates knew violent phases with personal recriminations. Marcel Liebman concluded that "for all, the differences between the two factions were real enough; they reflected two fundamentally opposed conceptions of the nature of political and revolutionary action".¹⁰ Liebman nonetheless conceded that Lenin's short treatise *What is to be done?* in 1902 had been enthusiastically received by most Mensheviks. Their acclaim was, however, "purely superficial, and in any case full of reservations".¹¹ In his *Le léninisme sous Lénine*, Liebman stressed the fact that this idea of a revolutionary party was at the very origins of Lenin's break with Martov.¹² But how to explain that at the Second Congress of 1903, Martov's proposals were accepted with 28 votes against 22 and 1 abstention?¹³

Although the Russian Social Democratic Labour Party had held its first party congress in 1898, unity was only virtual and mainly based on Marxist credentials. Until the Second Party Congress (Brussels) in 1903, the Party only existed in the form of a scattered discussion group, tied together by a common Marxist belief. Most energy was devoted to attempts to convince each other of the correctness of a particular shading of Marxist theory, then to plan for overthrowing the Tsarist regime. Notwithstanding all these differences and difficulties, Lenin's policy was to unite all factions under *his* direction. Lenin argued that it was a matter of fact that no revolutionary organization had ever practised broad party democracy which would simply facilitate the work of police functionaries.¹⁴

Although Lenin was a doctrinaire, he never would omit practical necessities or forget concrete situations. Hence, Lenin also favoured decentralization, but only insofar as it implied that the Party should have the right to bring various questions to the attention of the higher echelons of the Party. This provision was, however, not included in the Party statutes for fear of facilitating police infiltration. It was only in the aftermath of "Bloody Sunday" leading to the Revolution of 1905 that major dissimilarities between the two factions concerning the role of the revolutionary party would appear. In an article published in *Iskra*, Martov argued that the Party had to intensify propaganda among the masses and that the *conspirational* organization should be adapted to the tasks of the technical leadership of the uprising. He concluded: "Hence, our task at the given moment is not so much the 'organization' of the people's revolution, as its 'unloosing' ".¹⁵ Lenin's reaction to Martov's article was concise and clear: "The separation of the 'technical' side of the revolution from the political side of the revolution is the greatest twaddle".¹⁶

Lenin, however, knew that without mass support his project of waging a successful uprising would necessarily fail. Looking for working-class support by opening the Party to the proletarian masses was thus a question of practical urgency. But, on the other hand, Lenin still distrusted the spontaneous development of an independent trade-union movement. Trade-unionism meant for him the ideological enslavement of the workers to the bourgeoisie. Hence, the task of Social Democracy was to combat spontaneity and to divert the labour movement from its spontaneous, trade-unionist striving to go under the wing of the bourgeoisie. It was thus a matter of bringing the unions under the leadership of Social Democracy.

The situation rapidly changed with the outbreak of the Revolution of 1905. Well-organised political parties could now openly define their own political goals, primarily the creation of a parliamentary regime. These political parties promoted themselves as "modernizers" pressing for thoroughgoing political reforms. Their political ideas rapidly reached the provincial towns and even the villages. The liberals of the Kadet Party played a major role in this process. They pleaded for a parliamentary system based on responsible government and the Rule of Law. The Socialist Revolutionaries (or Narodniks) and the Social Democrats of Lenin and Martov were more interested in a social revolution liberating the peasantry and the workers from feudalism and capitalism.

During the short period of temporary freedom after the Revolution of 1905, Lenin offered a resolution to the Third Party Congress in April

1905, in which he was strongly urging that the elective principle receive greater application within the Party. However, he also asserted that it could be applied much more widely than it was under the conditions then existing. Although the resolution was not carried at the Third Congress, a closely similar one was adopted as the official Party position at the Party Conference in Tammerfors in December 1905.¹⁷

The Tsar had meanwhile legalized many formally illegal working-class institutions, trade unions above all. Hence, the *conspirational* party was no longer the only way the working class could organise its struggle. This inspired Mensheviks and Bolsheviks to forget their differences when preparing the Party Congress of April 1906. Lenin's hope was nonetheless destroyed by the Mensheviks who wanted to participate in the elections for the first State Duma.¹⁸ The question would divide Bolsheviks and Mensheviks fundamentally. In fact, the Mensheviks looked to the liberal bourgeoisie organised in the Kadet party in order to install a constitutional republic. The Mensheviks also hoped that the Russian labour movement would fully Europeanise itself, becoming legal and open just like the German model of the SPD.¹⁹ The Mensheviks saw in the State Duma the first step to a constitutional state laying the ground for a modern workers' party European style, which Karl Kautsky had already defined in his book *The Class Struggle* from 1892. Hence, the Mensheviks advocated participation in elections to the Duma the Tsar had announced in his *October Manifesto* of 1905.²⁰

Lenin fiercely opposed this tactic as harmful.

Lenin wrote: "The Mensheviks argue that Social Democrats in all countries take part in parliaments, even in bad parliaments. This argument is false. We, too, will take full part in a parliament. But the Mensheviks themselves realise that the Duma is not a parliament; they themselves refuse to go into it. They say that the masses of the workers are weary and wish to rest by participating in legal elections. But the Party cannot and must not base its tactics on the temporary weariness of certain centres. This would be fatal for the Party; for weary workers would choose non-party delegates, who would merely discredit the Party. We must perseveringly and patiently pursue our work, husbanding the strength of the proletariat, but not ceasing to believe that this depression is only temporary, that the workers will rise still more powerfully and more boldly than they did in Moscow, and that they will sweep away the tsar's Duma. Let the unenlightened and ignorant go into the Duma – the Party will not bind its fate with theirs. The Party will say to them: your own practical experience will confirm our political forecasts. Your own experience will

reveal to you the utter fraud the Duma is; and you will then turn back to the Party, having realised the correctness of its counsel".²¹

Finally, Lenin, who wanted to boycott the first Duma, suddenly changed his mind. He called for participation, aligning himself on this point with the Mensheviks. But he did not share the Mensheviks' optimistic view of the political significance of such a participation.²² The fact was also that the Trudoviki could elect working-class candidates and that in the Caucasus several Social Democrats would stand for a seat. This must have incited Lenin to change his mind. Hence, the Unification Congress of April 1906 decided to participate and to "exploit methodically the conflicts arising between the government and the Duma".²³ The First Duma, having become a political reality, convened in the Tauride Palace on 27 April 1906. But Lenin had also changed his mind because a new agrarian policy had been announced by the government.²⁴ That governmental plan was designed to create a class of wealthy *kulaki* at the costs of the poor peasants. But in July 1906, the Tsar already dissolved the First Duma and fixed 20 February 1907 as the date for the convocation of a newly elected Second Duma.

The Stolypin reforms

The Land Statute which regulated the emancipation of 1861, had recognized the right of the peasantry to an area of land representing the normal holding of a peasant. The peasants did not get that land gratis. It was to be redeemed by a voluntary agreement with the landowners according to the law. Moreover, 325,000 ex-serfs had received no land at all. Although the area of allotment land (owned by the commune) had risen from 116,720, 996 desiatins in 1877 to 138,767, 587 desiatins in 1905, but this did not suffice to offset the population increase in the villages. In European Russia, 30 percent of the peasants held allotments which were too small to feed them. Hence, the redemption payments became a burden far too heavy for the average peasant to bear. Already in 1881, the government was forced to reduce payments and to remove the collective liability of the commune for these payments in 1903. The rapid growth of the population, however, was not accompanied by agricultural progress and growing productivity. The community system was a bar to progress. It kept the yield per desiatin comparatively low. The acceleration of industrial development resulted in the creation of large factories boosting the demand for agricultural products. With the extension of the railway system began the commercialization of farming of which the big landowners were the main beneficiaries.

In 1882, Minister of Finance Nikolai K. Bunge founded the Peasant Land Bank to assist and control the peasantry in buying land offered for sale.²⁵ Under Bunge's successor, the financial system was changed, and operations were restricted. In 1882–1892, about 37 percent of all private lands bought by the peasantry had passed through the Land Bank. In 1895, Minister of Finance Count Sergey Witte brought about changes by allowing the Land Bank to engage in land operations. The Bank's credit was now enlarged with the aim to create a well-to-do middle-class peasantry. The Land Bank financed about 75 percent of all the land purchased by the peasantry. The Trans-Siberian Railway was also financing the colonization movement towards Siberia. The law of 6 June 1904 replaced the old law of 1889 and made emigration to Siberia its corner stone. Though about 1,560,905 persons resettled in the period 1896–1907, peasant misery did not decline. Hence, the colonization movement only offered fertile soil to social discontent. The situation of the Russian peasantry was alarming. In 1905, the peasantry of European Russia, forming 84.1 percent of the population, held only 35.1 percent of the land. It was clear that the peasantry would turn, someday, to violence against the big landowners.

Well aware of this problem and with the violent events of 1905 still in mind, Prime Minister Pyotr Stolypin (1906–1911) was now looking for a structural solution. Just like Count Witte, he was thinking of creating a strong, independent, peasantry (“ставка на сильных”) serving as a bulwark against rioting poor peasants and rebellious workers. Stolypin's purpose was to speed up the process of enclosure and the creation of larger and compact holdings. On 9 November 1906, he promulgated his famous land law aiding the poor peasantry purchasing allotments or making improvements. Lands withdrawn from the commune could be claimed in a single plot.²⁶

Stolypin's reforms were, however, totally insufficient to satisfy the demands of the peasantry. Meanwhile, the landowners concocted against him in order to preserve the existing order. Through necessity and conviction, he could not violate the property rights of the landlords. Hence, the opposition parties – Kadets, Narodniks, and Socialists –, seeing that Stolypin's position could be undermined, were determined to replace the Stolypin law by a more equitable system. The Social Democrats feared the creation of a strong yeomanry, which would imperil the cause of the revolution. They demanded the confiscation of all large estates without redemption. How to implement such a radical reform? In 1906, the Party Congress at Stockholm had decided in favour of a “municipalization”

instead of a “nationalization” of all confiscated land. But the still divided Socialists lacked strong allies in the Second Duma for their reforms. The Bolshevik fraction opposed the rather timid reform plans submitted by the Kadets and the Right fractions. In the meantime, they attacked the Kadets as supporters of landownership, because an alliance with the Narodniks was more advantageous, though the Narodnik programme had been disqualified by Lenin as a “utopian” mirage. Finally, the Social-Democratic Duma fraction named the Menshevik I.G. Tsreteli, I.P. Ozol and the Bolshevik G.A. Aleksinskii as their three official orators in the Duma.

Stolypin refused to consider thoroughgoing reform proposals from the opposition. He argued that the principle of obligatory expropriation would lead – ultimately – to nationalization, because the peasants would demand all of the well-cultivated lands rather than to emigrate to Siberia. The whole opposition remained in direct disagreement with the basic principles of Stolypin’s land reforms. But Stolypin noticed that the opposition was deeply divided on the necessity of the expropriation of large estates and on how to manage the agrarian reforms. Liberals, Narodniks and Social Democrats advocated a separate bill. The Social Democrats, however, took the most radical stance and demanded obligatory expropriation of land which would be given to democratically elected local organs from which the population could rent land. The Social Democrats attacked the government and then the Kadets for their presumed political dishonesty and their betrayal of the peasantry. Hence, the united front of the opposition front against Stolypin had fallen apart and would hasten the ultimate fate of the Second Duma. On 9 July 1907, Stolypin dissolved his “incompetent” Duma without prior warning. Then, Stolypin announced the election of a Third Duma, this time mainly composed of representatives from the property-owning classes.

Parliamentary inexperience and propagandistic aims may explain the impotency of the Second Duma. Of the numerous parties, no single one had been able – or willing – to make immediate compromises on secondary matters in order to gain ultimate ends. The Narodniks were always wavering between legislation and revolution. The Kadets were unable to make a durable reformist coalition with the peasant deputies and the internally divided Social Democrats.²⁷ Though the Social Democrats had formed a single fraction in the Duma, they could not overcome the differences between Bolsheviks and Mensheviks.²⁸ Especially with regard to tactics vis-à-vis the Government and the liberal “bourgeois” politicians, differences remained significant. Though both fractions were in

favour of a thoroughgoing democratization of the state and an expropriation of the landed aristocracy, the Mensheviks remained more gradualist, while the Bolsheviks thought that the implosion of the Tsarist regime was imminent. The Bolsheviks counted on the unskilled workers having freshly arrived from the countryside, while the Mensheviks counted on the skilled and better paid workers in small shops, the metal industry and the (public) services (post, telegraph, railroads). These “aristocratic workers” were more interested in “workers’ control”, than in a socialist revolution. The printers, for instance, opposed a proletarian take-over and adhered to the idea that capitalism could continue for the foreseeable future.²⁹ They were reformists and thought that parliamentarism could create a legal framework for the unions and for collective bargaining with the employers. Hence, the rank-and-file of most of the trade unions seemed to be in favour of the Menshevik positions.³⁰ The Mensheviks created in the Duma fraction a committee they dubbed the “railway section” for the purpose of gathering information on bureaucratic oppression of railway workers. To this committee the fraction appointed four railway workers, all Mensheviks. The Mensheviks, when joining the socialist-liberal Government in May 1917, obtained for Irakli Tsereteli the portfolio of Communications (Post, Telegraph).³¹

Crisis

In the summer of 1907 the Social Democratic Party was in a deplorable state of disarray. Lenin had not succeeded in taking control of the Central Committee. The Bolsheviks could only outvote the Mensheviks and their Bundist allies with the aid of the Poles and Lets. Political pressure had become unbearable. The Party was suffering mass destruction and was reduced to a skeleton in several industrial towns (Kazan, Kursk and Tambov). Many local militants were arrested or banned on charges of maintaining a secret organization and an arsenal.

The basic differences between Lenin and Martov had remained essentially the same as in 1903. The ultimate goal of both was still the proletarian revolution, but the Menshevik could not imagine an imminent proletarian revolution, certainly not after the dissolution of the Second Duma. For them, the Party had first to create the political conditions for such a victory within the framework of a constitutional regime. The Mensheviks rejected the idea of maintaining an underground resistance to the Stolypin administration and proposed to “liquidate” these underground activities and to call for a broader, open workers’ party, operating legally and peacefully. Premature strikes and extreme opposition should be

avoided. But Lenin fiercely opposed the ideas of the “liquidators”. Meanwhile, both fractions also clashed in the areas of “partisan” (terrorist) struggle, trade unions, participation in the legal press and instructions for the future members of the Third Duma.

Lenin opted for a clash with the regime and argued that - under certain conditions - the Party had to resort to “expropriation” of the rich. He insisted that these “partisan” activities had to be guided by the Party. The Fourth and Fifth Party Congresses, however, ordered to disband the fighting units. Lenin’s arguments were qualified as “anarchistic”. Meanwhile, a raid on a treasury wagon with 250,000 rubles in Tiflis indicated that in some southern borderlands of the Russian Empire party militants radicalised. Furthermore, the option of terrorism was still alive. Bolsheviki and Mensheviki could now agree on calling for stronger ties with the trade unions. The Mensheviki insisted on political neutrality in order to avoid internal strives in the unions and repression. Meanwhile, some Bolsheviki decided to create their own illegal unions.

The question of participation in the Third Duma was endangering Party unity, but Lenin’s position in this remained relatively close to the position of the Mensheviki. In his own ranks Lenin “still suffered the consequences of the Social Democratic tactical error in boycotting the First Duma and his stand seemed inconsistent with his own attitude toward parliamentary activity – particularly after the ‘state revolution’ of June 3, 1907”.³² Lenin only saw in the Duma a “toy addition to the bureaucratic and police structure”, where “gangs of bourgeois politicians are bargaining wholesale and retail about ‘people’s freedom’, ‘liberalism’, ‘democracy’, ‘republicanism’ and other popular commodities”.³³

The anti-*participationists*, led by B.O. Bogdanov, justified their decision as a weapon in the struggle against constitutionalist illusions. But it would also be more reasonable to join in the electoral campaign in order to popularise the Social Democratic programme. Hence, the Social Democratic platform for the Third Duma offered a compromise between Menshevik and Bolshevik opinion. In a first section, an appeal was inscribed to mobilise all revolutionary forces in the electoral campaign. All non-Socialist parties were now anathema (Octobrists, Kadets).³⁴ The Social Democrats thought of a possible uprising against Tsarism by telling the whole truth from the Duma tribune. The Party promised to fight against the reaction and the Kadets, the rich, the bureaucracy, etc. by offering their own demands for democracy, socialism, a democratic republic, equality of all nations, civil liberties, public education. Confiscation of all public and royal land and all large estates, had to be given over to

democratically elected organs and distributed locally. Labour legislation would include an eight-hour day, holidays, state insurance, prohibition of overtime work, public work for the unemployed, etc. After publication of this programme some organizations nonetheless intensified their anti-boycott activities, while other organizations oscillated sharply and some others were holding out for a boycott.

The Revolution in the provincial towns

The unexpected collapse of Tsarism in February 1917 was the result of a crisis deep within the structures of the Russian State. The collapse of Tsarism was caused by three factors: the radical incapacity of the Tsarist economy to deal with a modern industrial war, the organization of a mass army drawn from the peasantry, and a growing hatred of the war. Russia's backwardness as a whole gave the revolutionary movement its opportunity. The ruling class was just as much taken by surprise as the revolutionaries. No alarm was felt. The revolutionary groups had spent the preceding decade in venomous squabbling. Yet, in the space of three days the Tsarist regime collapsed and in another eight months the Bolsheviks were ruling Russia. The genesis of the new regime was based on the masses of Petrograd, together with the hordes of soldiers – peasants in uniform. Until the eve of the Bolshevik insurrection in October 1917 the de facto authority of the soviets was felt in the administrative and military apparatus. Then, the soviets took over the municipal administrations and institutions, paralysed the police and formed the backbone of the new regime. The soviets were no longer “private” bodies forming the so-called “civil society”, but official institutions governing the country. Politically, the Mensheviks, SRs and also the Bolsheviks were, willy-nilly, politically representing the workers and soldiers of the soviets. This situation of dual power ended with the liquidation of the Provisional Government. It meant the end of the “bourgeois” regime having been established after the fall of Tsar Nicholas II.

More recently, studies analysing the situation in the provincial towns, offer more clarity to the question how the October Revolution of 1917 spread from Petrograd to other areas.³⁵ Local groups of militants were at the origins of most revolutionary upheavals in many provincial cities. That was the case in Baku, in Kronstadt, in Krasnoïarsk, in other Siberian towns, in Saratov and the cities in the Volga Region, in Tver and in Smolensk. It was, however, only in the evening of 26 October 1917 that messages arrived at Smolny announcing that the revolution had taken Minsk, Kharkov, Samara, Kazan, Ufa, Yaroslavl, and also Mogilev, the

Army Headquarters. On 30 October 1917, the Bolsheviks decided to finish with Kerensky. Sailors from Kronstadt and Helsingfors moved to the front and soon Kerensky's attempt to move counter-revolutionary troops to Petrograd received a decisive blow. N.N. Sukhanov noted in his memoirs that "the soldiers, sailors and workers of Petersburg have shown that arms in hand they can and will assert their will and the power of democracy".³⁶ Many historians have attributed the success of the October Revolution to the Russian revolutionary tradition and the events in 1905. Whatever the merits of these arguments, they are also obscuring the importance of active networks and participatory structures in the provincial towns. Informal networks like strike committees were here facilitating revolutionary mobilizations and enabled the Bolsheviks to seize power practically without shedding blood. Hence, one should study these events by analysing the various regions and their collective responses of local workers, soldiers and peasants.³⁷

The military played nonetheless a crucial role in the overthrowing of the old regime. The rear garrisons in the provincial towns were totalling each some 25,000 soldiers and officers and were concentrated near the civilian population. Everywhere, the military enjoyed considerable autonomy. In the beginning of the revolutionary take-over, they played a critical role in ensuring a swift regime change. In several towns, some Cossack divisions participated in the revolution at the side of the Bolsheviks. Elsewhere they joined the White armies. Parts of the Russian Army were not attained by revolutionary propaganda and were anti-Bolshevik. The abortive Kornilov-coup in August 1917, meant, however, a turning-point in the role of the Army in national politics and prepared the ground for the October Revolution.

The Bolshevik personnel in the province had different origins or backgrounds. In Saratov, most Bolsheviks were "non-workers", i.e. intellectuals. In Kiev, workers' participation was hampered by low education. Hence, these workers refused to stand as candidates for the *gorkom*.³⁸ Tensions between the groups of the *fabzavkom* in the factories with their Central Council in Petrograd were signalled. Because the trade-union movement was structurally very decentralized, it was relatively easy for the Bolsheviks to obtain the consent of the local union-branches in the factories. Some groups of factory workers formed Red Guards and wanted to follow the example of Petrograd. In the Urals, the Bolshevik leaders had a strong tradition of violence. In Ufa, where the local *duma* was controlled by the Bolsheviks, combat groups were formed as well, but the *revkom* had to fall back on militant miners of the vicinity. On 27

November 1917, the Mensheviks left the soviet. The latter now adopted a pro-Bolshevik stance. Six provincial towns (Astrakhan, Kiev, Odessa, Omsk, Kharkov, Nikolaev) possessed militias grouping between 1,000 and 3,500 men. Of them, only Omsk became a Bolshevik stronghold. The chief playground of the Bolsheviks was not the workers' militia but the local soviets. In some places the Bolsheviks did not organise their followers into separate fractions. But the Bolshevik's greater sense for discipline gave them everywhere a competitive advantage in the revolutionary organizations.

In Saratov, the Bolsheviks gained the confidence of the workers after having lost it because of their "un-patriotic" behaviour in war affairs.³⁹ The Cossack forces in the Volga vicinity did not sweep the Bolsheviks, but they had nonetheless succeeded in disbanding the local soviets during the Kornilov events. In the meantime, some Bolsheviks obtained high functions in the public bodies. On 16 October 1917, Bolshevik V.V. Kubyshev, who led the Bolshevik forces in Samara, was elected mayor of the city. But the city дума turned to the Orenburg Cossacks for rescue. In January 1918, the Saratov soviet formed the so-called Eastern Army of volunteers and garrison soldiers in response to the Orenburg and Astrakhan soviets appealing for help against the Cossacks. The Eastern Army could prevent Astrakhan from being occupied by the Cossacks. Meanwhile, the Ural Cossacks were approaching Saratov. The Saratov soviet succeeded in raising fresh troops for a Special Army with the special task to sweep the Cossacks from the Volga region. Unfortunately, the Special Army was defeated in a period of peasant unrest behind the frontlines, while nearby Samara had now fallen into the hands of the forces of the Constituent Assembly. These defeats were also due to the previous disbanding of the Saratov garrison. About 7,000 troops of the former Imperial Army had been demobilised, but these demobilised men set up a soldiers' union (*frontoviki*) demanding jobs and a preferential treatment. On several occasions these demobilised soldiers clashed with Red Guard detachments.

The party's success in local elections raised the problem of opportunism and declining revolutionary élan. At Ivanovo-Voznesensk, the Bolsheviks won four fifths of the town дума seats. Its executive committee eclipsed the soviet. In Nizhnii Novgorod the *gubkom* exercised responsibilities that were the domain of the *gorkom*. But the Bolshevik Party was by no means a well-oiled machinery. Though the Central Committee was in contact with some 640 organizations and individuals, "Sverdlov's office seemed to have welcomed virtually any and all connections coming to its notice".⁴⁰ Hence, John Keep has argued that the

weak links between the local bodies and the centre were not only due to technical reasons, but also to local preferences. Information was frequently transmitted by informal channels and couriers travelling to the provincial towns. In Saratov, Kazan and Nizhnii Novgorod, one was informed of the decisions in Petrograd by sparse information coming from the Petrograd leadership.

Sometimes local Bolshevik organizations were more efficient at the lower level than at the summit. Hence, the October Revolution was not so much won by the Bolsheviks as lost by their opponents.⁴¹ Local Bolshevik bodies preferred managing their own affairs. In Kazan, the transfer of power occurred as a military coup organised by the pro-Bolshevik garrison. Only after this action, the soviet installed a civilian Revolutionary Committee by a majority vote. In the Volga towns, the pattern of events was similar. In Samara, the Bolsheviks included non-Bolsheviks in their Revolutionary Committee in order to make them acceptable to the garrison. In Saratov, where some initial hesitations in the soviet had existed to support the revolution, shootings occurred.

The local committees were in most cases reluctant to accept Lenin's plead that they break with the Mensheviks, particularly when the latter took a left-wing stance. In Saratov, the Bolshevik rank-and-file preferred unity with the Mensheviks, although the Bolsheviks had officially broken with the Mensheviks in April 1917. But conciliatory and unitarian tendencies survived for a longer time in Ukraine, Siberia, Central Asia, the Urals. Of 15 *gorkomy* in Siberia, 8 did not split up until the 6th Party Congress of 26 July – 3 August 1917, and 5 until October 1917, or even later. These organizational weaknesses may help explain why the local committees had not been adequately informed about the impending insurrection in Petrograd and why they remained ill-prepared to similar actions. The situation was not that different in the Central Industrial region, where the committees were occupied by peaceful activities. Moreover, the Central Industrial region and the Urals suffered from declining industries (textiles, mining, metallurgy) and unemployment, but their homogeneous labour force living in isolated settlements had a militant past and backed the Bolsheviks, while the soldiers of the local garrisons were radicalising. In Ivanovo-Voronezh, the Bolsheviks received no information from the party centre in Petrograd, while the SRs were better informed. The Bolshevik order was here “painlessly” achieved after a meeting of the town *duma* and the appointment of a revolutionary staff. Under the impact of the ongoing fights in Moscow, the local Bolsheviks decided to expand the revolutionary staff with members of other political parties,

the soviet executive and the garrison. But this staff was soon disbanded and its functions were passed over to the soviet and дума both controlled by the Bolsheviks.

Conclusion

The Russian Revolution was the outcome of a complex set of factors having led to a general revolt of the workers, soldiers and peasants against the Tsarist state. Though the revolution had begun in Petrograd, it easily triumphed in many a provincial city. The workers of the large factories, the peasantry and the soldiers played an important role in the victory of the Bolsheviks and the Revolution.

The Bolshevik takeover was also the result of economic, political and social contradictions the Tsarist regime was unable to solve. Industrialization had led to fast economic development, creating a numerous proletariat of mainly unskilled workers drawn from the peasantry. These working classes wanted to improve their living conditions and social position, but reforms were denied to them by entrepreneurs and the Government.

The bourgeoisie, the peasantry and the working classes had found thanks to the Revolution of 1905 their political leaders of the Kadet Party, the SR and the Social Democratic Party. These three opposition parties were, however, unable to form a solid bloc in the Duma. Their material interests were too diverse and intra-party struggles and hindered them from challenging the Tsarist government of Stolypin. The liberal bourgeoisie feared the growing influence of the working class and preferred a compromise with the landed interest groups and Tsarism on installing a constitutional monarchy. This liberal bourgeoisie did not represent a revolutionary force. Though SRs and Socialists could form an alliance on a common programme of expropriations and democratic reforms, they did not.

The peasantry supported the SRs who demanded expropriation of the landed nobility without financial compensations. The Socialists demanded nationalization of all land and big industrial enterprises, but parties could not agree on a common agrarian programme. Both parties became the theatre of frenzy: internal struggles between leftist and rightist currents forming their own political parties leading to a radicalisation of the Revolution. The Bolsheviks agreed on Lenin's strategy of exacerbating the political and social tensions leading to a destabilization of the parliamentary regime. The outcome was "second revolution" sweeping the Kerensky Government after Kornilov's failed state strike.

Notes

¹ N.N. SUKHANOV, *The Russian Revolution 1917. A Personal Record*, [Zapiski O Revolutsii], edited, abridged and translated by JOEL CARMICHAEL (London, New York and Toronto: Oxford University Press, 1955), 3-99.

² DIANE P. KOENKER, WILLIAM G. ROSENBERG, *Strikes and Revolution in Russia, 1917* (Princeton New Jersey: Princeton University Press, 1989), 96-128.

³ LEON TROTSKY, *My Life* (New York: Charles Scribner's & Sons, 1930), 337.

⁴ BARRINGTON MOORE, JR, *Soviet Politics. The Dilemma of Power. The Role of Ideas in Social Change* (New York: Harper Torch Books, 1965 [1950]), 20.

⁵ About 100 million peasants were struggling for a satisfactory existence.

⁶ JOHN P. MCKAY, *Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization, 1883-1913* (Chicago: University of Chicago, 1970.)

⁷ Richard Pipes developed the theory that there was already a labour class movement which antedated Social Democracy and developed quite independently from it. Lenin's (but also Martov's and Dan's) first contacts with the labour movement must have occurred in St. Petersburg in the years 1893-1895. The first labour movement developed here as a typically reformist trade-union movement grouping skilled, and also unskilled workers. Richard Pipes, *Social democracy and the St. Petersburg Labor Movement 1885-1897* (Irvine, California: Charles Schlacks Jr., 1985 [second edition]).

⁸ RICHARD PIPES, *Struve. Liberal on the Left, 1870-1905* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1970.)

⁹ LARS T. LIH, *Lenin Rediscovered. What Is to Be Done? In Context* (Delhi: AAKAR, Books 2013 (2006), 518.

¹⁰ MARCEL LIEBMAN, *The Russian Revolution* (New York: Random House, 1970 (1967), 63.

¹¹ Marcel Liebman, *The Russian Revolution* (New York: Random House, 1970 (1967), 63.

¹² MARCEL LIEBMAN, *Le léninisme sous Lénine*. Vol. 1, *La conquête du pouvoir*, (Paris: Le Seuil, 1973), 27-34.

¹³ The conflict between Lenin and Martov on the question of party organization was also the result of past conflicts and debates in a clandestine party operating from outside Russia.

¹⁴ At the Second Party Congress in 1903, the assembled participants could reach an agreement on some issues, but not on all.

¹⁵ Quoted in Theodore Dan, *The Origins of Bolshevism* (London: Secker & Warburg, 1964), 303-305.

¹⁶ Lenin's article was published in *Vperyod*, no. 7, 25 February 1905. *Lenin Collected Works. Vol. 8* (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962, Moscow), 167-176.

¹⁷ At Tammerfors (December 12-17) 1905, the Conference discussed the development of the peasant movement. The Party supported the revolutionary measures of the peasantry, including the confiscation of all state, church, monastery, crown and privately-owned land.

¹⁸ *The Law of December 11 (24), 1905 – a law on the elections to the Duma*, promulgated by the tsarist government as a certain concession to the workers at the height of the Moscow armed uprising. Unlike the regulations governing the “consultative” Bulygin Duma (August 6, 1905), the new law envisaged the establishment of a “legislative” Duma. It added to the curias established earlier – agricultural (landlords), urban (bourgeoisie) and peasant – a workers’ curia, and somewhat extended the composition of the urban electorate, without increasing, however, the total number of electors from the urban curia. The suffrage was not universal, for upwards of two million working men, landless peasants, nomads, service men and young people under 25, as well as all women, were disfranchised. Nor was the suffrage equal. The class character of the electoral system found expression in the fact that there was one elector for 2,000 voters from the agricultural curia, 7,000 from the urban, 30,000 from the peasant and 90,000 from the workers’ curia, that is, one landlord vote was equated with three votes cast by the urban bourgeoisie, 15 peasant votes and 45 workers’ votes. The electors from the workers’ curia made up a mere four per cent of the total number. In the case of the workers’ curia, only workers in undertakings employing not less than 50 workers were allowed to vote. Undertakings employing from 50 to 1,000 workers sent one delegate. Major undertakings sent one delegate for every 1,000 people. The suffrage was not direct. The electoral system established for the workers was three-stage, and for the peasants four-stage. The ballot was practically not secret. The law ensured an overwhelming predominance of landlords and capitalists in the Duma. Lenin pointed out that the law virtually added nothing new to the procedure of election to the Duma.

¹⁹ The SPD was also financing the Russian Social-Democratic organizations and pushing for their unification. The SPD was also in charge of the Russian party funds via a Treuhand presided over by Clara Zetkin, Karl Kautsky and Franz Mehring. Quarrels between Mensheviks and Bolsheviks arose concerning the ownership of money originating from the Schmitt heritage. Nikolai Schmitt, a wealthy Bolshevik, had legated his fortune to the Party. ANDRÉ MOMMEN, “Émile Vandervelde als arbiter tussen Lenin en Martov”, in EMMANUEL WAGEMANS (ed.) *Rusland-België 1900–2000. Honderd jaar liefde-haat*, (Antwerp: Uitgeverij BENERUS, 2000), 75-100.

²⁰ JOHN MAROT, “The real Vladimir Lenin”, *Jacobin* – <https://www.jacobinmag.com/2016/11/the-real-vladimir-lenin/> (April, 2017).

²¹ V.I. LENIN, “Should we boycott the State Duma? The platform of the Majority”, in *Lenin Collected Works*, Vol. 10 (Moscow: Progress Publishers, 1965), 97-100. – <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/jan/00.htm> (April, 2017).

²² LARS T. LIH, *Lenin Rediscovered. What Is to Be Done? In Context* (Delhi: AAKAR, Books 2013 [2006]).

²³ RALPH CARTER ELWOOD (ed.), *Resolutions and Decisions of the Communist Party of the Soviet Union*. Volume 1: *The Russian Social Democratic Labour Party 1898 – October 1917* (Toronto and Buffalo: University of Toronto Press, 1974), 101.

²⁴ TAMÁS KRAUSZ, *Reconstructing Lenin. An Intellectual Biography* (New York: Monthly Review Press, 2015), 103-109.

²⁵ ALFRED LEVIN, *The Second Duma. A Study of the Social-Democratic Party and the Russian Constitutional Experiment* (Hamden, Connecticut: Archon Books, 1966 (1940)).

²⁶ This paragraph is largely based on LEVIN, *The Second Duma*, 156-199; DOROTHY ATKINSON, *The End of the Russian Land Commune 1905–1930* (Stanford, California: Stanford University Press, 1983), 56-113.

²⁷ LEVIN, *The Second Duma*, 357-359.

²⁸ DAN, *The Origins of Bolshevism*, 371-397.

²⁹ DIANE KOENKER, WILLIAM G. ROSENBERG, “Skilled Workers and the Strike Movement in Revolutionary Russia”, *Journal of Social History*, 1985, vol. 19, no. 4, 618.

³⁰ Theodore Dan: “The Russian Mensheviks [...] set about the restoration and strengthening of the trade-union, cultural, and other workers’ organizations that had withstood destruction; the founding of new organizations of the same type; the conquering of new spheres or organized workers’ initiative (social insurance, or instance), the creation of a trade-union, co-operative, insurance, general cultural workers’ press and of Social-Democratic reviews [...]”. DAN, *The Origins of Bolshevism*, 392.

³¹ It was said that Tsreteli’s policy reflected that of the old regime. KOENKER, ROSENBERG, *Strikes and Revolution in Russia*, 217.

³² ALFRED LEVIN, *The Third Duma, Election and Profile* (Hamden, Connecticut: Archon Books, 1973), 45.

³³ Lenin quoted in LEVIN, *The Third Duma*, 45.

³⁴ ELWOOD (ed.), *Resolutions and Decisions*, 116-117.

³⁵ KOENKER, ROSENBERG, *Strikes and Revolution in Russia*.

³⁶ SUKHANOV, *The Russian Revolution*, 667.

³⁷ JOHN KEEP, “Oktober in the Province”, in RICHARD PIPES (ed.), *Revolutionary Russia* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1968), 180-216.

³⁸ KEEP, “Oktober in the Province”, 182.

³⁹ KEEP, “Oktober in the Province”, 185.

⁴⁰ KEEP, “Oktober in the Province”, 187.

⁴¹ KEEP, “Oktober in the Province”, 190.

GYÖRGY BEBESI

Русские революции и крайне правые

В конце войны, после крушения монархии

Движение черносотенцев, которое в 1905-ом году ещё было способно мобилизовать на борьбу большие массы людей и тем самым спасти царский престол, во время Первой Мировой войны пошло на спад. Руководители движения последовательно поддерживали идею войны до победного конца даже тогда, когда население страны, разные слои общества из-за голода, страданий и больших человеческих жертв выступали уже против неё. Многие крайние правые лидеры шли воевать на фронт добровольцами и, следовательно, они не могли вести эффективную политическую деятельность в тылу. Поддерживая войну, большинство из них, однако, не располагало политическим реализмом. Против более рассудительных депутатов, собравшихся в Прогрессивном блоке, крайние правые создали «Чёрный блок», считавший своей политической миссией поддержку Монархии любой ценой. Французский дипломат, *Мишель IX Палеолог* удачно заметил: «если будет необходимо, то они готовы защитить царизм и от самого царя...».¹ Параллельно с печальными военными действиями России и с усиливающимся кризисом в тылу страны, движение крайних правых потеряло свою оставшуюся поддержку народа и моральную основу несмотря на то, что в конце 1916-го года черносотенцы получили необыкновенную и долгожданную возможность: после отставки *Б. Штурмера* 10-го ноября государь в отчаянии назначил премьер-министром *А. Трепова*, выбравшего большинство членов своего правительства из крайних правых лидеров – например, *Протопопова* – владельца суконной фабрики и организатора погромов, а с 28-го декабря князь *Горемыкин* – один из самых ярких представителей черносотенцев, был назначен главой нового правительства.² Хотя черносотенцы в послед-

ний период Монархии фактически пришли к власти, однако они уже не располагали никакой политической или народной поддержкой. У них ещё оставались силы для проведения некоторых политических акций, как например, расправа с *Распутиным*,³ но они уже не были способны изменить военную или внутривластную ситуацию. С начала 1917-го года событиями уже руководило не правительство, а Дума и улица.

После 2-го марта 1917-го года, вслед за вынужденным отречением императора от престола, наступил момент истины: монархистам уже в конце февраля нужно было решить – присоединиться ли к общему политическому процессу, к «революции Думы», направленной на ликвидацию царя и царского правительства, или восстать против него. Монархисты, как и раньше, не составляли монолитного, политического блока и на кризис в феврале 1917-го года отреагировали по-разному: главные лидеры *Н. Марков*, *В. Пуришкевич* и их сообщники покинули IV Государственную Думу и ушли в подполье, а *В. Шульгин* избрали членом Временного Комитета Думы. По сути дела *Шульгин* и *Родзянко* являются центральными фигурами первых дней революции: *Шульгин*, представляющий Думу, и «октябрист» *Гучков* получили знаменитое поручение – уговорить царя *Николая II* отречься от престола в пользу великого князя *Михаила Александровича*.⁴

Решая вопрос «*Что делать дальше...?*», уже нельзя было игнорировать силу улицы, хотя несколько месяцев назад основой концепции Прогрессивного блока было исключение уличного движения масс. Члены блока надеялись, что если Дума сама ликвидирует ненавистную им систему, тогда возможно избежать революции на улицах. Сначала нужно было установить контакт с Советом рабочих депутатов для определения формы государственного устройства и делегацией переговоров с ним руководили Милюков и Шульгин. Во время переговоров Шульгин был готов принять конституционную монархию, и он прекрасно понимал, что за революцию Государственная Дума также несёт ответственность, а он как политик – либо примет её, либо отвергнет. В тот момент бывший монархист выбрал последнее.⁵

Одновременно с этим другой известный руководитель чёрной сотни Пуришкевич, после убийства Распутина, на своём поезде отправился на южный фронт. В начале 1917-го года, после возвращения в Петербург, он создал «*Национальную партию*», которая в действительности являлась монархической, заговорческой группой, созданной для спасения России от революции «*насильственным*

придворным переворотом». Хотя Пуришкевич был председателем на заседании Русского народного союза имени Михаила Архангела 8-го февраля, эта организация, как и другие черносотенные организации, должна была также прекратить свою деятельность после создания Временного Правительства. Однако Пуришкевич не ушёл с политической арены и 28-го марта в поезде Красного креста он написал в письме, что готов поддерживать новую власть, если она готова удовлетворять потребности фронта.⁶ Несмотря на это, 2-го апреля он составил обращение против большевиков в Петроградский Совет, в котором большинство депутатов составляли эсеры и меньшевики.⁷

Шульгин и блок крайне правых, поддерживающий Временное правительство, были согласны с позицией Керенского о продолжении войны, так как они были убеждены, что если русские войска прекратят наступление на фронте, тогда их союзники – Англия и Франция, договорятся между собой без учёта интересов России. На Государственном совещании 4-го августа Шульгин выступил против смертной казни и «избранных комитетов», созданных в армии, а автономии Украины он считал разрушением государственного единства и центральной власти. Участники Совещания однозначно высказывались за введение диктатуры: левые ораторы говорили о контрреволюции, правые – об анархии, Корнилов – о военной диктатуре, а Советы – большинство которых составляли большевики – о пролетарской диктатуре. Шульгин в начале октября поехал в Киев и возглавил Русский национальный совет, созданный местным дворянством.⁸

Пуришкевич принял участие в Государственном совещании в августе 1917-го года, где он был готов простить «грешное, революционное прошлое» Керенского, если премьер-министр Временного Правительства ввёл бы военную диктатуру, требуемую крайне правыми. В сентябре 1917-го года из-за отставки министров, скомпрометировавших себя поддержкой неудачного путча Корнилова, Временное Правительство было распущено и директория, заменившая правительство во главе с Керенским, провозгласила республику. Пуришкевич уже не видел другого пути – кроме организации вооружённого сопротивления. На руинах бывшего Союза имени Михаила Архангела он создал новую организацию, которая уже была подготовлена к подпольной нелегальной борьбе. Он вернулся к своей мысли, опубликованной в 1916-ом году, по которой «...нам нужно объединить все силы, поддерживающие борьбу против анархии...».⁹ Борьба уже шла не за реставрацию власти династии

Романовых, ибо в это время крайне правые тоже считали, что династия потеряла свою честь и их кандидатом был князь Шереметьев, президент Совета Объединённого Дворянства. В достижении этой цели он считал необходимым сотрудничать с кадетами и правыми эсерами и подчёркивал, что без Бориса Савинкова и его организаций монархисты ничего не достигнут.

Однозначное разграничение политических сил партий

После Октябрьской революции стали очевидными политические привязанности тех или иных лиц. Несмотря на то, что крайне правые до того времени прагматически вели себя в обострённых ситуациях, однако после Октября снова возродились исконные политические рефлексы. Шульгин опять стал придерживаться старых монархических взглядов и открыто выражал свой антисемитизм, а также снова решительно выступал против большевиков и победоносной революции. Он основал в Киеве «Азбуку», тайную организацию для борьбы с социализмом. В начале ноября Шульгин поехал в Новочеркасск и участвовал в создании добровольческой (белой) армии.¹⁰ Также как и другие правые политики, он возмущался заключением *Брестского мира*. Однако, в марте 1918-го года, когда немцы захватили Киев, он снова проявил мужество и отказался от сотрудничества в издании газеты вместе с оккупантами, служащей их целям. Авторитет Шульгина снова сильно повысился. Центр своей деятельности он переместил на юг и разработал идеологическую программу контрреволюции, служа в армии Врангеля и Деникина. «*Белые и чистые рыцари монархии*» получили историческую задачу, заключающуюся в очищении России от революции огнём и мечом. Белую, святую идеологию Шульгин противопоставлял пропаганде большевистских листовок и брошюр и представлял монархию в своих статьях как прекрасную, белую даму, ради которой стоит отдать жизнь.¹¹ Во время гражданской войны он был главным редактором газеты «Великая Россия», а затем после её поражения, он вступил в армию Врангеля.

Пуришкевич, другой авторитетный лидер, Октябрьскую революцию считал шансом для восстановления самодержавия, ибо был уверен, что все политические силы можно объединить в борьбе против большевиков. Он был сторонником Петроградского восстания, которое, по его мнению, нужно было срочно организовать, ибо он считал, что пока большевики ещё не укрепили свои позиции, необходимо выступить против них. Его организация покупала оружие у

атамана Каледина и готовила покушение на Ленина и Троцкого. По его собственному признанию 2000 помещиков и военных входили в его организации в Петербурге, а на фронте их было ещё около 7000. Самым известным участником его заговора был капитан Винберг, сыгравший значительную роль в зарождении нацизма после поражения белых и описавший историю создания организации в своём произведении *«Дорога креста»*.¹² В действительности, число черносотенцев было преувеличено – всего 2-3 десятка вооружённых бойцов, не имевших никакого представления о конспирации, и поэтому уже почти через месяц после революции 18-го ноября петербургский ЧК¹³ разоблачил заговор и арестовал его участников. Лидеру черносотенцев крупно повезло, ибо судебный процесс над ним прошёл в тот короткий период, когда новая власть была ещё занята консолидацией внутренней политики, а беспощадность гражданской войны ещё не давала о себе знать. Судебный процесс был открытым, Пуришкевича и его сообщников защищали петербургские известные адвокаты *Таганцев* и *Грузенберг*.¹⁴ Приговор был вынесен 3-го января 1918-го года и был мягким: его приговорили к одному году «общественно-полезных работ» и уже 1-го мая 1918-го года он получил амнистию по случаю Международного праздника пролетариата, о чём Петроградский Совет и объявил на празднике.¹⁵ Пуришкевич сразу поехал в Киев, которым в это время руководил гетман Скоропадский. Политик-черносотенец также как и его сообщники отвергал независимость Украины. Однако им нужна была поддержка антибольшевистского гетмана. В декабре, после поражения гетмана, он убежал на юг, находящийся под властью добровольческой армии.¹⁶ Ещё в том же году он пытался создать в Ростове *Всероссийскую Государственную Партию*, которую он представлял переходом между Союзом Русского Народа и новым типом массовой партии.¹⁷ Главный совет партии находился в Ялте, и ему удалось открыть филиалы в Ростове, Одессе и Кисловодске. Они издавали газету «Благовест», а после Октябрьского переворота черносотенные сообщники Пуришкевича собрались на юге страны и стали быстро активизироваться. Например, протоирей Востоков создал в 1919-ом году *«Братство Животворящего Креста»*.¹⁸ Снова стали издаваться черносотенные издания, например, газета «В Москве». Были попытки объединить разбросанные черносотенные группировки, и этой цели служила бы организация *«Совет государственного объединения России»*, которая должна была бы выполнить функцию нового типа государственной, массовой партии – в случае победы белых.¹⁹ Больше двадцати белогвардейских организаций – в том числе

черносотенцы, поддерживали провозглашение Монархии. Пуришкевич сам распространял свои представления о самодержавии и говорил, что программы заново образованных черносотенных группировок изначально происходили от старой программы Союза Русского Народа. Однако без царя эти старые мысли всегда были дополнены идеологией *корпорации*. *Черносотенное корпоративное государство состояло бы из союза общин*, таким образом, как это в прошлом столетии было представлено народниками или, например, Бакуниным.²⁰ Более точной информации о новом понимании общины или государства было невозможно узнать из программы, ибо уже раньше было видно, что разработка теории не была сильной стороной черносотенцев.²¹

Подводя итоги можно сказать, что крайние правые организации с самого начала революции участвовали в её процессах, несмотря на их разрозненность и разногласия. Их более умеренные депутаты Думы участвовали в свержении царского правительства и в отречении от престола Николая II. Между двумя революциями представители более прагматического крыла попытались стабилизировать власть Думы, а крайне радикальная группа Пуришкевича уже с августа, отказавшись от сотрудничества, готовилась к вооружённой борьбе. Однако их внутренние разногласия продолжались до начала Октябрьской революции. С того момента более реалистическое крыло, готовое пойти на компромисс, а также радикалы и сторонники крайне правого крыла, больше всего придерживающиеся своих принципов 1905-го года, выступили против большевиков. Их организации не были слишком сильными, ибо они привыкли к постоянной поддержке со стороны власти, а не к подпольной работе. Тем не менее, они много сделали для разработки идеологии контрреволюции, интегрируясь в Белую армию. Они имели своё собственное представление о будущем России в случае победы белых. В этом представлении также можно заметить идеи общинного социализма русских анархистов, как и корпоративные элементы будущей фашистской диктатуры Муссолини.

Примечания

¹ Maurice Paléologue, *A cárok Oroszországa az első világháború alatt* (Budapest: Európa Kiadó, 1982), 367.

² Szilágyi Ákos, Krausz Tamás, ed. *Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történelmi kronológiája. 1900–1991* (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992), 56.

- ³ Владимир Пуришкевич, *Как я убил Распутина* (Киев, 1918).
- ⁴ Василий Шульгин, *Дни* (Ленинград: Издательство Прибой, 1925), 516.
- ⁵ Давид Заславский, *Рыцарь чёрной сотни В.В. Шульгин* (Ленинград: Издательство Прибой, 1927), 44.
- ⁶ Государственный Архив Российской Федерации (GARF), фонд 1244, опись 2, № 42, лист 4.
- ⁷ *Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов* № 25 (April, 1917), 1.
- ⁸ Заславский, *Рыцарь чёрной сотни В.В. Шульгин*, 62.
- ⁹ Александр Бобрищев-Пушкин, *Война без перчаток* (Ленинград, 1925), 74.
- ¹⁰ Бобрищев-Пушкин, *Война без перчаток*, 74.
- ¹¹ Заславский, *Рыцарь чёрной сотни В.В. Шульгин*, 67.
- ¹² Федор Винберг, *Крестный путь* (Мюнхен, 1922), 181.
- ¹³ Всесоюзный чрезвычайный комитет.
- ¹⁴ Адвокаты-евреи из Кадетской партии.
- ¹⁵ Валентин Шелохаев, ред. *Политическая история России*. Том 1 (Москва: Издательство Terra, 1993), 339.
- ¹⁶ Шелохаев, *Политическая история России*, 339.
- ¹⁷ Walter Laqueur, *Russia and Germany. A Century of Conflict* (Washington: Little Brown, 1965), 88.
- ¹⁸ Laqueur, *Russia and Germany*, 124.
- ¹⁹ Laqueur, *Russia and Germany*, 124.
- ²⁰ M. Bakunin, *Államiság és anarchia* (Budapest: Gondolat Kiadó, 1984), 270-274.
- ²¹ Laqueur, *Russia and Germany*, 25.

Д.О. ЧУРАКОВ

Роль фабрично-заводских комитетов в революционных событиях Октября 1917 года

На фоне растущего внимания к русской революции 1917 г. особняком стоит изучение рабочего движения. Исследовательский интерес к нему упал до критического уровня. Вместе с тем среди важнейших факторов, способствовавших созреванию второго, ещё более радикального и глубокого этапа революции следует выделить и рабочее движение. В том числе, борьбу рабочих за свою автономию и самоуправление на производстве, в центре которой на протяжении всего 1917 г. стояли фабричные и заводские комитеты.

Тему участия фабзавкомов в октябрьской революции неизученной не назовёшь. Но к середине 80-х гг. прошлого века происходит некоторая консервация подходов к ней.¹ Результатом чего становится искажение или прямое замалчивание отдельных фактов из истории рабочих организаций.

Не вполне «удобной», к примеру, для официальной советской науки были воспоминания С. Орджоникидзе о его визите в Разлив к скрывавшемуся там вождю. По свидетельству Орджоникидзе, Ленин, якобы, поделился своими соображениями по поводу сложившейся после июльского кризиса обстановки в стране. Меньшевистские Советы, утверждал Ленин, дискредитировали себя, — они могли взять власть без особого труда, но не сделали этого. Теперь считать их органами власти невозможно. По оценке Ленина, власть теперь можно было взять только путём вооружённого восстания и для его успешного проведения большевикам «надо перенести центр тяжести на фабзавкомы». Именно они должны стать органами восстания.²

Эпизод, приводимый Орджоникидзе позволяет максимально заострить интересующую нас проблему: могли или нет, при известных условиях, большевики переориентироваться на фабзавкомы как на реальные *штабы вооружённого восстания*? А это, в свою очередь, выводит нас на более широкую проблему зрелости рабочего представительства и его политического веса в тот момент.

Чтобы по-новому оценить участие фабзавкомов в октябрьских событиях, прежних подходов недостаточно. Проблема роли рабочего представительства в этот переломный момент видится нам как последовательное решение комплекса более частных вопросов.

- 1) Прежде всего, учитывая доктрину большевиков и настроения в среде их сторонников, возможен был ли отказ от поддержки Советов и переориентация на фабзавкомы?
- 2) Далее, с точки зрения анализа органов рабочего представительства как системы, важно выяснить, насколько она была однородна, что стояло за процессом большевизации, и протекали ли эти процессы синхронно на всех уровнях структуры?
- 3) Наконец важно посмотреть на фабзавкомы как на особые организации революционного времени, а так же на то, как их специфика могла проявиться в период борьбы за власть?

Только после этого уже можно будет вести речь о том, какое конкретное участие фабзавкомы приняли в событиях, связанных с установлением советского режима.

Для ответа на первый из обозначенных нами вопросов, придётся несколько расширить круг источников, используемых для изучения большевистской доктрины. В частности, интересную информацию содержат документы, отражающие позицию левых коммунистов. Изучение левых коммунистов в СССР практически не велось, а на Западе историки лишены были возможности использовать материалы наших архивов.³

Вместе с тем, изучение прежде неизвестных архивных документов показывает, что публичные заявления левых коммунистов не вполне отражали их реальную позицию по ключевым вопросам революции.

Так, лидер московских левых Н. Бухарин в партийных изданиях называл Советы такой формой диктатуры пролетариата, которая была единственно возможной и желательной для России.⁴ В партийных кругах он считался чуть ли не образцовым парламентарием, о чём говорил, в частности, член фракции большевиков в Моссовете Обух.⁵ С трибуны Моссовета Бухарин провозглашал желательность

перехода власти к Советам.⁶ Между тем противоречивость отношения левых к Советам видна из выступления Н. Бухарина на заседании МК РСДРП (б) 21 июня, проходившем сразу же после июньского кризиса. Бухарин откровенно заявлял: «Если у нас есть шансы для вооружённого восстания, можно пойти против Советов, за которыми идёт большинство». Выступавшие после него Смидович, Ольминский и Усиевич не высказали ничего принципиального, что шло бы в разрез с этим заявлением Бухарина. Наоборот, признавая объективные трудности, они рассуждали о необходимости революционных действий.⁷ Тем самым они косвенно подтвердили возможность отказа от лозунга «Вся власть Советам», хотя в целом большевистская партия временно снимет его со своих знамён только позже, через несколько недель. А вот среди московских левых такая наступательная точка зрения, согласно которой власть можно брать помимо воли Советов, была широко распространена и прежде.⁸

С другой стороны встречные настроения имелись и в рабочей среде. Комментируя «Уроки Октября» Троцкого, историк В.И. Старцев делится важными наблюдениями: сопоставив резолюции солдатских и рабочих митингов, он увидел, что солдаты поддерживали власть Советов, но не партии, тогда как рабочие, напротив, чаще в своих резолюциях настаивали на передаче власти большевикам, выражали полное доверие им.⁹ Не лишним будет вспомнить и то, что уже в марте 1917 г. представители некоторых московских фабзавкомов готовы были отказать Моссовету в доверии из-за его тактики проволочек с введением 8-часового рабочего дня.¹⁰ Таким образом, в предоктябрьские дни партийный радикализм смыкался с радикализмом, жившим в некоторых слоях рабочего класса.

Однако сама по себе переориентация отдельных групп революционной демократии с Советов на фабзавкомы ничего бы не давала, если бы к такой переориентации была бы не готова сама *система органов рабочего самоуправления*. Это и объясняет важность второго вопроса, поставленного нами выше, и вытекающей из него задачи более детально проанализировать шедшие процессы внутри фабзавкомовского движения. И здесь картина оказывается иной, чем представляется это обычно.

Как правило, в советской, да и современной историографии органы рабочего представительства привычно воспринимают как некую единую, внутренне недифференцированную данность. Но это совсем не так – к октябрю 1917 г. фабзавкомовское движение уже прошло несколько этапов своего развития. Внутри него образовывались свои «верхи» и свои «низы». Во всём ли их позиция совпадала?

Отвечая на этот вопрос, следует признать, что озвученные нами выше выводы Старцева и других исследователей о настроениях в рабочей среде нуждается в серьёзной коррекции.

Известные на сегодняшний день материалы конференций и других руководящих органов фабзавкомовского движения действительно свидетельствуют о значительной степени их политизации и большевизации накануне и во время октябрьского восстания. Однако, если спуститься ниже, на уровень предприятий, ситуация окажется несколько иной. В отдельных районах страны процессы большевизации фабзавкомов были далеки от завершения. Даже в столице 16% рабочих крупнейших петроградских заводов за большевиками не шло,¹¹ на мелких, особенно текстильных предприятиях Петрограда ситуация была ещё более противоречивой.¹² Даже на I Всероссийской конференции фабзавкомов, несмотря на то, что её подготовка и ход контролировалась большевиками, около $\frac{1}{3}$ делегатов были их оппонентами.¹³

Далее, как было показано выше, необходимо посмотреть на фабзавкомы как на особые организации и на то, чем в реальности они занимались.

Так, если мы посмотрим на происходящее в столице, то здесь в момент перехода власти к Советам, т.е. 24-го и 25-го октября, на предприятиях города, как правило, работа не прекращалась: хотя вечером 24-го на целом ряде предприятий и состоялись организованные большевиками митинги – о чём в те дни и сообщала кадетская «Речь» – это никак не повлияло на их рабочий график.¹⁴ Соответственно вели себя и фабрично-заводские комитеты. Известные на сегодняшний день материалы, позволяют говорить, что каких-либо важных коррективов в исполняемых ими функциях в эти дни не происходило. В частности, в протоколах фабзавкомов мы сталкиваемся со всё той же будничной хозяйственной рутинной, которая лежала в основе деятельности фабзавкомов и до, и после интересующих нас хронологических рамок.

К примеру, представляют интерес события на 1-ой электрической станции Общества электрического освещения (ОЭО) 1886 г. отразившиеся в протоколе его завкома от 25-го октября. От Военно-революционного комитета на станцию, как на объект повышенной важности, был откомандирован комиссар, «которому поручили поддерживать непрерывную работу станции». После обсуждения, комитет принял обращение к рабочим, в нём говорилось: «Так как правильным ходом станции озабочен и сам заводской комитет, то мы призываем всех товарищей рабочих и служащих всемерно содейст-

воват непрерывной работе станции и, в случае попыток нарушить правильный ход работ, противодействовать этому всеми силами». ¹⁵

Перед нами типичная ситуация тех дней без идеологических напластований. Заводской комитет признаёт ВРК постольку, поскольку совпадают их цели, но не по установлению власти, а по сохранению производства. В этом смысле прежняя трактовка данного эпизода, что рабочие из государственных интересов стремились не допустить падения производства, ¹⁶ кажется несколько наивной. С государственной точки зрения действия и распоряжения комиссара ВРК нужно было поддерживать безусловно, даже если бы в интересах восстания он распорядился взорвать станцию и обесточить расположения противника. Забота о сохранении своего предприятия (а не производства вообще) даже в такие переломные моменты показывает, что рабочими, как и в феврале, и на протяжении всего 1917 года продолжало руководить чувство самосохранения и забота о выживании: своём и своих семей.

Помимо петроградского, в те дни разворачивались и другие сценарии перехода власти к Советам. Большой спецификой, в частности, отличались события в Центральном промышленном регионе. Наиболее отчётливо специфика региона в октябрьский период проявилась в Иваново-Кинешемской промышленной области, где рабочее движение развивалось на базе «не самых передовых», с точки зрения прежней историографии, групп рабочего класса: то есть не при поддержке рабочих тяжёлой промышленности, прежде всего металлургов, а с опорой на рабочих лёгкой промышленности.

Переломной в плане борьбы за власть стала здесь октябрьская стачка текстильщиков — самой многочисленной группы промышленных рабочих края. Начавшись как экономическая, с отчётливо выраженными уравнительными требованиями, стачка эта стала прелюдией к установлению в крае власти Советов.

Непосредственной базой для органов, руководящих октябрьской стачкой текстильщиков, становятся все действовавшие на тот момент пролетарские организации Иваново-Кинешемской области. Но поскольку сеть этих организаций не перекрывала всех существовавших там предприятий, возникла необходимость в новых, специальных структурах. Ими стали организуемые на всех уровнях рабочей самоорганизации стачечные комитеты. Созданная практически с нуля структура имела достаточно чёткий и организованный характер. ¹⁷ Как пишет С.К. Климохин, в то время секретарь союза текстильщиков, в дни установления в Иваново-Кинешемском районе советской власти Центральный стачечный комитет становится серд-

цем всего рабочего движения. По сообщениям с мест, в большинстве случаев стачка протекала мирно и без эксцессов, организованно и чётко.¹⁸

На дальнейшем течении стачки сильно отразились октябрьские события в Петрограде и Москве. С этого момента «Центростачка» становится и политическим центром области. Со всеми запросами по тем или иным проблемам, связанным с переходом власти к Советам, с мест обращались именно сюда. Особенно заметна роль «Центростачки» была в самом Иваново-Вознесенске, где она располагалась. По распоряжению «Центростачки» в городе не только проводились массовые мероприятия, но и конкретные локальные акции, связанные с переходом власти к Советам. Об успехах организаторской деятельности «Центростачки» говорит и тот размах, который приняла забастовка: по оценкам местных наблюдателей, в движение было вовлечено не менее 300 000 рабочих.¹⁹

Фабзавкомы в эти дни действовали под единым руководством «Центростачки», отвечая преимущественно за бесперебойную работу своих предприятий и за сохранение заводского и фабричного имущества. Ни один аршин мануфактуры не мог быть вывезен за пределы предприятия без санкции фабричного стачечного комитета. Октябрьская стачка текстильщиков Иваново-Вознесенска напрямую способствовала расширению фабзавкомовского движения, поскольку фабзавкомы в ряде случаев либо выполняли функции стачкомов, либо координировали их деятельность у себя на предприятиях, либо, там где фабзавкомов прежде не было, стачкомы позже плавно переорганизовались в полноценные фабрично-заводские комитеты.

Таким образом, несмотря на то, что перед нами две принципиально различные формы перехода власти в руки Советов (условно назовём одну из них «петроградской», для неё характерно массивное использование Красной гвардии; и другая — «иваново-вознесенская» — мирная, ненасильственная, компромиссная, легальная), мы чётко можем проследить общее в участии фабзавкомов. Прежде всего, сами они, в большинстве случаев, не являлись органами восстания и руководящая роль принадлежала не им, а другим органам рабочего представительства (как правило, не фабричного, а городского или даже регионального уровня). Видимо, понимание этого обстоятельства заставляло Ленина и его сторонников — умеренных большевиков, большевиков-центристов — окончательно определиться и сделать ставку на завоевание власти не через фабзавкомы, а через опирающиеся на вооружённую силу Советы.

Проделанный анализ позволяет нам сделать выводы по тем вопросам, которые были поставлены в начале.

Итак, хотя среди радикальных революционеров имелись силы, которые в процессе борьбы за власть были готовы переориентироваться с Советов на фабзавкомы, это были довольно маргинальные группы, такие, как анархисты или часть левых большевиков. Превращению фабзавкомов в реальные центры восстания мешала их специфика как хозяйственных, административных, но не политических органов. К тому же фабзавкомовское движение было очень неоднородным и процесс его большевизации к октябрю 1917 г. был ещё далёк до своего завершения, что так же создавало препятствия для того, чтобы большевики организовывали вооружённое восстание именно через фабзавкомы. В действительности фабрично-заводские комитеты сыграли свою важную роль в октябрьской революции, но не в вооружённом захвате власти непосредственно. Роль фабзавкомов при переходе власти к большевикам сводилась в эти дни к поддержке людскими, финансовыми и организационными ресурсами деятельности Советов и Красной гвардии. Такие центры являются не штабами, а интендантскими отрядами, в лучшем случае, тыловыми гарнизонами.

Примечания

¹ См. напр.: *История Советского рабочего класса. Рабочий класс Октябрьской революции и на защите её завоеваний. 1917–1920*. Т. 1 (Москва: Наука, 1984); М.Л. Иткин, *Рабочий контроль накануне Великого Октября* (Москва: Высшая школа, 1984) и др.

² Г.К. Орджоникидзе, «Ильич в июльские дни», в: *Воспоминания о В.И. Ленине*. Т. 1 (Москва: Государственное издательство политической литературы, 1956), 525.

³ См. напр.: М. Кун, *Бухарин. Его друзья и враги* (Москва: Республика, 1992).

⁴ *Спартак* № 1 (1917), 8-12.

⁵ Центральный архив общественных движений Москвы (ЦАОДМ). Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 49.

⁶ Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО). Ф. 66. ОП. 12. Д. 90. Л. 8 – 9.

⁷ ЦАОДМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 37.

⁸ См.: И.В. Ильина, *Борьба партии большевиков против проявлений «левизны» в период подготовки октябрьской революции* (Москва: Издательство Мысль, 1967), 31.

⁹ Цит. по: Л.Д. ТРОЦКИЙ, *Уроки Октября* (Ленинград: Лениздат, 1991), 345.

¹⁰ Г. КОСТОМАРОВ, ред. *Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве: Документы и материалы* (Москва: Московский рабочий, 1957), 30-31.

¹¹ Х.Н. АСТРАХАН, *Большевики и их политические противники в 1917 году: Из истории полит. партий в России между двумя революциями* (Ленинград: Лениздат, 1973), 376.

¹² В. ПЕРАЗИЧ, *Текстиль Ленинграда в 1917 г.: Из материалов для истории классовой борьбы текстилей Ленинграда* (Ленинград: Ленингр. губотд. Всесоюзного союза текстильщиков, 1927), 91-92.

¹³ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 472. Оп.1 Д. 3. Л. 169.

¹⁴ *Речь* (25 октября 1919).

¹⁵ *Рабочий контроль в Промышленности Петрограда в 1917–1919 гг.* Т. 1 (Ленинград: Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство), 228-229.

¹⁶ См. напр.: В.А. ВИНОГРАДОВ, *Рабочий контроль над производством: теория, история, современность* (Москва: Наука, 1983), 73-74.

¹⁷ *Социал-демократ* (24 октября 1917).

¹⁸ Государственный архив Ивановской области (ГАИО). Ф. 730. Оп. 1. Д. 2. Л. 15; С.К. КЛИМОХИН, *Краткая история стачки текстильщиков Иваново-Кинешемской Промышленной Области (С 21-го октября по 17-е ноября 1917 г.)* (Кинешма: Тип. хозяйств. секции С. Р., С. и К. Д., 1918), 16-32.

¹⁹ *Русский Манчестер* (5 ноября 1917).

IVÁN HALÁSZ

Lenin and the Bolsheviks in the Propaganda and Memoirs of the White Guards

The Russian civil war fought between 1917 and 1920 belongs to the bloodiest and most complex events of the 20th century. Nearly all, socially, ethnically or culturally determined segments of the contemporary Russian population participated in this armed conflict, in which all contradictions, antagonisms and hatred came to the floor, which had been accumulated over the centuries.¹ There were many front lines in this war, which often changed dynamically. The most important front line, however, was always between the red camp led by the Bolsheviks (namely the nascent Soviet power) and the centrist and right-wing camp of the anti-Bolshevik forces. Contemporaries called the latter the white camp and its members were known as the White Guards.² This camp was socially and intellectually very diverse, ranging from liberal politicians (Kadet, former members of the Constitutional Democratic Party), to the representatives of the Russian monarchism and far right-wing politicians and officers of various ranks and temperament.³ Rarely we can also find the former politicians of the moderate socialist camp in the White Guard.

This heterogeneity and complex social and intellectual background were also characteristic of the most important ideologists of the white camp. Piotr Struve, who was of aristocratic descent, was, for example, a legal Marxist in his youth. However, it remains to be a fact that in his mature years he stood closer to the enlightened conservatives and the moderate liberals. Vasily Sulgin had a more consistent career: he was a leader of the Russian radical nationalist right-wing even before the revolution. One of the most prominent figures of the Crimean regime of Baron Vranghel was Alexandr Krivosein, who had been minister also in

Stolypin's government. Nikolai Ustryalov, who was a Kadet from the countryside and later became one of the most well-known ideologists of the Siberian counter-revolution, had not been a nationally known figure before 1914 – in contrast with the intellectuals and office-holders listed above.

These people undoubtedly played an important role in the white camp but they were not civil leaders. Power was concentrated in the hand of the generals. The White Guards regimes, which sought to offer the main alternative to the red Soviet power and the “civil” Lenin were almost all the dictatorships of the generals led by generals (Alekseyev, Denikin, Yudenich, Kornilov, Miller and Vrangel) and admirals (Kolchak), who gained fame during the First World War. Namely, the most important and characteristic voluntary base of the white movement consisted of the part of the officers of the dissolved Tsarist army, who could not reconcile with the revolution and refused to accept the loss of their former status, prestige and livelihood.⁴ Although the backbone of the Red Army was also based on former professional officers, in many cases they were forced to join the red camp by the “state-builder” Bolsheviks. In contrast, the first serious military formation of the White Guards was the Volunteer Army organized by the old Russian officers of the general staff, which fought against the units of the Red Guards already in 1917.

The professional officers, who fought in the First World War constituted the social stratum, which was the most deeply affected by the 1917 revolution alongside the landowner and bourgeois classes. The exhaustion, collapse and dissolution of the old army deprived them of their social basis.⁵ Although the collapse had mainly objective reasons (long war, bad supply, military failures, general exhaustion, etc.), the democratic and radical revolutionary propaganda undoubtedly played a role in the disintegration of the army. Through this propaganda the revolutionaries sought to neutralize the army, which was considered to be a potential means in the hand of the counter-revolution. A significant part of the officers regarded the revolutionaries as a defeatist, destructive and detrimental force even before October, 1917. Most of them considered Bolshevism as a symptom of defeat.⁶

It did not last long until Bolsheviks were also seen as traitors, since amid the conditions of the First World War many officers could not explain otherwise the processes of democratization, which led to the disintegration of the old army. Namely, we should never forget that the 1917 revolution and the subsequent civil war broke out during, and as a consequence of the First World War. The events of the First World War and the Civil War were closely interrelated, at least until the end of 1918. Un-

der such circumstances the evaluation of Bolsheviks was further distorted by the conditions of their return to Russia (with the permission of the German general staff, in a sealed wagon). Therefore, for many officers it was self-evident to look for a causal relationship between this fact and the Brest-Litovsk Peace Treaty concluded at the beginning of 1918.

Thus, one of the most important ideological theses of the White Guards, which could also be well used in the propaganda, namely, that the Bolsheviks, who undermined the stability and safety of the country, were the advocates and the “vanguard” of the foreigner (that is, German) interests, almost automatically followed from the above listed facts. This approach was further reinforced by the nationalist, statist and traditionalist orientation of the white camp. The international embeddedness of the Russian radical left and the world revolution advocated by the Bolshevik leadership was a handy tool in the hand of the white propagandists and ideologists. The image of the destructive and internationalist Bolsheviks was further reinforced by the open and decentralizing (that is, open to federation and autonomy) policy towards national minorities – at least in the arsenal of the white propaganda. Namely, most of the white generals sought to restore the “sacred and indivisible Russia” and they interpreted the white cause as a real “national cause”. They, of course, forgot the support, which the White Guards received from abroad: first from the German army of occupation and then from the Entente powers.

Anti-Semitism also played an important role in the white propaganda. Anti-Semitic pogroms demanded hundreds of thousands of victims during the Civil War, independently of sides, and units organized them (almost all). Organized anti-Semitic propaganda was, however, mainly characteristic of the movement of the White Guards and various other nationalistic groups. The white propaganda machine was very much fond of stressing the non-Russian and non-Christian roots of many Bolshevik leaders. This referred less to Lenin, who had a “Russian” or “Eurasian” appearance but for instance, the Jewish features of Trotsky received a great emphasis in the white propaganda.

Amongst the propaganda materials mentioned above we can sometimes find remarkable, or relevant pamphlets for our analysis, in which the white authors saw a peculiar ethnical division of labor in the camp of their red opponents. According to one of the documents dated from 1919, the very Soviet power, which is led by Jewish Kommissars seeks to destroy and enslave the sacred Russia and the true Russian people with the help of Latvian Cheka-men (members of the secret police), German and Hungarian internationalist mercenaries (recruited mostly out of the former prisoners of war) and Chinese executioners.⁷

All civil wars would sooner or later inevitably lead to simplifications. The propagandists have to “sell” several complex facts and situations in a simple and easily understandable form. Further, in the course of a civil war the emotional, instinctive elements are always dominant over the rational considerations. Propaganda, however, often has a retroactive effect, and it influences the “master” propagandists insofar as they believe that their theses are reinforced by the “reality” of their propaganda. However, it does not play the same role in every civil war. In this respect, the Russian Civil War was extraordinary and modern, since propaganda played a less decisive role in most of the former armed conflicts. Serious propaganda machines were created by both sides. The Bolshevik party cadres, who had a more modern approach, were in a better situation, but the White Guards also sought to catch up with them gradually in spite of the fact that the generals, who had had bad experiences in this respect in 1917, were at the beginning suspicious even of their own propagandists.

The most extensively elaborated white propaganda apparatus was formed in South Russia led by General Denikin, under the name acronym OSVAG, which stands for *Osvedomitelnoye otdeleniye* – the Russian term for publicity and intelligence agencies. Its most important objective was to organize and spread propaganda, but it was also engaged in collecting information, which served as a basis for the various analyses and information reports prepared for the white generals. OSVAG had its own counter-intelligence. This was, however, not the one and only counter-intelligence of the White Guards. We should mention that the repressive and reconnaissance units of the White Guards were much more decentralized and heterogeneous than the so-called red Cheka (Extraordinary Commission for the Struggle against the Counter-revolution and Sabotage).

Although the white propaganda also influenced certain white leaders, most of them were intelligent enough to see through the situation and recognize the structural problems of their own camp. In this respect General Denikin and his successor, Baron Vrangel deserve merit. The latter also had certain political skills; however, these could only become manifest very late, in 1920.

The most important self-critical memoir was written by General Denikin, who was an émigré in the 1920s. We can mention here that he wrote the first parts of his multi-volume work “*Ocherki russkoi smuti*” in Hungary, a settlement close to Lake Balaton (and a picturesque resort), Balatonboglár. How did Denikin explain the Bolshevik success? He mainly explained it through the exhaustion of the whole society, whose main reason lied in the First World War and the subsequent Civil War.

Further, Russian society was deeply discontented with the situation in general. The general also mentioned the slavish instincts of the masses but he failed to recognize their roots dating back to many centuries. He also regarded the impotence of the great majority as an important factor, which he believed to have an unfortunate marriage with the activity of the well-organized, iron-willed and immoral (that is, cynical) minority.⁸ The latter referred to the Bolshevik party, of course. Further, the general listed the revolutionary slogans, which were attractive for the masses. Denikin was, however, very much aware of the mortal decline in his own camp – a consequence of the long civil war. In his memoirs he devoted much space to the description of the evil conditions, terror, violence, etc., which were also characteristic of the hinterland of the White Guards. In this respect, we can quote here the nationalist Sulgin, who fought to the end. Once he commented on the development of the movement of the White Guards, referring to the activity of the Southern Russian volunteers: “...we started this war as saints and we almost finished it as a gang of robbers”.⁹

Denikin already recognized the problem of the poor state-building ability of the White Guards, which he regarded to be a paradox. Namely, the white movement declared itself to be the “pledge” of the traditional Russian statehood, which was organized with the explicit purpose to save this state. In the light of the white propaganda, the chief enemy of the Russian statehood was the destructive, anti-state, anti-Russian, immoral Bolshevik party, which represented only a tiny segment of Russian society, and moreover, it served foreign interests. The White Guards sought to set the traditional pillars of the Russian state against the “evil” Bolsheviks: statism, imperialism, nationalism, militarism and the respect of traditional hierarchies. Amid the chaos of the civil war and the subsequent ideological search for alternatives, when even many old monarchists did not dare to openly represent the program of restoration, the idea of the “effective strong power” – without ideological attributes – was born. This power had to be, on the one hand, apparently neutral and depoliticized, on the other hand, effective in a modern sense. However, in spite of all their efforts and “toughness”, the White Guards failed to create a lasting dictatorship, which could provide for the order for which the “masses” longed.

The problem of the effective power was a central question to the white camp, and therefore the admission of failure was all the more painful for the generals. Namely, it was all the more difficult to describe the Bolshevik party merely as anti-statist and destructive force, especially after the Bolsheviks were the first to tame and control the anarchy and the unorganized, spontaneous violence within their own camp (the question

of organized violence is not discussed here). In this respect it is worth mentioning the memoirs of a local intellectual émigré from Jekaterinoslav, who sympathized with the White Guards. Namely, the journalist Arbatov observed the imperial changes in his town in Southern Russia “from below”. According to Arbatov, when the red troops captured the city for the third time, the civil population was positively surprised by discipline of the Red Army, which manifested itself in their reluctance to engage in looting, which had been characteristic of all soldiers of the armies of occupation (including the Bolsheviks formerly). All other measures of the Soviet power sought to restore the prestige of the authorities in the eye of the local population and minimize revolutionary spontaneity in the administration. The success of “state-building” was best proved by the passing through of the Cossacks from Kuban, who went to fight against the Poles, because the local population recognized in these disciplined and well-fed soldiers the same white Cossacks, who mercilessly plundered the city for several months the past year (alongside the overall passivity of their white officers).¹⁰

This episode nicely shows that during the “Smuta” all forces had to start state-building work in their own camp and tame the destructive forces and instincts of their own soldiers. It may well have been true that these instincts were stronger among the masses, who sought to get rid of misery and oppression at any price, but violence and terror sooner or later “infected” everybody – as we can see in the mirror of memoirs. The only question was, which side would recognize sooner the self-destructive nature of this violence, and step out of the spiral of the mad, irrational and uncontrolled retributive violence and terror in the interest of state-building. This race was won by the Soviet power led by the Bolsheviks. However, the intellectuals of the white camp had difficulties to admit this even in retrospect. Further, many never made this step, and continued to think – in line with their own propaganda – that the “sacred Russia” was destroyed by the Jewish Freemason revolutionary conspiracy – paid for by the Germans, of course.

A remarkable “white” explanation was given by the philosopher Nikolai Berdyaev. Mentally, emotionally and politically Berdyaev stood close to the White Guards (Kadets) but since he was not very active in the organizations of the White Guards, he could “get through” the years of the civil war relatively peacefully, furthermore, in the centre of the Soviet power, in Moscow. He left his home country only in 1922, on the board of a ship, which was organized by the government for the non-Bolshevik chief intellectuals, who could only be with difficulty – or not at all – integrated in Soviet intellectual life.

Although in 1918, in a writing on the philosophy of religion Berdyaev called the Bolshevik turn the power of the Anti-Christ, as a later émigré he gave a more nuanced picture of the Bolshevik rule. In his book entitled *The Origin of Russian Communism* he already argued that even though the Russian revolution followed the slogan of internationality, and its principles were universal (like in the case of every great revolution), at the same time it also entailed the national principle.¹¹ Thus, he conceived Communism as having both an international and a national character, and precisely this simultaneity caused always difficulties in its evaluation. According to Berdyaev, the internationalism of the Russian Communist revolution was itself a purely Russian, national phenomenon, and it was related to traditional Russian Messianism. He described Lenin as follows: "Lenin himself is a typical Russian. In his characteristic, expressive face there was something Russo-Mongolian. In Lenin's character there were typical Russian traits, and those not specially of the intelligentsia but of the Russian people—simplicity, wholeness, boorishness, dislike of embellishment and rhetoric, thought of a practical kind, a disposition to nihilist cynicism on moral grounds. In several ways he recalled the Russian type which found expression in the genius of L. Tolstoi, although it did not overcome the complexity of Tolstoi's inner life. Lenin was made of one piece; he was a monolith. The part played by Lenin is a notable demonstration of the rôle of personality in historical events. Lenin could become a leader of revolution and realize those plans of his which had been worked out long before, because he was not a typical member of the Russian intelligentsia. In him characteristics of the Russian sectarian intelligentsia existed side by side with characteristics of the Russians who had made and shaped the Russian state. He united in himself traits of Chernishevsky, Nechaev, Tkachev, Zhelyabov, with traits of the Grand Princes of Moscow, of Peter the Great and Russian rulers of the despotic type. In this lies his originality. Lenin was both an out and out revolutionary and a statesman. He combined revolutionary ideas of the extremist type and a totalitarian revolutionary outlook with flexibility and opportunism in the means employed in the struggle and in political practice. It is only such people who are successful and victorious."¹²

Berdyaev thought that in the case of Lenin, the most radical currents of the revolutionary Russian intelligentsia had been linked with the traditions of the most radical Russian dictatorial power structure. Lenin had never been a Democrat and he had also distanced himself from anarchism. Although in principle he was an internationalist, in reality, he argued for the necessity of an original Russian national revolution. Paradoxically, Berdyaev thought that Bolshevism led by Lenin is nothing else

but the third manifestation of Russian imperial aspirations, Russian imperialism (the first was the Moscow Empire, while the second is linked to Peter the Great). In the case of Lenin, social sensitivity and the quest for social justice was accompanied by aspirations for state power but the latter proved to be more important. The question of power was central to the intellectual statesman Lenin, but he also knew that military force and violence are not enough in the long run. Namely, the lasting functioning of any regime demands an indivisible doctrine, an indivisible *Weltanschauung*. This was the task of Communism.¹³

In contrast with the theories, which propagated the “alien” character of Communism, Berdyaev thought that the history of the Russian intelligentsia was, after all, the prehistory of Communism. He also evaluated the revolution calmly and objectively, that is, he refused to engage in conspiracy theories and mystical explanations. He interpreted it as a fundamentally agrarian revolution rather than a proletarian “enterprise”. Berdyaev saw the course of the revolution as follows: “In the Russian revolution, as indeed in every revolution, occurred the chaining and unchaining of chaotic forces. The popular masses raised by the revolution at first threw aside all restraint, and the transition to the rule of the masses threatened chaotic collapse. The popular masses were integrated, disciplined and organized in the elemental force of the revolution by the communist idea and by communist symbolism. In this respect communism rendered Russia an indisputable service. Russia was threatened by complete anarchy, and this was checked by the communist dictatorship, which found the slogans to which the people agreed to submit.”¹⁴

These are very original descriptions from a man, who had earlier sympathized with the Kadets, and who also studied the Russian history of religion. His views are not at all in line with the narrative constructed by the rather simplistic white propaganda, which, however, had a more lasting effect. Paradoxically, this is true for today in particular. Namely, in the case of the Russian revolution, there is one more characteristic – the greater historical perspectives and distances fail to reinforce objectivity, in fact, the opposite is true. Unfortunately, journalism and often academic literature rely on the clichés and stereotypes constructed by the contemporary white propaganda rather than on the more objective analyses of Berdyaev and similar intellectuals.

Notes

¹ М. ЛЕВИН, «Гражданская война: динамика и наследие», *Гражданская война в России. Перекресток мнений*, ред. Ю.А. Полякой, Ю.И. Игрицкий (Москва: Наука, 1994), 252-276.

² NIKOLAS KATZER, *Die weisse Bewegung in Russland* (Köln –Weimar – Wien, 1999.)

³ See BEBESI GYÖRGY, *A feketeszázak* (Budapest: MRI, 1999), 297-306.

⁴ PETER KENEZ, “A Profile of Prerevolutionary Officer Corps”, *California Slavic Studies* Vol. 7, 123-128.

⁵ АНТОН ДЕНИКИН, *Старая армия* (Париж, 1931), 90-91.

⁶ MAJOROS ISTVÁN, “Francia intervenció Dél-Oroszországban (1918–1920)”, *Századok* no. 6 (1998), 1325.

⁷ Н. ПОКРОВСКИЙ, *Сказка про коммуны и деда Антона* (1919).

⁸ АНТОН ДЕНИКИН, *Очерки русской смуты*. Том I (Париж, 1921), 216-218.

⁹ ВАСИЛИЙ ШУЛГИН, *Дни 1920* (Москва, 1989), 565.

¹⁰ З.Я. АРБАТОВ, «Екатеринослав 1917–1922 гг.», *Архив русской революции*. Том XII, ред. И.В. Гессен (Берлин, 1921–1937), 117-118.

¹¹ This paper is using for the citations the English translation of this book: NICOLAS BERDYAEV, *The Origin of Russian Communism* (London, 1948).

¹² BERDYAEV, *The Origin of Russian Communism*, 113-114.

¹³ BERDYAEV, *The Origin of Russian Communism*, 117-120.

¹⁴ BERDYAEV, *The Origin of Russian Communism*, 132-133.

VIKTOR SZABÓ

«Революционный канон»: как переименовали улицы Екатеринбурга после Октябрьской революции

В статье хотелось бы представить небольшую часть итогов своих исследований, проведённых в Екатеринбурге в 2016-м году.¹

Я занимаюсь топонимикой. Топонимика является интегральной наукой, которая находится на стыке истории (местной истории), лингвистики (этимологии) и географии (картографии). В своей работе я изучал переименования внутригородских географических объектов Екатеринбурга, произошедшие по идеологическим причинам. В европейских странах после Французской революции политическая власть стремилась имплементировать и распространять свою идеологию. С этой целью создавались, например, памятники, памятные доски, вводились годовщины и т.д. Это символическое завоевание пространства выражается и в переименованиях внутригородских географических объектов (т.е. улиц, площадей, районов и т.д.), а также населённых пунктов и областей. Ведь такого рода переименования радикально изменяют бывшие ориентации народа. Именно поэтому, особенно после политических перемен, часто возникают дискуссии между политической идеологией, общественным мнением и наукой о переименовании географических объектов.

Известно, что Октябрьская революция коренным образом изменила жизнь России, в ходе которой пролетарская власть символически завладела улицами и площадями, переименовав их в честь своих новых героев, тем самым создав новый «революционный канон».

Источники и использованная литература

В качестве источников мною использованы разные карты горо-

да, газета «Уральский Рабочий», материалы «партархива», а также местного и государственного законодательства.

Что касается научной литературы, то чаще всего мною даются ссылки на книгу В.М. Быкова, в которой приведен список улиц и площадей Екатеринбурга 1922 года,² а также на книгу Л.И. Зориной и В.М. Слукина, которая содержит полную историю улиц и площадей исторического центра города.³

Кроме этого хотелось бы упомянуть и университетский конспект Имре Фараго, в котором определены особенности венгерских географических названий. Важнейшее наблюдение автора заключается в том, что у внутригородских географических объектов сначала есть народные названия, которые с XIX века постепенно перешли в официальные наименования.⁴

Дореволюционные названия

Дореволюционный Екатеринбург с начала XX века был крупным экономическим, административным, транспортным и культурным центром Урала. В этот период территория города имела следующие границы – 2-я *Восточная улица* с востока, *Северная улица* (сегодня *улица Челюскинцев*) и железнодорожный вокзал с севера, *Московская улица* с запада. На юге *Болотная улица* (сегодня *улица Большакова*) представляла собой бывшую границу, но город здесь расширился быстро, и были сформированы *Загородные улицы* (с первой до четвертой).⁵

Территория старого Екатеринбурга, так называемая «Утюжка»,⁶ позже стала Центральным и частично Южным жилым районом города.

С основания города, т.е. с 1723 года, улицы носили разные народные названия. Эти названия были очень неустойчивые, и после формирования новой точки ориентации, нередко изменялись (например, *Дровяная площадь* называлась также *Театральной площадью* [сегодняшняя *Площадь Парижской Коммуны*] и т.д.).

В дореволюционном городе существовала 101 улица с названиями, и было всего лишь 4 улицы, которые носили официальные имена: *Александровский проспект* (после 1824 г., назван в честь Александра I), *Арсеньевский проспект* (с 1904 г. – в честь пермского губернатора, Д.Г. Арсеньева [1840–1912]), *Гоголевская улица* (с 1902 г. – в честь Н.В. Гоголя, к 50-ой годовщине его смерти) и *Пушкинская улица* (с 1899 г. – в честь А.С. Пушкина, к столетию со дня его рождения).

Все остальные названия связаны с народным именованим. Это доказывает то, что провинциальная часть Российской империи значительно отставала от столицы, потому что в Санкт-Петербурге уже

с середины XIX века появились официальные названия.⁷ Имре Фараго в Венгрии определил 8 типов народных названий, из которых 5 можно найти и в Екатеринбурге:⁸

Названия, указывающие:

- (1) на территориальное расположение – 22%: *Береговая 1-я и 2-я улицы, Верх-Исетская площадь, Восточная 1-я и 2-я улицы, Главный проспект, Загородная 1-я, 2-я, 3-я и 4-я улицы, Мельковская 1-я, 2-я, 3-я и 4-я улицы, Мельковская береговая, Мельковская площадь, Нагорная улица, Северная улица, Съезжая большая улица, Съезжая малая улица, Уктусский 1-й и 2-й переулки.*
- (2) на характеристику почвы – 2%: *Болотная улица, Студёная улица.*
- (3) на известные здания – 31%: *Архиерейская улица, Архиерейский переулок, Богоявленская 1-я и 2-я улицы, Верх-Вознесенская улица, Вознесенская площадь, Вознесенский переулок, Вознесенский проспект, Гимназическая набережная, Госпитальная улица, Екатерининская площадь, Земская улица, Златоустовская улица, Кафедральная площадь, Клубная улица, Крестовоздвиженская улица, Механическая улица, Монастырская улица, Никольская улица, Ночлежная площадь, Ночлежная улица, Обсерваторская улица, Отрясихинская улица, Офицерская улица, Покровский проспект, Почтовый переулок, Симеоновская улица, Солдатская улица, Спасская улица, Тихвинская улица, Успенская улица.*
- (4) на экономическую роль – 9%: *Водочная улица, Дровяная площадь, Дровяная улица, Ключевская улица, Кузничная улица, Луговая улица, Сенная площадь, Хлебная площадь, Щепная площадь.*
- (5) на населённый пункт, куда улица выходит – 7%: *Берёзовская улица, Московская улица, Пышминская улица, Сибирский проспект, Уктусская улица, Челябинская улица, Шарташская улица.*
- (6) в России существует и такой вариант, который в Венгрии не типичен – антропонимы, которые происходят от имён или фамилий бывших владельцев, жителей.⁹ В Екатеринбурге было 24 такого внутригородского топонима – 24%: *Байнаухова улица, Бороздинская улица, Васенцовская улица, Гилёвская улица, Глуховская улица, Дубровинская улица, Кок-*

винская площадь, Коковинская улица, Колобовская улица, Коробковская улица, Ломаевская улица (?), Малаховская площадь, Малаховская улица, Основинская улица, Пестеревский переулок, Расторгуевская улица, Симановская улица, Сухаревская улица, Тарасовская набережная, Тимофеевская набережная, Турчаниновская улица, Усольцевская улица, Харитоновская улица, Щипановский переулок.

- (7) и были 2 названия неизвестного происхождения – 2%: *Столовая улица* (там не было никакой столовой)¹⁰ и *Фетисовская улица* (возможно из фамилии «Фетисов», но там не жили Фетисовы).¹¹

События после Октябрьской революции

После создания советской власти в Екатеринбурге, 17-го июля 1918 г. произошло убийство царской семьи в доме инженера Ипатьева. Неделю спустя 25-го июля отряды чехословацкого корпуса оккупировали город. Период колчаковщины окончился 15-го июля следующего года, когда Красная Армия снова захватила территорию.

13-го октября на открытии 1-й Екатеринбургской губернской конференции РКП(б) председатель Сосновский предлагал *«почтить память тех, кто был бы сегодня среди нас на почетном месте, – память МАЛЫШЕВА, ВАЙНЕРА, ТОЛМАЧЕВА и других, павших жертвами гражданской борьбы»*.¹² На этом же заседании конференции Бразуль доложил о работе губернской комиссии по устройству праздника-годовщины.¹³

Затем 5-го ноября в газете *Уральский Рабочий* появилось приглашение на *«торжественное заседание Губернского и Уездного Городского Исполнительного Комитетов, Городского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов, Губернского Совета Профессиональных Союзов, Правлений всех Профсоюзов, Фабрично-заводских комитетов, всех комитетов партии. Представителей партийных ячеек гражданских и военных, всех Политотделов, Военсовета Армии и Совета Укрепленного района и др. революционных и культурно-просветительных организаций»*.

Порядок дня:

- (1) *Два года Октябрьской Революции.*
- (2) *Торжественное объявление о переименовании площадей, улиц и общественных зданий»*.¹⁴

Соответственно, 6-го ноября, в четверг, в 7 часов вечера в Новом Городском Театре Сосновский провозгласил новые названия.¹⁵

Анализ переименований

Из 101 существующего названия переименовали только 46. В первую очередь переименовали те улицы, которые находились в самом центре города.

Названия, указывающие на известные здания (прежде всего храмы и соборы) почти полностью исчезли. Таким образом, больше чем 50% переименований связано с этими названиями (см. Табл. 1).

ТАБЛИЦА 1

№ 1	Старое название	Новое название
2	<i>Покровский проспект</i>	<i>Улица Ивана Малышева</i>
3	<i>Отрясихинская улица</i>	<i>Улица Радищева</i>
6	<i>Вознесенская площадь</i>	<i>«Площадь Народной мести»</i>
7	<i>Симеоновская улица</i>	<i>Улица Тверитина</i>
8	<i>Гимназическая набережная</i>	<i>Набережная Рабочей Молодёжи</i>
9	<i>Архиерейская улица</i>	<i>«Детский городок»</i>
10	<i>Театральная площадь</i>	<i>Площадь Парижской Коммуны</i>
11	<i>Площадь у дома союзов (бывший Окружной Суд)</i>	<i>Площадь Труда</i>
12	<i>Площадь у Кафедрального Собора</i>	<i>Площадь 1905 года</i>
14	<i>Ночлежная площадь</i>	<i>Площадь Максима Горького</i>
15	<i>Монастырская улица</i>	<i>Улица Народной Воли</i>
21	<i>Успенская улица</i>	<i>Улица Леонида Вайнера</i>
23	<i>Госпитальная улица</i>	<i>Улица Добролюбова</i>
25	<i>Богоявленский 1-й переулок</i>	<i>Улица Володарского</i>
26	<i>Богоявленский 2-й переулок</i>	<i>Улица Урицкого</i>
27	<i>Спасская улица</i>	<i>Улица Стеньки Разина</i>
30	<i>Вознесенский проспект</i>	<i>Улица Карла Либкнехта</i>
31	<i>Офицерская улица</i>	<i>Пролетарская улица</i>
33	<i>Верх-Вознесенская улица</i>	<i>Улица Коммуны</i>
34	<i>Солдатская улица</i>	<i>Красноармейская улица</i>
38	<i>Клубная улица</i>	<i>Первомайская улица</i>

40	<i>Кресто-воздвиженская улица</i>	<i>Улица Карла Маркса</i>
41	<i>Златоустовская улица</i>	<i>Улица Розы Люксембург</i>
43	<i>Ночлежная улица</i>	<i>Улица Максима Горького</i>
45	<i>Никольская улица</i>	<i>Улица Белинского</i>

Около половины названий, указывающих на бывших жителей, изменилось, т.е. около 25% переименований было связано с этими названиями (см. Табл. 2).

ТАБЛИЦА 2

№ 2	Старое название	Новое название
4	<i>Александровский проспект</i>	<i>Улица Декабристов</i>
16	<i>Тимофеевская набережная</i>	<i>Набережная Труда</i>
17	<i>Фетисовская улица</i>	<i>Улица 9-го января</i>
18	<i>Ломаевская улица</i>	<i>Улица Февральской Революции</i>
19	<i>Коробковская улица</i>	<i>Улица Октябрьской Революции</i>
20	<i>Усольцевская улица</i>	<i>Улица Матроса Хохрякова</i>
22	<i>Дубровинская улица</i>	<i>Улица Чернышевского</i>
29	<i>Колобовская улица</i>	<i>Улица Толмачёва</i>
35	<i>Арсеньевский проспект</i>	<i>Улица Якова Свердлова</i>
36	<i>Коковинская улица</i>	<i>Улица Якова Шейкмана</i>
37	<i>Васенцовская улица</i>	<i>Улица Свободы</i>
39	<i>Харитоновская улица</i>	<i>Улица Шевченко</i>
42	<i>Малаховская улица</i>	<i>Улица Энгельса</i>

Грамматика новых названий

Как видно, новые названия и грамматически отличаются от прежних. Большинство новых названий состоит из географического существительного и имени собственного в родительном падеже, а раньше названия выстраивались от прилагательного и географического существительного. Вероятно, таким образом на грамматическом уровне подчёркивалось символическое завоевание пространства пролетарской властью.

Семантика новых названий

На уровне семантики доминируют антропонимы (*улица Ленина, улица Ивана Малышева, улица Радищева, улица Троцкого, улица Тверитина, площадь Максима Горького, улица матроса Хохрякова, улица Леонида Вайнера, улица Чернышевского, улица Добролюбова, улица Щедрина, улица Володарского, улица Урицкого, улица Стеньки Разина, улица Большакова, улица Толмачёва, улица Карла Либкнехта, улица рабочего Загвоздкина, улица Якова Свердлова, улица Якова Шейкмана, улица Шевченко, улица Карла Маркса, улица Розы Люксембург, улица Энгельса, улица Максима Горького, улица Антона Валека, улица Белинского, улица Решетникова*) и названия групп (*улица Декабристов, площадь Уральских коммунаров*) – 66%.

Больше чем 25% новых названий принадлежит к символам, которые в российской топонимии до тех пор были неизвестны: *набережная Рабочей Молодёжи, площадь Парижской Коммуны, площадь Труда, улица Народной воли, набережная Труда, Пролетарская улица, улица Коммуны, Красноармейская улица, улица Свободы, Первомайская улица.*

Около 10% новых названий указывает на знаменитые события рабочего движения и революции: *площадь Народной мести, площадь 1905 года, площадь 9-го января, улица Февральской революции, улица Октябрьской революции.*

Этимология новых названий

Что касается этимологии новых названий, то Сосновский в своём докладе отметил причины переименований только в трёх случаях:

«Главный проспект назван по имени главы Рабоче-Крестьянского Правительства и главного вождя мирового пролетариата – улицей Ленина.

Покровский проспект назван улицей Ивана Малышева – в память этого любимого всеми Уральцами товарища, погибшего в первые дни гражданской борьбы на Урале. (...)

*Вознесенская площадь, на которую выходят окна дома, в котором кончил свои дни царь Николай Кровавый (sic!), названа “Площадью Народной мести”».*¹⁶

Кроме этих одна из техник переименований, так называемая «ответность»,¹⁷ заключается в создании как бы «антонима» к старому названию (см. Табл. 3):

ТАБЛИЦА 3

№ 3	Старое название	Новое название
4	<i>Александровский проспект</i>	<i>улица Декабристов</i>
8	<i>Гимназическая набережная</i>	<i>Набережная Рабочей Молодёжи</i>
14	<i>Ночлежная площадь</i>	<i>Площадь Максима Горького</i>
34	<i>Солдатская улица</i>	<i>Красноармейская улица</i>
43	<i>Ночлежная улица</i>	<i>улица Максима Горького</i>

Среди новых названий важную роль также играют имена местных героев подпольного движения рабочих и жертв гражданской войны. Этих деятелей (например, Ивана Малышева, Леонида Вайнера, Антона Валека, рабочих Большакова, Тверитина и Загвоздкина, матроса Хохрякова, Якова Шейнкмана, Якова Свердлова, а также писателя Ф.М. Решетникова) легко было связать с историей и улицами Екатеринбурга.

К следующей группе новых антропонимов принадлежат лица, у которых не было местных связей, но они играли важную роль в международном рабочем движении или в российской и мировой культуре. Они соответствуют списку Ленина, Бонч-Бруевича и Горбунова от 2-го августа 1918 г.¹⁸ По этому списку было названо 10 улиц, 4 из них в честь революционеров и общественных деятелей (Маркса, Энгельса, Степана Разина и Володарского) и 6 в честь писателей и поэтов (Радищева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Щедрина и Шевченко). В списке упоминается и Володарский. Он стал последней жертвой террора (его убили эсеры 20-го июня). По этой причине возможно предположить, что Урицкий, Роза Люксембург и Карл Либкнехт, в честь которых также были названы улицы в Екатеринбурге, были бы добавлены к списку Ленина и др. в том случае, если бы их убили до его публикации. Это доказывает и то, что «революционный канон» был открытым, и расширяемым.

В тот период ещё не было культа личности. Однако среди новых названий можно найти три современного деятеля – героя революции Ленина, героя гражданской войны Троцкого и одного из основателей пролетарской культуры Максима Горького (два раза). Вполне возможно, что такая необычная в то время форма похвалы была вызвана революционным рвением местных лидеров партии.

Оценка

Анализ переименований даёт нам возможность определить «революционный канон». Этот канон состоял из местного и государственного «пантеона» и содержал названия, которые «стояли ближе к сердцу и душе пролетариата». И за исключением Троцкого, эти названия существуют до сих пор в топонимии Екатеринбурга и России.

Особенности этого канона:

- Исчезновение почти всех названий, указывающих на православие и царизм;
- Формирование «антонимов» старых названий («ответность»);
- Увековечение символов и событий рабочего движения и революции;
- Увековечение местных и мировых жертв (и редко ещё живых героев) рабочего движения, революции и гражданской войны;
- Увековечение выдающихся для коммунистов деятелей российской (и всемирной) культуры;
- Переименования всегда происходили в рамках праздника-годовщины октябрьской революции (или в рамках других годовщин);
- Существование местного и государственного уровней.

Имре Фараго определил 6 типов официального именованя,¹⁹ из которых 3 варианта встречаются среди новых названий:

- (1) Антропнимы связаны с выдающимися местными и общенациональными деятелями;
- (2) Абстрактные, символические термины;
- (3) Дата важных событий.

Несмотря на то, что 6-го ноября 1919 г. массовое переименование было объявлено местными властями на официальном заседании, его нельзя считать официальным. Скорее всего, оно было вызвано революционным рвением и коммунистической пропагандой. Новые названия бурно одобрили, но люди с трудом привыкали к ним. О неофициальном характере объявления о массовом переименовании свидетельствует в том числе и несколько аномалий среди внутригородских географических названий 1920-х гг. Например, *Васенцовскую улицу* в 1919 г. переименовали в *улицу Свободы*, а позднее, в 1922 г., её снова назвали *улицей Васенцовская*, а в 1930-х гг. она стала *улицей Луначарского*. 1-го мая 1923 года открыли памятник Якову

Свердлову, и в ознаменование этого события *улицу Свердлова* назвали «неправильно» – *Арсеньевский проспект*.²⁰

Потребность в исправлении аномалий и планировании возникла только в 1930-е годы.

Аналогичные тенденции во время Венгерской Советской Республики

Хотя советская республика в Венгрии просуществовала всего 133 дня, было бы интересно узнать, происходили ли аналогичные процессы в переименованиях географических объектов.

Из исследований Больдижара Вёрёша мы знаем, что параллельно с созданием Венгерской Красной Армии переименовали будапештские казармы, указывающие на время К. и К. (27-е марта), а также больницы, которые носили имена венгерских святых (2-е апреля).²¹

1-го мая памятники деятелям предыдущего режима покрыли символами и памятниками рабочего движения, изготовленными из папье-маше и гипса. Даже вновь созданные населённые пункты, Шорокшар и Ержебетфальва, по предложению местных властей переименовали в Марксфальва и Ленинварош.²²

5-го июня на заседании Исполнительного Комитета № 80 Будапештского Центрального Революционного Рабоче-Солдатского Совета было обращено внимание на переименование улиц и площадей венгерской столицы, однако этого не произошло из-за нехватки времени.²³

Примечания

¹ Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своего научного руководителя, Тамаша Крауса, сотрудников Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (УРФУ), Государственного архива Свердловской области (ГАСО) и Центра документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) и Свердловской областной универсальной библиотеки им. В.Г. Белинского за помощь.

² В.М. Быков, *Советский Екатеринбург. Справочник-путеводитель* (Екатеринбург: УралГосИздат, 1922), 62-64.

³ Л.И. Зорина, В.М. Слукин, *Улицы и площади старого Екатеринбурга* (Екатеринбург: Баско, 2005).

⁴ FARAGÓ I., *Földrajzi nevek* (Budapest: ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, 2014), 202-208.

⁵ См. карту города в 1910-м году. – <http://1723.ru/read/map/1910-2.htm> (март, 2018).

⁶ Вербальная информация от К.Д. Бугрова (УРФУ).

⁷ Ср.: К.С. ГОРБАЧЕВИЧ, Е.П. ХАБЛО, *Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга* (Санкт-Петербург: Норинт, 2002), 5-6.

⁸ FARAGÓ, *Földrajzi nevek*, 204.

⁹ О распространении антропонимов среди российских географических названий см., напр.: Е.М. ПОСПЕЛОВ, *Географические названия России. Топонимический словарь. Более 4000 единиц* (Москва: АСТ: Астрель, 2008), 10.

¹⁰ Ср. ЗОРИНА И СЛУКИН, *Улицы и площади*, «Ревдинский переулок».

¹¹ Ср. ЗОРИНА И СЛУКИН, *Улицы и площади*, «улица 9-го января» (сегодняшняя улица Бориса Ельцина).

¹² ЦДООСО Ф. 225. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.

¹³ ЦДООСО Ф. 225. Оп. 1. Д. 2. Л. 11. К сожалению, у меня не было возможности просмотреть материалы этой губернской комиссии, но я предполагаю, что именно эта комиссия приняла решение о переименовании улиц и площадей и отправила свои предложения городскому совету, созданному 16-го октября.

¹⁴ «Торжественное заседание Совета Раб., Кр. и Арм. Депутатов», *Уральский Рабочий* (5 ноября, 1919).

¹⁵ «Торжественное заседание Екатеринбургского Совета (6 ноября, 1919 года. Окончание)» *Уральский Рабочий* (14 ноября, 1919).

¹⁶ «Торжественное заседание Екатеринбургского Совета».

¹⁷ Это выражение использует С.А. Никитин, см.: «Революция и география. Становление советской топонимики в 1918–1930 годах», *Отечественные записки* 2 (2003). – <http://magazines.russ.ru/oz/2003/2/nik.html> (март, 2018).

¹⁸ «Список лиц, коим предложено поставить монументы в г. Москве и других городах РСФСР, представленный в Совет Народных Комиссаров Отделом изобразительных искусств Народного комиссариата по просвещению», *Известия ВЦИК* (2 августа, 1918).

¹⁹ FARAGÓ, *Földrajzi nevek*. 205-207.

²⁰ «Первое мая», *Уральский Рабочий* (3 мая, 1923). О необыкновенности новых названий см., напр.: А.М. СЕЛИЩЕВ, *Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком (1917–1926)* (Москва: УРСС, 2003), 189-190.

²¹ VÖRÖS B., “A múltat végképp eltörölni?”. *Történelmi személyiségek a magyarországi szociáldemokrata és kommunista propagandában 1890–1919* (Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2004), 86-87.

²² VÖRÖS, “A múltat végképp eltörölni?”, 98-99.

²³ Budapest Főváros Levéltára (BFL) XVI/1. g. 2. d. 51–54. Цит.: VÖRÖS, “A múltat végképp eltörölni?”, 95.

XU-LI ZHAO

**«Октябрьская революция»
в российской деревне и ее последствия
(на примере борьбы большевиков и
крестьянских общин)**

Обычно считают, что Октябрьская революция в России – это первая социалистическая революция в истории человечества, после которой Россия пошла по социалистическому пути развития. За короткое время в такой сравнительно отсталой в экономическом и культурном смысле стране как Россия было создано новое государство пролетарской диктатуры. Несмотря на то, что цели социалистической революции были достигнуты в двух столицах (Москве и Петрограде) и многих других больших городах европейской части России, в многочисленных деревнях социалистическая революция была завершена гораздо позднее.

В.И. Ленин считал, что развитие русской революции проходило по двум этапам. До создания Комитетов бедноты в июне 1918 г. – это буржуазно-демократическая революция, а после их создания – социалистическая в деревне: «...наша деревня только летом и осенью 1918 года переживает сама “Октябрьскую” (т.е. пролетарскую) революцию».¹ Отсюда вытекает, что сам Вождь пролетарской революции полагал, что создание комбедов имело огромное значение для русской революции, являясь историческим переломом от буржуазной к социалистической революции.

Коренная причина создания Комбедов состояла в том, чтобы большевики крепко взяли в свои руки низовые административные организации деревни. После Октября 1917 года большевики управ-

ляли лишь некоторыми большими городами. Примерно 110 тысяч самоуправляемых крестьянских общин на широких просторах России не было в их руках. Чтобы в наибольшей степени подчинить деревню своей власти и затем контролировать продовольственные ресурсы и ресурсы живой силы, которые имели огромное значение для исхода гражданской войны, большевики сначала пытались основать сельсоветы в качестве своих коммунистических агентов в низовой деревне, но потерпели поражение из-за так называемого «симбиотического» явления сельсоветов и крестьянских общин (поскольку фактически сельсоветы и крестьянские общины составляли одно целое). Сельсоветы, которые в предположении большевиков должны были заменять общины, оказались связаны сильной общинной традицией. Поэтому, чтобы контролировать деревню, большевики вынуждены были искать новых агентов, которые могли стать «рычагом» для изменения ситуации в деревне. Как известно, таким рычагом стали комбеды. Прямая причина создания комбедов – сильный продовольственный и даже жизненный кризис, разразившийся перед большевиками после подписания Брестского мира с Германией. Кроме того, после разгона Учредительного собрания и сепаратного мира с Германией, между большевиками и эсерами обострились противоречия, и большевики пытались выгнать эсеров из местных советов через создание комбедов в связи с огромным влиянием эсеров в деревне. Это ещё одна важная причина создания комбедов.

В июне 1918 года ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) решил основать Комитеты бедноты, чтобы объединить деревенскую бедноту в борьбе с кулаками, содействовать местным продовольственным органам в изъятии у кулаков излишков хлеба. Для достижения указанной цели, можно было даже использовать вооруженные силы и организовать крестовый поход в деревню. Настоящая цель создания комбедов - через разрушение крестьянских общин обеспечить Красную армию продовольствием. Эти действия вынудили все имущественные группы крестьянства организовать единый фронт, чтобы противодействовать большевикам.

На начальном этапе создание комбедов в значительной степени вызывало гнев у крестьянства. А. Устинов, известный деятель Партии революционного коммунизма так комментировал деятельность комбедов: «Они становятся в деревне источником величайшей неразберихи... В комитеты входит голытьба, деклассированные, бесхозяйственные элементы деревни... Эта теплая компания, ничего за

душой не имеющая, кроме сознания полноты власти, отправляется походом на хозяйственные элементы деревни, на всех тех, у кого хоть что-нибудь есть. При этом не щадятся и трудовые хозяйства: расхищаются скот, мёртвый инвентарь всех видов, самые ничтожные запасы продуктов – растаскивается и проматывается все и вся, идет не созидание ценностей, а их уничтожение».² Поэтому деятельность комбедов на местах просто называется уголовным делом, так обобщает движение создания комбедов один из сотрудников продовольственного органа Пензенской губернии.³

Крестьяне оказались в безвыходном положении. Они шуточно подменяли слово «Бог» в поговорке «Все под Богом ходим» «Комбедом» - «Все под комбедом ходим», чтобы выразить свою полную зависимость от комбеда.⁴ В популярной частушке того времени можно услышать гневное настроение населения к комбедам.

Комитеты, комитеты,
Комитеты бедные,
Не от вас ли, комитеты,
Стали люди бледные?
Комитеты, комитеты,
Комитеты бедноты,
Не от вас ли, комитеты,
Стало много нищеты?⁵

Крестьяне противодействовали деятельности большевиков создания комбедов и раскола общин. Самой важной формой противодействия общин был отказ от создания комбедов. Такое решение обычно принималось коллективно всеми полноправными членами общины на сельском сходе. В резолюциях сходов крестьяне жаловались на то, что сейчас все бедны. Так, Алпатьевское волостное советское собрание, состоявшееся 30 августа 1918 г. после оглашения Декрета СНК от 11 июня 1918 г., единогласно постановило: «В виду того, что Алпатьевская волость состоит из одного села и, преимущественно, из бедного класса, кулаков и богатеев у нас нет. Комитет бедноты находим излишним и убыточным, тем более, что средств у нас нет, а деньги из центра не поступают. Заведовать же обязанностями комитетов бедноты мы поручаем комитету волостного совета и комиссару продовольствия, как лицам, стоящим на защите беднейшего класса».⁶ Нужно отметить, что сопротивление крестьянства организации комбедов в некоторых районах страны было столь сильным. Свои комитеты бедноты им приходилось создавать нелегально и действовать подпольно. Так, представитель Иноковской

волости, выступая на Первом съезде комбедов Кирсановского уезда Тамбовской губернии, заявил: «Ввиду засилья кулаков в нашей местности, работу пришлось вести тайно. Также подпольно был организован комитет бедноты».⁷

Другой важной формой противодействия крестьянства стало вооруженное восстание крестьян, убийство членов продотрядов и комбедов. 7 июля 1918 г. в связи с созданием комбеда было волнение крестьян с. Поим Чембарского уезда Пензенской губернии, в эти же дни прошли выступления крестьян в Крюковской, Карсаевской, Мачинской, Чернышевской волостях того же уезда.⁸ 5 августа 1918 г. в с. Кучки Кучкинской волости Пензенской губернии было организовано вооруженное восстание крестьян против продотряда и комбеда. Восставшими были убиты пять граждан с. Кучки и человек семь красноармейцев из продотряда.⁹ По данным НКВД, в связи с созданием комбедов и насильственной хлебозаготовкой, с июля по конец 1918 г. в 16 губерниях европейской России было 129 восстаний, в т.ч. 13 – в июле, 29 – в августе, 17 – в сентябре.¹⁰ Таким образом, вооруженное вторжение большевистской власти в село провалилось.

Кроме крестьян многие руководители низовых органов советской власти и большевистской партии также противодействовали созданию комбедов. В годы гражданской войны многие руководители местных органов власти располагали огромными полномочиями, они часто самовольно решали многие вопросы, не считаясь с центральной властью. В этот список входили не только низовые советы (волостные и деревенские), но и органы местной власти на уровнях уезда и губернии. Некоторые руководители советов явно враждебно относились к искусственному расколу деревни, считая, что это было опасно и вредно. Это в большой степени было связано с тем, что появление комбедов приносило больше разногласий и беспорядков системе местных органов советской власти. 8 ноября 1918 г. В.И. Ленин в речи на совещании делегатов комитетов бедноты центральных губерний отметил: «Мы постановили, что комбеды и Советы в деревнях не должны существовать порознь. Иначе получится склока и лишнее словоговорение. Мы сольем комбеды с Советами, мы сделаем так, чтобы комбеды стали Советами».¹¹ Почти во всех местностях советской России, комбеды вступили в конфликт с местными советами. Именно поэтому в Петровском уезде Саратовской губернии были ликвидированы так называемые всенародные советы и появились советы бедноты. А в других местностях, хотя и не было таких происшествий, но часто появлялись споры и беспорядки.¹²

Поэтому попытка большевиков создания в деревне комбедов потерпела поражение. Под давлением сопротивления общин, многие местные органы власти были вынуждены вновь основать низовые советы. Большевистские власти были вынуждены признавать, что при помощи сельских сходов, так называемые «кулаки» и «контрреволюционеры» под маской «среднего крестьянства» тайно вступили в комбеды. Поэтому, комбеды фактически стали организацией всего крестьянства, а не только деревенской бедноты. Центральное советское правительство было вынуждено признать этот факт.

Создание комбедов и раскол деревни на два противодействующих друг другу социальных лагеря разрушили общинные традиции, и поэтому вызвали у крестьянства сильное недовольство. Крестьяне вскоре особым образом изменили поступки советской власти в создании комбедов – членов комбедов стали избирать и назначить на сельском сходе согласно многовековой крестьянской традиции. Например, 24 августа 1918 года 75 домохозяев деревни Клин Смоленской волости Верейского уезда Московской губернии на общем мирском сходе постановили: «Избрать из своей среды комитет бедноты».¹³

В конце 1918 года большевики изменили свою политику. В ноябре того же года на 6-м всероссийском чрезвычайном съезде советов большевики решили объединить комбеды и советы, что фактически означало роспуск комбедов. Это свидетельствовало о том, что большевики отступили перед сильным недовольством крестьян, добились компромисса с крестьянскими общинами. Компромисс между общинами и большевистскими властями выражался в 2-х пунктах. С одной стороны, большевики в некоторой степени признали фактическое самоуправление общин; они стали соблюдать общинные традиции и правила. Это выразилось в том, что низовые советы часто подчинялись требованию крестьянства, соглашались с избранием членов комбедов на сельском или волостном сходе; комиссия по сбору продовольствия формировалась из представителей разных имущественных групп деревни, а не только из той бедноты, которую признавали власти; тем самым, большевики активно использовали общинные режимы для своих целей, например, собирали продовольствие и налоги с помощью режима развёрстки и круговой поруки, помогали членам семей красноармейцев с помощью общинного режима взаимопомощи. С другой стороны, крестьянская община (несмотря на достижение компромисса огромной ценой удовлетворения советской власти в продовольственных и людских ресурсах) в

некоторой степени сохраняла свой самоуправленческий характер низовой организации; вмешательство в ее деятельность со стороны вышестоящих органов советской власти было минимально. Самым важным было то, что крестьянская община в большинстве случаев сохраняла свои традиционные основные признаки, что служило одной из причин процветания общин в 20-х годах XX века.

Компромисс между советской властью и крестьянской общиной – это компромисс тайный и даже молчаливый. Почему же на первый взгляд невозможного соглашения можно было добиться? Во-первых, советская власть могла получить политические выгоды от этого компромисса. В конце 1918 г. вспыхнула полномасштабная Гражданская война. В этот смертельно опасный и решающий период для большевиков, верхушка Партии осознала, что лучше мириться, чем бороться с общиной, и лучше сосредоточить все силы, чтобы победить врагов в Гражданской войне. Большевики сначала попытались мощным ударом взять село в свои руки, но потерпели поражение, и поэтому вынужденно отступили, но тайно добились компромисса с крестьянством. Во-вторых, советская власть могла получить экономические выгоды от этого компромисса. Создавая комбеды, советская власть имела прагматическую цель – обеспечить армию хлебом и солдатами. Для этой цели она использовала и вооруженные силы, и продотряды, а также и другие ресурсы. Но всё это провалилось. Советская власть получила очень мало хлеба от крестьян, хотя и огромной ценой. В начале 1919 г., после компромисса с общиной, советская власть начала распределять потребности государства в хлебе между губерниями, уездами, волостями и деревнями, используя разверсточный режим общины, что и составило политику «Продовольственной разверстки». Это, конечно, оказалось полезным для большевиков, ибо разверсточный режим общины мог обеспечить сравнительную стабильность хлебозаготовок. В конце 1920 годов большевики даже передали всю финансовую власть общины (самообложение) низовым советам. В-третьих, общинные крестьяне были вынуждены так поступить. В самом деле, любое центральное правительство не могло мириться с органами крестьянского самоуправления. Поэтому у большевиков имелись определенные опасения и даже предосторожности, что вполне понятно. В начале Гражданской войны нехватка хлеба и солдат вынуждали большевиков нападать на крестьянскую общину. Если на уровнях деревни и волости, общины были гораздо мощнее, чем низовые советы, то на уровне уезда и выше, мощь органов советской власти оказалась намного сильнее,

чем общины. Хотя общины и организовывали крестьян для оказания сопротивления советской власти, но, как только вооруженные силы большевиков, отправленные из города уездного или губернского центра, приезжали в деревни с оружием в руках, ни одна община не могла оказать должного сопротивления. Именно поэтому община, перед вооруженными до зубов органами советской власти, была вынуждена идти на компромисс с ними для своего выживания.

Эта политика была утверждена на 8-м съезде Российской Коммунистической Партии (большевиков) в марте 1918 года, на котором был определён курс на союз и компромисс со средним крестьянством, отвергнута политика «вооруженного вторжения на село». В самом деле, союз со средним крестьянством и разрушение общин – это взаимоисключающие явления. В.И. Ленин так объяснял причину изменения политики: «Но сплошь и рядом по неопытности советских работников, по трудности вопроса, удары, которые предназначались для кулаков, падали на среднее крестьянство». Вождь признал: «Здесь мы погрешили чрезвычайно».¹⁴

Итак, попытка большевиков расколоть крестьянские общины путём создания комбедов потерпела поражение. С точки зрения контролирования низовых административных органов деревни, «Октябрьская» революция, проведённая большевиками в российской деревне, провалилась. Мощь крестьянских общин укрепились в связи с тайным компромиссом между большевиками и общинами. В 20-е годы большевики не только молча соглашались на развитие мощи общин, но и опираясь на общины добивались их прагматических целей в области распределения земли, хлебозаготовок, налогообложения, социальной защиты населения и т.д., что в свою очередь привело к постепенному укреплению общин во время НЭПа. Крестьянские общины, естественно, и вплоть до сплошной коллективизации сельского хозяйства, брали верх в борьбе с сельсоветами не только в повседневной жизни села, но и в финансовой мощи, а также в борьбе за признание народа.

Необходимо было ждать чуть более 10 лет, чтобы «Октябрьская революция» в российской деревне по-настоящему получила «победу». В период сплошной коллективизации, большевики на основе коллективизации, полностью ликвидировали крестьянские общины – традиционную русскую крестьянскую организацию самоуправления, которая имела тысячелетнюю историю. Таким образом, они изменили традиционный крестьянский способ производства, образ жизни крестьян, а также их понятие ценностей. Как представ-

ляется, такая «Октябрьская революция» в российской деревне причинила много вреда советскому крестьянству, сельскому хозяйству и деревне, а ее влияние продолжается и по сегодняшний день.

Примечания

¹ В.И. ЛЕНИН, *Полное собрание сочинений*, том 37 (Москва: Издательство политической литературы, 1969), 314-315.

² С.А. ПАВЛЮЧЕНКОВ, *Крестьянский брест, или предыстория большевистского НЭПа* (Москва: Русское книгоиздательское товарищество, 1996), 64.

³ ПАВЛЮЧЕНКОВ, *Крестьянский брест*, 63.

⁴ Т.К. ЧУГУНОВ, *Деревня на Голгофе. Летопись коммунистической эпохи: от 1917 до 1967 г.* (Мюнхен: Издание автора, 1968), 26.

⁵ Д. СЕМЕНОВСКИЙ, «Современная частушка», *Красная новь* 53 (1921). Эти частушки были собраны в период 1917–1919 гг. в Кинешемском, Середском, Тейковском и Шуйском уездах Ив. Вознесенской губернии, а также в Ковровском и Суздальском уездах Владимирской губернии.

⁶ А.А. КУРЕНЬШЕВ, *Крестьянство и его организации в первой трети XX века* (Москва: Государственный исторический музей, 2000), 117-118.

⁷ КУРЕНЬШЕВ, *Крестьянство и его организации*, 123.

⁸ В.В. КОНДРАШИН, *Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма* (Москва: РОССПЭН, 2009), 423.

⁹ А. БЕРЕЛОВИЧ, В. ДАНИЛОВ, *Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ, том 1. 1918–1922. Документы и материалы* (Москва: РОССПЭН, 2000), 306-307.

¹⁰ ПАВЛЮЧЕНКОВ, *Крестьянский брест*, 62.

¹¹ ЛЕНИН, *Полное собрание сочинений*, том 37, 180-181.

¹² КУРЕНЬШЕВ, *Крестьянство и его организации*, 129.

¹³ КУРЕНЬШЕВ, *Крестьянство и его организации*, 132.

¹⁴ В.И. ЛЕНИН, *Полное собрание сочинений*, том 38 (Москва: Издательство политической литературы, 1969), 146.

**ТЕОРИЯ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ**



**THEORY AND
INTERPRETATION**

GÁBOR SZÉKELY

Ленин о «Великой Октябрьской Социалистической Революции»

В ноябре 1922 года, во время выработки тезисов о едином фронте в Коминтерне, праздновали пятую годовщину Октябрьской революции. По этому поводу в газете «Правда» – в Петрограде и в Москве – была опубликована статья Ленина «О значении золота теперь и после полной победы социализма». Отметим, что это его последняя статья, посвященная революционным событиям 1917 г. в России.

В этой статье вождь большевиков пишет: «Для настоящего революционера самой большой опасностью, – может быть, даже единственной опасностью, – является преувеличение революционности, забвение граней и условий уместного и успешного применения революционных приемов. Настоящие революционеры на этом больше всего ломали себе шею, когда начинали писать “революцию” с большой буквы, возводить “революцию” в нечто почти божественное, терять голову, терять способность самым хладнокровным и трезвым образом соображать, взвешивать, проверять, в какой момент, при каких обстоятельствах, в какой области действия надо уметь действовать по-революционному и в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой области действия надо уметь перейти к действию реформистскому. Настоящие революционеры погибнут (в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела) лишь в том случае, – но погибнут наверняка в том случае, – если потеряют трезвость и вздумают, будто “великая, победоносная, мировая” революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному».¹

В жизни Ленина были три революции в России. В 1905–1906 гг. большевики играли роль актёра второго плана, и ведущими игроками так и не стали. Но уже в это время пришёл Ленин к довольно точному выводу о характере революционных событий и их возможностях: «Исход революции зависит от того, сыграет ли рабочий класс роль пособника буржуазии, могучего по силе своего натиска на самодержавие, но бессильного политически, или роль руководителя народной революции. Несомненно, что революция научит нас, научит народные массы. Но вопрос для борющейся политической партии состоит теперь в том, сумеем ли мы научить чему-нибудь революцию? Сумеем ли мы воспользоваться правильностью нашего социал-демократического учения, связью нашей с единственным до конца революционным классом, пролетариатом, для того, чтобы наложить на революцию пролетарский отпечаток, чтобы довести революцию до настоящей решительной победы на деле».²

Во время революции в феврале 1917 г. Ленин пропустил момент взрыва, но послал возбуждённые письма из Швейцарии. Прибывая в Петербург, он ясно дал понять, что революция будет развиваться дальше. Учитывая, что «при таком положении дела задача пролетариата довольно сложная», Ленин констатировал во втором пункте своих знаменитых «Апрельских тезисах»: «Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, – ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства».³

После победы Октябрьской революции Ленин сразу же осознал не только международное значение того, что произошло в России, но и то, что для русской революции необходимы и благоприятные обстоятельства за рубежом, или, по крайней мере, поддержка, солидарность мирового пролетариата. Надеялся он, прежде всего, на то, что за русской революцией последуют революции в Европе – как часть мировой революции. Он был уверен, что русская революция оказывает косвенно или прямо влияние на мир. Ленин с оптимизмом оценивал движения на Украине и в новых странах, отделившихся от царской России. Так, он писал о событиях в Финляндии в январе 1918 года: «Мы рассчитывали на то, что мы будем привлекать другие нации – Украину, Финляндию не насилуем, не навязыванием, а тем, что они будут создавать свой социалистический мир, свои советские республики. Мы видим теперь, что в Финляндии ожидается

со дня на день рабочая революция; в той Финляндии, которая 12 лет, с 1905 года, уже пользовалась полной свободой внутри и имела избирательное право демократических учреждений. С 1905–1917 года в эту страну, которая отличается своей культурностью, своим хозяйственным строем и своим прошлым, в эту страну попали искры того пожара, который будто бы большевики искусственно раздули, и там, мы видим, начинается социалистическая революция».⁴

Ещё в этом году, 3 ноября 1918 г., Ленин нарисовал в своей речи на демонстрации в честь австро-венгерской революции ещё более оптимистическую картину: «Если нам и было трудно бороться с голодом и с врагами, то теперь мы видим, что у нас имеются миллионы союзников. Это рабочие Австрии, Венгрии и Германии. В то время как мы собрались здесь, освобожденный из тюрьмы Фридрих Адлер, вероятно, подъезжает к Вене. На венских площадях, вероятно, празднуется первый день австрийской рабочей революции. Уже близко то время, когда повсеместно будет праздноваться первый день всемирной революции».⁵

В других случаях он говорил о необходимости мировой революции немного в ином контексте: «Товарищи, с самого начала Октябрьской революции вопрос о внешней политике и международных отношениях встал перед нами, как самый главный вопрос, не только потому, что империализм означает отныне сильное и прочное сцепление всех государств мира в одну систему, чтобы не сказать, в один грязный кровавый комок, но и потому, что полная победа социалистической революции немыслима в одной стране, а требует самого активного сотрудничества, по меньшей мере, нескольких передовых стран, к которым мы Россию причислить не можем. Вот почему вопрос о том, насколько мы достигнем расширения революции и в других странах и насколько нам удастся до тех пор дать отпор империализму, стал одним из главных вопросов революции».⁶ Эта формулировка Ленина играла важную роль в дискуссии о возможности построения социализма в одной стране.

Но прежде всего Ленин ждал революцию в Германии. Во время I-го Конгресса Коминтерна, в марте 1919 г. он заявил: «Всего четыре месяца тому назад нельзя еще было сказать, что Советская власть, советская форма государства есть завоевание международное... Германская революция дала эту проверку». Он подчеркивал, что, как и в финском примере, речь идёт о революции в одной более развитой стране. В эти дни именно «Передовая капиталистическая страна – после одной из самых отсталых – показала всему миру за короткий

срок, за какую-нибудь сотню с небольшим дней, не только те же основные силы революции, не только то же основное направление ее, но и ту же основную форму новой пролетарской демократии: Советы». ⁷

Накануне II-го конгресса Коминтерна Ленин закончил брошюру «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», книжку, которая была издана сразу же на немецком, английском и французском языках. И эта брошюра лежала на столе у каждого делегата конгресса. Один из важнейших выводов, сделанных Лениным в этой работе, состоял в констатации того, что основные черты Октябрьской революции «имеют не местное, не национально-особенное, не русское только, а международное значение». Но тут же Ленин добавил: «Точно так же было бы ошибочно упустить из виду, что после победы пролетарской революции хотя бы в одной из передовых стран наступит, по всей вероятности, крутой перелом, именно: Россия сделается вскоре после этого не образцовой, а опять отсталой (в советском и в социалистическом смысле) страной». ⁸ Но история сложилась иначе.

Ленин считал, что «левизна» – болезнь «легкая», сравнивая другие ошибки или трудности периода революционного подъёма. Да, в то время, когда Красная Армия продвигалась вперёд в направлении Варшавы, движение итальянских рабочих стало все более радикальным – эта болезнь могла бы казаться менее опасной. Надежда делегатов конгресса и самого Ленина была на то, что вслед за приходом Красной Армии в Польшу немедленно вспыхнет революция в Германии, Италии, а потом и во всей Западной Европе.

Но этого не случилось. Год спустя, на III-м конгрессе Коминтерна Ленин уже должен был заниматься более серьезно проблемами и результатом «левизны».

В Германии в ЦК КПП появились две фракции: фракция Генриха Брандлера (с тактикой оффензивы) и фракция Клара Цеткин / Пауля Леви (с тактикой Открытого письма). Первая тактика заключалась в том, чтобы *делать революцию как можно быстрее*, а вторая тактика призвала *организовать единый фронт рабочих для защиты послевоенных достижений*. Генрих Брандлер (в феврале) стал президентом партии с помощью представителя Коминтерна Матяша Ракоши (а не Карла Радека как об этом нередко пишут в литературе и Интернете). ⁹ Как раз в этот момент в Центральной Германии начались протесты против правительства. Также в центральном органе КПП «Die Rothe Fahne» был издан пароль вооруженного восстания. В марте 1921 года неожиданно для Ленина и для Коминтер-

на вспыхнуло вооруженное восстание. Оно закончилось тяжелым поражением рабочих и стало одним из центральных вопросов на III-м конгрессе Коминтерна. В выступлениях на Конгрессе, в беседах с делегатами Ленин стремился прояснить основную мысль о том, что первая волна мировой революции спала, и что вторая ещё не поднялась. В тезисах конгресса о мировом положении и задачах Коминтерна эта мысль было немного пространнее, но сформулирована более мягко: «Первый период революционного движения после войны, характеризующийся стихийностью напора, неоформленностью методов и целей и чрезвычайной паникой, охватившей правящие классы, представляется в основном завершенным». ¹⁰ (Курсив мой. – Г.С.).

На этом конгрессе Ленин потерпел тяжелое поражение. ¹¹ Он не только желал, чтобы на этом форуме международного рабочего движения был не просто распространен текст Открытого письма, но и хотел сделать тактику «Открытого письма» обязательной повсюду. «Это надо сказать прямо, точно, ясно, ибо колебания насчет “Открытого письма” архивредны и архипозорны и архираспространены». ¹²

Поражение Ленина состояло, прежде всего, в том, что не удалось принять в резолюции о едином фронте обязательность этой тактики. Ленин даже предложил Коминтерну исключить те партии, которые не принимают тактику Открытого письма. «Нечего греха таить. Всех, кто не понял этой обязательности тактики “открытого письма”, не позже как через месяц после III конгресса Коммунистического Интернационала исключить из Коммунистического Интернационала». ¹³ Такое решение провести не удалось. Но удалось снять с повестки дня вопрос о тактике прямой борьбы за диктатуру пролетариата. Это изменение было, несомненно, отступлением в глазах большинства делегатов конгресса, но оно прекратило изоляцию коммунистических партий и снижение их числа членов. Аналогичным сознательным отступлением стал переход Ленина к Новой Экономической Политике в этом же году.

Эти две тактики, две политические линии были связаны с проблемой революции, точнее, с *частичным* сохранением достижений Октябрьской революции.

Несколько слов о споре с Розой Люксембург

Роза Люксембург высоко оценила мощь большевиков. «Тот, кто ныне хватается за Национальное собрание, сознательно или бессознательно возвращает революцию на пройденную историческую ста-

дию буржуазных революций, он скрытый агент буржуазии или незнательный идеолог мещанства... Не о том идет сейчас речь – демократия или диктатура. Поставленный историей в порядок дня вопрос гласит: *буржуазная демократия* или *социалистическая демократия*. Ибо диктатура пролетариата – это демократия в социалистическом смысле. Диктатура пролетариата – это не бомбы, путчи, беспорядки, анархия...». И дальше, и более конкретно: «Ленин, Троцкий и их товарищи в полной мере проявили мужество, решительность, революционную дальновидность и последовательность, на какие только способна партия в исторический час. Большевики были олицетворением революционной чести и способности к действию, которые утратила социал-демократия Запада».¹⁴

При этом она подвергала резкой критике теорию Ленина, прежде всего его мысли о демократии. «Основная ошибка теории Ленина – Троцкого состоит именно в том, что они, как и Каутский, противопоставляют диктатуру демократии. “Диктатура *или* демократия” – такова постановка вопроса как большевиками, так и Каутским. Последний решает для себя вопрос, естественно, в пользу демократии, а именно *буржуазной демократии*, ибо именно ее он противопоставляет как альтернативу социалистическому перевороту. Ленин – Троцкий, напротив, решают в пользу диктатуры в противовес демократии и тем самым диктатуры горстки людей, т.е. *буржуазной диктатуры*. Таковы два противоположных полюса, оба равноудаленные от истинной социалистической политики». И это всё приводит к диктатуре партийного аппарата.

Интересно, что с этой резкой критикой Ленин никогда не спорил. То, о чем он спорил, было мнением Розы Люксембург по самоопределению наций. Эта дискуссия имеет долгую историю. Началась она ответом Ленина на статью Люксембург от 1908–1909 гг. «Национальный вопрос и автономия» глубоким анализом в работе «О праве наций на самоопределение» (1914) Но с тех пор ситуация резко изменилась. По мнению Люксембург, в 1918 национальный вопрос имел второстепенное значение. Его разрешение будет делом послереволюционного периода. Люксембург считала, что поддержка нации на самоопределение во время революции было бы ошибочной. Люксембург не верила в то, что Польша, Финляндия или страны Балтии, покидающие Российскую Империю, будут следовать или, по крайней мере, поддерживать Российскую революцию. В этой новой дискуссии последующие годы показали правоту Люксембург.

Но Ленин об этом не говорил в «Заметках публициста», где он подчеркивал её историческую роль: «Роза Люксембург ошибалась в вопросе о независимости Польши; ошибалась в 1903 году в оценке меньшевизма; ошибалась в теории накопления капитала; ошибалась, защищая в июле 1914 года, рядом с Плехановым, Вандервельдом, Каутским и др., объединение большевиков с меньшевиками; ошибалась в своих тюремных писаниях 1918 года (причем сама же по выходе из тюрьмы в конце 1918 и начале 1919 года исправила большую часть своих ошибок). Но, несмотря на эти свои ошибки, она была и остается орлом...».¹⁵

Заключение. На IV-м конгрессе Коминтерна заглавие реферата Ленина было: «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции». Но он не о революции говорил: «Я числюсь в списке ораторов главным докладчиком, но вы поймете, что после моей долгой болезни я не в состоянии сделать большого доклада. Я могу дать лишь введение к важнейшим вопросам. Моя тема... слишком обширна и велика, чтобы ее вообще мог исчерпать один оратор в одной речи. Поэтому я беру себе только небольшую часть этой темы, а именно, – вопрос о «новой экономической политике». Я умышленно беру только эту малую часть, чтобы ознакомить вас с этим важнейшим теперь вопросом, – важнейшим, по крайней мере, для меня, ибо я над ним сейчас работаю.»¹⁶ (Курсив мой. – Г.С.).

Приложение. О том, насколько дружественными были личные отношения между Р. Люксембург и Лениным, свидетельствует последнее письмо Розы Люксембург к Ленину.

[Берлин], 20.12 [1918 г.]

Дорогой Владимир!

Пользуюсь поездкой дяди, чтобы переслать всем вам сердечный привет от нашей семьи, Карла [Либкнехта], Франца [Меринга] и других. Дай Бог, чтобы грядущий год Все наши желания исполнил. Всего хорошего!

О нашем житье-бытье расскажет дядя.

Пока вам рукопожатия и приветы.

Роза.¹⁷

Примечания

¹ В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 44 (Москва: Издательство Политической Литературы, 1970), 223.

² В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 11 (Москва: Издательство Политической Литературы, 1960), 5.

³ В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 31 (Москва: Издательство Политической Литературы, 1969), 114.

⁴ В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 35 (Москва: Издательство Политической Литературы, 1974), 237.

⁵ В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 37 (Москва: Издательство Политической Литературы, 1969), 131.

⁶ В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 37, 153: «VI Всероссийский чрезвычайный съезд советов. Речь о международном положении, 8 ноября, 1918 г.».

⁷ Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 37, 512.

⁸ В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 41 (Москва: Издательство Политической Литературы, 1981), 3.

⁹ См.: https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rz%C3%A4mpfe_in_Mitteldeutschland (ноябрь, 2017).

¹⁰ В.И. Ленин и Коммунистический Интернационал (Москва: Издательство Политической Литературы, 1970), 299.

¹¹ SZÉKELY GÁBOR, “Kun Béla a Kominternben”, in *Kun Béláról. Tanulmányok* (Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1988), 484-577; SZÉKELY GÁBOR, *A Komintern és a fasizmus 1921–1929* (Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1980), 13-17.

¹² В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 52 (Москва: Издательство Политической Литературы, 1970), 267.

¹³ Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 52, 267.

¹⁴ РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ, *О социализме и русской революции* (Москва: Издательство политической литературы, 1991), 330. В томе избранных сочинений Розы Люксембург имя Троцкого отсутствует.

¹⁵ Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 44, 422.

¹⁶ Речь Ленина продолжалась более часа. См.: В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 45 (Москва: Издательство Политической Литературы, 1970), 278; В.И. Ленин и Коммунистический Интернационал, 439.

¹⁷ Письмо написано на русском языке. «Карл» – это Карл Либкнехт; «Франц» – Франц Меринг. См.: <http://voencomuezd.livejournal.com/713529.html> (ноябрь, 2017).

PÉTER CSUNDERLIK

**“The Specific Adjudication of a Given
World Condition”: the Theoretical
Significance of Lenin’s Practice in the
Works of Georg Lukács**

Georg Lukács (1885–1971), the greatest Hungarian Marxist philosopher scrutinized Lenin’s historical role in a row of studies from the 1920s until his death. Perhaps Lukács was the first thinker who emphasized Lenin’s significance not only as a practical politician, but also as a theoretician. In my study I would like to summarize the thoughts of Georg Lukács relating to Lenin on the bases of his book on Lenin published first in 1924. But the most important volume of Lukács in the twenties, “History and Class Consciousness” published in 1923, and two other studies, called “Tribune or Bureaucrat” from 1939 and “Lenin and the Question of Culture” from 1946 were also useful.

His book on Lenin – or “brochure”, as Lukács called it – was published in the year of Lenin’s death with the title “Lenin – A Study on the Unity of his Thought”, in Vienna, where Lukács lived as an emigrant. This book of Lukács is a product of the twenties, which is said to be the most exciting period of Lukács’s career as a Marxist philosopher. This period is that decade of Lukács’s career, when he did not deal with literary and aesthetic questions.

Although Lukács had read some works of Lenin before 1919 – for instance “The State and Revolution”, that had been studied by him before he joined the Party of Communists in Hungary at the end of 1918 –, Lukács only got to know the works of Lenin deeply in Vienna, during his emigration, after the fall of the Hungarian Soviet Republic. After reading

Lenin's work did Lukács conclude that Lenin did not distort the doctrines of Marx and Engels, but 'cleaned the classics of Marxism from the prejudices'. Lukács did not have a personal contact with Lenin, they met only once, on the third congress of the Komintern, in the summer of 1921. When Lukács reported on their meeting, he underlined Lenin's ability for insightfulness. Lenin could judge strange situations definitely and correctly on the base of not more than several articles. Lukács's view about Lenin rising above his contemporaries was established very early, because Lenin could analyse the given situations so concretely, that his analyses were valid not only for the given situations but had also theoretical significance.

Lukács summarized his thoughts relating to Lenin in his Lenin-book, for the encouragement of his publisher company in Vienna. Lukács worked very fast, he finished the Lenin-book after only a few weeks in 1924. The book did not gain unanimous acknowledgement: it was criticized by several contemporaries of Lukács. The main theorist of the Communist Party of Germany and one of the editors of "Die Rote Fahne", August Thalheimer said that Lukács's book makes the readers confused and does not clear up anything. Lenin's widow, Krupskaya considered it an "unnecessary book". Lukács's book was mostly criticized because it was said to be inopportune. Since it was about the revolution and not about the situation after the revolution. Lukács wrote about the 'actuality of revolution' at that time, when the revolutionary period had ended, and the question of "socialism in one country" was on the agenda. However, there were several reasons of writing this book. On one hand, Lukács's book on Lenin was a reaction on the critiques of his previous book, "History and Class Consciousness" in 1923, on the other hand it was an address in the discussion among the leading members of the Communist Party of the Soviet Union after Lenin's death, when the question aroused at the end of the revolutionary period: what is to be done? To pursue world revolution, or to build the socialism in one country? Furthermore, the Lenin-book can be considered as a protest against "bureaucratization", the more and more current problem of the twenties. Nevertheless, the Lenin-book was against the spreading analyses after Lenin's death, which cut Lenin's work into pieces, and showed Lenin "as an economist", "as a historian", "as a philosopher" etc.

By contrast, Lukács concentrated on "the unity of Lenin's thought" and the unity of his political practice and theoretical attitude. The most important attribute of the Lenin-image of Lukács is the novelty, as Lukács emphasized Lenin's importance as a theoretician – contrary to the

interpretations having the main schema, according to which Lenin was a "practical politician", or "the master of compromises". In Lukács's perspective Lenin can be characterized with the harmony of theory and practice. This statement was underlined in the preface of "History and Class Consciousness" as well: "it is essential that we remind ourselves constantly of Lenin's importance as a theoretician for the development of Marxism. This has been obscured for many people by his overwhelming impact as a politician. The immediate practical importance of each of his utterances for the particular moment in which they are made is always so great as to blind some people to the fact that, in the last resort, he is only so effective in practice because of his greatness, profundity and fertility as a theoretician. His effectiveness rests on the fact that he has developed the practical essence of Marxism to a pitch of clarity and concreteness never before achieved. He has rescued this aspect of Marxism from an almost total oblivion and by virtue of this theoretical action he has once again placed in our hands the key to a right understanding of Marxist method".¹

Because of this perspective, Lukács dealt with introducing Lenin's theory of imperialism in a separate chapter, in order to demonstrate Lenin's greatness as a theoretician. Lukács considered Lenin's theory of imperialism in his famous book entitled "Imperialism, the Highest Stage of Capitalism" written in 1916 more important than Rosa Luxemburg's thesis of accumulation of capital, which was summarized in her book entitled "The Accumulation of Capital – A Contribution to an Economic Explanation of Imperialism" published in 1913. Lukács considered Lenin's book the last comprehensive description of the capitalist world-system even decades later too. Although, according to Lukács, the thesis of Luxemburg or Hilferding of finance capital are more grounded economically, Luxemburg and Hilferding did not draw the consequences for the practice, for the "here and now" – as Lukács called it 'hinc et nunc'. But Lenin realized the "dialectical" unity of theory and practice.

As Lukács wrote: "Rosa Luxemburg did not find the path from this correct and broad historical perspective to the concrete solutions of the concrete questions raised by the world war. It remained for her an historical perspective – an accurate and broadly conceived characterization of the whole epoch, but of it only as a whole. It was left to Lenin to make the step from theory to practice; a step which is simultaneously – and this should never be forgotten – a theoretical advance. For it is a step from the abstract to the concrete".²

Lenin linked every phenomenon of the era, and with this intellectual performance Lenin gained Lukács's respect, as according to Lukács, the real nature of the phenomena can be cognizable in their context, in their relationships only – not indirectly, but directly –, because a contemplation of a phenomenon in itself can only be superficial. As Lukács emphasized in “History and Class Consciousness”: the proletariat can only recognize themselves as class, can only wake up to their forces when they start to change the world.

In Lukács's opinion, the relationships of phenomena can be cognizable only for active people, that is why the “practical politician” Lenin could be an exceptional “theoretician”, because the phenomena could be visible for him in their “totality”.

In Lukács's opinion, the social reality is built up from “totalities” that have a “dynamical centre” in every “here and now” situation, from which the social reality can be grasped and described. According to Lenin: “every situation contains a central problem the solution of which determines both the answer to the other questions raised simultaneously by it and the key to the further development of all social tendencies in the future”.³

And these “central problems” – or “key links”, as Lenin called them – can only be solved by the active revolutionaries and politicians, because they can identify the “central problems” and realize them in their totalities. Lukács underlined the identifications of two “key links” in Lenin's work: the realizations of the importance of culture and cultural revolution, democracy and democratization. Lukács dealt with this problem in a different study called “Lenin and the Question of Culture” in 1946.

Lenin's theory of imperialism had huge importance in the perspective of the international labour movement, because the acceptance of it meant the acceptance of the “actuality of revolution”. The “actuality of revolution” meant that the contradictions of capitalist society sharpened extremely for 1917, when Lenin's book was published (according to Lenin the First World War was a result of these contradictions). That tendency had such signs as the issue of land, the issue of nationalities, the issue of colonies, and that is why the “revolutionary situation” emerged in every nation. This meant that the outbreak of “socialist revolution” could be expected anytime, and that required “permanent readiness” from the labour movement and the party in order to exploit the emerging opportunities. Lenin was able to do this, because he was the man of “permanent readiness”, as Lukács characterized him. “Permanent readiness”

and immediate reaction are required, because as Lenin underlined it: what can be a right decision today can be wrong tomorrow, or next week.

The “actuality of revolution” required the application of the universal Marxist knowledge in the case of a concrete situation. Lukács underlined the following notice as one of the most important theoretical statements of Lenin: “any abstract truth becomes a catch-word if it is applied to each and every concrete situation”.⁴ And Lenin disliked the phrases in his private and public life as well.

The Lenin-book of Lukács portrayed an image of Lenin, which image can be characterized mainly with anti-dogmatism. Lukács underlined from the abilities of Lenin that the leader of the Bolshevik Party was not the slave of prejudices. That is important, because both Lenin and Lukács pointed out how a wrong conclusion would be generated if the concrete analysis of a concrete situation was replaced by analogical thinking: Lenin made the treaty of Brest-Litovsk, because he knew that Soviet Russia in 1918 was not the France of 1792–1793. Lenin’s decision was proved by the following events. However, Béla Kun made a wrong decision by accepting the memorandum of Clemenceau in June of 1919, when Béla Kun wanted to make his own treaty of Brest-Litovsk as well, as an imitator of Lenin, because Hungary in 1919 was not the Soviet Russia of 1918.

Lukács scrutinized the problem of “compromise” most detailed not only through the problem of the treaty of Brest Litovsk, but also through the problem of NEP, the New Economic Policy. Lukács questioned that interpretation, according to which “after the failure of ‘doctrinaire Marxist’ attempts to introduce communism ‘at one sweep’, Lenin compromised and, ‘clever realist that he was’, deviated from his original political line”.⁵ According to Lukács the War Communism was the deviation, a compromise, which was required by the hardships of Civil War. Lukács drew attention to the fact that it was Lenin who pointed out by analysing the characteristic of Russian development that the way to Russian socialism required a state capitalist phase. Lukács quoted Lenin: “Imperialist war is the eve of socialist revolution. And this not only because the horrors of war give rise to proletarian revolt – no revolt can bring about socialism unless the economic conditions for socialism are ripe – but because state-monopoly capitalism is a complete material preparation for socialism, the threshold of socialism, a rung on the ladder of history between which and the rung called socialism there are no intermediate rungs”.⁶ For this reason Lenin wrote the following at the beginning of 1918: “If, for example, state capitalism firmly established itself here after six months, that would be a mighty achievement and

the surest guarantee that, after a year, socialism would be finally and irrevocably established here”.⁷

In Lukács’s interpretation the NEP – that was criticized by the left-wing of Bolshevik Party – was not a deviation, but its introduction was a consequence of theory, after it was applied for a concrete situation – the particularity of Russian development.

One of the most important statements of Lukács’s work is that the compromises of Lenin were not “opportunism”, but these compromises meant progress without opportunism toward the socialism on the road in which direction was possible. As a crucial Marx-quote states in the book: people make their own history, but not totally free, however under given conditions.

Lukács criticized both the “bureaucrats” and the “sectarian voluntarists”, because they do not have either “theoretical program” or “practical knowledge”, so they are not able to give a “concrete analysis of a concrete situation”. Whereas according to Lukács the party organisation must be the form of mediation between theory and practice.

As Lukács wrote in his study entitled “Towards a Methodology of the Problem of Organisation” in 1922, which study was published in “History and Class Consciousness”: “The only decisive weapon it possesses is its ability to draw together all the party members and to involve them in activity on behalf of the party with the whole of their personality. A man’s function in the party must not be seen as an office whose duties can be performed conscientiously and devotedly but only as official duties; on the contrary, the activity of every member must extend to every possible kind of party work. Moreover, this activity must be varied in accordance with the work available so that party members can get into a vivid relationship with the whole of the life of the party and of the revolution so that they cease to be mere specialists necessarily exposed to the danger of ossification”.⁸

Lukács interpreted with the help of a military metaphor of Friedrich Engels how a Bolshevik party member must be in order to suit the ideal of Lenin: the tactical inventions are often produced not by commanders, but by ordinary soldiers, who invent spontaneously during the fight, because they know what they need. The commanders have to have living contact with the ordinary soldiers in order to be able to record the novelties and to use them next time consciously. In Lukács’s interpretation, the Bolsheviks are the commanders of the labour movement, therefore they have to have living contact with the proletarians, and this way he met the practice of the theory in Lenin’s political career.

Lukács described the type of revolutionary represented by Lenin in such a way that this type is the “tertium datur” between the two ideal types of revolutionary represented by Robespierre and Danton: although Lenin devoted his whole life to the movement, he was not ascetic. As Lukács wrote in the preface of collection of his Lenin-studies in 1969: “The dissolution of the personal life into social activities has not to contain even a sparkle of asceticism: the voluntary duty-taking and the whole subordination to it is compatible with the harmonic, often happy, but never conflict-free nature of the personal life. I would like to depict this Lenin”.⁹

Notes

¹ GEORG LUKÁCS, *History and Class Consciousness. Studies in Marxist Dialectics*, trans. RODNEY LIVINGSTONE (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1971), xlii.

² GEORG LUKÁCS, *Lenin. A Study on the Unity of his Thought*, trans. NICHOLAS JACOBS (London: NLB, 1971), 47.

³ LUKÁCS, *Lenin. A Study...* 84.

⁴ LUKÁCS, *Lenin. A Study...* 97.

⁵ LUKÁCS, *Lenin. A Study...* 76.

⁶ LUKÁCS, *Lenin. A Study...* 76.

⁷ LUKÁCS, *Lenin. A Study...* 76.

⁸ LUKÁCS, *History and Class Consciousness*, 197.

⁹ LUKÁCS GYÖRGY, *Lenin*, ed. VAJDA MIHÁLY (Budapest: Magvető, 1970), 9-10.

ZSÓFIA MÉSZÁROS

Оценка русской революции 1917 года в произведениях Н.А. Бердяева

Николай Александрович Бердяев так говорил о русской революции 1917 года в 1940 году: «Я пережил русскую революцию как момент своей собственной судьбы, а не как что-то извне мне навязанное. Это революция произошла со мной...».¹ Революция являлась неотделимой частью жизни философа: он признавал себя марксистским революционером в молодости, но опыт революции 1905 года вёл к разрыву между ним и «традиционной» русской революционной интеллигенцией. Хотя он считал революцию 1917 года неизбежной, послереволюционный режим всё же выслал его с родины в 1922 году. Его духовный путь характеризуют неоднократные крутые переломы, лишь два аспекта его философии были постоянными: бунт и уважение к свободе личности. Эти аспекты определили то, что философ всегда относился с критикой к окружающей его духовной жизни, и он всё более решительно шёл своим путём. Он всю свою жизнь снова и снова обращался к теме революции, пытался переосмыслить многие её аспекты, но особенно её смысл. Важно понимать, как оценка революции 1917 года представлена в творчестве философа и как она формировалась, поскольку он всегда смотрел на эти события сквозь индивидуальную, характерную для него призму. Одновременно (вместе с Семёном Людвиговичем Франком и Николаем Онуфриевичем Лосским) он являлся представителем того направления религиозной философии, которое пыталось найти универсальный смысл и исконно русские черты революции и которое отмежевало «от обоснования термидора к религиозному оправданию революции».² В настоящей статье предпринята попытка показать, как в мышлении Бердяева представлены воздействия мар-

ксизма, традиционной русской идеи и христианства, и как такие воздействия оказали влияние на то, как он смотрел на генезис, ход и результаты революции.

Бердяев родился в киевской дворянской семье в 1874 году. При поступлении в Киевский университет в 20-летнем возрасте, он среди представителей молодой интеллигенции познакомился с сочинениями Карла Маркса. Восставая против своего военно-аристократического окружения, он занимался марксизмом не только в теории, но и в практике. Несмотря на то, что он скоро порвал с марксизмом в политическом и философском смысле, критика капитализма Марксом осталась для него определяющим моментом до конца жизни, являясь одним из источников его философских мыслей о том, что мир и общества основаны на несправедливости.³ В 1898 году за революционную деятельность Бердяев был отправлен в ссылку в Вологодскую губернию. Именно в этот период он начал искать свой собственный интеллектуальный путь. Знакомство в университете с Львом Исааковичем Шестовым привело к движению его мысли от марксизма; в ссылке у него сформировалась мысль о том, что теоретический марксизм и революционная марксистская практика не соответствуют индивидуальной свободе человека. Он пытался примирить марксизм с идеализмом, «реформировать» марксизм, но эта попытка была не совсем удачной.⁴

После возвращения из ссылки Бердяев познакомился с Сергеем Николаевичем Булгаковым, и через него, с христианством. В 1904 году они вместе присоединились к направлению «нового религиозного сознания», которое привело Бердяева к мистицизму.⁵ Заметим, что часть русской интеллигенции порвала с общественно-политической проблематикой еще перед революцией 1905 года. Более того, у С.Н. Булгакова и Петра Бернгардовича Струве были очень похожие с Бердяевым интеллектуальные пути. Бесспорно и то, что насилие первой революции очень повлияло на всех выше указанных мыслителей. До тех пор, Бердяев лишь порвал с теоретическим марксизмом, но когда он испытал трагедию революции, он стал осуждать традиционную революционность за направленность на разрушение. Философ начал ориентироваться на культуру вместо социальной справедливости, также как проповедовать потребность духовной революции.⁶ Эта мысль была сформулирована в сборнике «Вехи» (1909 г.), однако в более упрощённой форме, по сравнению с сочинениями поздних лет. В статье под названием «Философская истина и интеллигентская правда», он подчёркивал противоречие

между исканием духовной истины и исканием материальной / материалистической правды. Он считал, что русская история создала интеллигенцию, которая, оказавшись равнодушной к духовной истине, пыталась подчинить эту истину утилитарным материальным и политическим принципам. Бердяев думал, что подъём русской культуры возможен будет только тогда, когда интеллигенция обращается к философской истине, и, таким образом, освобождается от мнений, навязанных ей русской историей.⁷

Его анализ показывает, что русская интеллигенция действительно была направлена на общественно-политическую проблематику. Однако в данной исторической ситуации потребность и возможность обращения к культуре и философии была спорной. Радикальная интеллигенция считала мысли прежних марксистов, нынешних вехистов предательством, обслуживанием реакции. Даже либералы спорили с авторами сборника «Вехи».⁸ Сам Бердяев в старости обращался к мыслям сборника критически: из-за сборника создался разрыв, характерный для русских, между «традиционной» революционной интеллигенцией и представителями культурного ренессанса. По его собственному признанию, высший слой культуры был слишком равнодушен к общественной стороне жизни, и разрыв с революционерами оставил след на характере революции 1917 года.⁹

Бердяев ценил Февральскую революцию, поскольку она свергла самодержавие¹⁰, и пыталась решить «задачи общенациональные и общегосударственные».¹¹ Но спустя немного времени он начал чувствовать, что революцию нельзя остановить, а спустя ещё больше времени начал полагать, что революция вступила в свой разрушительный этап.¹² В 1918 году он попытался найти корень именно разрушительного характера революции в русской душе. В статье под названием «Духи русской революции» он анализировал революцию, опираясь на золотой фонд русской литературы. В восприятии Бердяева, Николай Васильевич Гоголь был первым писателем, который изображал явления русской жизни, против которых позже боролись русские революционеры.¹³ Фёдер Михайлович Достоевский был пророком грядущей революции, поскольку он предвидел, что русская революция реально не будет основана на политических или социальных началах, но будет лежать на религиозных и метафизических основах.¹⁴ Наконец, Лев Николаевич Толстой сам воплотил в себе и своих моральных оценках всё дурное, что характеризовало русскую революцию.¹⁵ Как и многие другие авторы, выступающие

против революции, Бердяев описал её мрачно: «С Россией произошла страшная катастрофа... Русская революция антинациональна по своему характеру, она превратила Россию в бездыханный труп... Духи русской революции – русские духи, хотя и использованы врагом нашим на погибель нашу».¹⁶ Таким образом, уже во время революции появилась мысль о том, что революция 1917 года была органическим русским явлением. Но здесь трагедия происшедшего заставляла Бердяева думать, что все трагедии могли быть лишь действиями внешнего врага, который желал гибели России. Революция характеризировалась как сверхчеловеческое явление, начало которого – русская душа. Язык этой статьи большей частью мистический, поскольку Бердяев считал русскую революцию деятельностью русских «бесов».¹⁷ Он полагал, что народ должен быть очищен от таких явлений, но для этого нужен внутренний поворот, духовное перерождение (как он писал в «Вехах»), а не политическая революция.¹⁸

Хотя в этом сочинении присутствовала проблема противоречия русскости революции, мнение Бердяева резко отличалось от тех мнений, в которых революция представлялась как чужое явление. Такое мнение имел, например, Дмитрий Сергеевич Мережковский, по которому «любая успешная интервенция не оставит даже воспоминания о произошедших после революции переменах».¹⁹ При этом Павел Николаевич Милюков, член Временного правительства, в 1920 году описал революцию в работе «Большевизм как международная опасность» как результат международного социалистического заговора, который свергнул февральскую «национальную» революцию с помощью извне, пропагандой против войны, и создал свою «пораженческую» революцию.²⁰

Бесспорно, что в сочинениях Бердяева, написанных сразу же после революции, ощущается свежий опыт событий. Так, во время революции и гражданской войны он оставался в Москве. В 1918 году он создал немарксистский духовный центр под названием «Вольная академия духовной культуры», который успешно действовал до высылки философа. Он также работал профессором Московского университета с 1920 года, хотя и не имел диплома.²¹ Но в том же 1920 году ЧК арестовала его в связи с делом Тактического центра, хотя он сразу был выпущен на свободу.²² Позднее, в 1922 году, в политике стали преобладать такие соображения, согласно которым считалось, что буржуазии и аристократии нет места в стране.²³ Бердяева официально считали старым «вехистом».²⁴ По этой причине его сначала напугали недельным арестом, а затем, когда он был вы-

пущен, он получил сообщение о решении Политбюро о том, что будет выслан из России.²⁵

Он переехал в Берлин в сентябре 1922 года, а спустя 2 года в Париж, где и прожил остальные 24 лет жизни.²⁶ В 1923 году, вероятно из-за потрясения от революции и высылки, он создал сочинение «Размышления о русской революции», в котором очень резко ее осудил. В нём он рассматривает случившиеся события на философских основах (хотя он упоминает и некоторые исторические причины). Под влиянием Жозефа де Местра он описывал революцию и большевиков как стихию, болезнь, огромное несчастье.²⁷ «Сатаничную» революцию послал сам Бог, чтобы научить грешный народ.²⁸ В этом смысле большевики не являлись ни лучшими, ни более скверными, чем остальные революционеры в мировой истории. Они были только орудием в руках стихии, которое они не смогли ни направлять, ни остановить, даже если хотели бы. Не было успехом у большевиков то, что они пришли к власти, потому что закономерно, что умеренные потерпят поражение, а крайние силы побеждают в естественном ходе революции.²⁹ Здесь так же проявляется двойственный характер большевизма: большевики являются частью русской революции, но они тоже чужие русской истории, потому что, как пишет философ: «Большевизм был извращённым, вывернутым наизнанку осуществлением русской идеи, и потому он победил».³⁰ Бердяев осуждал обе крайности революции: «Партия ненависти и злобы есть одна партия; в ней соединены коммунисты и крайние монархисты».³¹ Он перекладывал ответственность на всех, даже на себя в духовном смысле.³² Таким образом, вся дореволюционная система носила в себе революцию.³³ Хотя философ не согласился с революцией, он считал её неизбежной и необратимой.³⁴ Он вступил в противоречие с большей частью эмиграции из-за такой мысли, потому что в то время они только что начали осознавать, что такая ситуация не будет временной.

Поскольку он написал статью после окончания гражданской войны, он предпринял попытку охарактеризовать новую систему. По его мнению, появился новый антропологический тип, который победил не только дворянство и буржуазию, но и рабочий класс и подготовившую революцию интеллигенцию; революция пожирала собственных детей, и носители обоих типов русской культуры исчезли.³⁵ Он признал два достижения революции. Во-первых, с того времени все должны были обращаться на «Вы» к русскому крестьянину,³⁶ то есть появилось уважение друг к другу, несмотря на позиции челове-

ка в обществе. Во-вторых, гонение православной церкви вело к её очищению, и из церкви, более похожей на сверхисторическое учреждение церкви Христа, может возникать новая жизнь во всей России.³⁷

В статье сильно ощущается влияние христианской философии на Бердяева: происхождение революции от Бога, осуждение народа из-за его грехов, телеологическое понятие истории. Но всё-таки нельзя считать его мысли реакционными, потому что они не являются апологетикой старой системы или белых. Этот факт определил дальнейшую судьбу философа в эмиграции. Интеллектуальное одиночество Бердяева усиливалось с каждым годом, проведённым за границей.³⁸ Хотя он совсем не симпатизировал советской системе, его опыт в западных демократических и капиталистических странах среди эмиграции вызвал глубокие эмоции, также как оценки капитализма в марксистской литературе, прочитанной в молодости.³⁹

Увеличение влияния марксизма на философа проявилось в знаменитом сочинении 1937 года, под названием «Истоки и смысл русского коммунизма». Здесь концепция органической русскости и национальности революции так же присутствовала, как в более ранних сочинениях Бердяева. Но философ добавил, что революция тоже была универсалистична, так как коммунизм являлся русским осуществлением западных мыслей, и в самом деле он направлен на спасение мира.⁴⁰ Подобно христианской и русской историософской традиции, он нанизал ряд секулярных событий на религиозную цепь. Он показал телеологическую направленность русской истории на революцию: деятельность власти и интеллигенции способствовали развитию и приходу к власти своеобразного русского коммунизма.⁴¹

Так же как в статье «Духи русской революции», он делал попытку объяснить генезис русской революции характером русской души. Однако здесь теория была основана на анализе истории, философии, культуры и душевного склада всей русской интеллигенции. Направленность на религию и мессианизм, так же как православная аскеза русской души, выражалась в том, что недовольная действительностью, угнетённая сверху интеллигенция направляла свою религиозную энергию на идею социализма, становясь нигилистом; погружаясь в своё призвание, она все больше считала бесчеловеческие способы разрешимыми для того, чтобы изменить систему по-своему. Таким образом, власть становился самоцелью революционной интеллигенции.⁴²

В какой-то степени Бердяев порывал с мистицизмом: революция в этом сочинении не только наказание от Бога; она имела и конкретные исторические причины. Философ вывел события из нарушения тройки – самодержавия, православия и народности. Самодержавие угнетало народ, было враждебно к просветительству интеллигенции и подчинило православную церковь. Православная церковь позволила своё абсолютное подчинение самодержавием; она не имела высокой культуры и не могла морально поддерживать ни народ, ни самодержавие, или соединить их. Народ отделился от религии; распространился атеизм. Всё это подорвало монархию, которая совсем рухнула из-за войны. Если бы войны не было, революция всё-таки произошла бы, но в другое время и другим образом.⁴³ Итак, мысль о неизбежности революции является неотделимой частью этой концепции тоже.

Здесь Бердяев повторял мнения революционеров, поскольку он считал достижением революции то, что большевизм своим насильственным характером освободил народные силы и вызвал их на историческую деятельность.⁴⁴ В связи с советской системой он писал, что она меняла характер народа. Уровень культуры снизился, потому что её основы изменились.⁴⁵ Советский интеллигент – завоеватель. Он не только разрушает, но и организует и строит.⁴⁶ Бердяев полагал (и эта была новая мысль), что в советской системе появился новый тип свободы. «Философ свободы» обычно понимал свободу «как творческую силу... свое созидание добра и зла».⁴⁷ Однако здесь он подразумевал другую свободу: свободу каждый день «изменять жизнь России».⁴⁸ В этом периоде, уже близком к началу Второй мировой войны, он считал роль советской власти позитивной, поскольку для него она не только воплотила власть коммунистов, а также силу, которая была «заинтересована в защите государства и в его экономическом развитии».⁴⁹ С другой стороны, философ сильно осуждал сталинизм. Он говорил как и сторонники теории тоталитаризма, когда анализировал такие сходства сталинизма и фашизма как госкапитализм, национализм, культ вождя; когда рассматривал милитаризованную молодёжь и тоталитарное государство.⁵⁰

В этом сочинении есть некоторые проблематичные моменты. Например, Бердяев смотрел на явления истории философии сквозь лишь одних их представителей, он связывал разные явления – такие, как чистый, теоретический социализм и русский социализм, так же как большевизм с коммунизмом и сталинизмом. Его мышление было детерминистическим. В каждом случае он искал сходства личностей разных направлений, даже тогда, когда описание их различий

казалось лучшим.⁵¹ Более того, благодаря его анализу русской души в противоположных парах (например, апокалиптик – нигилист, бунтарь – раб), он практически во всех направлениях и личностях находил одну часть пары, и оправдание своей теории. Он говорил: «...(моё) мирозерцание многопланно, и, может быть, от этой многопланности меня обвиняют в противоречиях. В моей философии есть противоречия, которые вызываются самим ее существом и которые не могут и не должны быть устранены».⁵²

Подводя итоги, можно сказать, что если мы сравниваем разные, меняющиеся понятия Бердяева о революции, мы можем найти некоторые общие моменты. Одним из них является описание революции как отражение глубины русской души, и связанная с этим мысль, что революция более или менее была органической частью русской истории. Во-вторых, неизбежность русской революции, что следует из характера русской истории, так же как из чувствительности русского народа к тому, что и Бердяева занимала: несправедливость испытанной действительности. Так же повторенная несколько раз его мысль о смысле революции: чтобы православная церковь и народ были очищены от своих грехов, или чтобы возникла возможность рождения новой духовности. Складывается ситуация, что, хотя Бердяев жил в эмиграции, разделял философию христианского экзистенциализма или персонализма, и абсолютно осудил большевиков, но из-за уникального «смешения» христианства, марксизма и русского славянофильско-почвеннического мышления, всё-таки в его трактовке революции стали более доминантными именно те элементы, которые были свойственны сторонникам русской революции.

Примечания

¹ Н.А. БЕРДЯЕВ, *Самопознание* (Москва: Вагриус), 204.

² В.П. КОШАРНЫЙ, «Проблема революции в социологии и философии русского послеоктябрьского зарубежья», *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион, Общественные науки* 33 (2015), 163, 177.

³ О.Д. ВОЛКОГОНОВА, *Н.А. Бердяев. Интеллектуальная биография* (Москва: Издательство Московского Университета, 2001), 6-7.

⁴ ВОЛКОГОНОВА, *Н.А. Бердяев*, 7-10.

⁵ БЕРДЯЕВ, *Самопознание*, 129-131.

⁶ ВОЛКОГОНОВА, *Н.А. Бердяев*, 16.

⁷ *Вехи: сборник статей о русской интеллигенции Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, А.С. Изгоева, В.А. Кистяковского, П.Б. Струве, С.Л. Франка* (Франкфурт: Посев, 1967), 10, 2, 22.

⁸ ВОЛКОГОНОВА, *Н.А. Бердяев*, 17.

⁹ Н.А. БЕРДЯЕВ, *Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века* (Париж: YMCA-Press, 1971), 222, 246-248.

¹⁰ Н.А. БЕРДЯЕВ, «Кто виноват?», *Собрание сочинений*, том 4 (Париж: YMCA-Press, 1990), 92.

¹¹ Н.А. БЕРДЯЕВ, «О политической и социальной революции», *Собрание сочинений*, том 4 (Париж: YMCA-Press, 1990), 10.

¹² ВОЛКОГОНОВА, *Н.А. Бердяев*, 36-37.

¹³ Н.А. БЕРДЯЕВ, «Духи русской революции», *Из глубины. Сборник статей о русской революции* (Москва: Издательство Московского Университета, 1990), 58, 60.

¹⁴ БЕРДЯЕВ, «Духи русской революции», 63.

¹⁵ БЕРДЯЕВ, «Духи русской революции», 78-82.

¹⁶ БЕРДЯЕВ, «Духи русской революции», 55.

¹⁷ БЕРДЯЕВ, «Духи русской революции», 57.

¹⁸ БЕРДЯЕВ, «Духи русской революции», 62.

¹⁹ ВОЛКОГОНОВА, *Н.А. Бердяев*, 39.

²⁰ PAUL MILIUKOV, *Bolshevism: an International Danger, its Doctrine and its Practice Through War and Revolution* (New York: Charles Scribner's Sons, 1920), 64, 67-69, 83.

²¹ ВОЛКОГОНОВА, *Н.А. Бердяев*, 40-41.

²² БЕРДЯЕВ, *Самопознание*, 215-216.

²³ NYINA A. DMITRIJEVA, "Lenin és az orosz értelmiség: 1922 – a 'filozófusok hajó' – jánák áttekintő története", *Eszmélet* 76 (2007): 167.

²⁴ ДМИТРИJEVA, "Lenin és az orosz értelmiség", 157.

²⁵ БЕРДЯЕВ, *Самопознание*, 217.

²⁶ ВОЛКОГОНОВА, *Н.А. Бердяев*, 46, 57.

²⁷ Н.А. БЕРДЯЕВ, «Размышления о русской революции», *Смысл истории. Новое Средневековье* (Москва: Канон+, 2002), 256, 264.

²⁸ БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 270.

²⁹ БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 258.

³⁰ БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 259.

³¹ БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 261-262.

³² БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 263.

³³ БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 260.

³⁴ БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 262.

³⁵ БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 277-278.

³⁶ БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 277.

³⁷ БЕРДЯЕВ, «Размышления...», 271, 282, 285.

³⁸ БЕРДЯЕВ, *Самопознание*, 187-188.

³⁹ БЕРДЯЕВ, *Самопознание*, 111-112, 127, 231.

⁴⁰ Н.А. БЕРДЯЕВ, *Истоки и смысл русского коммунизма* (Москва: Наука, 1990), 63-64, 73, 94.

⁴¹ БЕРДЯЕВ, *Истоки...* 93-94, 100.

⁴² БЕРДЯЕВ, *Истоки...* 17, 19, 21, 34-35, 41, 51-53, 105, 115.

⁴³ БЕРДЯЕВ, *Истоки...* 109-113.

⁴⁴ БЕРДЯЕВ, *Истоки...* 12.

⁴⁵ БЕРДЯЕВ, *Истоки...* 92, 101, 112.

⁴⁶ БЕРДЯЕВ, *Истоки...* 113-114.

⁴⁷ БЕРДЯЕВ, *Самопознание*, 63.

⁴⁸ БЕРДЯЕВ, *Истоки...* 123-124.

⁴⁹ КОШАРНЫЙ, «Проблема революции...», 181.

⁵⁰ БЕРДЯЕВ, *Истоки...* 120. Следует заметить, что с начала Второй мировой войны Бердяев, будучи на стороне СССР из-за патриотических принципов, в меньшей степени уравновесил сталинизм и фашизм, хотя после войны он в этом разочаровался, потому что от войны и героизма ждал больше свободы в СССР (БЕРДЯЕВ, *Самопознание*, 300, 311.)

⁵¹ KRAUSZ TAMÁS, “Bergyajev aktualitása”, *Eszmélet* 8 (1990): 58-70. – http://eszmélet.hu/krausz_tamas-bergyajev-aktualitasa/ (Март, 2018.)

⁵² БЕРДЯЕВ, *Самопознание*, 265.

А.В. АНТОШИН

**«Истинный социализм»
против Октября 1917?
Социалистическая альтернатива
в восприятии меньшевиков и их
европейских товарищей**

100-летие революции 1917 г. вновь ставит перед российским обществом и исследователями вопрос о том, что же произошло в нашей стране в октябре 1917 г. Можно ли считать эти события революцией? И, если да, то какой характер она носила?

Специалистам давно известен тот факт, что бывшие товарищи большевиков по партии – меньшевистская социал-демократия – отрицательно отнеслись к событиям Октября 1917 г.¹ Гораздо менее известны нюансы, оценки, которые давались меньшевистскими лидерами этим событиям. При этом достаточно давно исследователи пришли к выводу о том, что послеоктябрьский меньшевизм интересен, прежде всего, глубиной проведенного его представителями анализа процессов, протекавших внутри советского общества. Как метко заметил известный венгерский историк Т. Краус, «у меньшевиков не было адекватных политических ответов, но были адекватные вопросы и адекватный анализ».²

Изучение исторических источников показывает: позиция меньшевистской социал-демократии в данном случае важна не только для понимания истории РСДРП. Лидеры меньшевиков оказывали влияние на формирование отношения всего международного социалистического движения к событиям в России. А это отношение, в свою очередь, во многом определило вектор дальнейшего развития

европейской социал-демократии в XX веке. Ведь не секрет, что первоначально некоторые видные европейские социал-демократы позитивно отнеслись к Октябрю 1917 г., что умело использовали большевики. «Правда» публиковала восторженные статьи о социалистическом эксперименте в России, написанные, например, одним из ветеранов германской социал-демократии Францем Мерингом, известным марксистским философом и литературным критиком. Даже главный орган германской социал-демократии, авторитетнейший «Форвертс» нередко позитивно отзывался о большевистском режиме.³

Однако, при столкновении с советской реальностью иллюзии европейских социал-демократов зачастую развеивались как дым. Делегатов III Всероссийского съезда Советов в январе 1918 г. приветствовал приехавший в Россию норвежский социал-демократ Эгиде-Ниссен. После съезда он пришел в качестве туриста в Петропавловскую крепость. Искал «камеру Кропоткина», а нашел крепость, полную социалистов – борцов с самодержавием и оппонентов большевизма. Смущенный, Эгиде-Ниссен поспешил уйти.⁴ Вот после таких случаев у европейских социал-демократов и начинали появляться сомнения в социалистическом характере Октября 1917. Они начинали внимательнее прислушиваться к тем оценкам ситуации в России, которые высказывали их старые друзья – представители меньшевистской социал-демократии.

Долгое время позиция меньшевистской социал-демократии ассоциировалась исключительно с т.н. «линией Мартова». Действительно, Ю.О. Мартов был весьма популярным лидером российской социал-демократии, имевшим особенно высокий моральный авторитет. На Чрезвычайном съезде РСДРП, прошедшем в ноябре-декабре 1917 г., он стал одним из лидеров нового левоцентристского руководства меньшевиков. Как же он и его соратники оценивали события Октября 1917? Прежде всего, для них это ни в коем случае не было лишь верхушечным переворотом, организованным кучкой заговорщиков. «Все-таки перед нами победившее восстание пролетариата», – писал Ю.О.Мартов П.Б. Аксельроду в ноябре 1917 г. Оно, подчеркивал Мартов, ни в коем случае не было случайным, а было предопределено всем ходом развития российского общества. Поэтому не согласен был Мартов с распространенным в то время тезисом о недолговечности большевистской диктатуры, сомневаясь, что она «обречена на гибель» в скором времени.⁵ Путем этого переворота пролетариат, как заявлял Мартов на Чрезвычайном съезде РСДРП, «пытается осуществить объективно прогрессивные задачи».⁶

Соратники Ю.О. Мартова по интернационалистскому крылу меньшевизма были солидарны с ним в оценке событий Октября 1917 года. Думается, весьма глубоким был подход к этим событиям Р.А. Абрамовича, который указывал на то, что ситуация в российском обществе к осени 1917 г. создавала благоприятную почву для большевизма. На практике большевизм был «единственной формой революционного движения на данной стадии», прозорливо указывал он. Опровергая тезис о солдатском характере нового режима, Р.А. Абрамович подчеркивал, что большевизм являлся «выражением стихийных неизбежностей, настроений рабочих масс». ⁷ На этой точке зрения он продолжал находиться и спустя полгода, весной 1918 г. Выступая на Всероссийском совещании РСДРП (май 1918 г.), Р.А. Абрамович указывал, что, по его мнению, именно пролетариат «дал идеологию» событиям Октября 1917 г. ⁸

В таком случае возникает закономерный вопрос: почему же Мартов и его соратники, считавшие социал-демократию партией рабочих, находились в оппозиции к большевистскому режиму? Что же их не устраивало в новой революции? Ответ на этот вопрос Мартов давал неоднократно. Он отрицательно относился к анархистской «форме», в которую была облечена большевистская революция. А его товарищ по руководству РСДРП Ф.И. Дан полагал, что эта «форма» неизбежно влияла на содержание, искажая субъективно благие помыслы участников событий. Оценивая Октябрь 1917 г., он писал о «деклассированном характере» этих событий. В письме Аксельроду в январе 1918 г. Дан заметит: «Под видом диктатуры пролетариата царит диктатура люмпенов в солдатских шинелях». ⁹ При этом он подчеркивал, что опять же «формы», методы, которыми осуществлялась эта диктатура, свидетельствовали не о движении вперед, а, напротив, об архаизации российского социума: речь шла о «первоначальном накоплении самыми варварскими средневековыми способами». ¹⁰

Во многом именно это обстоятельство приводило, по мнению меньшевистского руководства, к тому, что большевики были не способны реализовать те цели, которые они декларировали. Как доказывал И.Г. Церетели в своей знаменитой речи с трибуны Учредительного собрания, большевистский «опыт» по построению социализма не мог принести положительного результата. ¹¹ Уже упомянутый Р.А. Абрамович подчеркивал: проблема состояла в том, что осенью 1917 г. российский рабочий класс преувеличивал свои силы, а большевики поддерживали в нем иллюзию того, что он способен осуществить серьезные социалистические преобразования в стране. ¹²

При этом представление о том, что большевистский режим отражал настроения большинства пролетариата, отстаивалось руководством меньшевиков еще очень долго. Весной 1918 г. меньшевистская газета «Новый луч» подчеркивала, что именно в этом и состояла «исключительная зловерность» режима Ленина: «мелкобуржуазная диктатура над рабочим классом осуществляется не через посредство людей, вышедших из другой социальной среды, а через посредство рабочих же». ¹³ Именно поэтому руководство меньшевистской партии и полагало бессмысленной вооруженную борьбу против большевизма: надо, чтобы пролетариат сам «разделался с максималистскими и анархистскими иллюзиями». ¹⁴

Однако тот строй, который держался на поддержке значительной части рабочего класса, подлинным социализмом меньшевистское руководство не считало. Для Ю.О. Мартова и его соратников это был «мнимый» социализм, который уничтожал «десяток крупных хищников, чтобы создать сотню мелких», расхищал народное достояние «в угоду собственническим инстинктам городских и деревенских хозяйчиков». По мнению руководства РСДРП, в результате взятия власти большевиками, роль пролетариата в российском обществе существенно уменьшилась. ¹⁵

Именно «линия Мартова» была выражена в «Тезисах по текущему моменту», принятых ЦК РСДРП ровно через год после взятия власти большевиками, в октябре 1918 г. Здесь прямо говорилось об исторической необходимости событий Октября 1917 г., поскольку, «разрывая связи между трудящимися массами и капиталистическими классами», эти события выражали стремление трудящихся масс «подчинить движение революции всецело их интересам». Однако уже упомянутое преобладание среди участников революции «стихийно-анархических и утопических» элементов, а также социальная отсталость России препятствовали построению в стране социализма. Попытка же «втиснуть» российскую экономику в рамки «полугосударственного, полуанархического коммунизма» вообще привела к хозяйственной катастрофе и «натравила» друг на друга город и деревню. ¹⁶

При этом следует учесть, что развитие революционного процесса в Европе в 1918–1919 гг. вело к тому, что левоцентристское руководство РСДРП начинало склоняться к мысли о возможности скорой мировой революции. Неслучайно, эта идея стала центральной в тезисах «Мировая социальная революция и задачи социал-демократии», предложенных ЦК всем марксистским социалистиче-

ским партиям в апреле 1920 г. Авторы тезисов полагали, что в результате Первой мировой войны, разрушения империй, изменения государственных границ в Европе сложились как экономические, так и политические предпосылки для такой революции. Будучи марксистами, лидеры меньшевиков прекрасно понимали, что мировая социальная революция не может произойти одновременно: это – длительный исторический процесс «постепенной социализации хозяйственной жизни». Однако важнейшим «рычагом», который должен был начать этот процесс, становилась политическая революция.

Именно при характеристике этого типа революционного процесса меньшевики вновь продемонстрировали свое критическое отношение к тем преобразованиям, которые были проведены после Октября 1917 г. Находясь в рамках марксистской концепции, они понимали, что этап диктатуры пролетариата, очевидно, был неизбежен. Но при этом авторы тезисов подчеркивали: «Понятие классовой диктатуры пролетариата не имеет, кроме имени, ничего общего с понятием единоличной или олигархической диктатуры, в том числе и диктатуры сознательного революционного меньшинства над бессознательным большинством народа, хотя бы и во имя интересов народа».¹⁷ В данном случае оппозиция большевистскому режиму была выражена достаточно четко.

Не случайно то обстоятельство, что для меньшевиков принципиальным было определение их партии как социал-демократической. На протяжении всей своей истории они полагали, что именно в рамках демократии возможна наиболее полная самореализация человека. И, по мнению руководства РСДРП, диктатура пролетариата отнюдь не противоречила демократии, поскольку предполагала «свободное волеизъявление» трудящихся.¹⁸ В данном случае, как нам представляется, важно то, как расставлены акценты. Ведь и большевики устами Н.И. Бухарина говорили о советской форме государства как «самоуправлении масс».¹⁹ Но при этом его «Теория пролетарской диктатуры» (1919) ярко свидетельствует о том, что демократия для Н.И. Бухарина не представляет ценности сама по себе, а лишь нужна была пролетариату тогда, когда он шел к власти. «Но из нужды нечего делать добродетели»,²⁰ – прямо заметил известный теоретик большевизма. После взятия власти пролетарской партией, по его мнению, необходимость в демократических институтах отпадала. Для меньшевиков же демократические ценности были базисными, лежащими в основе их идеологии и тактики в течение многих лет.

Фактически именно точка зрения меньшевистского руководства на события Октября 1917 г. лежала в основе позиции Международного рабочего объединения социалистических партий (т.н. Венского Интернационала, с легкой руки Карла Радека получившего прозвище «2½-й» Интернационал). Ведь не секрет, что и Мартов, и Дан были очень дружны с секретарем Международного рабочего объединения (а затем и Рабочего социалистического интернационала) Фридрихом Адлером. На учредительной конференции Венского Интернационала была принята Декларация методов организации классовой борьбы, где отвергалось «рабское подражание *методам рабоче-крестьянской* революции в России». ²¹ Ф. Адлер и другой видный деятель австрийской социал-демократии О. Бауэр выступали за «единство действий всех сил мирового пролетариата против мирового капитализма», поэтому они и были против бескомпромиссного осуждения большевистской революции.

Однако следует учитывать, что «линия Мартова» отнюдь не охватывала собой всю меньшевистскую социал-демократию. В 1917 г. в РСДРП весьма четко оформилось правое крыло, возглавляемое А.Н. Потресовым. Оно совершенно иначе оценивало события Октября 1917 г. Замечу, что ведущие современные историки российской социал-демократии, прежде всего А.П. Ненароков и израильская исследовательница Зива Галили, полагают, что подход Потресова и его товарищей был значительно более глубоким, чем «линия Мартова». ²² Для правых меньшевиков события Октября 1917 года были не «восстанием пролетариата», ставившим объективно прогрессивные цели. Те идеи об архаизации российского социума, которые «прорывались» и в выступлениях руководства РСДРП, у его оппонентов были выражены вполне определенно. Для них Октябрь 1917 г. был, прежде всего, началом процесса реставрации российского абсолютизма, традиционных для России моделей взаимоотношений власти и общества. Характеризуя большевистский переворот, они постоянно проводили параллели с эпохой российского самодержавия. Уже в воззвании Петроградского комитета меньшевиков-оборонцев, изданном 28 октября 1917 г., большевики сравнивались с «прежними городовыми». Подчеркивалось, что, как и слуги самодержавия, Ленин и его соратники «наносили оскорбления старым борцам с царской властью» (имелись в виду лидеры меньшевиков и эсеров). Говоря о потенциальных следствиях взятия власти большевиками, А.Н. Потресов и его соратники вновь вспоминали об эре самодержавия: «Черносотенные погромы захлестнут

Россию»,²³ – писали они. Даже социальные опоры большевистского режима, по мнению правых меньшевиков, поразительно напоминали режим русских царей. «Новое самодержавие Ленина, – подчеркивал известный правый меньшевик Ст. Иванович, – держится на том же невежестве, той же забитости верных ему групп солдат и рабочих». ²⁴ «В этом перевороте гораздо больше не Европы, а Азии»,²⁵ – очень емко высказался по поводу событий Октября 1917 г. А.Н. Потресов на Чрезвычайном съезде РСДРП. Он и его товарищи постоянно обращали внимание на один исключительно важный факт: события Октября 1917 г. произошли не на пике общественной активности, а в момент крайней усталости российского общества от политики. «Падение интереса к митингам», «аполитичность масс», их «поразительное равнодушие»²⁶ – эти оценки ситуации в России к концу 1917 года доминировали на страницах правоменьшевистской прессы.

А.Н. Потресов подчеркивал, что в событиях Октября 1917 г. можно четко увидеть противостояние «низовой» деревенской и городской «барской» культуры. Этим, по его мнению, воспользовались «тайные» и «явные» монархисты и черносотенцы, которые стремились обратить этот «слепой бунт» против городской культуры в погромное движение, направленное против интеллигенции и инородцев. В любом случае, этот бунт был опасен тем, что разрушал «самые основы политического, хозяйственного и культурного развития России».²⁷

Как полагали правые меньшевики, во многом события Октября 1917 г. были связаны с незавершенностью в России буржуазных преобразований. По мнению А.Н. Потресова, страна страдала «не от избытка капиталистического развития, а, наоборот, – от его недостаточного развития». Именно это и обусловило «крестьянский» характер российского пролетариата, для которого было характерно «максималистское бунтарство», напоминавшее скорее не европейские революции, а движения Степана Разина и Емельяна Пугачева.²⁸

Проблема, однако, состояла в том, что в данном случае меньшевики не учитывали специфику России, ее политической культуры. Ведь именно те модели, по которым развивались Пугачевщина и Разинщина, были глубоко укоренены в российской истории, тесно связаны с менталитетом русского народа. Западные историки, зачастую придерживавшиеся по другим вопросам противоположных взглядов, солидарны в том, что именно в этом лежали корни трагедии меньшевизма. Как справедливо заметил известный британский

историк Э. Карр, поражение меньшевиков «было результатом их отрыва от российской действительности. Общественный и политический строй России не создавал почвы, на которой мог расцвести буржуазно-демократический режим».²⁹ Фактически о том же писал и классик американской русистики А. Рабинович, подчеркивая, что «особенности политического, социального и экономического развития России в течение XIX столетия и в начале XX» обуславливали слабость умеренно-социалистической альтернативы в Русской революции.³⁰ Нельзя не привести и высказывание человека, который всегда находился в американской историографии на диаметрально противоположных А. Рабиновичу позициях – Р. Пайпса. В свойственной ему категоричной манере он заявил, что в России «демократическое социалистическое движение, не только представляющее интересы рабочих, но и руководимое ими, было попросту невозможно».³¹ Здесь, на наш взгляд, необходимо уточнение: «демократическое» в универсалистском, западном понимании этого слова.

Все это, однако, не означает (как отмечалось выше) того, что меньшевистский анализ большевистской революции был бесплоден. Широкую известность получило написанное в 1920 г. письмо П.Б. Аксельрода Мартову, которое весной 1921 г. было опубликовано на русском и французском языках (в последнем случае – в виде отдельной брошюры).³² Один из первых русских марксистов, Аксельрод имел большой авторитет среди сторонников различных течений внутри РСДРП. По многим вопросам он занимал позиции, отличные от «линии Мартова».³³ Резко критикуя и Мартова, и О. Бауэра, Аксельрод подчеркивал: «Большевики узурпировали диктатуру, насильственно отстранив от власти всю социалистическую демократию».³⁴ Специфика возникшего в октябре 1917 г. политического режима, по мнению Аксельрода, состояла в том, что власть лишила оппозицию реальной возможности даже бороться за демократизацию. Тот факт, что часть населения искренне поддерживала большевизм, для Аксельрода не являлся легитимацией этого режима: ведь и до революции большинство трудящихся «телом и душой преданы были царю», однако, революционная интеллигенция все равно не считала Российскую империю «народным» государством. Фактически, полагал Аксельрод, большевики возродили «аракчеевщину», самодержавный строй в его худших проявлениях.³⁵

И к трактовке событий Русской революции, данной Аксельродом и правыми меньшевиками, прислушивались многие лидеры европейской социал-демократии. Среди них – не только Эдуард Берн-

штейн, который, как известно, давно занимал особую позицию по вопросам развития международного рабочего движения. Близок к этой точке зрения был и Пьер Ренодель, редактор «Юманите» и один из лидеров французских социалистов. Позицию очень многих деятелей Социалистического Интернационала выразил видный теоретик европейской социал-демократии Рудольф Гильфердинг, заметивший: «Между социализмом и большевизмом непроходимая пропасть не только идейная, но и моральная».³⁶ Это во многом и привело к тому, что пути развития Социинтерна и коммунистического движения в XX в. решительно разойдутся.

Примечания

¹ LEOPOLD HAIMSON, ed., *The Mensheviks: From the Revolution of 1917 to the Second World War* (Chicago: Chicago University Press, 1974); V.N. BROVKIN, *Behind the Front Lines of the Civil War. Political Parties and Social Movements in Russia, 1918–1922* (Princeton, New Jersey, 1994); ANDRE LIEBICH, *From the Other Shore: Russian Social-democracy after 1921* (Cambridge, Mas., 1997) и др.

² См.: ТАМАШ КРАУС, *Советский термидор. 1917–1928* (Будапешт: Венгерский институт русистики, 1997), 43.

³ См.: ЗИВА ГАЛИЛИ и А.П. НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1919–1920 гг.* (Москва: РОССПЭН. 2000), 613.

⁴ См.: ЗИВА ГАЛИЛИ и А.П. НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.* (Москва: РОССПЭН. 1999), 557.

⁵ См.: ЗИВА ГАЛИЛИ и А.П. НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в 1917 г.*, т. 3. ч. 2. *От Временного Демократического Совета Российской Республики до конца декабря* (Москва: РОССПЭН. 1997), 345.

⁶ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в 1917 г.*, 387.

⁷ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в 1917 г.*, 400.

⁸ См.: ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 456.

⁹ См.: ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 109.

¹⁰ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 109.

¹¹ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 86–88.

¹² См.: ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 456.

¹³ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 333.

¹⁴ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 165.

¹⁵ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 402.

¹⁶ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 635.

¹⁷ См.: ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1919–1920 гг.*, 428.

¹⁸ См.: ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1919–1920 гг.*, 428.

¹⁹ См.: Н.И. БУХАРИН, *Избранные произведения* (Москва: Политиздат, 1988), 22.

²⁰ БУХАРИН, *Избранные произведения*, 19.

²¹ См.: ЗИВА ГАЛИЛИ и А.П. НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1921–1922 гг.* (Москва: РОССПЭН, 2002), 55.

²² См.: ZIVA GALILI, *The Menshevik Leaders in the Russian Revolution: Social Realities and Political Strategies* (Princeton, New Jersey, 1989); А.П. НЕНАРОКОВ, *Правый меньшевизм: прозрения российской социал-демократии* (Москва: Новый хронограф, 2011) и др.

²³ См.: ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в 1917 г.*, 267.

²⁴ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в 1917 г.*, 290.

²⁵ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в 1917 г.*, 389.

²⁶ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в 1917 г.*, 206, 389.

²⁷ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в 1917 г.*, 325.

²⁸ См.: ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1918 г.*, 260.

²⁹ ЭДВАРД КАРР, *История Советской России. Большевистская революция. 1917–1923*, т. 1–2. (Москва: Международные отношения, 1990), 54.

³⁰ См.: А. РАБИНОВИЧ, *Большевики приходят к власти. Революция 1917 г. в Петрограде* (Москва: Мысль, 1989), 330.

³¹ См.: РИЧАРД ПАЙПС, *Русская революция*. ч. 2 (Москва: РОССПЭН, 1994), 35.

³² Об этом письме подробнее см.: А.П. НЕНАРОКОВ, *История одного письма, Политическое завещание Павла Аксельрода* (Москва: Медуим, 2008).

³³ См.: А.П. НЕНАРОКОВ, *В поисках жанра*, кн. 2 (Москва: Новый хронограф, 2009), 7–170.

³⁴ См.: ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1919–1920 гг.*, 657.

³⁵ ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1919–1920 гг.*, 660.

³⁶ См.: ГАЛИЛИ и НЕНАРОКОВ, ред., *Меньшевики в большевистской России, Меньшевики в 1919–1920 гг.*, 712.

PHILIPPE KELLERMANN

**“There is No Socialism in Russia”:
the Reflection of German Anarchists and
Anarcho-Syndicalists
on the Russian Revolution in 1919**

Introduction¹

On the following pages, I will discuss the position of the German anarchist and anarcho-syndicalist movement took towards the Russian Revolution and the Bolsheviks. But first I would like to make two remarks:

1. I will only be concerned with those positions of this movement that were *published*, mainly in the two papers *Der Syndikalist* and *Der freie Arbeiter* (“The free Worker”). This means, first, that the positions that I will present are not necessarily representative as not everyone could or wanted to state their opinion in these papers. Furthermore, it may be the case that sometimes when writing about a certain topic the author of an article would withhold pieces of information or would only treat certain aspects of that topic.
2. Secondly, my article will focus on the year 1919 because this is the year in which the first public statements of German anarchists and anarcho-syndicalists on the “Russian Question” can be found. Already at the end of 1919 we can observe a quite critical attitude towards the Bolsheviks, which can be seen as point of origin for the positions that will develop in the following years.

Background

It has to be noted that several autobiographies and articles that were published after 1919 show that in the beginning the anarchist and anarcho-syndicalist movement had great sympathy for the Russian Revolution

and the radicalization during the year of 1917. Russia, it seemed to anarchists all over the world, was on its way towards a fundamental revolutionization of its society.² This could be interpreted as confirmation of the theses on the “Russian Question” that were discussed during the international anarchist congress in Amsterdam in 1907.³ It also seemed to confirm that it was right to answer the slaughtering of World War One with a concept of a social revolution. It is no coincidence that at the end of 1918 the well-known anarchist Emma Goldman wrote that the Russian Revolution “is a miracle in more than one respect. Among other extraordinary paradoxes it presents the phenomenon of the Marxian Social Democrats, Lenin and Trotsky, adopting Anarchist Revolutionary tactics”⁴. It is therefore not surprising that the Bolsheviks were not perceived to be orthodox Marxists but sometimes rather anarchists in disguise.

The first issues of “Der Syndikalist”

Let us now have a look at what happened within the German anarchist movement. While *Der freie Arbeiter* re-appeared only in April 1919, the syndicalists from the “Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften” (“Free Association of German Unions”) managed to publish a new paper already in mid-December 1918: *Der Syndikalist*, which appeared weekly.

In the first issues of *Der Syndikalist* – more precisely in issues 1 to 7 (end of January) we can find the first voices on the Russian question. They are all very positive towards the Russian Revolution and bolshevism. Two authors in particular – veteran syndicalists Karl Roche and Fritz Köster – see Russia as an inspiring example. They state that Russia had achieved what could not be achieved in Germany up to that date: a true revolutionization of society. In this context, the situation in Russia was interpreted more or less as the realization of anarcho-syndicalist visions and ideals. This misunderstanding can be shown with the following quotation, which argues for a revolutionary alliance with Russia:

“As long as the West has not been subject to a socialist revolution we only have one thing to pass on to it. And this thing is *bolshevism*. An alliance for a socialist Germany can only exist with the Russian *Soviet government*. [...] The continuation of the revolution is the historic duty of *syndicalists* and *communists*. We reject the state, because it does not match socialism. We accept the commune, because it allows the self-government of the working class”.⁵

The anarchist Erich Mühsam will take a similar position a little later – in April 1919 – in a telegram during the short so-called anarchist Soviet republic in Munich:

“Bavaria is Soviet republic. The revolutionary working class and peasants and the soldiers have arrived at an agreement, have realized the dictatorship of the proletariat, in order to erect the socialist-communist society. A Red Army will be formed. The connections to the Russian and Hungarian Soviet republics are now established. To them, our natural allies, we send our compliments”.⁶

In summary, Russia is mentioned in one of the first issues of *Der Syndikalist*, and it appears as a model and as part of the concerted revolutionary power block fighting against the worldwide counter-revolution. “Workers” – as a short note says – “it’s time to decide! Do you want to stand by the side of the reaction, the government or by the revolutionary working class of the world?”⁷

Nevertheless, it can be noted that *on the whole* the *Syndikalist* is quite reluctant towards Russia in these first issues. It seems that, if at all possible, they were trying *not* to take a position towards the situation in Russia and the role of the Bolsheviks.

***The voice of Rudolf Rocker and
“Der Syndikalist” until August 1919***

It did not take long, i.e. until the end of January, for another position on the Russian question to appear. This position is strongly connected with the name of Rudolf Rocker, a long-time internationally well-known anarchist, who had come back to Germany at the end of December 1918 after living in exile for decades. Rocker deals with the Russian question mainly in three articles, which appeared between January and May.⁸

His most important arguments are:

1. First, the Russian Revolution had not been the work of a *party*, that is, of the Bolsheviks;
2. Second, the real actors of the revolution had been the masses; in this context, he talks about the Russian peasants on the one hand, and the syndicalist unions in Russia on the other hand;
3. Third, the Bolsheviks had abandoned their own programme and had gone along with the facts created by the revolution.

It is obvious that for Rocker it was important to illustrate the difference between bolshevism and anarcho-syndicalism and to show that the Bolsheviks did not deserve the praise as successful revolutionaries. However, Rocker remains unclear about the real relationship between the Bolsheviks and the people in Russia – and about the role of the dictatorship of the Bolsheviks, which he also mentions. But, and this point is impor-

tant, Rocker emphasizes that the path “which the Soviet-Government has shown us so far [...] should not be followed. The Russian Soviet-Government suffers from a mistake inherent to the nature of Marxism: they think that socialism can be decreed from above and by that they show that they have not understood the real nature of the socialist movement”.⁹

If we look at *Der Syndikalist* after the first intervention of Rudolf Rocker it can be noted that the voices become more aloof towards the Bolsheviks. It seems to have become increasingly clear that bolshevism and anarchism / syndicalism had to be distinguished. But still the authors are relatively cautious: when criticizing concepts of “state socialism” they do not necessarily mention Russia or the bolshevist concept, but the German social-democrats. And it also has to be noted that the increasing criticism of the German communist party is made almost without mentioning Russia and bolshevism.

“Der freie Arbeiter” (April-August 1919)

In April, *Der freie Arbeiter* re-appeared, the paper of the “Anarchistische Föderation Deutschlands” (“Anarchist Federation of Germany”), which was a long-established paper of the German anarchists, founded in 1904 and prohibited during World War One.

The reservation towards Russia in *Der freie Arbeiter* is more obvious than in *Der Syndikalist*. In the first issues, we do not find any statements on the topic, only perhaps in very few side remarks like the following: that, for example since the Russian Revolution “a new spirit – coming from the East – has appeared”, which is “the spirit of rebellion, of revolution”.¹⁰ This silence is insofar surprising as *Der Syndikalist* had already published a number of critical remarks. But – and this is striking – even authors like Rudolf Rocker, who had been quite explicit in their criticism in *Der Syndikalist*, do not criticize the situation in bolshevist Russia in *Der freie Arbeiter* at this time.

“Der Syndikalist” from August 1919

In the middle of 1919, more precisely in August, the critique of Russia and the Bolsheviks becomes more severe – again in the *Syndikalist*. Under the heading “The truth about the soviet republic of Hungary” we can read in the editorial article of issue 35:

“During these days mountains of lies are falling apart. What seemed to be the pure truth yesterday has become untrue today and a lie tomorrow. A great number of pamphlets is telling the truth about Soviet-Russia, and about the Soviet-republic Hungary. The reactionaries saw another

truth than the revolutionaries. [...] We as syndicalists supported the Bolsheviks, the state communists. Not because we agreed with their goals and tactics, but because we felt that all revolutionary elements belonged together in the fight against the reactionaries. But for a long time we had suspected that the real truth is concealed by both sides, that the truths presented by both reactionaries and revolutionaries were biased. The real truth about Russia has not yet been found. [...] We syndicalist refrained from making a judgement. During these days Soviet-Russia is fighting against the united reactionaries of the Entente-countries and against the German cosaks. [...] We syndicalists do not shed any tears over Soviet-Hungary. The rulers around Bela Kun have discredited socialism. The truth about Hungary became known to us quicker than the truth about Russia".¹¹

All statements on the bolsheviks that appeared in the *Syndikalist* after this article, which was written by the editor Max Winkler, criticized them. But it also has to be noted that they still stated their solidarity with Russia.

"Recently those voices in the press have increased that regard the Russian bolshevist experiment as syndicalism. [...] But whoever followed the international syndicalist press knows that syndicalism and bolshevism are two entirely different economic systems. Bolshevism upholds state, militarism, government and the wage system, whereas syndicalism is an enemy of the state, of every government and of the wage system. Bolshevism leads from state capitalism back to private capitalism, syndicalism leads to a libertarian socialism. But still the syndicalists prefer the Bolsheviks to the capitalists and the *Kaisersozialisten*. Bolshevism is an attempt of *Marxists* to realize socialism. The working class will learn from this attempt, that socialism within the state while upholding the wage system is impossible. And if the Russian syndicalists are still loyal comrades of the Bolsheviks, then this can only be explained with reference to the complicated Russian situation. They know that with the fall of bolshevism the international reaction would become more powerful".¹²

"Der freie Arbeiter"
between August and December 1919

In view of the strong impact that Winkler's article in *Der Syndikalist* had, it is surprising that *Der freie Arbeiter* did not take up the topic – in August/September we find a mere side note on the "pseudo-communist experiments in Russia and Hungary".¹³ Russia itself is still not men-

tioned, until in October *Der freie Arbeiter* starts to appear weekly instead of fortnightly – and introduces a new section called “international revolutionary movements”, in which the editor Rudolf Oestreich (this cannot be said for sure because the articles are not signed) writes about the Russian question many times. Besides his statements we find other articles which point out that “the reports from and about soviet-Russia [...] are usually quite unclear” or that call attention to the fact that there are different positions towards the Bolsheviks within the international anarchist movement. Although we cannot detect a consistent line of argument, it can be said that most articles take a critical distance towards the Bolsheviks. But here, too – as in *Der Syndikalist* – the authors do not break their solidarity with Russia.

“Soviet-Russia still claims our greatest interest. Here the capitalist system has suffered its first defeat. It is therefore not surprising that all capitalist powers of the world look with fear and tension towards where the first breach has been blown into the wall of capitalism. Whether we as anarchists like bolshevism, its tactics and its dictatorship or not, we must never forget that whatever we criticize at this form of socialism, it is still a great and brave endeavor to overthrow capitalist society and to found a socialist one. We as libertarian socialists cannot wish for the demise of bolshevism, but for its libertarian development – if Soviet-Russia still contains so much violence, unfreedom and further misery, this is not the fault of the representatives of bolshevism but of those who exert so much pressure on the country of bolshevism from the outside. The coalition against the Soviet-republic is becoming more powerful. [...] In the meantime, the Soviet government profits from the disputes that have arisen among its enemies”.¹⁴

**“Der Syndikalist” and “Der freie Arbeiter”
at the end of 1919**

Considering the commentaries that the anarchists and anarcho-syndicalists expressed in their newspapers throughout the year 1919, it becomes apparent that a certain reluctance dominated before dealing with the Russian events in further detail. It is noticeable that *Der Syndikalist* took a fundamentally critical stance towards the Bolsheviks very quickly while the editorial staff of *Der freie Arbeiter* remained ambivalent though taking an increasingly critical stand on the Bolsheviks. Nevertheless, towards the end of 1919 both staffs are considering that pro-Bolshevik articles should not be published any longer without comment. This is evidenced by the remarks concerning an article by Heinrich Vogeler:

“We give the floor to our friend Heinrich Vogeler, though our feelings differ in crucial points. We know that the evangelists of the dictatorship of the proletariat only aspire to a dictatorship of the party leadership. We know that in this case the freedom of *thought* would be completely gagged. The cautionary examples are manifest to everybody. We know that the party communists are actually no communists at all but collectivists, estimating that intellectual labour has a higher value than manual labour; that the party leaders demand higher wages for themselves than they are willing to grant to the labouring masses. We syndicalists reject centralism, we are federalists, proponents of the principle of free alliances and free contracts between productive unions and cooperatives. Comrade Vogeler is wrong to assume that our mutual relationships, our fighting weapons are based on the principle of dictatorship. He hasn’t sufficiently examined our organic structure, therefore drawing the wrong conclusions”.¹⁵

In the case of *Der Freie Arbeiter* it is a letter of Rudolf Zimmer which gives rise to the following statement:

“We publish the article of comrade Zimmer though we don’t agree with all of his opinions. The party dictatorship of the Bolsheviks in Russia is a matter of fact and the way the Bolsheviks struggle not only against the bourgeoisie but also against other revolutionaries, for example the anarchists, cannot be recommended for imitation. The call for a dictatorship of the unified proletariat would certainly meet a more positive response among the anarchists if there wasn’t the rejecting effect of the bad (Russian) example. And the observations of comrade Zimmer are definitely not suitable to remove all our concerns on the matter. Editor’s note”.

Nevertheless, there are striking differences between *Der freie Arbeiter* und *Der Syndikalist*: while the former has not yet completely given up all hopes for a libertarian development in Russia, for the latter this possibility seems to have ceased altogether.

Outlook

At the end of December, the 12th congress of the “Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften” took place in Berlin. During this congress the general position, which dominates in *Der Syndikalist* and in *Der freie Arbeiter* is summed up. Without any discussion the delegates pass a resolution of solidarity on Russia, which states:

“The 12th Congress of the ‘Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften’ states its solidarity with the revolutionary working class of the

Russian Soviet-republic, in their fight against the counter-revolutionary movements of the bourgeois reaction. The Congress in particular protests against all the activities of Germany and the other states that are supposed to influence the status of the Soviet-republic, or aim at its destruction. The Congress asks the German and the international working class and particularly our organization to fight all actions that are directed against Soviet-Russia, and to support every movement that is doing so”.¹⁶

On the other hand, Rudolf Rocker clarifies in his speech:

“With respect to the Bolsheviks our position is the same as towards other socialist parties. We stand unanimously at the side of Soviet-Russia in its heroic defence against the powers of the allies and the counter-revolutionaries, not because we are Bolsheviks, but because we are revolutionaries. Apart from that, we are determined to follow our own path because we are convinced that it is the right one”.¹⁷

The positions are clear, although Russia and the Bolsheviks are still regarded as part of a “revolutionary block”. But this will not last much longer. A little later anarchists and anarcho-syndicalists will assert their solidarity with the people of Russia alone – in their fight *against* the Bolsheviks.

Our sympathy and our solidarity “still lies with the Russian people whose vigour in sweeping an age-old despotism to the dustbin of history could serve as a model for the other European workers (according to the anarchist slogan: ‘all power to the soviets’). Our struggle is directed against the gravediggers of the Russian Revolution, against the *red czars*: and their are not the people”.¹⁸

At last the Bolsheviks will be regarded as part of the fascist reaction. In an article from 1923 we can read:

The reaction “celebrates many victories. Its centre is Italy, Russia follows. From no other countries we receive messages that are so upsetting. [...] The bolshevist-fascist reaction catches on”.¹⁹

Notes

¹ I would like to thank Elke Gehweiler and Michael Halfbrodt for translating the article into English and Helge Döhning and Hartmut Rübner, two experts on the German anarcho-syndicalist movement for their help while working on this topic.

² See for example: AUGUSTIN SOUCHY, *Vorsicht Anarchist!* (Reutlingen: Trotzdem Verlag, 1982), 33; KENYON ZIMMER, “Premature Anti-Communists? American Anarchism, the Russian Revolution, and Left-Wing Libertarian Anti-Communism, 1917–1939”, *La-*

bor: *Studies in Working-Class History of the Americas* 6, no. 2 (2009): 45-71; FRANCO BERTOLUCCI, "Im Osten geht die Sonne der Zukunft auf. Die russische Revolution aus der Sicht der italienischen Anarchisten 1917–1922", in PHILIPPE KELLERMANN, ed., *Anarchismus und russische Revolution* (Berlin: Dietz Verlag, 2017), 187-249; WERNER PORTMANN, "Leninistische Bluttransfusion für anarchistische Adern. Die Wirkung der 'Oktoberrevolution' auf den Anarchismus in der Schweiz", in KELLERMANN, *Anarchismus*, 288-315; PETER MERTEN, *Anarchismus und Arbeiterkampf in Portugal* (Hamburg: Libertäre Assoziation, 1981), 145-149; DAVID BERRY, *A History of the French Anarchist Movement 1917–1945* (London: Greenwood Press, 2002); JOHN W.F. DULLES, *Anarchists and Communists in Brazil, 1900–1935* (Austin – London: University of Texas Press, 1973).

³ *The International Anarchist Congress, Amsterdam 1907* (Edmonton: Black Cat, 2009), 118f.

⁴ EMMA GOLDMAN, *The Truth about the Boylsheviki* (New York: Mother Earth, 1918).

⁵ KARL ROCHE, "Nationalversammlung und Syndikalismus", *Der Syndikalist* 1, no. 6 (18.01.1919).

⁶ "An die russische sozialistische föderative Sowjetrepublik (06./07.04.1919)", in ERICH MÜHSAM, *In meiner Posaune muß ein Sandkorn sein, Briefe 1900–1934*, Band 1 (Vaduz: Topos, 1984), 318.

⁷ "Blutige Weihnacht", *Der Syndikalist* 1, no. 4 (04.01.1919).

⁸ "Ein Wort zur Klärung" (25.01.1919), "Wir und die 'Marxisten' (15.02.1919) and Wie stellen wir uns zur Anfertigung von Heeresgerät?" (May 1919).

⁹ R.R. [RUDOLF ROCKER], "Wir und die 'Marxisten' ", *Der Syndikalist* 1, no. 10 (15.02.1919).

¹⁰ Z., "Völkerfrühling", *Der freie Arbeiter* 12, no. 1 (April 1919.)

¹¹ [MAX WINKLER], "Die Wahrheit über die Räterepublik Ungarn", *Der Syndikalist* 1, no. 35 (09.08.1919).

¹² "Eine internationale Lüge", *Der Syndikalist* 1, no. 48 (08.11.1919.)

¹³ Ib., "Bücherbesprechung", *Der freie Arbeiter* 12, no. 12 (September 1919.)

¹⁴ [RUDOLF OESTREICH?], "Die revolutionäre Bewegung des Auslands", *Der freie Arbeiter* 12, no. 13.

¹⁵ HEINRICH VOGELER, "Der Kampf innerhalb der K.P.D.", *Der Syndikalist* 1, no. 52.

¹⁶ *Protokoll über die Verhandlungen vom 12. Kongreß der Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften* (Berlin: Fritz Kater, [1920]), 16f.

¹⁷ *Protokoll über die Verhandlungen vom 12. Kongreß*, 59.

¹⁸ GEORG BENNEK, "Kampf der Sowjetunion", *Der Syndikalist* 10, no. 5 (04.02.1928).

¹⁹ "Nieder mit dem Fascismus!", *Der Syndikalist* 5, no. 19 (1923).

SLÁVKA OTČENÁŠOVÁ

**Between Glorification and Oblivion:
the Images of the 1917 Russian Revolution
in Czechoslovak and
Slovak History Textbooks
(Published from 1918 until Present)**

This paper analyses the ways of representing the meaning, importance and different interpretations of the 1917 Russian Revolution in Czechoslovak and Slovak history textbooks published in three different political regimes:

1. The interwar period (1918–1938);
2. The Second World War (1939–1945); and
3. The times when Czechoslovakia was ruled by the Communist Party (1948–1989).

It discusses how the individual interpretations of the 1917 Russian Revolution in different political regimes have been incorporated within the narratives on WWI in general and how the 1917 Russian Revolution was used in the national – Slovak and Czechoslovak – master narratives.

History education is instrumental in creating a collective identity and collective memory amongst the public. One of its aims is to culturally integrate students within their society. Historical narratives presented in school history textbooks contribute, next to family, media and public spaces and ceremonies, to forming the ways young people perceive the world around them. History textbooks are part of the official state's historiography. As such, the intention is to pass on the values and ideals of the current political elites onto subsequent generations. Historical narratives

in textbooks have been influenced by different political regimes and by different ideological needs and constrains. The messages presented to students in official school education have an authoritative and formative character and they are of fundamental importance from academic, educational and political points of view.

History textbooks are the most publicly circulated form of the outcomes of historical research. When analyzing history textbooks, it must be taken into account that their content and explanations of historical events are adjusted to the age of the target pupils and their mental capacities. Narratives in history textbooks are also influenced by the relatively short time and limited space devoted to learning about particular topics. History classes and the impact they have on students are also influenced by the personality of the teacher and his or her own interpretation of historical facts. However, this aspect will not be taken into consideration here since there is not enough relevant data enabling research on classroom environment. For example, oral history would allow research on the memories of teachers and students regarding teaching and learning about the 1917 Revolution. However, today it is almost impossible to reach the relevant data in relation to the interwar period by employing this method. Therefore, primary sources used for this article were history textbooks for primary and secondary schools, school history curricula and methodological guidelines published for teachers during different political regimes from 1918 until today.

The interwar period

The dissolution of Austria-Hungary, the establishment of Czechoslovakia, and the reconfiguration of power and ethnic relations in the newly formed state affected all areas of public life, including the educational system. Schooling in Czechoslovakia had to be reorganized so that it would correspond with the ideological needs of the new state.¹ A new national master narrative had to be adopted for use in primary and secondary history education. Its main purpose was to reinforce the Czechoslovak perspective and reinterpret, i.e. condemning the German and Hungarian influences on the national past.²

This standpoint was also applied when interpreting World War I in history textbooks, which portrayed it as a step of Czechs and Slovaks towards their independent joint nation-state. Political and social reasons of the war were not explained in the textbooks thoroughly, as the main point of the narratives was to represent the whole conflict as the triumphant historical victory of Czechs and Slovaks; as their path from the “prison of

the nations” to their righteously deserved independent and democratic state. The break-up of Austria-Hungary was represented as the key outcome of the war.

In this context, the 1917 Russian Revolution was represented as a sort of a betrayal towards the Allies, which slowed down and complicated the victorious advancement of the allied powers:

Germans felt relief when the Revolution broke out in Russia in March 1917 and the Russian tsar was removed from the throne. Although the first revolutionary government wanted to continue fight against the Germans, finally their intentions all vanished, since the Russian army was tired, soldiers were throwing away their guns and deserting the units, going home. Bolsheviks usurped the power and on 3rd March they negotiated peace with Germany in Brest-Litovsk.³

On the other hand, it was not desirable to create a negative image of Russians, since there was a strong identification with Slavic identity in the interwar textbooks:

Our state is Slavic, Slavs are our closest brothers, we want to know them and maintain solidarity with them, and we also want to live with other nations in peace and harmony.⁴

Historian (and textbook author) Pekař praised the February revolution as a showcase of courage to stand up against military violence and expansionist war. He also saw the revolution as an event that strengthened the Czechoslovak resistance movement itself, referring to the attempts of the Czechoslovak exile government to organize a military unit out from the Czech and Slovak soldiers who were captured by the Russian army. However, he explicitly stated that the Bolshevik coup, and the end of Russian animosity towards Germany and Austria confirmed by the Brest-Litovsk Treaty, brought an end to these efforts.⁵

The period of World War II

On the eve of World War II, Czechoslovakia was dissolved. Bohemia and Moravia became a part of Germany in the form of a Protectorate, and Slovakia became a satellite country under strong German political influence. A significant internal change then occurred on the Slovak political scene. The previously dominant Slovak Lutheran and pro-Czech oriented intelligentsia leading the state was replaced by the Catholic clergy. The official schooling was Slovakized, i.e. Czech teachers and professors were removed from Slovak schools, Czech history textbooks that were previously used in schools along with the Slovak ones were withdrawn, and stronger links between official education and the Church were

established – there was an increase of schools founded by the Church, and the religious aspect of secondary education was formally embedded in the characteristics of the function of the schooling:

The role of secondary schooling is to educate a moral student on a religious basis, who will be a loyal citizen of the Slovak state⁶, [while teachers were encouraged to] actively participate in national and religious associations.⁷

Historian František Hrušovský, a graduate of the Polish Jagellonian University and professor at the Slovak University in Bratislava, and Member of the Parliament, became the leading representative of the official historiography. His monograph *Slovenské dejiny* (Slovak history)⁸ was a summary of the Slovak national history and it was used as a high school textbook. In the new political circumstances, the book naturally diverted from the interwar ideas promoting Czech–Slovak unity, centralisation and Czechoslovakism, and it fully supported the contemporary ideological agenda of the political elites – Slovak nationalism, Catholicism and political subordination to Germany.

These values were also reflected in the narratives interpreting WWI. Contrary to the interwar history textbooks, which openly designated German imperialism as the reason of the conflict, the origins of the war in the textbook of Hrušovský were addressed only very generally and vaguely, considering the contemporary international relations and tight dependence of Slovakia on Germany, and thus avoiding any negative references to German politics, whether in past or present:

World War was the outcome of a general international tension, which had been already for a couple of decades dividing big European states into two hostile blocks that were competing for the political power in Europe and for the economic superiority in the whole world. This tension, accompanied by feverish arming on both sides, was growing every year, so only a tiny spark was needed to cause a huge fire. This spark was the assassination of Franz Ferdinand, heir presumptive to the Austro-Hungarian throne on 28th June 1914 in Sarajevo.⁹

The textbook did not employ narratives on the progress of WWI nor on its outcomes and consequences in the international context, but focused on using WWI exclusively for framing the national master narrative, emphasizing Slovak political and military activities leading towards independence from Austria-Hungary.

In relation to Russia, Hrušovský openly claimed sympathies for the monarchy as a possible guarantee of Slovak national aspirations:

Slovaks, who had long before WWI settled in Russia, and had their businesses in all of the bigger cities, were the first to raise their voices. Representatives of Czechs and Slovaks living in Russia visited czar Nicolaus II during the first days of the war, and they informed him about the situation of the nations in Austria-Hungary. They talked about the possibility of creating an independent Czecho-Slovak kingdom, which would be ruled by one of the members of the Romanoff family. The Russian czar individually met the representative of the Slovaks, Jozef Országh, who informed him about the difficult fate of Slovaks in Hungary. Slovaks and Czechs in Russia from the beginning of the war were enrolling in the army and they established the so-called Czech group, which became later the basis of the Czecho-slovak army in Russia.¹⁰

On the other hand, the author completely disapproved of the impact of the Russian revolution in the regions of former Austria-Hungary:

And while the region of Slovakia was gradually getting rid of the Hungarian state administration, and while the Slovak-Hungarian border was set up at the Paris Peace conference, in March 1919, Communists gained power in Hungary, and under the leadership of Béla Kun, they were trying to use the dissatisfaction of people and organize a Bolshevik coup. Hungarian Communist government, aided by Moscow, organized on 20th May 1919 an attack on Slovakia. Strong units of Hungarian Bolshevik army did not meet any stronger opposition and thus they penetrated deep into the territory of Slovakia... Hungarian Bolsheviks treated the Slovak people with terrible terror and they took revenge on them, mainly persecuting Slovak patriots, once they caught them. They tortured to death a great priest František Majoch, who became the national martyr of Eastern Slovakia... Groups of Slovak armed volunteers were established, in order to counter fight the Bolshevik aliens.¹¹

Socialist Czechoslovakia

The Communist party came to power in Czechoslovakia in 1948. The state took over all the formal schooling as the exclusive founder and the school system became fully centralized, which resulted in ideological indoctrination and the introduction of a singular curriculum in all areas of public education. At the beginning of the 1950s, a number of history textbooks were translated from the originals used in the Soviet Union, as historians were generally not yet prepared to react quickly and prepare the ideologically satisfactory sources for school history education.¹² Later on, history textbooks were produced as a collaboration of Czech and Slovak historians from the Czechoslovak Academy of Sciences and the Slo-

vak Academy of Sciences, didacticians and teachers. There was always one textbook for each particular grade of a particular school type, and one edition was published in Czech language and one in Slovak language.

The authors of the textbooks centralized the WWI narratives around the revolution and class conflicts as the moving forces in history, and they employed a romanticising concept of a rightful fight of the oppressed nationalities against the aggressors:

In this period, the conflicts sharpened especially regarding the two political-military blocs, the class struggle of the workers against the ruling classes, and the nation-deliberating fights of enslaved nations against their oppressors. It was the German imperialist and military circles that had the biggest interest in starting the war, since they believed it would bring them power all over the world. Except for defending Serbia, all the other participating countries were leading a wrongful imperialist war.¹³

One of the most elaborated topics in the textbooks was a critique of the contemporary reactionary imperialistic and colonial policies of the countries in general, which were described as the main cause of the war, “colonialism and imperialism of everybody (of small and big, of those who had enough as well as of those who did not have anything)”¹⁴, with an accent on the German guilt in the whole issue, specifically designating German aristocracy and bourgeoisie (the out-group) and German nationalism as the principal culprits of the war:

The most aggressive imperialism was the German one. German imperialists planned to capture all the colonies, to annex Belgium and the Netherlands and borderline zones of France. They even wanted to attach Austria-Hungary to the German Empire. It had even more daring plans in the East. Germany wanted to divide Russia, seize the Baltic region, Ukraine and the Caucasus, and from there it wanted to expand through Iran to India. In collaboration with the Junkers (aristocratic class that was mainly winning recognition in army and high offices) the German capitalists and their monopolies were the main initiators of these aggressive plans. They would spread them through press, army, schools and they tried to educate the whole nation in line with this spirit.¹⁵

In line with the formerly established tradition of representing WWI within the framework of national history, the textbooks published after 1948 interpreted the War as an important milestone in achieving the independence of Czechs and Slovaks. However, the national aspect was combined with the concept of class struggle, which made a significant

shift in the interpretation of the establishment of Czechoslovakia as a product of WWI:

The importance of the establishment of Czechoslovakia: gaining their independence, Czech and Slovak nations made a significant leap forward in their historical development. After several hundreds of years of enslavement, an independent state of Czechs and Slovaks was established. Both brotherly nations had their natural base of development in it. The fall of monarchy and the establishment of a democratic republic meant the fulfilment of one of the significant demands of bourgeois democratic revolution. However, capitalists remained in power. The representatives of Czech and Slovak bourgeoisie claimed private property to be untouchable... The working people of our lands were able to subvert the Habsburg monarchy by their vital movement; however, they did not succeed – without the leadership of a revolutionary Marxist party – to take over the power in the new state.¹⁶

The pro-Soviet orientation of Czechoslovak politics also significantly penetrated into the official interpretations of the past, which often adopted the optics of history that were spread in the mainstream Soviet historiography. This was manifested in official Czechoslovak historiography, and thus also in school history textbooks, and the interpretations of WWI were no exception to this trend:

The Bolshevik Party in Russia led by V. I. Lenin was the only workers' party in European countries which remained during the World War I loyal to the idea of the socialist revolution. It did not betray the revolutionary programme, and it did not subordinate the revolutionary interests of workers to the imperialist war adventure, such as did the right-wing leaders of social-democratic parties in Austria and Germany.¹⁷

The Great October Socialist Revolution of 1917 was pictured in all the history textbooks published between 1948 and 1989 as an important event and a milestone in the development of WWI, and it often overshadowed the history of the War itself. This was a novelty in comparison to interpretations of WWI in history textbooks published in previous regimes, and were the outcome of changed political conditions and international relations of Czechoslovakia after 1948. But, it was not only textbook narratives that were a source of information about the October revolution. In the period between the 1950s and 1988, each year November was designated in Czechoslovakia as a month of the Czechoslovak-Soviet Friendship, and it was marked by a number of public events and ceremonies. All the schools in Czechoslovakia would participate in the

so-called lampion parades, public evening marches, gatherings and manifestations and thus more visual commemorations of the revolutions were publicly promoted.

In all three periods analysed, the history of WWI was interpreted in school history education primarily from the national perspective. Sentimentality and war propaganda, patriotic certainties, such as battle, glory, hallowed dead, great men and conventional romanticism went hand in hand with depicting the War as a milestone in the historical development of the nation (be it Czechoslovak or Slovak), and as a transition that helped to achieve independence from the others (or at least as a step towards it). The interpretation of the 1917 Russian Revolution was subordinated to the current needs of the political agenda, while fully reflecting the contemporary international relations Czechoslovakia (Slovakia) had with the USSR – from a relatively undermined topic during the interwar period, to a clearly condemned event during WWII, up to one of the most publicly celebrated festivities during the rule of the Communist party in Czechoslovakia.

Notes

¹ EUBICA KÁZMEROVÁ, “K vývinu štruktúry školstva na Slovensku v rokoch 1918–1939” [About the development of the school structure in Slovakia 1918–1939], in *Slovensko v Československu (1918–1939) [Slovakia in Czechoslovakia (1918–1939)]*, edited by MILAN ZEMKO (Bratislava: VEDA, 2004), 417–444.

² PAVOL MATULA, *Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách (1918–1938) [Czechoslovakism in Slovak high schools (1918–1938)]* (Bratislava: Goralinga, 2013).

³ KAROL HLAVINKA, *Stručné dejiny národa československého pre nižšie triedy slovenských stredných škôl [A concise history of the Czechoslovak nation for the lower grades of Slovak high schools]* (Košice: Tlačou Slovenskej knihtačiarne, 1922), 105.

⁴ HLAVINKA, *Stručné dejiny národa československého*, 108.

⁵ JOSEF PEKAŘ, *Dějiny československé. Pro nejvyšší třídy škol středních [Czechoslovak history. For the highest grades of high schools]* (Praha: Historický klub, 1921), 153–160.

⁶ FRANTIŠEK NEUPAUER, “Školská politika v období Slovenskej republiky 1939–1945” [Slovak politics in the times of the Slovak Republic 1939–1945], in *Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov IV [Slovak Republic 1939–1945 through the lenses of young historians IV]*, edited by MICHAL ŠMIGEL and PETER MIČKO (Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB – Ústav vedy a výskumu, 2005), 74–88.

⁷ NEUPAUER, “Školská politika”, 84.

⁸ FRANTIŠEK HRUŠOVSKÝ, *Slovenské dejiny [Slovak history]* (Martin: Matica slovenská, 1939).

⁹ HRUŠOVSKÝ, *Slovenské dejiny*, 354-355.

¹⁰ HRUŠOVSKÝ, *Slovenské dejiny*, 358-359.

¹¹ HRUŠOVSKÝ, *Slovenské dejiny*, 362.

¹² MAREK HAVRILA, *Vybrané kapitoly zo vzťahov slovenskej historiografie k inonárodným historiografiám v rokoch 1945–1968 [Selected chapters on the relation of Slovak historiography to foreign historiographies in the years 1945-1968]* (Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009).

¹³ VRATISLAV ČAPEK, JOZEF BUTVIN, MILOŇ DOHNAL, JÁN HUČKO, ANNA KOVÁČOVÁ, *Dějepis II. Pro druhý ročník gymnázia [History II. For the second grade of grammar schools]* (Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986), 317.

¹⁴ JAROSLAV JOZA, JOZEF BUTVIN, FRANTIŠEK ČERVINKA, *Dejepis pre 8. Ročník základnej deväťročnej školy [History for the 8th grade of elementary schools]* (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1963), 217.

¹⁵ JAROSLAV KOPÁČ, MIROSLAV KROPILÁK, ALOIS SOSÍK, EMIL STRAČÁR, ALICE TEICHOVÁ, *Dějiny doby nové a nejnovější. Dějepis pro 8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol [Modern and contemporary history. History for 8th grade of general schools]* (Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955), 4-47.

¹⁶ MILOŇ DOHNAL, OTAKAR KAŇA, *Dějepis pro devátý ročník základné devítileté školy. Doplnok učebnice [History. For the ninth grade of the elementary school. A textbook supplement]* (Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977), 36.

¹⁷ DOHNAL, *Dějepis pro devátý ročník*, 17.

CAMILA OLIVEIRA DO VALLE

The Bolsheviks and the Dual Power: Yesterday and Today

The research analyzes the theory of the dual power developed by Lenin from his studies of the Russian revolutionary process. It analyzes how the relationship between the Duma, the Soviets and the Bolsheviks was established, verifying the behavior of the Bolsheviks in the elections to the Duma, the organization of the Soviets and the revolutionary army, and the development of the revolutionary war. Finally, it verifies the contributions of Lenin's theory to the revolutionary movements of the present time, understanding how the Russian revolutionary movement questions bourgeois democracy and signals for the reinforcement of the actions against its institutions, in particular, the election boycott.

The Duma

On August 6, 1905, Sergei Witte issued a manifesto about the convocation of the Duma, called Bulygin Duma. The Bolsheviks decide to refuse to participate in elections to the Duma. Lenin, in "The boycott of the Bulygin Duma, and Insurrection" (1905) says: "a boycott of the Duma means a more vigorous appeal to the people by the bourgeoisie, a development of its agitation, a greater number of opportunities for our agitation, and a more intense political crisis, which is the source of the revolutionary movement".¹ Even later, he maintained this position.

In October, the tsar Nicholas II signed the October manifesto promising civil rights to the population and creating a "legislative" Duma. From 1906 to 1917, four Dumas were summoned and the position of Lenin was distinct in each of them. The first election for the Duma was in 1906. The electoral laws introduced franchise to male citizens over 25 years of age, and electing through four electoral colleges. The elections were not direct. They had different levels.

According to the Resolution of the St. Petersburg Organization of the RSDLP on the tactics of boycott,² the meeting of representatives of St. Petersburg workers, members of the RSDLP, deems, among other issues, it necessary to reject absolutely all participation in the State Duma.

At this time, Lenin defends the boycott. In January, he writes "Should We boycott the State Duma?" and says that the dispute inside the Party is about the tactics to be adopted towards the Duma. While the Mensheviks say that the Party should take part in the election of delegates and electors, the Bolsheviks advocate an active boycott of the Duma. Boycott means refusing to take part in the elections, it means that the Bolsheviks have no wish to elect either Duma deputies, electors or delegates. But it means making extensive use of election meetings for agitation and organization. "Making use of these meetings means gaining entry to them both legally (by registering in the voters' lists) and illegally, expounding at them the whole program and all the views of the socialists, exposing the Duma as a fraud and humbug, and calling for a struggle for a constituent assembly".³

According to Lenin, Bolsheviks need to refuse to take part in the elections because if they take part in it, they involuntarily foster belief in the Duma among the people and thereby weaken the effectiveness of the struggle against this travesty of popular representation. For him, the Duma was not a parliament. For Lenin, the Bolsheviks cannot at the time derive any advantage for the Party from the elections, because "there is no freedom to carry on agitation; the party of the working class is outlawed; its representatives are imprisoned without trial; its newspapers have been closed and its meetings prohibited".⁴ After, Lenin criticized this position, understanding that the boycott of the First Duma was a failure, even though it was an apparent failure.

The tsar's government dissolved the Duma in 1906, increased the repression of people and proclaimed the decision to convene a Second State Duma. Bolsheviks debated whether they should boycott the Duma. At this time, they decided to participate in the elections and they were elected, but they did not do organic legislative work. They used the space of the Duma to proclaim the revolution. The Second Duma lasted from February to June 1907.

The Second Duma was dissolved. It was the coup d'État of the 3rd of June, 1907. The social democratic members were arrested and deported to Siberia. The Minister Stolypin organized repression against the workers and the peasants. The tsar convened a Third Duma, under the regime of an even more unfavorable electoral law. The result was the more doc-

the Third Duma of 1907, dominated by Russia's tsar's friendly right wing. New elections were held in 1912, and the fourth Duma was created.

Lenin analyses the Bolsheviks' positions and the boycott practice. In "Against Boycott", in June 26, 1907, he differentiates the moments and conditions in which the electoral boycott must be carried out. He says that the boycott of the Bulygin Duma was a correct decision because they did it before the development of the Duma and in a crescent development of the revolution. It was a success because it was a fight to prevent the revolution from going over to the path of a monarchist constitution. For him, boycott is a struggle not within the framework of a given institution, but against its emergence. In autumn of 1905, we shall easily see that what was happening at the time was an incessant mass offensive of the revolution, which systematically attacked and held the enemy in check. "Boycott is a declaration of open war against the old regime". Lenin continues: at the center of the whole boycott campaign, was the fight against constitutional illusions, that was the living spirit of the boycott.⁵

On the other hand, the boycott of the First Duma was realized after the defeat of the December insurrection, when the revolution declined. This boycott could not win the Duma. Analyzing the boycott of the Third Duma, Lenin says: "Today we can neither warn the people against constitutional illusions nor fight to prevent the revolution from being turned into the constitutional-monarchist blind alley".⁶ At the time of the Third Duma, any at all widespread enthusiasm for the Duma in general or for the Third Duma in particular is completely ruled out. Because of that, there is no need for any boycott here.

For Lenin, the boycott is one of the finest revolutionary traditions of the most eventful and heroic period of the Russian revolution. We must instil in the masses the idea that the boycott is a quite legitimate and sometimes essential method at moments when the revolution is on the upswing. The argument in favor of the boycott is undoubtedly a Marxist one. But it is not enough to make us accept the boycott slogan straight-away.

Years later, Lenin analyses, in "Left-Wing' Communism: an Infantile Disorder", the position of the Bolsheviks and says that the boycott of the consultative Duma was correct, but not the boycott of the other Dumas.⁷

The dual power

The Soviets began to develop in Russia with the insurrection of 1905 and, therefore, in the same context in which the Dumas will be

summoned. In opposition to the Dumas and seeking to organize the people for the revolutionary transformation, the soviets will constitute a revolutionary government parallel to the power of the State.

The proposal of the duality of powers was already present in Marx's writings, which understood that workers should organize their own governments in the form of communal councils, clubs or workers' committees whose purpose is to reduce government support. On the other hand, it reinforces the independent performance of the class.

Lenin will continue with the Marxist proposal, arguing that in order to systematize the actions and ensure the success of the insurrection, consolidating their achievements, people must organize a revolutionary government and army. Both were already developing even before the "seizure of power". It is this parallel organization and activity that constitutes the double power, according to Lenin's theory of the dual power. "What is this dual power? Alongside the Provisional Government, the government of *bourgeoisie*, another government has arisen, so far weak and incipient, but undoubtedly a government that actually exists and is growing – the Soviets of Workers' and Soldiers' Deputies".⁸

In this sense, the revolutionary government is a parallel power organized before the seizure of power, which mobilizes the people and organizes their revolutionary activity. Lenin states that the soviets were formed by the proletariat and the peasantry, "in soldiers' uniforms". The political character of this government is that of a revolutionary dictatorship, that is, "a power directly based on revolutionary seizure, on the direct initiative of the people from below, and *not on a law* enacted by a centralized state power".⁹ It is a power different from those that exist in the bourgeois-democratic parliamentary republics and is of the same type as the Paris Commune of 1871. The fundamental features are: a) the source of power is the direct initiative of people from below; b) the replacement of the police and the army as separate institutions from people and opposed to the people by the armament of all people, c) the replacement of functionalism and bureaucracy by the immediate power of the people or their submission to special control.

The government would undertake the political transformations to establish the revolutionary administration, to convene a constituent and popular assembly. It would be indispensable to the unification and political organization of the insurgent party. The revolutionary government acts in the direction of the destruction of the tsar's government or of the provisional government, in order to consolidate itself as the organizing power of society.

The revolutionary government would act to destroy official government: the tsar and then the Provisional Government. In this way, it would initiate the dictatorship of the proletariat, a transitional government that would stand out for securing the power of the working class and enabling the necessary measures to be taken. Chasin, quoting Pannekoek, points out that the struggle is not simply for power but against state power. "In sum, the political revolution of capital and the destruction of its state apparatus to the extinction of all domination takes place in the social revolution, with politics having the negative, preparatory and supportive tasks".¹⁰

Marx already stated that in order for workers to be able to oppose the government, they must be armed, through the armament of the whole proletariat or the autonomous proletarian guard organization, with elected chiefs. This armed organization would be at the orders of the communal revolutionary councils formed by the workers.

The revolutionary army does not resemble the traditional army. As Lenin points out in "The Military Question and Work in the Armed Forces", the revolutionary army must merge itself with people in arms, and the soldiers, who have military training in the traditional army, must bring their knowledge to people. Thus, the barracks should disappear and be replaced by a free military school.¹¹

From the period before the seizure of power, when the revolutionary army is being formed, the military organization already has other bases. Lenin asserts that the army of a feudal monarchy would be different from an army after the bourgeois revolution; at the same time that the army of the Russian imperial regime would be different from the Red Army.

The revolutionary war

The revolutionary government develops parallel to the state, and revolutionaries debate on the different methods of struggle, among them the active electoral boycott, which aims to weaken the power of the Duma and strengthen the revolutionary ascent. This military action, fought by the revolutionary army, corresponds to the revolutionary war, a confrontation between the armed people and the repressive forces of tsarism and the provisional government. Once the acting in the Duma and in the institutional spheres is not capable of realizing the power of the people, and that it is necessary to destroy tsarism and the Provisional Government in order to give power to the Soviets and to apply the program of revolution, a question presents itself: how to realize it? Hence the debate on insurrection, civil war and revolutionary war.

Revolutionary war is a just war, waged by the people, for their liberation and for the revolution. Lenin, in "Socialism and War", differentiates just and unjust wars. Unjust wars would be annexation wars, imperialists and colonialists wars. Just wars would be the wars waged by the people for independence, against colonialism, for national and social liberation. For Lenin, civil wars are the prolongation, the worsening, in certain, inevitable conditions of the class struggle.¹²

Lenin, in "The Military Question and Work in the Armed Forces", distinguishes between the stages that will happen until a civil war and a revolution, that is, it shows the maturing of the armed insurrection. According to Lenin, the essential forms of the December movement were the peaceful strike and demonstrations, and most workers only participated in these forms of struggle. This movement showed that the general strike as a form of struggle would be outdated and that the movement goes beyond these narrow frames to give rise to insurrection. And under the pressure of objective circumstances it appeared that the strike had turned into insurrection. Lenin notes that Marx's theses were substantiated by the events of December 1905. The first lesson of the events of December is the need to stir up insurrection. The second lesson is the need for a revolutionary army. Events have proved that the main rule of insurrection is the offensive. That is why it is necessary to group around the problem of armed insurrection. And the third lesson is that military tactics depend on military technique. In 1905 the "alteration of the objective conditions of the struggle, which necessitated the need to move from strike to insurrection, was felt by the proletariat long before its existence by its leaders. The practice was advanced to the theory".¹³

By analyzing the movement of December of 1905, Lenin concludes that first a peaceful strike and great pacific demonstrations happened. Here, the first barricades begin. Then, as the artillery opened fire on the barricades and the crowds, the barricades began to rise without hesitation. The population goes to the streets, begins a war of guerillas, until the governmental forces win. It went from strike to insurrection.

Analyzing the labor movement in Russia, in "New Tasks and New Forces", Lenin says that his development had three notable transitions. "First transition – from the narrow circles of propaganda to the broad economic turmoil among the masses; second – to large-scale political unrest and open street demonstrations; third – for a real civil war, for the direct revolutionary struggle, for the armed popular uprising".¹⁴ The author also states that each transition was prepared by the work of socialist thought in one direction and by the profound changes in living conditions

and in the whole psychic structure of the working class, by awakening their layers to a more conscious and active struggle.

In “The War of Guerrillas” Lenin presents that, in part, people who led the armed struggle belonged to revolutionary organizations, in part (in some localities of Russia, for the most part) did not belong to any revolutionary organization.¹⁵

The electoral boycott

The boycott is presented by Lenin as a method of struggle. Its purpose is to prevent a state institution from strengthening and developing itself and also to keep people in their revolutionary non-institutional activity, also not developing beliefs in the possibility of implementing their program in spaces that can not implement it and move forward with insurrection and revolution. In addition, acting in the elections and parliament could serve as propaganda and agitation. Lenin and the Bolsheviks do not believe in the possibility of transformation from a performance in the Duma, and any action in the elections aims to denounce the true character of this political space.

The focus of the Bolshevik action, therefore, was to revive the revolutionary ascent. Then to continue with the actions of agitation and propaganda and carry out the actions of combat, waging a revolutionary war. Then to weaken the power of the bourgeois state and strengthen the power of the people, which is now concentrated in the soviets. Hence the theory of dual power. In this sense, the weakening of the parliament goes hand in hand with the strengthening of the soviets.

In different revolutionary processes, organizations and movements organized electoral boycott actions, seeking to weaken the dominant powers and strengthen their spaces of struggle construction. The Cuban revolutionaries organized actions against the urns, in order to prevent the electoral farce. An active boycott.

In the 21st century, debates on the electoral boycott remain, inspired by Marxist and anarchist theories. The texts of Lenin bring us these questions and stimulate reflection, keeping alive the criticism of parliaments and the bourgeois state and its impossibility to implement the revolutionary program of the working class. So any action in institutional ways is not, nor could be, with the intention of radically transforming order.

In this sense, under what conditions does the electoral boycott fit and what are its objectives? Considering the consolidation of bourgeois democracy as it has been established in different countries, like Brazil, with its system of filters, its demands, its electoral limitations and politi-

cal persecution, the extent to which participating in an electoral process allows for agitation such as that intended by the Bolsheviks? Which are the possibilities of the working class to occupy these spaces, via elections, in order to put tension on them, effectively, from within? Does critical action in institutional ways make it possible today to strengthen the ties of struggle and contribute to the construction of the revolution? Would a revolutionary party, considering current tasks and new fighting configurations, devote itself to participating in the electoral process?

In the Brazilian case, there is no revolutionary party competing for the elections, and all the “left” official parties present themselves with an opportunist and conciliation policy. The consequence of this could only be the electoral boycott.

The 21st century is marked by great movements of electoral boycott and rejection of bourgeois elections and democracy. It is the objective conditions, along with the strategy adopted, that drive the adoption of the method of struggle. The established power structures and the political system developed by the bourgeois democracies put in check the possibility of an institutional and electoral action that contributes in some way to the construction of the revolution.

Notes

¹ VLADIMIR LENIN, *The Boycott of the Bulygin Duma, and Insurrection*, 1906. – <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/aug/16.htm> (September 8, 2017).

² *Resolution of the St. Petersburg Organization of the RSDLP on the tactics of boycott*, 1906.

³ VLADIMIR LENIN, *Should We boycott the State Duma*, 1906. – <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/jan/00.htm> (September 8, 2017).

⁴ VLADIMIR LENIN, *Should We boycott the State Duma*.

⁵ VLADIMIR LENIN, *Against Boycott*, 1907. – <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1907/boycott/index.htm> (September 10, 2017).

⁶ LENIN, VLADIMIR, *Against Boycott*.

⁷ VLADIMIR LENIN, *‘Left-Wing’ Communism: an Infantile Disorder*, 1902. – <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/lwc/> (September 12, 2017).

⁸ VLADIMIR LENIN, *The Dual Power*, 1917. – <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/09.htm> (September 9, 2017).

⁹ VLADIMIR LENIN, *The Dual Power*.

¹⁰ JOSÉ CHASIN, *A determinação ontonegativa da politicidade*, tomo III. (São Paulo: Estudos e Edições Ad Hominem, 2000), 104.

¹¹ VLADIMIR LENIN, “A questão militar e o trabalho nas forças armadas”, in *Obras Escolhidas* (Lisboa: Avante, 1975).

¹² VLADIMIR LENIN, *Socialism and War*, 1915. – <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s+w/index.htm> (September 10, 2017).

¹³ VLADIMIR LENIN, “A questão militar e o trabalho nas forças armadas”, in *Obras Escolhidas* (Lisboa: Avante, 1975), 43.

¹⁴ VLADIMIR LENIN, “Novas tarefas e novas forças”, in *Obras Escolhidas*, trans. JOSÉ OLIVEIRA (Lisboa: Avante. v. 1, 1984), 136-145.

¹⁵ VLADIMIR LENIN, “A guerra de guerrilhas”, in *Obras Escolhidas*, trans. JOSÉ OLIVEIRA (Lisboa: Avante. v. 1, 1984), 296-306.

М.А. БЕЗНИН, Т.М. ДИМОНИ

**Социально-экономическая
динамика России после 1917 года:
был ли решен
основной вопрос революции?**

Очень часто в публицистике, да и в среде профессиональных историков, рассуждения о революции тождественны размышлениям о произошедших политических переменах. Речь идет о действиях политических партий, политических лидерах и их роли, политическом характере революции и т.д. Однако основным вопросом русской революции являлся вопрос о смене социально-экономического устройства и, во вторую очередь, о политическом оформлении этих перемен. Российский революционный 1917 год, как и предыдущий революционный приступ 1905–1907 гг., решал вопрос о выходе страны из стадии аграрного (феодалного) общества.

Аграрное общество в России, как и в других странах, характеризовалось подавляющей ролью в экономике сельскохозяйственного производства, существованием крестьянства как основной массы населения, доминированием натурального крестьянского хозяйства как главной производственной и потребительской единицы. В начале XX века переход к следующей стадии социального и экономического развития – капиталистической – становился неотвратимой задачей.

Политические силы страны представляли два пути перехода к капиталистической стадии. Идея строительства в России классического индивидуализированного капитализма потерпела фиаско в связи с поражением представлявших ее сил между февралем и октябрём 1917 г. Советская власть и ее лидеры провозгласили строи-

тельство социализма. Но чем был этот социально-экономический строй в социалистической оболочке? На этот вопрос частично ответил В.И. Ленин, признавший, по сути, что главным движением страны должно быть движение к государственному капитализму. Нужно отметить, что при всей значимости преобразований 1920-х гг. – национализации земли, ликвидации помещичьего землевладения и др. – в России того времени сохранялись основные черты аграрного общества. Проблема состояла в том, что «бухаринская» альтернатива (как ранее и «стольпинский» опыт) не могли радикально решить проблему решающей стадии первоначального накопления.

И.В. Сталин осуществил государственно-капиталистическое строительство в СССР. В первую очередь был нанесен удар по устоям аграрного общества – мелким крестьянским хозяйствам, натуральности жизни и др. Этот процесс известен в историографии под названием «коллективизация». По сути дела в 1930-е гг. произошел форсированный рывок в процессах первоначального накопления капитала. Это и было на самом деле главным смыслом Русской революции.

Переходя к дальнейшему повествованию о последствиях русской революции 1917 г. необходимо пояснить, как мы интерпретируем понятие «государственный капитализм» в экономическом смысле. Для нас это денатурализация и, соответственно, капитализация средств производства, господство крупных форм товарного производства, превалирование капитала (прошлого труда) над живым трудом в структуре издержек производства.

Социально-экономические революционные перемены в России заняли долгий промежуток времени. Государственно-капиталистическое переустройство России прошло через два крупных этапа.

Первый этап охватывал 1930–1950-е годы. Это был период реставрации отношений, напоминавших те, которые в советской историографии назывались феодализмом, возврата системы повинностей в деревне. Основной упор госкапиталистических изменений в этом периоде делался на сельскохозяйственную составляющую.

Второй этап госкапиталистического переустройства охватывал 1960–1980-е гг. Это был период сформированного госкапитализма в России. Произошло отмирание полномасштабной системы внеэкономической эксплуатации: в конце 1950 – первой половине 1960-х гг. ушла в прошлое система крестьянских повинностей, сформировалась система экономического принуждения к труду.

Самое крупное изменение было связано с переменами соотношения факторов производства. На этом фрагменте остановимся не-

сколько подробнее. Как известно среди основных факторов производства выделяют труд, землю и капитал. От того, какой фактор играет доминирующую роль, во многом зависит тип хозяйства и общества в целом. В потребляющем хозяйстве основным фактором производства была земля. В аграрном обществе среди факторов производства на первое место выходит живой труд. Когда же в России среди факторов производства начал доминировать капитал? Ответ на этот вопрос важен и потому, что соотношение между затратами живого и овеществленного труда является важнейшим из экономических параметров. Кроме того, он тонко отражает сложный процесс взаимодействия социальных, экономических, технологических и прочих моментов.

Абстрактную количественную оценку роли факторов труда и капитала в производстве продукции позволяет дать экономический показатель себестоимости. В советской экономической школе себестоимость и рассчитывалась на основании исчисленных затрат живого труда и капитала на производство продукции. Конечно, большой особенностью этого расчета была «нерыночность» складывания цены на труд и капитал. Более того, в колхозной системе до 1965 г. заработная плата отсутствовала (была оплата трудоднями).

Тем не менее, существуют расчеты, которые позволяют выявить динамику соотношения факторов живого труда и капитала (прошлого труда) в производстве продукции.

Индустриальная промышленность практически сразу сформировалась как капитализированное производство. Прошлый труд (капитал) в затратах на производство продукции промышленности составлял в 1960 г. 77,5%.¹

Показатель себестоимости впервые был введен в колхозную отчетность в середине 1960-х гг. Однако история исчисления себестоимости имела более давние традиции. Например, этот показатель использовал выдающийся историк-аграрник В.П. Данилов. По его расчетам, в 1925 г. в крестьянском хозяйстве удельный вес капитала в себестоимости зерна и картофеля составлял около 40%, льна – 25%.² Сравнивая эти данные с показателями 1970–1980-х гг., мы видим коренное изменение соотношения удельного веса капитала и живого труда в себестоимости сельхозпродукции. По расчетам статуправления СССР, в РСФСР в 1970 г. капитал составлял около 70%, в 1980 г. – около 80% в себестоимости сельхозпродукции колхозов, а в совхозном производстве в 1980 г. приближался к 90%.³

Целый ряд ранее неизвестных источников по советской экономике, хранившихся в спецхранах, позволяют продолжить рассуждения о соотношении факторов. Речь идет, в частности, о балансах народного хозяйства, а также о межотраслевых народнохозяйственных балансах.⁴

Истоки метода межотраслевых балансов восходили к работам советских экономистов и статистиков 1920-х гг. Теоретические основы межотраслевого баланса были разработаны В.В. Леонтьевым в Берлине.⁵

Впервые межотраслевой баланс был разработан в СССР в 1959 году, с 1960-х гг. межотраслевые балансы создавались уже с определенной периодичностью.

Согласно расчетам за 1975–1985 гг. в СССР по всем отраслям материального производства доля живого труда колеблется вокруг показателя в 60%, а прямые затраты овеществленного труда – в 40%. Однако, в данных межотраслевого баланса мы видим в промышленности явное преобладание прямых затрат овеществленного труда над затратами живого труда⁶.

Приведенные данные о соотношении факторов труда и капитала пока не позволяют дать окончательной оценки уровня и завершенности процессов капитализации в СССР. Ясно, что роль капитала с 1960-х гг. была очень высокой, роль живого труда как фактора постепенно сокращалась. Серьезных дальнейших изысканий заслуживает изучение методики составления такого рода расчетов, сравнение с удельными весами ручного и механизированного труда в производстве, данными об амортизации капитала и т.д.

Разумеется, тип хозяйственного устройства характеризуется не только соотношением факторов производства. Определяющими его являются также другие экономические параметры: методы регулирования, формы товарности, механизмы мобилизации рабочей силы и т.п. Если же говорить о социально-экономическом устройстве общества, важно определить еще и тип отношений собственности, особенности реализации права собственности.

Государственный капитализм в России серьезно отличался от классического варианта капитализма. Это проявлялось и в процессах первоначального накопления, и в финансовой системе, и в специфических проявлениях товарности, часто «нерыночного» плана, и в особых отношениях собственности. Русский госкапитализм сформировал систему отношений разделенного права собственности, что напрямую было связано с новым классовым структурированием в стране.

Главной канвой социальных трансформаций в России после 1917 года стал не только переход от сословной к классовой структуре общества, но и складывание новых классов. Классовая пирамида в России становилась все более дифференцированной и многослойной. Показательна в этом плане дифференциация сельского населения. По данным Б.Н. Миронова⁷ к 1917 г. коэффициент Джинни составлял в деревне сотые процента. По расчетам, сделанным Н.Е. Рабкиной, Н.М. Римашевской,⁸ децильный коэффициент дифференциации доходов колхозников СССР (по совокупному доходу) составлял в 1960-е гг. около 4 раз, что показывает достаточно высокую степень дифференциации сельского общества.

Государственный капитализм, путь к формированию которого открыла русская революция, был сопряжен с формированием классов, занимавших определенное место в пирамиде отношений собственности. Возрастание массы капитала в народном хозяйстве и превалирование его роли (капитализация) требовали класса – собственника капитала.

На вершине социальной пирамиды советской России стоял класс протобуржуазии, который реализовывал «разделенное» право собственности. Формирование этого класса шло параллельно складыванию госкапиталистического типа устройства. Его существование улавливалось практически всеми неангажированными обществоведами мира. Л. Троцкий называл этот класс советской буржуазией, Д. Милас – новым классом, М. Восленский – номенклатурой, А. Авторханов – партократией. Еще один термин, часто применяемый к представителям данного класса советской России, – чиновничество.

Генезис класса советской протобуржуазии происходил чрезвычайно оригинальным образом – его генерировало государство и коммунистическая партия, на словах ставившие задачу формирования бесклассового общества.

Авторы доклада считают, что данный класс осуществлял функции со-собственника (разделенного собственника) в России. К нему относились все, кто реализовывал права собственника, а именно владения, распоряжения и пользования капиталом. В частности, это руководители предприятий (промышленных и сельскохозяйственных), руководители структур планирования, администрирования и финансирования экономики, политическое и хозяйственное руководство в центре и на местах. Это был высший класс капитализированного общества, класс, возвращающий собственность и реали-

зующий право на нее, класс, этой собственностью управляющий. Однако важнейшей особенностью государственного капитализма являлась, еще раз повторимся, система разделенного права собственности, которое не давало возможности высшему классу СССР трансформироваться в полного собственника, т.е. сдерживало его на позициях протокласса – отсюда и применяемый нами термин – протобуржуазия.

Высший класс советского общества просуществовал до 1991 г., когда в основном его руками был совершен новый социально-экономический и политический переворот.

В реализации прав со-собственника протобуржуазия опиралась на класс советских менеджеров (управленцев трудом и капиталами). Менеджеры, как управляющие, более других классов были близки к протобуржуазии. Постепенно роль управленчества повышалась, так как растущий капитал требовал повышения уровня менеджмента и разнообразия менеджмента (особенно вместе с экономическими реформами второй половины XX века). Менеджеры были очень близки к протобуржуазии по функциям и желали приближения к этому статусу. Не случайно Д. Бернхем ввел термин «революция менеджеров».

Совершенно новым классом в советском госкапиталистическом обществе был класс интеллектуалов (не путать с понятием интеллигенция). Главной задачей интеллектуалов была реализация функций интеллектуального капитала, становление его как фактора производства. Советская власть с 1917 г. уделяла большое внимание формированию интеллектуального ресурса страны. Число лет обучения населения России старше 9 лет в 1917 г. составляло около 1,1 года, в 1927 г. – 1,5 лет.⁹ В 1940 г. количество лет обучения одного занятого в народном хозяйстве СССР составляло 4,65 года, в 1960 г. – 6,25 лет, в 1980 г. – 9,98 лет.¹⁰

Накопленный овеществленный труд (капитал) реализовывал в качестве фактора еще один новый класс советского общества – рабочая аристократия. Это класс характеризовался непосредственной работой с новыми индустриальными технологиями, машинами и механизмами. Функцией класса рабочей аристократии был перенос стоимости прошлого труда (капитала) во вновь создаваемый продукт. Ярким показателем роли нового класса являлось усложнение труда в СССР. Наиболее серьезный прирост сложности труда в соответствии с соотношением между приростом тарифного разряда и уровнем подготовки в народном хозяйстве СССР пришелся на пери-

од с 1965 по 1970 г. – около 0,7%. В последующие годы прирост сложности труда колебался от 0,35 до 0,59%.¹¹ В рывке второй половины 1960-х годов сказались серьезные изменения в социально-экономическом развитии страны, происходившие с конца 1950-х гг., связанные с окончательным уходом аграрного общества и завершением становления индустриальной стадии производства.

Низшим классом советского общества был пролетариат. Его роль заключалась в перенесении в стоимость продукции в основном живого труда. Он занимал низшее место в социальной пирамиде страны. Параллельно генерированию новых классов советское государство уничтожило последнее сословие старого общества – крестьянство. Завершение раскрестьянивания России пришлось на 1930 – 1960-е гг., когда остатки крестьян были лишены земли и средств производства. Старое крестьянство пополнило класс советского пролетариата, придав ему большое своеобразие – тяготение к земле, сельскому образу жизни и даже идеализацию старой деревни в общественном сознании.

Итак, главным итогом революции 1917 г. был переход от аграрного (феодалного) к капиталистическому устройству страны. Этот вопрос был решен. Россия предложила мировому сообществу уникальный опыт использования государственного капитализма как ключевого механизма модернизации. В создании государственного капитализма в СССР был полномасштабно использован ресурс аграрного общества – через создание колхозов было проведено форсированное первоначальное накопление, необходимое для создания современной индустрии. Середина XX века стала временем завершения создания основных составляющих системы госкапитализма.

Огромную роль в советской госкапиталистической системе сыграли новые классы, особенно класс протобуржуазии, обеспечивший становление и развитие государственного капитализма в СССР.

Примечания

¹ *Себестоимость промышленной продукции* (Москва: ЦСУ при Совете Министров СССР, 1970), 25.

² В.П. Данилов, *Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство* (Москва: Наука, 1977), 265, 266.

³ *Уровень и структура себестоимости сельскохозяйственной продукции колхозов и совхозов* (Москва: М-во сельск. хоз-ва СССР. Всесоюз науч.-исслед. ин-т

экономики сельск. хоз-ва, 1975), 10, 26, 42; *Уровень и состав затрат на производство валовой продукции колхозов и совхозов и продуктов растениеводства совхозов за 1966–1980 г.* (Москва, 1983), 8, 9.

⁴ История развития балансового метода в СССР описана в статье: М.А. БЕЗНИН, Т.М. ДИМОНИ, «Источниковые возможности балансов народного хозяйства в контексте изучения социально-экономической истории СССР (пилотное исследование)», *Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Гуманитарные, общественные и педагогические науки*, по 1/16 (февраль 2016): 6-11.

⁵ В. ЛЕОНТЬЕВ, «Баланс народного хозяйства СССР», *Плановое хозяйство*, по 12 (декабрь, 1925).

⁶ *Основные показатели баланса народного хозяйства. Статистический сборник* (Москва, 1987), 21.

⁷ Б.Н. МИРОНОВ, *Социальная история России (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства*, в 2 т., т.1 (СПб.: Дмитрий Буланин, 1999), 128.

⁸ Н.Е. РАБКИНА, Н.М. РИМАШЕВСКАЯ, *Перспективы изменения степени дифференциации душевых доходов семей колхозников в сравнении с городским населением (промежуточный отчет)* (Москва, 1971), 11.

⁹ BORIS N. MIRONOV, “The Development of Literacy in Russia and the USSR from the Tenth to the Twentieth Centuries”, *History of Education Quarterly*, vol. 31, no. 2 (Summer, 1991): 229-252.

¹⁰ *Экономическая эффективность общественного производства (статистические материалы для расчетов)* (Москва, 1988), 54.

¹¹ *Экономическая эффективность общественного производства*, 54.

О.С. ПОРШНЕВА

**Характер общественного развития
Советской России / СССР в 1917–1930-х
годах: оценки и дискуссии
в современной российской
историографии***

Переосмысление исторического опыта развития нашей страны в 1917–1930-е гг., как и в целом советского периода ее истории, началось в России в годы перестройки. После длительного господства предельно догматизированного сталинского положения об окончании НЭПа и, соответственно, «победы социализма» к 1936 г., ведущие историки к концу 1980-х гг. сошлись на мнении о «сломе» НЭПа уже в конце 1920-х гг.¹ НЭП, в соответствии с традицией советской историографии, рассматривался как политика переходного от капитализма к социализму периода, а его слом, – как «отказ от путей и методов преобразования общества, намеченных В.И. Лениным в его последних трудах».² В это же время начал обсуждаться вопрос о предпосылках свертывания НЭПа, его альтернативах, сущности новой общественно-политической системы, утвердившейся после «революции сверху» 1929 г., природе «культы личности» Сталина. В большинстве работ новая система обозначалась как «административно-командная» или «административно-мобилизационная». Наряду с противопоставлением ленинского и сталинского курсов, НЭПа и форсированной модели развития, уже в конце 1980-х годов

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16–18–10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).

в СССР зазвучали, поначалу редкие, голоса выступавших за выявление их общих характеристик и преемственности³.

Определяющее влияние на развитие историографической ситуации в постсоветский период, после 1991 г., оказала интеграция российской исторической науки в мировое исследовательское пространство. Она была ознаменована освоением концепций западной, прежде всего англо-американской, историографии советского общества. Исторический «крах» коммунизма и советской модели развития в СССР и целом ряде других стран, распространение антикоммунистических настроений в российском обществе определили широкое распространение и имплементацию «тоталитарной концепции».

В течение ряда десятилетий после Второй мировой войны американская и в целом западная советология рассматривала сталинскую эру сквозь призму теории тоталитаризма. Утверждалось, что при Сталине Советский союз стал сформировавшимся тоталитарным обществом, в котором тоталитарный режим осуществлял свою власть через социальную атомизацию, массивную и беспощадную индоктринацию. Только небольшое количество работ на Западе отступало от этого советологического консенсуса.⁴

В российской историографии 1990-х гг. использование данной теории получило теоретическое обоснование и практическое воплощение. Конкретно-исторические исследования, написанные на основе данного подхода, были посвящены, прежде всего, политическим аспектам становления и развития советской системы, механизмам функционирования власти, истории политических репрессий. В 1999 году известный историк А.К. Соколов констатировал: «Концепция тоталитаризма как способ видения советского прошлого находится сегодня в России в положении официальной идеологии».⁵ Распространению теории способствовали не только уже упомянутые факторы, но и важное научное обстоятельство, связанное с открытием архивов в 1992 году, создавшим документальную основу для изучения репрессий и показавшим, что террор, как отмечал О.В. Хлевнюк, был управляемым из центра процессом, а карательные акции проводились в сроки и по правилам, установленным в Москве.⁶

М. Малиа, яркий представитель тоталитарной концепции советской истории в современной американской историографии, последовательно отстаивал примат политики и идеологии, а не социальных факторов и экономики, в объяснении советского феномена.⁷ Подходы Малиа были созвучны выводам целого ряда исследований российских авторов, находя в них определенное подтверждение. Так,

Е.Г. Гимпельсон обосновывал доминирование политики и идеологии в развитии советского общества в 1917–1930-х гг., ограниченность возможностей большевистского реформирования, И.В. Павлова доказывала, что сталинская власть была антинародной и подпольной, всеохватывающей и всепроникающей.⁸

Наряду с «безоговорочным признанием» значимости тоталитарной концепции, в отечественной историографии 1990-х гг. существовали и более взвешенные аналитические подходы, сопряженные с рассмотрением методологических ограничений и условий применения этой теории в отношении российской истории.⁹ Параллельно с утверждением концепции тоталитаризма, в российской историографии стали разрабатываться альтернативные варианты исторического объяснения феномена советского общества. Некоторые историки подчеркивали фактор исторической преемственности в становлении и эволюции российской государственности на ее разных этапах, превалирования в облике политической системы, утвердившейся в 1920–30-е гг., специфических отечественных, а не универсальных «тоталитарных» черт. Так, В.А. Шишкин писал, что «новое и совершенно социально отличное от прежней царской власти по содержанию, провозглашаемым задачам, классовой базе и коммунистической фразеологии большевистское руководство тем не менее, довольно быстро стало обретать именно традиционную форму российской государственности с ее авторитаризмом и властью меньшинства».¹⁰ Выступая против оценки сложившегося в 1920–30-е гг. строя как «тоталитаризма», он отмечал: «Такой упрощенный подход в значительной мере основан на прямых аналогиях советского государства и общества, проводимых рядом западных авторов, с фашистскими режимами в Германии и Италии, которые характеризовались в “век масс” самыми современными средствами организации, мобилизации и координации жизни людей. В подобных схемах тоталитаризм для советской России определяется как “красная” его разновидность в отличие от “коричневой” или же “левая” в отличие от “правой”».¹¹

Представители «ревизионизма» в американской историографии с 1970-х – 80-х гг. обратились к анализу постреволюционных процессов в России с позиций социальной истории, пристально изучали социальное измерение и социальный контекст происходивших перемен, реальные каналы и механизмы взаимодействия власти и общества. В 1990-е гг. и в России в результате переосмысления методологической ситуации, освоения историографического наследия «Анналов» и других антропологически-ориентированных научных

школ советское общество стало изучаться в жанре социальной истории и родственных ей направлений.

Многолетняя полемика сторонников теории тоталитаризма и ревизионистов велась на Западе, как выразился О.В. Хлевнюк, «на грани научных приличий».¹² Вслед за американской историографией российские приверженцы двух направлений также столкнулись в жестком противостоянии, сконцентрировавшемся в конце 1990-х гг. вокруг оценки методологических подходов «ревизионистской» историографии. Дискуссию на площадке ведущего научного журнала «Отечественная история» начала И.В. Павлова, выступив с резкой полемической статьей. Она подвергла «уничтожающей» критике ревизионистскую историографию, обвинив западных историков в том, что они попали на «сталинские смысловые нары», т.к., по ее мнению, оказались под властью официальных документов и не вскрывали истинных мотивов решений и действий властей.¹³ В ответ на этот вызов последовало обсуждение, организованное на страницах «Отечественной истории» в жанре «Круглого стола».¹⁴ В ходе обсуждения прозвучал ряд важных положений и оценок вклада ревизионистской и «тоталитарной» историографии в изучение ранне-советского общества и потенциала обоих направлений, в особенности социальной истории, как перспективной методологии исследования. Наиболее серьезную критику тоталитарной теории предпринял А.К. Соколов, отмечавший ее политизированность и ограниченность познавательных возможностей.¹⁵

Распространению подходов социальной истории в России способствовали успехи этого направления в западной историографии. Так, для нового понимания феномена сталинизма важное значение имела концепция «сталинских сословий» и приписывания к классу как системы социальной идентификации в сталинском обществе, разработанная Ш. Фицпатрик.¹⁶ Эти идеи повлекли разработку и применение в исторических исследованиях теории «нового феодализма» и «рефеодализации» общественных отношений в Советской России / СССР, осмыслению соотношения и форм проявления традиционализма и модернизма в советском обществе.¹⁷

Продуктивным направлением, позволяющим прояснить сущность и механизмы функционирования большевистской общественной системы, стало изучение на Западе практик социальной мобилизации и социального инжиниринга, определявших способы пропаганды, конструирования идентичности, обеспечения социальной поддержки советского режима. Исследователи обратили внима-

ние на общеевропейскую природу мобилизационных механизмов, порожденных эпохой массовой политики и пропаганды, утверждением современных методов управления в годы Первой мировой войны. Предметом рассмотрения стала и российская специфика социальной мобилизации.¹⁸

В российской историографии феномен социальной мобилизации в раннесоветском обществе с начала 2000-х гг. также стал предметом исследований, в том числе специальных.¹⁹ Сибирские историки пришли к выводу, что социальная мобилизация была системной характеристикой сталинского режима на стадии его утверждения; они рассмотрели институциональные основы, механизмы осуществления мобилизационных процессов, практики адаптации и стратегии поведения различных категорий населения в условиях мобилизационного воздействия.²⁰

В определении сущности общественного строя постреволюционной советской России / СССР историки используют возможности методологического синтеза. Появление на его основе целого ряда «гибридных» подходов позволило по-новому интерпретировать специфику взаимоотношений власти и общества, исследовать различные сферы и сегменты общественной жизни, специфические процессы советской действительности.

Впервые американские исследователи выдвинули тезис о сталинских преобразованиях как форме модернизации, ее советском варианте.²¹ В современной российской историографии дано обоснование возможности синтеза модернизационного и цивилизационного подходов к изучению советского общества, «мультиплицирующего» их познавательные возможности.²² В.В. Алексеев, И.В. Побережников и др. показали, что цивилизационные особенности оказывали воздействие на характер и динамику модернизационных процессов, обусловили трансформацию большевизма, который был «переварен» Россией и превратился в разновидность «почвеннического» течения с леворадикальной марксистской риторикой. На деле же он воплощал в жизнь, по мнению авторов, стратегию модернизации с опорой на собственные силы и в национальных интересах, как они понимались правящей элитой».²³

Резко возражает против применения термина «модернизация» к характеристике сталинских преобразований И.В. Павлова, которая пишет: «Сталинские репрессии и явились основным способом преобразования российского общества. Используя их, власть смогла решить те задачи, которые ставила. Главной из них была не модер-

низация, хотя и варварскими методами, как думают многие западные историки, а построение социализма. Основным в этом процессе для Сталина была не экономическая, а политическая сторона дела». ²⁴ Однако другие историки допускают соединение продуктивных идей тоталитарной концепции с модернизационным подходом. В частности, это характерно для исследователей культуры советского общества А.В. Голубева и В.А. Неvejeина. Авторы исходят из того, что «появление тоталитарных режимов было связано с процессом модернизации... Возникновение тоталитарного режима – один из вариантов ответа, который может дать общество на вызов, брошенный затянувшейся модернизацией». ²⁵ Историки подчеркивают, что термин «тоталитаризм» относится не столько к государству или ко всему обществу, сколько именно к определенному типу политического режима, а реальная жизнь государства и общества оказывались гораздо разнообразнее и богаче, чем те явления и процессы, которые определяются как входящие в понятие «тоталитаризм». ²⁶

С.А. Красильников предлагает другую трактовку соотношения процессов модернизации и утверждения тоталитарного режима. Он отмечает, что именно «мобилизационность», став сущностной характеристикой постреволюционного советского режима, в значительной мере определяла формат, направления и масштабы модернизационных процессов, а не наоборот. Поэтому, – пишет он, – с не меньшим основанием можно утверждать, что модернизация выступала инструментом, условием утверждения мобилизационного тоталитарного режима в СССР». ²⁷

А.С. Сенявский полагает, что возможен синтез идей тоталитарного, модернизационного и цивилизационного подходов к формированию объяснительной модели истории России XX в. и, в частности, постреволюционного времени. Он обеспечивается, по мнению автора, характером исторических процессов в новейшее время, тем обстоятельством, что «тоталитаризм как явление... есть побочный продукт урбанизационного процесса», запоздалой и ускоренной российской урбанизации, породившей, вкуче с Первой мировой войной, масштабную маргинализацию общества; является, по сути, путем преодоления порождаемой ею фундаментальной нестабильности. ²⁸

Пониманию механизмов взаимодействия власти и общества в раннесоветский период способствуют достижения в исследовании социокультурных процессов этого периода. Если для изучения репрессий большое значение имело рассекречивание документов, относящихся к функционированию власти, то для изучения сознания,

поведения, повседневной жизни советских людей, помимо них, – еще и огромного массива «писем во власть».²⁹ Обратим внимание лишь на некоторые выводы современных исследований, демонстрирующие дискуссионность вопроса о характере взаимоотношений власти и общества, степени социальной поддержки сталинского режима. Так, А. Лившин, изучивший общественные настроения и политические эмоции в Советской России в 1917–1932 гг. на основе «писем во власть», заключил, что «государство далеко не полностью контролировало общественные настроения, а тотальная манипулируемость масс в послереволюционную эпоху является мифом».³⁰ Осокина, исследовавшая повседневное «экономическое поведение» советских граждан, пришла к выводу о том, что это была форма социального приспособления, «социального иммунитета».³¹ О.В. Великанова обратила внимание на широкую палитру позиций и мнений советских людей, не укладывающуюся в схему поддержка / не согласие с режимом.³² По мнению автора, советский человек представлял собой многомерную сущность, для него были характерны неоднозначность, дуализм мышления, сосуществовавшие в одном индивиде. Последнее, в свою очередь, было обусловлено свойствами самой реальности, противоречием между обещаниями власти, широко декларируемыми целями социализма и реальным, повседневным опытом людей. Если первое находило поддержку, то второе рождало критицизм.³³ О.В. Хлевнюк, внесший весомый вклад в изучение эпохи сталинизма, механизмов функционирования власти в СССР в 1930-е гг., обосновал недопустимость переоценки степени общественной поддержки сталинского режима. Он отмечал: «Сила большевистской партии-государства заключалась не в том, что она была мощной и эффективной сама по себе, а в том, что ей изначально (по причине разрушительных революций и войн) и чем дальше, тем больше, противостояло ослабевающее и деморализованное террором общество, лишенное сплоченности, альтернативных лидеров, моральных авторитетов и воли к противодействию».³⁴ А.В. Голубев и В.А. Невежин, напротив, полагают, что в межвоенный период происходило укрепление социальной базы советского режима и признание ценностей модернизации в ее «социалистическом» варианте большинством советского общества.³⁵

Новую интерпретацию психосоциальной динамики постреволюционного времени, создающую возможность переосмысления характера общественных процессов, предложил В.П. Булдаков.³⁶ В центре внимания автора – исследование эмоциональной стороны

исторического опыта, «“языка хаоса”, а не того, что отражает государственные потуги его преодоления».³⁷ Обосновывая свой подход, историк предлагает «опереться на источники личного происхождения, памятуя, что речь идет о времени, когда прежние логические связи оказались разорванными, и людям не осталось ничего иного, как воспринимать мир в поверьях и образах, вздыбленных собственными эмоциями».³⁸ Автор приходит к выводу, что «все болезни возникшего режима были связаны с тем, что его “модернизаторские” интенции базировались на рудиментарных утопических представлениях, расстаться с которыми не находилось сил у слишком многих подданных “красной империи”».³⁹

Таким образом, проблемы общественного развития, вопросы о сущности общественного строя советской России / СССР, механизмах взаимодействия власти и общества в 1917–1930-е гг. остаются предметом дискуссий и переосмысления в современной историографии. Наличие разных, порой полярных, точек зрения по целому ряду конкретных проблем, заставляют историков вновь обратиться к источникам. Необходимо вводить в научный оборот новые документальные материалы, прежде всего, извлекаемые из региональных архивохранилищ, переосмысливать опубликованные, изучать эго-документы, что позволит продолжить, углубить и конкретизировать представления об акторах и процессах эволюции общественных отношений в постреволюционной России.

Примечания

¹ В.П. Данилов, В.П. Дмитренко, В.С. Лельчук, «Нэп и его судьба», *Историки спорят. Тринадцать бесед* (Москва: Политиздат, 1988), 122-190.

² Данилов, Дмитренко, Лельчук, «Нэп и его судьба», 151.

³ Г.Х. Попов, «Программа, которой руководствовался Сталин», *Не смей командовать!: от административно-командных к экономическим методам управления* (Москва: Экономика, 1990), 53-65; А.С. Ципко, «Истоки сталинизма», *Наука и жизнь* 11 (1988), 45-55; 12 (1988), 40-48; 1 (1989), 46-57; 2 (1989), 53-61.

⁴ LEWIS SIEGELBAUM, ANDREI SOKOLOV, *Stalinism as a Way of Life* (New Haven and London: Yale University Press, 2000), 3.

⁵ «И снова об историках-ревизионистах. Круглый стол», *Отечественная история*, по 3 (1999): 132.

⁶ «Советское прошлое: поиски понимания. Круглый стол», *Отечественная история* 5 (2000), 92.

⁷ М. МАЛИА, *Советская трагедия: История социализма в России. 1917–1991* (Москва: РОССПЭН, 2002).

⁸ Е.Г. ГИМПЕЛЬСОН, *НЭП и советская политическая система: 20-е гг.* (Москва: ИРИ РАН, 2000); И.В. ПАВЛОВА, *Механизм власти и строительство сталинского социализма* (Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001).

⁹ А.В. ГОЛУБЕВ, «Тоталитаризм как феномен российской истории XX века», *Власть и общество в СССР: политика репрессий (1920-е – 1940-е гг.)*, ред. В.П. ДМИТРЕНКО (Москва: ИРИ РАН, в сотруд. с ун-том им. Мелена, 1999), 7-33.

¹⁰ В.А. ШИШКИН, *Власть. Политика. Экономика: послереволюционная Россия (1917–1928)* (СПб.: Дмитрий Буланин, 1997), 71.

¹¹ ШИШКИН, *Власть. Политика. Экономика*, 78.

¹² «Советское прошлое: поиски понимания. Круглый стол», 93.

¹³ И.В. ПАВЛОВА, «Современные западные историки о сталинской России 30-х годов», *Отечественная история* 5 (1998), 119.

¹⁴ «И снова об историках-ревизионистах. Круглый стол», *Отечественная история* 3 (1999), 121-141.

¹⁵ «И снова об историках-ревизионистах. Круглый стол», 130-134.

¹⁶ Ш. ФИТЦПАТРИК, «Приписывание к классу как система социальной идентификации», *Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология*, сост. М. ДЭВИД-ФОКС (Самара: Издательство «Самарский университет», 2001), 174-207.

¹⁷ С.А. КРАСИЛЬНИКОВ, ред., *Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920-х – 1930-е гг.)* (Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2013), 15-17.

¹⁸ P. KENEZ, *The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of the Mass Mobilization, 1917–1929* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); P. HOLQUIST, *Making War, Forging Revolution. Russia's continuum of crisis, 1914–1921* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002); J. SANBORN, *Drafting the Russian Nation: Military Conscription, Total War, and Mass Politics, 1905–1925* (DeKalb: Northern Illinois University Press; 2003); DAVID L. HOFFMANN, *Stalinist Values. The Cultural Norms of the Soviet Modernity, 1917–1941* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003).

¹⁹ С.Б. УЛЬЯНОВА, «Массовые хозяйственно-политические кампании в системе стимулирования труда в 1920-е гг.», *Социальная история. Ежегодник 2001 / 2002* (Москва: РОССПЭН, 2004), 142-157; КРАСИЛЬНИКОВ, ред., *Социальная мобилизация в сталинском обществе*.

²⁰ КРАСИЛЬНИКОВ, ред., *Социальная мобилизация в сталинском обществе*.

²¹ SIEGELB, SOKOLOV, *Stalinism as a Way of Life*, 4.

²² В.В. АЛЕКСЕЕВ, *Цивилизационное своеобразие российских модернизаций XVIII–XX вв.: пространственно-временной аспект* (Екатеринбург: Ин-т истории и археологии УрО РАН, 2011), 38, 96; А.С. СЕНЯВСКИЙ, «Российский тоталитаризм: урбанизация в системе факторов его становления, эволюции и распада», *Власть и общество в СССР: политика репрессий*, ред. ДМИТРЕНКО, 35.

- ²³ АЛЕКСЕЕВ, *Цивилизационное своеобразие российских модернизаций*, 109.
- ²⁴ И.В. ПАВЛОВА, «Современные западные историки о сталинской России 30-х годов», *Отечественная история* 5 (1998), 115.
- ²⁵ А.В. ГОЛУБЕВ, В.А. НЕВЕЖИН, *Формирование образа советской России в окружающем мире средствами культурной дипломатии. 1920 – первая половина 1940-х гг.* (М. – СПб.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2016), 16.
- ²⁶ ГОЛУБЕВ, НЕВЕЖИН, *Формирование образа советской России*, 16.
- ²⁷ С.А. КРАСИЛЬНИКОВ, «Социальная мобилизация как объект социогуманитарных исследований. Теоретические аспекты», *Социальная мобилизация в сталинском обществе*, 22.
- ²⁸ СЕНЯВСКИЙ, «Российский тоталитаризм...», 44-49.
- ²⁹ S. FITZPATRICK, “Suplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s”, *Slavic Review*, vol. 55, no. 1 (Spring, 1996), 78.
- ³⁰ А. ЛИВШИН, *Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг.* (Москва: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010), 308.
- ³¹ Е.А. ОСОКИНА, «О социальном иммунитете, или критический взгляд на концепцию пассивного (повседневного) сопротивления», *История сталинизма: итоги и проблемы изучения* (Москва: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011), 387-406.
- ³² O.V. VELIKANOVA, *Popular perceptions of Soviet politics in the 1920s: disenchantment of the dreamers* (New York: Palgrave Macmillan 2013), 189.
- ³³ VELIKANOVA, *Popular perceptions of Soviet politics*, 7-8.
- ³⁴ О. ХЛЕВНЮК, «Сталин у власти. Приоритеты и результаты политики диктатуры», *История сталинизма: итоги и проблемы изучения*, 66.
- ³⁵ ГОЛУБЕВ, НЕВЕЖИН, *Формирование образа советской России*, 19.
- ³⁶ В.П. БУЛДАКОВ, *Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930 гг.* (Москва: РОССПЭН, 2012).
- ³⁷ БУЛДАКОВ, *Утопия, агрессия, власть*, 16.
- ³⁸ БУЛДАКОВ, *Утопия, агрессия, власть*, 16.
- ³⁹ БУЛДАКОВ, *Утопия, агрессия, власть*, 732.

Л.П. РЕПИНА

Русская революция 1917 года и теоретические модели всемирной истории

Чуть более 16 лет прошло после конца XX века. Мы уже научились говорить о нем как о прошлом веке. Скоро вступит в совершеннолетие поколение, родившееся в XXI столетии. А мы, большинство из нас – люди прошлого века, стали свидетелями ускоренной интеграции мирового пространства, что усиливает интерес и к осмыслению всемирной истории, всего хода истории человечества. В результате ситуация в историографии и в целом в социально-гуманитарных науках радикально изменилась и, пожалуй, в еще большей мере – в компаративной и теоретической истории. Вместе с тем специалисты по истории России, за очень небольшими исключениями, продолжают ограничиваться рассмотрением тех интерпретаций, которые непосредственно фокусируются на их исследовательском поле. Мое намерение состоит в попытке расширить рамки обсуждения вопроса о Русской революции 1917 года до уровня общетеоретических проблем мирового исторического процесса и рассмотреть некоторые наиболее значительные и интересные теоретические модели, предложенные российскими учеными и философами до перестройки и в первые годы после нее, а затем – на самом рубеже веков и в последнее десятилетие.

Социальная революция – одно из самых сложных явлений в мировой истории, вызывающее неизменный общественный и научный интерес и порождающее самые острые дискуссии. По выражению польского социолога Петра Штомпки, революции – это «пик социальных изменений», «наиболее яркое их проявление. Они зна-

меняют собой фундаментальные переломы в исторических процессах, преобразуют человеческое общество изнутри и буквально “перепахивают” людей. Они ничего не оставляют без изменения; заканчивают прежние эпохи и начинают новые». Отнюдь не случайно время привычно маркируется нами «до» и «после» революции. Говоря о трудностях осмысления феномена революции, Штомпка очень точно обрисовал их противоречивую природу: «Изучение революций во многом подобно изучению землетрясений. Когда они происходят, ученые стараются извлечь смысл из множества собранных данных и построить теории для того, чтобы предсказать следующее. Постепенно мы начинаем лучше понимать их, но каждое новое землетрясение вновь удивляет нас».¹

Особое место в ряду таких социальных «землетрясений» принадлежит Русской революции 1917 г., представляющей собой мощный импакт-фактор мирового развития в XX веке.

В течение последней четверти века мы были свидетелями по меньшей мере *пяти различных процессов*, существенно расширивших сферу теоретической активности российских историков и обществоведов в поисках новых подходов и стремлении улучшить ситуацию, сложившуюся в результате крушения официальной догматической версии исторического материализма. Один процесс, который преобладал в первые годы перестройки выражался в косметической правке господствующей ортодоксии. Конечно, изменения в политической ситуации сыграли решающую роль в самом запуске этого процесса, хотя его элементы в скрытом виде присутствовали и в предшествующем периоде т.н. «застоя». Сегодня эта стратегия признана непродуктивной и безнадежно устарела. Однако не все так просто. В некоторых случаях такая стратегия приводила самих авторов к гораздо более масштабному пересмотру традиции.

Выдающийся советский и российский историк и философ Михаил Яковлевич Гефтер еще в советское время предпринял попытку корректировки марксистского метода познания, а в начале 1990-х годов противостоял политической конъюнктуре в связи с попытками массовой переоценки прошлого. В 1969 г. в возглавляемом М.Я. Гефтером секторе методологии истории Института истории АН СССР был подготовлен и издан известный сборник «Историческая наука и некоторые проблемы современности»,² который стал попыткой пересмотра накопившихся в историографии штампов в контексте новых исторических реалий. Уже в годы перестройки Гефтер и его соратники оценивали свой методологический опыт 1960-х го-

дов как поиск научного исторического знания на основе многообразия подходов и сопоставления различных точек зрения.³ Существует ряд публикаций о вкладе Гефтера в развитие историографии и методологии истории, в которых смысл его научной деятельности определяется как попытка прояснить «политико-экономические ошибки, философско-теоретическую необеспеченность», позволившие свершиться неоднозначному событию (октябрьская революция 1917 года), заставившему прочие страны напряженно следить за нашим «социальным экспериментом и бескровно строить собственный социализм».⁴ Инакомыслие М.Я. Гефтера заключалось в предложении «нового прочтения» трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, корректировки подхода к их теоретическому наследию, в признании многовариантности исторического развития и утверждении принципа методологического плюрализма, а также более тесного сопряжения марксизма с исторической практикой XX столетия. Новое прочтение Гефтера не означало тотального отказа от марксистской парадигмы, но, во-первых, позволило понять, что многие так называемые законы (о классовой борьбе, революциях, диктатуре пролетариата и др.) не носят всеобщего характера, а во-вторых, прийти к ряду выводов, расходившихся с их общепринятой трактовкой, в частности, к утверждению о возможности использования эволюционной парадигмы и отказа от революции как единственного метода исторического действия. Считая Россию своеобразной проекцией мира, состоящей из множества разных миров – национальностей, этносов, конфессий, культур, субъектов,⁵ Гефтер отрицательно относился к идеям конвергенции и единого человечества. Он видел выход в уважении различий, в преодолении стремления все решать по одному-единственному образцу.

В опубликованных фрагментах рукописи «Я был историком» (в разделе «Неостановленная революция») Гефтер писал: «Итак, революции были (и это необратимо), но легендарно возносимые еще недавно, овеванные мифами, казалось, столь прочно, вдруг осуждаются как помехи. Более того, как страшные преткновения на пути... Сколько бы историков мы ни собрали, они, крупно поспорив, сойдутся, пожалуй, в одном: каждая из революций решала задачу. Действительной была она [эта задача] или мнилась – дело другое. От истинной ли нужды шли цели переворотов, или же от слов и мыслей? <...> Мы в плену привычки оценивать предпосылки по характеру следствий. Предпосылки – и есть исторические условия (когда “верхи не могут, а низы не хотят...” и другие), словом, все, что де-

лает переворот неизбежным. Чем ближе друг к другу результаты и предпосылки, тем революция удачнее, чем отдаленнее первое от второго — тем она менее полноценна. Но это — внешнее, подчас слишком далекое от сути. А суть в том, что революция главные свои предпосылки и движущие мотивы продуцирует и утверждает по мере собственного течения и хода». Гефтер подчеркивал: «Это состояние, которое норовит себя длить и длить... Причем длить себя не в исходных экстремальных формах, а в нарастающей форме, при которой исходное опережение не просто удваивается, утраивается, но приобретает новые свойства. И в конце концов революция с помощью, скажем, гильотины, пытается найти не просто свою результирующую, но и свою равнодействующую. Она начинает отсекай головы направо и налево во имя этого самого самоувековечивания, самопродления».⁶

В 1990-е годы теоретические интерпретации историков претерпели более глубокие и основательные изменения, что нашло выражение в попытках адаптировать методологию компаративной истории цивилизаций в качестве модели интеграции социально-структурного и социокультурного подходов. Этот процесс стимулировался общей неудовлетворенностью ограниченными возможностями исторического объяснения на базе теории общественных формаций и стремлением вернуть историческому процессу его человеческое и культурное измерения. Но почти с самого начала это не было слепым следованием за признанными авторитетами или бездумным присвоением великих теорий локальных цивилизаций. Главные усилия группы историков были направлены на разработку такой концепции цивилизации, которая могла бы соединить все преимущества традиционных и новых подходов. В версии М.А. Барга, в центр исторического рассмотрения была помещена человеческая деятельность и субъективность, в то время как включение структурного субстрата в понятие цивилизации имело целью концептуализировать историческое общество в его подлинной целостности и динамике всех его внутренних связей и внешних проявлений⁷. Эта стратегия была призвана сохранить элементы универсализма, с учетом исторической динамики всех локальных вариантов и разнообразия «путей развития». В такой перспективе понимание революции вообще и Русской революции 1917 года приближалось к модели трех типов изменений Ш. Эйзенштадта.⁸

Российский экономист Ю.В. Яковец рассматривал регулярности исторического процесса и тенденции изменений на пяти струк-

турных уровнях цивилизаций (в индивиде и семье, в технологии, экономике, в социально-политической и духовной сферах) и находил первоисточник изменений в человеческой индивидуальности и общественном сознании.⁹ В рассмотрении российской истории он в основном следовал за социокультурной интерпретацией А.С. Ахиезера, развернутой в его широко известной книге о российском историческом опыте.¹⁰ Коллапс Российской империи в начале и дезинтеграция Советского Союза в конце XX века включались в последовательный ряд национальных катастроф переходных периодов.

Еще более амбициозный проект был предпринят известным социологом Всеволодом Вильчеком. Первое издание его книги в жанре научно-публицистического эссе под названием «Алгоритмы истории» было опубликовано в 1989 г. за два года до предсказанного в ней краха «реального социализма» (но ее концептуальная основа была разработана в конце 1970-х – начале 1980-х гг.), а в 1993 г. книга (в несколько доработанном виде) была переиздана под названием «Прощание с Марксом».¹¹ В.М. Вильчек поставил целью выяснить, где таится роковая ошибка марксовской теории, изначально отвергнув упрощенный взгляд на нее, как только на заблуждение, но это был не просто критический анализ, а самостоятельное теоретическое исследование, проект. Размышляя о возможности создания новой общеисторической теории на основе марксовской схемы общественно-экономических формаций, автор начинает с дезавуирования трудовой теории антропогенеза, а по ходу дела, развенчивает и другие постулаты, такие, например, как роль классовой борьбы в истории: «Классовая борьба, говоря упрощенно, памятуя про условный характер этикеток и безусловный – самой борьбы, рабов и рабовладельцев, крестьян и феодалов, рабочих и капиталистов, может изменить условия классового сотрудничества, поменять персоны местами, сделав раба господином, а господина рабом, но привести к смене формации – к смене исторической технологии, к смене типа общественных отношений, смене лошади на машину, геоцентризма на гелиоцентризм, обратной перспективы в живописи на линейную и т.д., и т.п. – никакая классовая борьба не может, это абсурд...».¹² Издавая третью редакцию книги в 2004 г. Вильчек представил ее как одну из попыток заполнить мировоззренческий вакуум, образовавшийся после крушения «исторического материализма», и так сформулировал свою задачу: «...изложить основы теории исторического процесса, проследив закономерности развития общества от начала

истории до ее конца». ¹³ В разделе «Отступление в форме путешествия из Петрограда в Москву, или Тоталитаризм XX века», существенно расширенном с учетом нового исторического опыта, он писал: «Россия конца XIX – начала XX века – едва ли не самый парадоксальный в новой истории организм: самоколонизальная империя. Вспомним: в 1914 году в статье “Из прошлого рабочей печати в России” Ленин утверждает, что ситуация в России, самой отсталой стране Европы, аналогична ситуации в Англии конца XVII и во Франции конца XVIII – первой половины XIX столетия, т.е. что в России – канун буржуазно-демократической революции. Ленин прав: Россия конца XIX – начала XX века – давно уже не докапиталистическая страна. Но вот аналогия с Англией и Францией была, конечно, условной. Русский капитализм не был буржуазно-демократическим, он имел выраженный колониальный облик. Россия располагала крупной промышленностью... Но индустрия была лишь островом в гниющем феодальном болоте, которое не успел осушить фермерскими хозяйствами – отрубам – Столыпин. Не менее важно и то, что по духу Россия оставалась феодальной страной, нетерпимой к капитализму, бывшему крайне антипатичным даже наблюдавшему его в Европе Герцену, а в России имевшему и вовсе циничный, чужеродный и чужеземный облик. <...> Разрешить эту антиномию дерзнули только большевики. Их вела отвага неведения, трагический “научный” самообман». ¹⁴

Четвертый из намеченных мной процессов связан с применением естественнонаучных подходов к истории. Во-первых, это обращение российских ученых к синергетической теории Ивана Пригожина, разработанной для изучения механизмов самоорганизации открытых нелинейных систем. Когнитивный потенциал этой теории, дающей аналитический инструментарий для исследования неустойчивых ситуаций, переходных процессов, хаотизации и альтернатив развития (как в естественных, так и в социальных науках), и особенно для построения теории революции на основе бифуркационной модели, оказался весьма притягательным в условиях сложившегося методологического вакуума. В контексте синергетики два однолинейных подхода – цивилизационный и структурный – получили шанс быть интегрированными в более адекватную модель исторического процесса. Синергетика, комбинирующая идею эволюции и идею многовариантной природы исторического процесса, придала научный статус проблеме, которая интенсивно обсуждалась в форме спекулятивной метафоры – «судьба, или особый путь России».

Во-вторых, с применением естественнонаучных подходов к истории связана школа клиодинамики – логико-математического моделирования макроисторических процессов, в которую входят и к которой примыкают многие талантливые, пользующиеся авторитетом историки и обществоведы (А.В. Коротаев, Н.Н. Крадин, Д.М. Бондаренко, Л.Е. Гринин, П.В. Турчин, С.А. Нефедов, А.П. Назаретян, Н.С. Розов, Д.А. Халтурина, а также физики и математики (С.Ю. Малков, Д.С. Чернавский, Г.Г. Малинецкий). Интересы этой школы ориентированы на исследование глобальных процессов в рамках Big History и мир-системного подхода при помощи синергетических, эволюционных, демографических и социологических теорий, на основе которых создаются математические модели, позволяющие анализировать объективные предпосылки тех или иных исторических явлений и перспективы мирового социального развития. Наиболее продуктивным результатом работы этой школы, с точки зрения изучения отечественной истории в глобальном контексте, стало обсуждение причин Русской революции 1917 г., а именно двух ее моделей – структурно-демографической и институциональной (речь идет об институциональных ограничителях, препятствующих приспособлению социума к новым условиям). Во многом это было сопоставление познавательных возможностей двух моделей модернизации России в XIX – начале XX в. Первая из них, представленная С.А. Нефедовым, описывает в неомальтузианских терминах растущие противоречия государства и народа в условиях быстрого роста населения и падения его обеспеченности продовольствием, при котором большинство населения балансировало на уровне минимальной «голодной нормы». В условиях растущей имущественной дифференциации и колебаний урожайности это делало систему неустойчивой к внешним воздействиям (Первая мировая война).¹⁵ Вторая модель, представленная Б.Н. Мироновым, основана на характеристике России как страны второго эшелона модернизации и, предполагая, что элиты России не справились с переходом от традиционализма к модерну даже в условиях снижения налогового бремени и повышения уровня жизни крестьян, указывает на это как на предпосылку системного кризиса, приведшего к революции.¹⁶ По сути, обсуждалась не *тема* российской революции, а то, возможно ли ее интерпретировать на основе одной, отдельно взятой *теоретической модели*. Такой подход, направленный на верификацию модели, изначально не предполагает комплексное изучение явления. Организаторы дискуссии приходят к выводу, что ма-

тематическое моделирование могло бы внести реальный вклад в дискуссию о причинах Русской революции начала XX в., тем более что для этого периода имеется достаточно много данных социальной и экономической статистики, но адекватных моделей, способных воспроизвести внутреннюю логику и закономерности происходивших процессов, пока нет – «не потому, что их невозможно создать, а потому, что наука только подошла к постановке таких задач».¹⁷

Наконец, пятое направление связано со сравнительной политологией, которая зародилась в России параллельно с цивилизационным подходом и первоначально пересекалась с ним, так как государственный строй рассматривался в контексте истории данной цивилизации. Историческая политическая компаративистика позволила по-иному взглянуть на историю власти и общества. Примером могут служить работы А.Н. Медушевского по сравнительному исследованию Октябрьской революции и большевизма. Основой его рассуждений служит когнитивная история, ориентированная на выявление мировоззрения и внутренних мотиваций акторов, а также психотерапевтические теории о неврозах и их лечении, напоминающие теории психоанализа и гештальт-терапии.¹⁸ В рамках теории модернизации Медушевский рассматривает большевизм в сравнении с другими формами экстремизма, проявившимися в европейских революциях XVII–XIX вв., с одной стороны, как форму «революционной святости», обозначавшей разрыв с укладом жизни и социальной организацией старого общества, а с другой – как форму традиционалистского протеста, воплощенную в коммунистическом стремлении к равенству. Особенности большевизма автор ищет в изучении соотношения и противоречий разных частей коммунистической идеологии, вызовов со стороны общества и решения управленческих задач. Согласно данной концепции, практику большевизма определяло несоответствие завышенных ожиданий и неудобной реальности, а также порожденная ею психологическая дезориентация, которую большевики пытались преодолеть при помощи внешних средств: нарастающего ограничения свободы выражения мнений, а потом и внутрипартийной демократии, усиления партийной дисциплины, поддержанного репрессиями запрета на нежелательные образы и воспоминания, создания культа Ленина, фанатизма и террора, что обозначало перерастание большевизма в сталинизм.¹⁹

Всплеск интереса к исторической макроперспективе на рубеже XX–XXI вв., связан – в общенаучном плане – с влиянием постнеклассической (неоклассической) научной парадигмы и, в частности,

с характерным для нее принципом целостности в сочетании с различиями и многообразием. Однако, несмотря на разговоры об общеисторической теории, в профессиональной историографии, с ее аллергией к универсальным, все объясняющим «методологическим отмычкам», речь идет преимущественно о теориях среднего уровня.

Говоря о возможных перспективах, хотелось бы обратить внимание на далеко не в полной мере востребованный эвристический потенциал «новой событийной истории».

Еще в декабре 1990 г. Л.М. Баткин, отвечая на вопросы редакции «ЛГ-досье», заявил, что для него «самое удивительное историческое событие – это Октябрьская революция 1917 года. Плюются и проклинают, вспоминая о ней, – это так теперь легко. А между тем Октябрь неслыханно сконцентрировал в себе самое событийность Истории, все парадоксы и тайны того, что историк называет Событием... Тут рвётся связь времён – но только так (втайне и причудливо) сохраняется. Тут максимум случайности совпадает с максимумом эпохальной и масштабной необходимости; тут максимум сознательного политического умысла и воли сливается с максимумом стихии и непредсказуемости; тут самая явная развилка исторических дорог (альтернативность) совпала с тем, что задним числом выглядит фатальной предопределённостью; тут история структур почти мгновенно перетекла в сверхсобытийную историю – и вновь растеклась в историю структур; тут глобальный результат отложился из выразительных и экзотических провинциальных деталей, персонажей, внезапностей... Да, это было Событие, “чёрная дыра” истории, притягивающая тайна её Космоса, Событие в экспериментально чистом виде, событие как таковое! Над Октябрем всегда будут ломать головы те, кто пытается понять, что такое история».²⁰ Думаю, что в этом эмоциональном пассаже намечены важные ориентиры для работы над созданием непротиворечивой теории революции в контексте нового понимания исторической событийности.

Примечания

¹ ПЕТР ШТОМПКА, *Социология социальных изменений* (Москва: Аспект-Пресс, 1996), 367.

² М.Я. ГЕФТЕР, отв. ред., *Историческая наука и некоторые проблемы современности* (Москва: Наука, 1969).

³ М.Я. ГЕФТЕР, *Из тех и этих лет (избранные эссе, диалоги, портреты, мысли об истории)* (Москва: Прогресс, 1991); С.С. НЕРЕТИНА, «История с методологией истории», *Вопросы философии* 9 (1990), 149-163.

⁴ С.С. НЕРЕТИНА, «Михаил Яковлевич Гефтер», *Вопросы философии* 7 (1995), 190-191. См. также: Е.И. ВЫСОЧИНА, «Измерение Гефтера», *Знание-сила* 3 (1996), 4-14.

⁵ Отсюда его термин применительно к России и к миру – «Мир Миров». – М.Я. ГЕФТЕР, *Мир миров – российский зачин* (1994). – <http://www.e-reading.club/bookreader.php/14670/Gefter> (март, 2018).

⁶ МИХАИЛ ГЕФТЕР, «Я был историком (Фрагменты рукописи)», *Знание – сила* 3 (1996), 3-14.

⁷ М.А. БАРГ, «О категории “цивилизация”», *Новая и новейшая история* 5 (1990), 25-40.

⁸ S.N. EISENSTADT, *Revolution and the Transformation of Societies: a Comparative Study of Civilizations* (New-York: Free Press, 1978).

⁹ Ю.В. ЯКОВЕЦ, *У истоков новой цивилизации и исторические судьбы России* (Москва: Дело, 1993).

¹⁰ А.С. АХИЕЗЕР, *Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России)*, в 2-х т. (Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997–1998).

¹¹ В.М. ВИЛЬЧЕК, *Прощание с Марксом (Алгоритмы истории)* (Москва: Прогресс-Культура, 2004).

¹² ВИЛЬЧЕК, *Прощание с Марксом*, 160.

¹³ В.М. ВИЛЬЧЕК, *Алгоритмы истории* (Москва: Аспект Пресс, 2004).

¹⁴ В.М. ВИЛЬЧЕК, *Алгоритмы истории*, 188-189.

¹⁵ С.А. НЕФЕДОВ, «О причинах русской революции», *О причинах Русской революции*, отв. ред. Л.Е. ГРИНИН, А.В. КОРОТАЕВ, С.Ю. МАЛКОВ (Москва: ЛКИ, 2010), 25-60.

¹⁶ Б.Н. МИРОНОВ, «Наблюдался ли в позднеимперской России мальтузианский кризис? Доходы и повинности российского крестьянства в 1801–1914 гг.», *О причинах Русской революции*, ред. ГРИНИН, КОРОТАЕВ МАЛКОВ, 61-111; Б.Н. МИРОНОВ, «Русская революция 1917 года в контексте теорий революции. Ст. 1, 2», *Общественные науки и современность* 2 (2013), 72-84 и 3 (2013), 106-115.

¹⁷ Л.Е. ГРИНИН, А.В. КОРОТАЕВ, С.Ю. МАЛКОВ, «Заклучение», *О причинах Русской революции*, ред. ГРИНИН, КОРОТАЕВ МАЛКОВ, 398-423.

¹⁸ См. о когнитивной истории: И.Н. ИОНОВ, «Проект “когнитивной истории”: археология и экология идей», *Общественные науки и современность* 2 (2015), 84-95.

¹⁹ А.Н. МЕДУШЕВСКИЙ, «Феномен большевизма: логика революционного экстремизма с позиций когнитивной истории. Ст. 1, 2,» *Общественные науки и современность* № 5 (2013): 114–120 и № 6 (2013): 111–120.

²⁰ Л.М. БАТКИН, «Три ответа в канун Рождества», *Пристрастия. Избранные эссе и статьи о культуре*, 2-е изд., доп. (Москва: РГГУ, 2002), 612-613.

А.В. БУЗГАЛИН

**Октябрь: оптимизм трагедии
(к дискуссии о природе
Октябрьской революции)¹**

Октябрь 1917-го

Революция. Социалистическая

В среде постсоветских марксистов тезис об Октябрьской революции как социалистической, казавшийся незыблемым в рамках прежней советской традиции, уже давно и аргументированно подвергается сомнению.² Развивая тезисы А. Грамши, Р. Люксембург, ряда представителей международного троцкистского направления и т. д., многие современные авторы доказывают, что и по своим реальным результатам, и по реальным движущим силам Октябрь 1917 года был продолжением Февраля, частью единого процесса буржуазной экономической, социальной и даже технологической революции в России. Итогом этих размышлений закономерно становится вывод о буржуазной в общем и целом природе «реального социализма». У разных авторов этот тезис может принимать разные вариации (государственный капитализм и др.), но суть остаётся неизменной: социалистический импульс Октября отрицается. В ряде случаев делается ещё более жёсткий вывод: Октябрь был политическим переворотом, который вызвал абсолютно неоправданные чудовищные жертвы и привёл нашу страну в тупик «реального социализма», выход из которого наметился только в период перестройки, но был неадекватно осуществлён после распада СССР и прихода к власти радикальных реформаторов.³

Основные аргументы этих авторов хорошо известны: главным субъектом революционных событий не мог быть пролетариат (он

был крайне малочислен в России), и он им не стал. Главные задачи, которые действительно решила революция, были буржуазными (индустриализация, урбанизация, ликвидация неграмотности и т.п.). Социально-экономические отношения, господствовавшие в СССР, трудно назвать социалистическими, ибо мера отчуждения человека от труда, его средств и результатов была в условиях этой системы, по их мнению, едва ли не выше, чем в условиях «классического капитализма». Эти выводы могут быть дополнены и более жёсткими оценками: совершенные большевиками политические действия были нелегитимны, экономические шаги привели к катастрофе, а взятие (вариант – «узурпация») ими власти обернулось кровавой Гражданской войной.

Хорошо известны и контраргументы тех, кто (как, например, Б. Ф. Славин) акцентирует внимание на социалистических слагаемых революции.⁴ Это социалистическая природа партии большевиков и других левых партий, совершавших революцию; содержание многих социально-экономических преобразований (не только национализации, но и планирования, социальных гарантий и т. п.); новый тип человека, возникшего в результате победы этой революции; самосознание её субъектов и др.

С этими аргументами можно и должно согласиться, но тем не менее мне они кажутся недостаточными. Они доказывают прежде всего то, что и в самой революции, и в системе, возникшей после её свершения, были реальные ростки нового, посткапиталистического общества. Это доказать можно. И с этим, в конечном итоге, могут согласиться некоторые из наших оппонентов.

Гораздо сложнее, но вместе с тем и важнее, доказать, что *действительное содержание Октябрьской революции было социалистическим*. И здесь я хочу обратиться к некоторым теоретическим положениям о природе революции, высказанным в ряде публикаций автора.

Как было специально подчёркнуто в этих публикациях автора, опиравшихся на хорошо известные и доказанные в марксистской литературе тезисы, главным критерием социальной революции является пробуждение к жизни массового социального творчества, изменяющего природу социально-экономического и политико-идеологического строя, власти.

Октябрьская революция действительно стала и результатом, и источником такого творчества низов, направленного на снятие власти капитала и отношений отчуждения, на разотчуждение всех сфер общественной жизни: миллионы людей не просто желали,

но практически, подчас ценой своей жизни, как умели, создавали новый мир. Они – и это практически фундированная теоретическая закономерность, а не художественный образ – совершали *поступки*, совместно творя новый мир. Они шли на бой, преодолевая лишения и смерть, на стройку и в школу со словами «Интернационала»: «Весь мир насилия (отчуждения, сказал бы я, переводя язык поэзии на язык философии) мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим (вот оно – социальное творчество масс!): кто был ничем, тот станет всем». Тот, кто был ничем – функцией, марионеткой, рабом социального отчуждения – становился субъектом («всем»), творящим своими руками, талантом, жизненной силой новый мир, преодолевающий все формы отчуждения, насилия над человеком.

Ещё раз подчеркнём: мы помним обо всех трагедиях, преступных и неизбежных ошибках, последовавших за Октябрем, но, помня о них, предостерегая от их повторения, мы уверены и доказываем, что не они составляют главные исторические уроки Октября.

Итак, главное в Октябрьской революции – это то, что она вызвала к жизни созидание самими трудящимися новых социальных форм, несших в себе ростки (именно ростки – иного и не может быть в исходном пункте нового общества, каковым является революция) отношений нового общества. Этот тезис, конечно же, требует подробного историко-документального обоснования, но даже исторически не слишком просвещённый исследователь знаком с примерами *десятков тысяч новых форм социальной организации*, созданных ещё в годы Гражданской войны, а уж тем более – в 1920-е годы. Они создавались везде.

В экономике ими были не только национализированные предприятия (которые Ленин, кстати, относил к переходным, госкапиталистическим формам), но и коммуны, реальные кооперативы, программы долгосрочного экономического развития (ГОЭЛРО), отношения всенародного учёта и контроля...

В политике ими стали Советы и массы новых общественных организаций и движений; по размаху форм социально-политической и иной самостоятельности (того, что ныне называется “grass-roots democracy” - демократией «корней травы») СССР первых десяти лет Революции не знает себе равных.

В общественной жизни и культуре пробуждались к жизни миллионы «рядовых» граждан, участвовавших в ликвидации беспризорности и неграмотности, строительстве дирижаблей и самолётов, в спорте и создании новых художественных объединений, в немисли-

мом ни до, ни после, размахе художественной самодеятельности при огромном взлёте профессионального искусства...⁵

Да, все это было сопряжено и с многоукладностью нэповской экономики, и с растущей бюрократизацией политической системы, с формированием в недрах НЭПа ростков будущей сталинской диктатуры, и т.д., и т.п. Да, все это социальное творчество базировалось на отсталых производительных силах и решало задачи, лежащие в общем и целом в рамках буржуазного горизонта (от электрификации до массовой базовой грамотности). Но решало оно их на основе не только и не столько старых, сколько *новых, посткапиталистических форм общественной организации*. Эти формы творили *новые субъекты* — по-новому (ассоциации) взаимосвязанные в *новой* (солидарной, коллективной) деятельности *новые* (по своим ценностям и мотивам) люди. Видимым символом этого процесса стала *радостно-приподнятая, романтически-энтузиастическая атмосфера*, бывшая не единственной, но господствующей *социальной музыкой революционной эпохи*.

Более того, это была атмосфера ускорения социального времени («Время – вперёд!», – это не просто имя музыкального произведения, это ритм эпохи) и открытия новых пространств – Неба (повальное увлечение авиацией), Севера, Сибири и т.п.

Так в практике первого десятилетия Октября мы находим еще три признака социалистической революции: (1) романтическое сотворение её просыпающимися к новой жизни низами; (2) музыкальность и праздничность; (3) ускорение социального времени, спрессованность и одновременно открытость социального пространства.

Наконец, это была и культурная революция: Октябрь дал начало новому культурному процессу, имеющему очевидно посткапиталистическую природу, что доказала в своих работах Л.А. Булавка.⁶

Вот почему я берусь утверждать, что диалектика Октябрьской революции несводима к однозначной оценке: «буржуазная – социалистическая». Да, она на капиталистических (подчас даже раннекапиталистических) основаниях решала задачи, которые в принципе должна была бы решать капиталистическая система. Но Октябрь решал их *некапиталистическими методами и вызывая к жизни некапиталистические социальные формы*, что привело, в частности, к тому, что и сами эти буржуазные задачи были решены иначе.

Если мы попытаемся проследить собственно социалистическую линию, идущую от Октября, то мы заметим, что в нашей стране если и были действительные достижения, то в деле решения задач:

- не столько буржуазной индустриализации (ориентированной прежде всего на массовое производство потребительских благ), сколько нового типа общественного производства – идущего дальше индустриального, ориентированного на самые передовые достижения научно-технической революции и максимально широко использующие *творческий потенциал человека* (фундаментальная наука, космос, образование и воспитание); и это был полу- (мутантно-) социалистический тип прогресса производительных сил;
- не столько обеспечения буржуазной профессиональной грамотности, сколько гуманистически, социально, солидаристски-ориентированной общей высокой Культуры и прогресса образования (в единстве обучения, воспитания и просвещения) населения; т.е. культуры полу- (мутантно-) социалистической;
- не столько обеспечения буржуазной демократии (ее-то как раз и не было, и это одна из причин краха СССР), сколько первых ростков более высокого низового демократизма – реального социального творчества.

Парадокс Октября и последующих лет созидания социализма состоял в том, что собственно буржуазные задачи мы решали как раз плохо (экономика дефицита вместо «общества потребления», технологическая отсталость многих сфер вместо «более высокой производительности труда» и т. п.). *Единственно, где у нас были действительные успехи, так это как раз в сферах посткапиталистических (отчасти даже постиндустриальных) – в обеспечении общедоступного образования высокого уровня и ориентированного на формирование разносторонне развитого человека, а не узкого специалиста; в освоении космоса и фундаментальной науке; развитии высокой культуры и обеспечении её доступности массам...*

Другой вопрос, что такой тренд неизбежно обнажает самый сложный вопрос, на который порождённый Октябрем «реальный социализм» так и не смог найти перспективный ответ, уйдя с исторической арены в том числе под давлением бремени, рождённого этим объективным вопросом-вызовом. Этот вопрос хорошо известен: *можно ли решать посткапиталистические задачи, не решив собственно буржуазных?* И не потому ли в конечном итоге рухнул «реальный социализм, что собственно буржуазные задачи («общества потребления», демократии и т.п.) у нас не были решены?

Эти принципиально важные вопросы мы *пока* оставим в стороне. Нам в данном случае было важно показать другое: то, что импульс Октября, вопреки сталинскому террору и брежневскому застою, генерировал мощный (хотя и постепенно истончившийся и иссякший) поток рождения новых общественных отношений и форм деятельности, человеческих поступков, ценностей и мотивов постбуржуазного, социалистического типа.

Оппоненты могут возразить: это была не единственная линия Октябрьской революции. Да, это действительно так. В порождённых Октябрем практиках переплетались и красная линия созидания коммунизма (порождённая энергией революции, она долго оставалась главной), и «золотая» линия полуполюгального капитализма, и «почвенническая» линия патриархальности, и серая линия диктатуры бюрократии, опиравшейся на конформизм мещанства. Причём последняя оказалась наиболее разрушительной: именно она в конечном итоге и привела к краху СССР тогда, когда оказалась исчерпана энергия социального творчества, порождённая Октябрем.

В этих практиках было много и того, что характеризуется как инерционность общественного развития, и того, что несло разрушительные составляющие самой революции. Низы СССР несли в себе не только начала ассоциированного социального творчества, но и родовые черты конформиста-Хама. Интеллигенция частью шла в революцию, созидая в диалоге с массами новые чудеса техники и качественно новую культуру, а частью бежала от Революции. Советская власть открывала тысячи новых школ и музеев, но Гражданская война и сталинская модернизация уничтожили массу объектов и – что гораздо страшнее – субъектов культуры...

В этом реальная диалектика революции. И диалектика эта была такова, что *баланс разрушения и созидания был очень подвижен и колебался*, вызывая фантастические достижения и чудовищные разрушения на протяжении долгих десятилетий, пока не завершился поражением советского проекта. Но это была именно революция.

Другой вопрос, была ли это «революция против “Капитала”». ⁷

Октябрь: революция против «Капитала»?

Если смотреть на проблему узко политико-экономически и исходить только из одного тезиса Маркса о том, что революция происходит там, где старые производственные отношения стали тормозом развития новых, обогнавших их производительных сил, то Октябрь действительно был «неправильной» революцией.

Но объективно произошедшие в XX веке во многих слабо- и среднеразвитых странах антикапиталистические социально-экономические и политические изменения поставили *проблему возможности опережающего развития и решения в некапиталистических системах буржуазных задач* (1) прогресса технологии, создания позднеиндустриального уклада и перехода к приоритетному развитию креатосферы плюс (2) обеспечения материального благосостояния на уровне «общества потребления» (но с другой структурой потребления и иными приоритетами в ценностях людей, преодолевающих узкие горизонты «общества потребления»), профессионального образования и т.д.

Ключ к решению этой теоретической проблемы отчасти даёт методология «Капитала», прежде всего – *теория формального и реального подчинения труда капиталу*. В рамках последней показано, что сформировавшиеся «на вырост» производственные отношения капитализма при благоприятных социально-политических условиях (например, такие, какие сложились в Нидерландах уже в XVI веке) могли обеспечить опережающее развитие технологий. И, наоборот, при неблагоприятных условиях индустриальные технологии могли развиваться в феодальных формах (крепостные фабрики в России XIX века).

Отсюда *гипотеза возможности развития при благоприятных условиях отношений формального освобождения труда на базе недостаточных для посткапиталистической системы технологических и культурных предпосылок*.

В связи с этим автор предлагает уточняющую основные ленинские идеи гипотезу условий, при которых возможно «достраивание» предпосылок нового общества в условиях, когда революционный переход к его созиданию начался на неадекватной базе. К числу таких *условий опережающего развития предпосылок и элементов социализма* на неадекватном материальном базисе относятся как минимум следующие.

Первое. Разработка и реализация *стратегии решения буржуазных задач* (прежде всего – создания развитого технологического базиса в материальном производстве и обеспечения рационального уровня потребления населения) *новыми методами и в новых социальных формах*. В частности, среди таких форм должны были бы быть отношения формального освобождения труда (самоуправление, социальное творчество и новаторство работников в условиях фордистской модели организации труда: ситуация не более, но и не

менее противоречивая, чем капиталистическое производство на базе ручных орудий труда), новые формы утилитарного потребления (в СССР не были найдены действенные гуманистические альтернативы ни «обществу потребления», ни «экономике дефицита», а это едва ли не ключевые проблемы раннего социализма). Этот перечень легко продолжить.

Второе. Развитие новых, основанных на приоритете массовой творческой деятельности (рабочего-рационализатора и инженера, учителя и воспитателя, медицинского работника и спортивного тренера, художника и эколога...) технологий и сфер деятельности, адекватных вызовам нового общества, а не имитирующих процессы позднего капитализма. Намеренно повторю: для социализма должны быть характерны такие процессы, как развитие прежде всего массового высококачественного образования, здравоохранения, культуры, науки, рекреации природы и общества, трудосберегающих технологий, всех других форм креативной деятельности, развивающей человеческие качества, а не милитаризма, финансовых спекуляций и маскультуры. И развиваться они должны преимущественно на основе формирования новых социально-экономических отношений.

Третье. Наличие мощной энергии социального творчества («энтузиазма»), формирующего отношения формального освобождения труда и компенсирующего недостаточное развитие материально-технических предпосылок. Социализм, конечно же, нельзя построить только на энтузиазме, но без энтузиазма, без энергии социального творчества значительной части общества социализм построить также невозможно. Справедливость обеих тез в полной мере подтверждает опыт как генезиса, так и краха «реального социализма».

Четвёртое. Приоритетное развитие подлинной культуры как второго (наряду с социальным творчеством) неотъемлемого слагаемого «компенсации» недостаточного развития материально-технического базиса.

Пятое. Использование в процессе перехода к «царству свободы», в рамках смешанных общественных систем, наиболее развитых форм «старой» социально-экономической организации там, где для формирования новых нет условий; более того, развёртывание новых форм только в той мере, в какой присутствуют не только адекватные материально-технические предпосылки (их-то как раз может и не хватать), но и прежде всего достаточная социальная энергия для выращивания, «сотворения» новых социально-экономических и общественно-политических форм.

Существенна при этом динамика в соотношении старых и новых форм. Так, для Китая последних десятилетий, как и СССР эпохи нэпа, характерна смешанная экономика. Но между этими социумами есть принципиальное различие: в первом случае цели стоят чисто буржуазные (рост ВВП и прогресс «державы» едва ли не *любыми* средствами), а ростки социализма постепенно затухают, так и не успев избавиться от мутантных форм, вытесняясь капиталистическими отношениями (во всяком случае, этот тренд доминирует пока что в КНР). Во втором, в СССР периода нэпа, ставились социалистические задачи и наращивалось использование социалистических методов их достижения. В конечном итоге эта попытка, правда, выродилась. Но выродилась именно вследствие отхода (объективно неизбежного или вызванного субъективными причинами – это мы сейчас не рассматриваем) от названной выше стратегии.

Шестое. Обеспечение форм базисной демократии (строительство «социализма гражданского общества», говоря языком нового века) как абсолютно необходимое условие реализации всех названных выше процессов.

К сожалению, в СССР социальные и политические условия оказались неблагоприятны для решения задач опережающего развития, некапиталистические формы решения проблем технологического развития и роста потребления не были найдены (или были найдены лишь отчасти — в сферах образования, фундаментальной науки, культуры).

Вернёмся к **вызовам Октября** и суммируем наши выводы.

Да, Октябрьская революция, как и практически каждая революция, произошла в условиях, когда сформировались отнюдь не все необходимые и достаточные условия её безболезненного совершения. Но *революции, как известно, происходят не тогда, когда этого хотят революционеры, а тогда, когда массы больше не могут выносить гнёт старой системы, а силы отчуждения теряют контроль над событиями.* И происходит это сплошь и рядом там и тогда, где и когда ещё нет всех необходимых условий для победы новой общественной системы. В этом случае великая миссия и ответственность революционных сил состоит в том, чтобы суметь «достроить» недостающие элементы нового общественного здания уже в процессе революционных событий.

И в этом смысле надо отдать должное смелости и ответственности «ленинской гвардии», решившейся пойти в сложнейших условиях кризиса Российской Империи именно по этому пути, не пре-

дав – из-за осторожности или трусости – интересы и действия широчайших масс, поднявшихся на революцию в начале XX века во многих странах мира. Другое дело, что выдержать эту линию «достраивания» предпосылки революции после политического переворота большевикам не удалось: в СССР их наследники потерпели поражение в борьбе... со своим alter ego – мутациями социализма и предателями дела социализма. Впрочем, наряду с поражением и трагедией большевиков мутантный социализм был и остаётся ещё и их подвигом – подвигом всех тех, кто творил Октябрьскую революцию и, будучи её достойным преемником, и сделал XX век эпохой борьбы за социализм в мировом масштабе.

Ну а далее работает теоретически отображённая закономерность: *в той мере, в какой «достроить» предпосылки социалистической революции не удаётся (или объективно невозможно вследствие недостаточности оснований для рождения нового общества), она неизбежно вырождается в контрреволюцию*, приводя либо к восстановлению прежней системы, либо к появлению мутантного вида нового общества, приспособленного (именно в силу этих мутаций) к неадекватным объективным и субъективным (таким, в частности, как перерождение революционных сил, «термидор») условиям.

Примеры таких мутаций – не только сталинский СССР, но и многие другие социумы, в том числе – мутантно-капиталистические монстры конца XIX – начала XX века, соединявшие в себе военно-феодальные и империалистические черты. И если в случае с СССР мы можем говорить об «опережающей» мутации, возникшей вследствие объективной тенденции Великой Октябрьской социалистической революции создать новое общество «слишком рано», то в случае с буржуазными преобразованиями в Российской Империи правильнее было бы говорить об «отстающей» мутации капитализма. Последняя возникла в силу того, что движение к буржуазному обществу началось слишком поздно и проходило слишком медленно, искусственно тормозилось правящими классами, осуществлялось недостаточно радикальными, половинчато-реформистскими методами, что и привело к рождению «военно-феодального империализма» с массовой нищетой, неграмотностью и политической диктатурой распутиных и романовых.

Но! Ещё и ещё раз подчеркнём: было бы большой ошибкой считать эти мутации следствием того, что в первом случае революционеры слишком поспешили и были слишком радикальны, а во

втором – были слишком слабы и нерешительны. Диалектика объективного и субъективного в революции гораздо сложнее, и отчасти мы постарались в первой части статьи показать некоторые азы этой «алгебры», дополняя в меру сил опыт и теорию великих революционеров прошлых веков.

И ещё, повторю: *несвершение объективно назревшей революции чревато регрессом и жертвами гораздо большими, чем в условиях её свершения*. Да к тому же это были бы жертвы социального регресса. Это в полной мере относится и к Октябрьской революции. Её несвершение в 1917 году было чревато не мирным процветанием в духе бельгийской социал-демократической «монархии» нынешней поры, а кровавой диктатурой и продолжением мировой войны вкупе с продразвёрсткой, начатой задолго до большевиков. Более того, *в случае поражения Октября мир в целом оказался бы перед угрозой тотального победного шествия фашизма*, который для искавшего наиболее адекватные формы власти мирового финансово-промышленного капитала был бы гораздо более подходящей мутацией капитализма, нежели социал-демократизм, заставляющий делиться не только властью, но также собственностью и доходами.

* * *

Завершая этот текст, подчеркну: главное, что дал Октябрь всему человечеству – это мощнейший импульс социального освобождения. Энергия этого импульса множилась в восстаниях и забастовках рабочих, в победах левых на парламентских выборах и в гражданских войнах, в социальном реформировании капитализма и противоречивом прогрессе «реального социализма», в разрушении колониализма и созидании всемирной культуры освобождения...

Но Октябрь дал и другое – уроки трагических ошибок и преступлений, которые делали левые и те, кто выдавал себя за левых, уроки, которые мы должны извлечь, идя в будущее.

И о том, и о другом надо думать. Спорить. И ещё раз думать. И проверять теорию практикой.

Примечания

¹ Данная статья – отрывок из следующего: А.В. Бузгалин, «Октябрь: оптимизм трагедии», *Вершина Великой революции: к 100-летию Октября*, ред. Б.Ф. Славин, А.В. Бузгалин (Москва: Алгоритм, 2017).

² В рамках постсоветской школы критического марксизма с критикой теории Октябрьской революции как социалистической наиболее последовательно выступает М.И. Воейков. См, например: М.И. ВОЕЙКОВ, «13 тезисов о классовой борьбе в России», *Альтернативы 2* (2006), 94-113; М.И. ВОЕЙКОВ, «Российская экономика 100 лет назад, или о причинах русской революции 1917 года», *Альтернативы 4* (2014), 83-98; М.И. ВОЕЙКОВ, «О характере Великой российской революции», *Альтернативы 2* (2017).

³ См.: В.М. МЕЖУЕВ, «Русская революция в современном контексте», *Альтернативы 2* (2017).

⁴ Б.Ф. СЛАВИН, «Кто сегодня определяет ход истории?», *Альтернативы 2* (2000), 16-34; Б.Ф. СЛАВИН, «Ещё раз о природе социализма», *Альтернативы 4* (2000), 98-129; Б.Ф. СЛАВИН, «Почему советское общество не было буржуазным», *Альтернативы 4* (2002), 2-34; Б.Ф. СЛАВИН, «Социализм и Россия», *Альтернативы 4* (2004), 2-23.

⁵ См.: Л.А. БУЛАВКА, «Культура и революция: диалектика генезиса», *Октябрь 1917: вызовы для XXI века*, ред. А. СОРОКИН (Москва: ЛЕНАНД, 2009).

⁶ Л.А. Булавка, «Коммунизм возвращается. Маяковский», *Альтернативы 2* (2006), 13-61.

⁷ Выше я постарался коротко показать, что это в любом случае была революция против капитала. Да, она выродилась в конечном итоге, но это не отменяет собственной природы этой революции. Что же касается того, насколько Октябрьская Революция произошла в соответствии с буквой и духом марксизма, то здесь следует помнить, что революции – объективное слагаемое исторического процесса. Они происходят, как мы (вслед за Марксом) отметили выше, не потому, что группа теоретиков и практиков от революции решила, что революцию нужно совершить. Это взрыв социального котла с перегретым паром общественных противоречий. Именно этот взрыв и произошёл в России 1917 года. И не случайно его кульминацией стали октябрьские события.

**МЕСТНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ**



**LOCAL AND GLOBAL
ASPECTS**

Г.Г. ХМУРКИН

О масштабах человеческих жертв, вызванных изъятием церковных ценностей в России в 1922–1923 годах

Двухлетняя засуха 1920 и 1921 годов, неурожай и общая хозяйственная разруха после двух войн – Первой мировой и Гражданской – привели к страшному голоду 1921–1922 года, которым были охвачены 34 губернии. Люди сходили с ума, стало распространяться людоедство, матери убивали и ели своих детей, из могил растаскивались трупы. От голода и сопутствующих ему эпидемий тогда умерло около 8 миллионов человек. Ситуация усугублялась тем, что золотой запас страны стремительно сокращался, за один только 1921 год он был израсходован более чем наполовину.¹ В таких условиях никакое государственное и хозяйственное строительство, никакой нормальный диалог с западными экономическими партнерами – а он был жизненно важен для голодающей, полуразрушенной страны – становился невозможным. В этой критической ситуации большевики принимают решение об изъятии церковных ценностей (золото, серебро, драгоценные камни). Их можно было обменять на хлеб и накормить часть голодающих. Кроме того, это позволило бы пополнить золотой запас страны.

Реакция на решение об изъятии в разных регионах была различной. В одних местах население отнеслось с пониманием, и изъятие проходило спокойно. В других – люди оказывали противодействие: ценности прятались, инсценировались лжеграблениа, возникали стычки с представителями власти, в результате которых были раненые и даже погибшие. Там, где было оказано сопротивление, впоследствии прошли суды над зачинщиками и подозреваемыми. Одни

были оправданы, другие – приговаривались к тюремному заключению или к высшей мере наказания. В последнем случае, как показывают документы, приговоры не всегда приводились в исполнение.

В околоисторической публицистике традиционным стало утверждение, будто процесс изъятия привел к повсеместным протестам населения, огромному количеству кровавых столкновений верующих с властями по всей стране и к массе смертных приговоров на последовавших за ними судах. Из книги в книгу кочуют сведения работавшего в эмиграции протопресвитера Михаила Польского о том, что в результате столкновений при изъятии ценностей, а также по решению последовавших за ними судов в 1922 году якобы погибло или было расстреляно в общей сложности 8100 человек, из которых 2691 – белое духовенство, 1962 – монашествующие, 3447 – монахини и послушницы.² Он же в другом месте пишет о том, что в 1922 году «расстреляно было до десяти тысяч верующих».³ Именно такая статистика чаще всего приводится в литературе и средствах массовой информации. Откуда она взялась, как производился подсчет, ни Польский, ни более поздние авторы не сообщают. Однако вопрос об источниках этих цифр и методике подсчета имеет принципиальное значение, поскольку даже сегодня, когда опубликована масса документов, исследователи, стремящиеся к объективности, воздерживаются от подобных оценок численности жертв, настаивая на необходимости детального изучения центральных и региональных архивов.⁴ Можно ли в таком случае доверять указанным цифрам Польского, да еще «собранным» за пределами СССР в далеком 1949 году?! Ряд историков не воспринимает всерьез подобные цифры, считая, что их авторы «некритически отнеслись к субъективным суждениям и слухам, привезенным за рубеж эмигрантами из Советской России».⁵ Данные самого Польского у некоторых исследователей «вызывают недоумение».⁶ По мнению ученых, «никаких документальных подтверждений этим данным нет и они недостоверны».⁷ Более того, даже авторы, близкие к церковным кругам (обычно склонные преувеличивать количество жертв «безбожного террора»), вынуждены признавать, что данные М. Польского содержат «много ошибок и неточностей».⁸ Тем не менее, в литературе без всяких на то оснований иногда приводятся еще более «внушительные» цифры: якобы в ходе изъятия было расстреляно 40 тыс. священников, дьяконов и монахов и около 100 тыс. верующих.⁹

Как было сказано выше, ответ на вопрос о реальной численности жертв, вызванных изъятием церковных ценностей, следует ис-

кать в региональных архивах, где хранятся подробные отчеты местных советских спецслужб о деталях кампании – настроениях в народных массах, подготовке и ходе мероприятий по изъятию ценностей, всевозможных инцидентах, результатах и т.д. Кроме того, там же хранятся протоколы судов над теми, кто выступал против изъятия, провоцировал сопротивление властям или подозревался в подобных действиях. В последние годы десятки историков тщательно изучают все эти архивные документы и подробно излагают результаты своих изысканий в диссертационных работах. Кроме архивных документов, диссертанты зачастую обращаются к мемуарной литературе, исследованиям церковных авторов. Тексты диссертаций доступны любому желающему и в совокупности представляют собой ценнейший источник информации, позволяющий объективно оценить масштабы кровопролития по стране. К этому источнику мы и обратились.

К настоящему моменту мы успели познакомиться с 38 диссертациями, написанными по архивным материалам 31 российского региона и 2-х городов. Что же выяснилось? Оказалось, что на всех этих территориях в связи с изъятием церковных ценностей погибло в общей сложности *меньше 50 человек*. В это число включены и жертвы стычек с властями, и число казненных по приговорам судов. В большинстве изученных регионов, согласно диссертациям, вообще не было ни погибших, ни расстрелянных, поскольку процесс изъятия там проходил в целом весьма спокойно.

Ниже приводится сводная таблица (1) по охваченным нами регионам. Несмотря на то, что она охватывает пока не всю территорию Советской России, уже сейчас совершенно понятно, что *по всей стране в результате изъятия церковных ценностей в 1922–1923 годах погибло в стычках и было казнено по решению судов от силы несколько десятков человек*. Ни о каких «сотнях» и тем более «тысячах» жертв не может быть и речи.

ТАБЛИЦА 1

Регион	Погибло в столкновениях (духовенства + мирян + представителей власти)	Вынесено смертных приговоров или расстреляно (духовенства + мирян + представителей власти)	Диссертация
Губернии, епархии и др.			
Алтай	0	0	Мезенцев 2003
Архангельская губерния	0	0	Михайлов 1998
Башкирия	0	0	Васильева 1998

Верхнее Поволжье (Владимирская, Иваново-Вознесенская, Костромская, Ярославская губернии)	0 [Владим. губ.]	0 [Владим. губ.]	Майорова 2000
	1 [Иваново-Возн. губ.]	2+1+0 [Иваново-Возн. губ.]	
	0 [Костромс. губ.]	0 [Костромс. губ.]	
	0 [Яросл. губ.]	0 [Яросл. губ.]	
Владимирская губерния	0	0	Кутергина 2008
Вятская губерния	0+0+2	0	Поляков 2007
Дальний Восток (совр. Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область и Сахалинская область)	0	0	Маленков 2004
Донская область	0	0	Бирюкова 2012 (автореферат)
Зауралье (регион, прилегающий к восточному склону Урала в бассейне рек Тобол и Обь)	0	0+0+2	Борисова 2012
Карелия	0	0	Басова 2006
Кольский Север (совр. Мурманская область)	0	0	Бардилова 2000
Крым	0	0	Катунин 2003
Кузбасс (совр. Кемеровская область)	0	0	Крепицина 2006
Курский край	0	0	Бунин 2005
Нижнее Поволжье (Астраханская и Царицынская губернии)	0	0	Сколота 2011
Новгородская епархия	0+1+0	2+1+0	Хрусталева 2004 (Уточнено по диссертациям М.В. Булавина ¹⁰ и М.А. Дроздовой ¹¹)
Орловская губерния	0	0	Перельгин 2009
Пензенская епархия	2+0+1	0	Аристова 2011
Пензенский край	0+0+1	0	Малюкова 2010
Пермская епархия	0	0	Агафонов 2002
Пермская епархия	0	0	Вяткин 2005
Самарский регион	0	0	Подмарицын 2005

Северная Осетия	0	1	Горобец 2004
Северная Осетия	0	0	Дзебисов 2013
Северо-Запад России (Псковская, Новгородская и Петроградская губернии)	0 [Псковс. губ.]	0 [Псковс. губ.]	Дроздова 2009
	0+1+0 [Новгор. губ.]	0 [Новгор. губ.]	
	0 [Петрогр. губ.]	4+0+0 [Петрогр. губ.]	
Смоленская епархия	1	0+4+0	Каиль 2011
Ставрополье и Терек	0	1+0+0	Пантюхин 2013
Тамбовская губерния	0	0	Алленов 2004
Тверская (Калининская) епархия	0	0	Цыков 2013
Тобольская епархия	0	0	Дронова 2011
Урал (Пермская, Свердловская и Челябинская области)	0	0	Булавин 2000
Урал (Екатеринбургская, Пермская, Тюменская и Челябинская епархии)	0	0	Зорина 2003
Уфимская губерния (Башкирская АССР)	0	0	Киреева 2009
Уфимская епархия	0	0	Абдулов 2006
Чувашия	0	0	Козлов 2009
Юго-Восточная Сибирь (совр. Иркутская область, Читинская область и Бурятия)	0	2+0+0	Паламарчук 2002
Отдельные города			
Вологда	0	0	Спасенкова 1999
Москва	0	4+1+0	Чернова 2014
Новочеркасск	Автор не располагает данными	5	См. пояснение № 5
Томск	Автор не располагает данными	7+0+0	См. пояснение № 5

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ

1. Названия регионов и их расшифровка (приводится в скобках) взяты из диссертаций.
2. В отдельных случаях изучавшиеся диссертантами территории совпадают, пересекаются или одна включает другую. В этих случаях под каждую дис-

сертацию отводилась отдельная строка таблицы. Соответственно, подсчет общего числа жертв по всем перечисленным регионам не может производиться путем простого сложения данных из столбцов.

3. Там, где можно было установить «статус» погибших в стычках и приговоренных к расстрелу (представитель духовенства, мирянин или представитель власти), приведено соответствующее разбиение общего числа жертв в сумму трех слагаемых.
4. Вынесение смертного приговора не всегда означало расстрел, в ряде случаев его могли заменить на тюремное заключение. Соответственно, в третьем столбце таблицы приводится либо число смертных приговоров (если из диссертации неясно, были ли они приведены в исполнение), либо число фактически казненных (если факт расстрела подтвержден диссертантом). Скорее всего, часть указанных в таблице смертных приговоров не была приведена в исполнение, однако выяснение этого требует более детальных исследований, которые, на наш взгляд, следует начать с сомнительной «расстрельной» статистики по Томску.
5. Специальных диссертаций по Новочеркаску и Томску мы не нашли. Тем не менее, для полноты картины эти города внесены в таблицу. Данные о жертвах в Новочеркаске взяты из диссертации М.В. Булавина¹², в Томске – из диссертации А.В. Паламарчук¹³.
6. Перечень российских регионов, приведенных в таблице, неполон. К настоящему моменту мы успели познакомиться не со всеми доступными нам диссертациями, в которых раскрывается тема церковно-государственных отношений в 1922–1923 годах. Кроме того, подобного рода подсчеты произведены еще, по-видимому, не во всех регионах России.
7. Таблица содержит только те цифры, которые нашли отражение в *сохранившихся* документах и которые были *выявлены диссертантами*. Несомненно, некоторые случаи расправ над теми, кто противодействовал изъятию, не вошли в таблицу. Так, профессор Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского доктор исторических наук Валентина Юрьевна Волошина в личной беседе с автором сообщила, что ее прадед священник Александр Шутов, противодействовавший изъятию, был выведен из дому и на глазах семьи расстрелян (по всей видимости, имела место бессудная казнь). Это произошло в 1923 году в селе Аромашево Голышмановской волости Ишимского уезда Тобольской губернии. Обращение В.Ю. Володиной в архив Федеральной службы безопасности не дало результатов: из архива пришел ответ, что документов, содержащих сведения о расправе над А. Шутовым, не обнаружено. В то же время в приводимой таблице указано, что в Зауралье и в Тобольской епархии жертв среди духовенства не было.
8. Таблица составлена на основании сведений из следующих диссертаций: Н.Т. АБДУЛОВ, *Уфимская епархия в системе государственно-церковных отношений. 1917–1991 гг.* Дисс. канд. ист. наук (Уфа, 2006), 46–56; П.Н. АГАФОНОВ, *Эволюция государственно-церковных отношений в 1920–1929 гг. (На материале Пермской епархии)*. Дисс. канд. ист. наук (Пермь, 2002), 37–56; А.Н. АЛЛЕНОВ, *Власть и Церковь в русской провинции в 1917–*

1927 гг. (На материалах Тамбовской губернии). Дисс. канд. ист. наук (Тамбов, 2004), 68-87; К.Г. АРИСТОВА, *Обновленчество в Пензенской епархии в 1917–1923 гг.: Первые уроки Советской власти*. Дисс. канд. ист. наук (Пенза, 2011), 144-178; Ю.П. БАРДИЛЕВА, *Государственно-церковные отношения на Кольском Севере [совр. Мурманская область. – Г.Х.] в первой трети XX века*. Дисс. канд. ист. наук (Мурманск, 2000), 151-153; Н.А. БАСОВА, *Русская Православная Церковь в Карелии в 1918–1941 годах*. Дисс. канд. ист. наук (Петрозаводск, 2006), 106-117; Ю.А. БИРЮКОВА, *Советская власть и православные общины Дона [Донской области. – Г.Х.] в 1920–1930-х гг.: характер отношений на местах*. Автореферат дисс. ...канд. ист. наук (Ростов-на-Дону, 2012); В.В. БОРИСОВА, *Русская православная церковь в условиях трансформационных процессов 1917–1936 гг. (на материалах Зауралья [регион, прилегающий к восточному склону Урала в бассейне рек Тобол и Обь. – Г.Х.])*. Дисс. канд. ист. наук (Нижевартовск, 2012), 108-122; М.В. БУЛАВИН, *Взаимоотношения государственной власти и Православной Церкви в России в 1917–1927 гг. (на примере Урала [Пермская область, Свердловская область, Челябинская область. – Г.Х.])*. Дисс. канд. ист. наук (Екатеринбург, 2000), 79-121, 289-290; А.Ю. БУНИН, *Деятельность православного духовенства Курского края в 1905–1929 гг.* Дисс. канд. ист. наук (Курск, 2005), 126-135; И.Г. ВАСИЛЬЕВА, *Взаимоотношения Советского государства и религиозных объединений в Башкирии (1917–[19]20-е годы)*. Дисс. канд. ист. наук (Уфа, 1998), 140-143; В.В. ВЯТКИН, *История Пермской епархии в XIX – начале XXI века: формы и методы церковной деятельности, государственно-церковные отношения*. Дисс. канд. ист. наук (Пермь, 2005), 187-188; А.А. ГОРОБЕЦ, *История Русской Православной Церкви в Северной Осетии. 1917–1924 гг.* Дисс. канд. ист. наук (Владикавказ, 2004), 83-98; А.Т. ДЗЕБИСОВ, *Советское государство и Православная Церковь в условиях трансформационных процессов 1920–1930-х гг. (на материалах Северной Осетии)*. Дисс. канд. ист. наук (Владикавказ, 2013), 86-106; М.А. ДРОЗДОВА, *Советское государство и церковь в 1917–1927 гг. (по материалам Северо-Запада России [Псковская, Новгородская, Петроградская губернии. – Г.Х.])*. Дисс. канд. ист. наук (Псков, 2009), 82–125; В.В. ДРОНОВА, *Эволюция государственно-церковных взаимоотношений в 1917 – конце 1930-х гг. (на примере Тобольской епархии)*. Дисс. канд. ист. наук (Барнаул, 2011), 87–98; Н.А. ЗОРИНА, *Становление государственно-церковных отношений на Урале [Екатеринбургская, Пермская, Тюменская и Челябинская епархии. – Г.Х.] (1917–1925)*. Дисс. канд. ист. наук (Москва, 2003), 84-99; М.В. КАИЛЬ, *Православная церковь и верующие Смоленской епархии в 1917 – середине 1920-х гг.: эволюция государственно-церковных отношений и внутриконфессиональные процессы*. Дисс. канд. ист. наук (Смоленск, 2011), 131-141, 149-152; Ю.А. КАТУНИН, *Православная церковь и государство: проблема взаимоотношений в 1917–1939 гг. (на материалах Крыма)*. Дисс. докт. ист. наук (Симферополь, 2003), 273-283; Н.А. КИРЕЕВА, *Русская Православная Церковь и Советское государство с октября 1917 по 1928 год (на материалах Уфимской губернии – Башкирской АССР)*. Дисс. канд. ист. наук (Оренбург, 2009), 120-142; Ф.Н. КОЗЛОВ, *Взаимоотношения государства и Русской Православной Церкви в 1917 – начале 1940-х гг. (по материалам Чувашии)*. Дисс. канд. ист. наук (Саранск, 2009), 153-171; Е.В. КРЕПИЦИНА, *Государственная политика в сфере религии на территории Кузбасса в 1920–1929 гг.* Дисс.

канд. ист. наук (Кемерово, 2006), 76-77, 84-85; Ю.В. КУТЕРГИНА, *Политика советского государства по отношению к Русской православной церкви в 1918–1925 гг. во Владимирской губернии*. Дисс. канд. ист. наук (Владимир, 2008), 87-118; Н.С. МАЙОРОВА, *Государство, церковь, школа и их взаимоотношения в 1917–1929 гг. (на материалах Верхнего Поволжья [Владимирская, Иваново-Вознесенская, Костромская, Ярославская губернии. – Г.Х.])*. Дисс. канд. ист. наук (Кострома, 2000), 117-128; В.В. МАЛЕНКОВ, *Государственная политика в области религии на Дальнем Востоке России (1917–1937 гг.)*. Дисс. канд. ист. наук (Южно-Сахалинск, 2004), 88-89, 105-106; Э.Д. МАЛЮКОВА, *Взаимоотношения Русской Православной Церкви и Советской власти в 1918–1937 гг. (на примере Пензенского Края)*. Дисс. канд. ист. наук (Пенза, 2010), 69-83; Р.В. МЕЗЕНЦЕВ, *Православная Церковь на Алтае в 1917–1940 гг.* Дисс. канд. ист. наук (Горно-Алтайск, 2003), 89-118; С.В. МИХАЙЛОВ, *Государство и церковь: отношения органов власти, религиозных организаций и верующих на Архангельском Севере в 1918–1929 гг.* Дисс. канд. ист. наук (Архангельск, 1998), 115-125; А.В. ПАЛАМАРЧУК, *Исторический опыт взаимоотношений государства и Церкви в Юго-Восточной Сибири (1920–1930-е гг.)*. Дисс. канд. ист. наук (Иркутск, 2002), 60-82; А.М. ПАНТЮХИН, *Обновленческое движение Русской православной церкви в 20–40-е гг. XX в. (на материалах Ставрополя и Терка)*. Дисс. канд. ист. наук (Ростов-на-Дону, 2013), 64-71, 86-93; А.И. ПЕРЕЛЫГИН, *Русская Православная Церковь в Орловском крае (1917–1953 гг.)*. Дисс. канд. ист. наук (Орел, 2009), 44-50; А.Г. ПОДМАРИЦЫН, *Взаимоотношения Русской Православной Церкви, 97-105; А.Г. ПОЛЯКОВ, Церковно-государственные отношения в 1917 – середине 1920-х гг. (на материалах Вятской губернии)*. Дисс. канд. ист. наук (Киров, 2007), 100-116; Р.В. СКОЛОТА, *Государственно-церковные отношения в 1921–1927 годах в Нижнем Поволжье [Астраханская и Царицынская губернии. – Г.Х.]*. Дисс. канд. ист. наук (Астрахань, 2011), 20-42; И.В. СПАСЕНКОВА, *Православная традиция русского города в 1917–1930-е гг. (на материалах Вологды)*. Дисс. канд. ист. наук (Вологда, 1999), 46-60; М.Ю. ХРУСТАЛЕВ, *Русская Православная Церковь в центре и на периферии в 1918–1930-х годах (на материалах Новгородской епархии)*. Дисс. канд. ист. наук (Архангельск, 2004), 41-55; И.В. ЦЫКОВ, *Органы управления Тверской (Калининской) епархией и динамика внутрицерковной жизни в 1917 – середине 1930 годов*. Дисс. канд. ист. наук (Тверь, 2013), 82-90; Е.Л. ЧЕРНОВА, *Реформаторство в церковной жизни Москвы 1920-х гг.: становление и развитие обновленчества*. Дисс. канд. ист. наук (Москва, 2014), 39-40.

Примечания

¹ В.Т. ЛОГИНОВ, *Заветы Ильича. Сим победиши* (Москва: Алгоритм, 2017), 288.

² М. ПОЛЬСКИЙ, сост., *Новые мученики российские. Первое собрание материалов* (Jordanville, N.Y.: Типография преп. Иова Почаевского в Свято-Троицком монастыре, 1949), 214.

³ Польский, сост., *Новые мученики российские*, 101.

⁴ *Архивы Кремля*, в 2-х кн., кн. 1: *Политбюро и церковь. 1922–1925 гг.* (Москва – Новосибирск: РОССПЭН, Сибирский хронограф, 1997), 39; А.Н. КАШЕВАРОВ, *Православная Российская Церковь и Советское государство (1917–1922)* (Москва: Изд-во Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2005), 35.

⁵ Н.Ю. БЕЗШЛЕЕВА, «Проблема новомученичества в исследованиях современных историков», *Общество: философия, история, культура* 4 (2016), 102.

⁶ А.Г. ПОДМАРИЦЫН, *Взаимоотношения Русской Православной Церкви и государственных органов в Самарском регионе (1917–1941 гг.)*. Дисс. канд. ист. наук. (Самара, 2005), 105.

⁷ И.В. ГОВОРОВА, *Изъятие церковных ценностей в 1922 г. в контексте государственно-церковных отношений*. Дисс. канд. ист. наук (Москва, 2006), 223.

⁸ *За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917–1956. Биографический справочник*, кн. 1: *А (Аарон – Ашихмина)* (Москва: Изд-во ПСТГУ, 2015), 23.

⁹ И.Л. БУНИЧ, *Полигон Сатаны. Сборник* (СПб.: Шанс, 1994), 98 (И.Л. Бунич приводит свои данные без каких-либо ссылок).

¹⁰ БУЛАВИН, *Взаимоотношения государственной власти*, 116.

¹¹ ДРОЗДОВА, *Советское государство и церковь*, 95.

¹² БУЛАВИН, *Взаимоотношения государственной власти*, 116.

¹³ ПАЛАМАРЧУК, *Исторический опыт взаимоотношений*, 76-77.

SZERGEJ FILIPPOV

И. Тиса и П.А. Столыпин*

*На этом, милостивые государи,
Римская империя прекратила
свое существование.*

Фридрих ДЮРРЕНМАТТ,
«Ромул Великий»

Историку нечасто представляется возможность сравнить историческое развитие или государственных деятелей Венгрии и России. Эти две страны двигались по очень разным историческим траекториям, к тому же когда их судьбы пересекались, это были как правило конфликты, враждебные столкновения. Как известно, временем активного противостояния был и рубеж XIX и XX веков. И вдруг, изучая этот период, мы неожиданно обнаруживаем двух государственных деятелей с поразительно похожим жизненным путем, с на удивление похожей судьбой, а также, что особенно интересно, они ныне занимают, на мой взгляд, очень похожее место в современной политике памяти, в пантеоне государственных деятелей России и Венгрии, воплощающем результат переоценки прошлого после смены режима в восточно- и центральноевропейских странах. Я имею в виду венгерского министра внутренних дел, министра при особе короля и дважды премьер-министра (1903–1905; 1913–1917) Иштвана Тису (1861–1918) и министра внутренних дел и председателя Совета министров России Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911). Это

* Работа выполнена в рамках совместного проекта (№ 17–21–07001) «Россия и Венгрия в мировой культуре: источник и его интерпретация в ракурсе исследовательской парадигмы XXI века», поддержанного Фондом за русский язык и культуру в Венгрии (Будапешт) и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ, Москва).

сходство, видимо не случайно, свидетельствует о сходстве внутреннего развития этих стран в этот период. Насколько мне известно, эта тема пока не привлекала внимания историков. Конечно, подробный анализ этой темы не может быть осуществлен в рамках короткого доклада, который поэтому правильнее считать «введением» в сравнительное изучение биографий этих двух государственных деятелей.¹

Они родились с разницей в один год, в одном и том же месяце, в апреле, Тиса 8-го, Столыпин 14-го числа. Прежде всего, Тису и Столыпина роднит происхождение, оба происходили из старых дворянских семей, обладавших значительными земельными владениями и имевших давние традиции государственной службы. Представители семьи Тисы занимали руководящие должности в местном управлении комитата Бихар, отец Иштвана был премьер-министром, что само по себе открывало путь к партийной и государственной карьере. Дедом Столыпина по материнской линии был наместник Царства Польского Михаил Дмитриевич Горчаков, а наиболее известным родственником можно считать канцлера А.М. Горчакова, руководившего внешней политикой России при Александре II. Отец Петра Столыпина не был ведущим политиком, но, что еще важнее, его семья имела отличные связи при дворе, без которых столыпинская карьера была бы невозможной.

По обычаю богатых дворянских семей того времени Тиса и Столыпин получили хорошее домашнее воспитание и образование, здесь я выделю три обстоятельства, оказавшие влияние на их деятельность. Они хорошо знали языки, Столыпин свободно владел тремя языками,² не отставал и Тиса, прекрасно говоривший на немецком и английском языках. Второе: в обоих воспитали чувство патриотизма, в своей политике они вполне могут быть одинаково названы последовательными и убежденными националистами и государственниками. И наконец, оба получили религиозное воспитание, стали искренно верующими людьми, один кальвинистом, другой православным, но это не важно, несомненно, что их моральная устойчивость, последовательность, их понятия о долге в немалой степени коренились в их серьезном отношении к религиозным заповедям.³ В то время это было уже достаточно необычным, как необычной была личная честность обоих политиков: кто бы как бы ни относился к ним, а врагов у них всегда было достаточно. Насколько мне известно, Столыпина никто никогда не подозревал и не обвинял в коррупции. Замечательный русский писатель и тонкий

наблюдатель политической жизни Василий Васильевич Рóзанов писал: «На Столыпине не лежало ни одного *грязного пятна*: вещь страшно редкая и трудная для политического человека». Его «смогли убить, но никто не смог сказать: он был *лживый, кривой* или *своекорыстный* (везде курсив В. Розанова. – С.Ф.) человек. Не только не говорили, но не шептали этого. Вообще, что поразительно для политического человека, о которых всегда бывают “сплетни”, – о Столыпине не было никаких сплетен, никакого темного шепота».⁴ С Тисой было несколько сложнее, в начальный период его деятельности его подозревали в несоблюдении правил несовместимости политической и государственной деятельности, а также в использовании запрещенных каналов партийного финансирования,⁵ но в целом он как и Столыпин резко выделялся среди политиков таких зараженных коррупцией стран, как Венгрия и особенно Россия, о которых можно сказать, что здесь «чиновники не берут взятки, они их требуют».

Естественно, оба будущих политика продолжали свое образование, хотя несколько в иных направлениях. Тиса пошел по традиционному пути, занявшись правом и политическими науками, в то время как Столыпин отличался другими способностями и окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Однако далее их карьера снова отличается удивительным сходством: оба служат в Министерстве внутренних дел, хорошая школа государственного управления и занимаются управлением поместьями, приобретая опыт хозяйствования и знакомство с экономическими проблемами того времени. Далее их взлет наверх ускоряется. Тиса в 25-летнем возрасте уже депутат государственного собрания, в 27 лет произносит свою первую парламентскую речь, а затем благодаря семейным связям и несомненным талантам политика стремительно завоевывает ведущую роль в партии, а в 1903 г. впервые становится премьер-министром.

За неимением в России парламента Столыпин движется к той же должности премьер-министра своим путем. В качестве предводителя дворянства он набирается опыта местного управления в Литве, где в 1902 г. становится ковненским губернатором, причем в возрасте 39 лет он был самым молодым губернатором в стране. Через год его переводят в богатую, но беспокойную, как говорили, «красную» Саратовскую губернию, где он получает новый опыт, опыт борьбы с революционными беспорядками, Наградой за успешную деятельность стало новое назначение: в 1906 г. он назначен министром

внутренних дел и председателем Совета министров, догоняет Тису, который к тому времени уже закончил свой первый премьерский цикл. Столыпин самый молодой, необычно молодой министр, и, как и Тиса, он обязан этим как семейным связям, так и несомненному таланту администратора, успешной деятельности в должности губернатора.

Много похожего в деятельности Тисы и Столыпина в период их участия в высшем руководстве страны. Здесь можно было бы говорить об их позиции в национальном вопросе, оба были ярко выраженными националистами, об отношении к войне, к которой оба по аналогичным, вполне рациональным причинам относились отрицательно. Но я бы выделил их отношение к парламентаризму, принципу народного представительства. Можно утверждать, что они были принципиальными сторонниками парламентаризма. В скобках замечу, что оба неожиданно оказались блестящими парламентскими ораторами. Неожиданно потому, что поначалу в Иштване видели лишь сына Кальмана Тисы, делающего карьеру на заслугах отца, и когда выяснилось, что он обладает даром оратора, это сильно способствовало его карьере.⁶ А в Столыпине поначалу видели обычного бюрократа, не умеющего общаться с депутатами Думы, как обычно не умели этого делать представители правительства. Однако, как вспоминала сторонница либералов Ариадна Тыркова-Вильямс, уже при первом выступлении Столыпина «Дума сразу насторожилась. Первый раз из министерской ложи на думскую трибуну поднялся министр, который не уступал в умении выражать свои мысли думским ораторам. Столыпин был прирожденный оратор. Его речи волновали. В них была твердость. В них звучало стойкое понимание прав и обязанностей власти. С Думой говорил уже не чиновник, а государственный человек».⁷

Для Тисы парламентаризм – это уже сорокалетняя национальная традиция, важнейшая площадка для ведения политической деятельности. Для Столыпина – это институт, установленный волей монарха, легитимный и необходимый фундамент ведения новой политики, зачаток новой традиции. В письмах к жене он подчеркивал, что он «первый конституционный министр внутренних дел», желающий работать «совместно с народными представителями».⁸ Но в обоих случаях на первый план выходит понятие «работоспособной Думы», «работоспособного парламента», что на практике означало агрессивное стремление добиться парламентского одобрения их политического курса, от которого они не желали отойти ни на шаг.

Несомненно, что Столыпин был искренним сторонником системы народного представительства, введенной после революции 1905 г., но лишь в той форме, в какой эта система возникла по воле монарха, не выходя за пределы, положенные Основными государственными законами Российской империи. «Работоспособная Дума» рассматривалась им в качестве дополнения к объединяющей Россию, изменяющейся с течением времени самодержавной власти царя. Он считал Думу своеобразным российским учреждением и однозначно противопоставлял ее парламентам западного типа. В одном из своих выступлений Столыпин уже в 1907 г. сказал: «Нельзя к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужой, чужестранный цветок». ⁹ Он не верил в возможность автоматического заимствования учреждений, зародившихся в ином историческом контексте, но допускал осторожную, продуманную адаптацию полезных зарубежных достижений, которые могли быть приспособлены к российским социальным реалиям. В понимании Столыпина российский орган народного представительства должен был не столько ограничивать, сколько поддерживать, подпирать самодержавие. Такое понимание было очень далеко от устремлений либералов и в то же время было несовместимо с представлениями «твердокаменных» консерваторов и праворадикалов.

Что касается Тисы, то его биограф также указывает на похожую противоречивость своего героя к парламентаризму. По его словам, Тиса «считал венгерский парламент воплощением национального либерального наследия, но решительно стремился добиться того, чтобы этот институт следовал лишь политическому курсу, соответствующему принципам, которые он (Тиса. – С.Ф.) считал святыми и нерушимыми, однако это на деле ограничивало сферу действия возводимого им на пьедестал института и ограничивало его эффективность». «Защита парламентаризма, как он ее понимал, побудила его применить тактику твердой руки против прибегавшей к обструкции оппозиции и центробежных устремлений внутри его собственной партии. Вместе с тем венгерские историки, пусть и с существенными оговорками, считают Тису либералом, хотя, видимо, чувствуя противоречивость такой характеристики, подчеркивают, что либеральная приверженность к конституционализму совмещалась с «консервативной государственной политикой». ¹⁰

В борьбе с обструкцией в прямом или переносном значении этого слова они шли на любые меры. Достаточно вспомнить скандальное «голосование по знаку носовым платком» 18 ноября 1904 г.,

незаконно изменившее парламентский регламент и сопровождавшееся отсрочкой дальнейших заседаний Государственного собрания. Тиса первым в истории парламентаризма применял насилие для удаления оппозиционных депутатов (тогда на него было совершено первое покушение), а в 1912 г. антиобструкционное изменение парламентского регламента было принято в отсутствие оппозиционных депутатов. Инициатива Столыпина относительно роспуска первой и второй Думы хорошо известна, единственно, о чем стоит напомнить, это то, что, согласно воспоминаниям Милюкова, после роспуска первой думы эксперт либералов по конституционным вопросам Федор Федорович Кокошкин предложил прибегнуть к методу пассивного сопротивления (не давать рекрутов, не платить налоги) именно ссылаясь на «недавний пример Венгрии».¹¹

Но самое главное, что выделяет Столыпина и Тису, это масштабное мышление, наличие ясной концепции развития страны, четкого представления о том, что нужно делать, чтобы вывести их страны из кризисной ситуации, в которой они оказались (какова эта концепция – другой вопрос), а также настойчивое и последовательное проведение своих замыслов в жизнь. Таких масштабных политиков среди их современников не было видно ни в России, ни в Венгрии. Сами эти концепции были основаны на комбинации постепенных реформ и сохранении национальных традиций, их можно назвать либерально-консервативными или консервативно-реформистскими. Если при этом Столыпин скорее казался реформатором, а Тиса охранителем, то это, видимо, связано с различиями в политическом развитии Венгрии и России.

При осуществлении своих концепций оба вынуждены были лавировать между волей своих императоров, к которым, кстати, были лояльны, и парламентской оппозицией. Свою политику они проводили жестко, принадлежали к политикам авторитарного типа, при этом проявляли и личное мужество вплоть до готовности защищать свою честь на дуэли. У Тисы было несколько дуэлей, у Столыпина минимум одна, но очень известная, вызов в 1907 г. депутата от кадетов Родичева, впервые использовавшего обидное выражение «стольпинские галстуки». У обоих было много политических и личных врагов, на обоих совершались покушения, на Столыпина с 1905 по 1911 г. – 11, на Тису – 4, последнее из которых оказалось роковым. Оба были убиты, причем уже когда их политическая роль была в основном сыграна. Интересно, что в эту эпоху, богатую убийствами государственных деятелей по всей Европе, из венгерских министров

и премьеров был убит только Тиса. В России политические убийства были не в диковинку, но Столыпин был убит как раз в спокойный период, в 1911 г. Оба убийства роднит и то, что они произошли при невыясненных обстоятельствах, в обоих случаях было проведено расследование, которое не внесло ясности, в частности в то, что касается действий или бездействия властей. Между прочим, факт убийства, на мой взгляд, важен с точки зрения их посмертной судьбы.

Похожи и повороты исторической памяти о них: в 1934 г. Тисе был сооружен памятник, который был разрушен в 1945 г. и восстановлен в 2014 г. на видном месте, перед зданием Государственного собрания. Столыпину был установлен памятник в Киеве, в 1917 г. он был снесен, а в 2012 г. был установлен в Москве тоже на эмблематичном месте, у Дома Правительства Российской Федерации на площади Свободной России. Оба памятника хорошо отражают процесс переоценки их исторической роли, начавшийся после смены общественного устройства.

Нельзя освободиться от чувства, что покушение, при котором, кстати, оба политика выказали завидную твердость и мужество, само по себе придало им особый ореол героев, окруженных врагами и заплативших смертью за верность своим принципам. Василий Витальевич Шульгин сказал о Столыпине: «Его не могли запугать ни левые, ни правые. И поэтому убили его».¹² Примерно так же описывают историки и судьбу Тисы: «За время своей почти тридцатилетней политической карьеры Тиса вступил в резкий конфликт не только с оппозицией из партии независимости, но и с венгерскими прогрессистами и венгерскими шовинистами. Но среди его противников были и националистически настроенные представители национальных меньшинств Венгрии, а также австрийские политики, выступавшие против системы дуализма». Эта атмосфера ненависти и привела к его убийству.¹³

И Тиса и Столыпин потерпели поражение, не сумели реализовать своих планов, оба сознавали это и, по отзывам современников, переживали глубокий внутренний кризис, но среди многочисленных и очень разных мнений о них, даже в атмосфере ненависти к ним, а их ненавидели многие, отчетливо вырисовывается представление, что они были последними, кто попытался остановить катастрофу, спасти свои государства от краха. Конечно, это представление характерно прежде всего для консервативной традиции. Историк Дюла Секфю писал: «...его государственной деятельности мы обязаны тем,

что дожили до мировой войны как государство, а не как беспомощная анархическая масса, из которой каждый шакал безнаказанно выхватывает свой кусок добычи...».¹⁴ Иштван Бетлен, консервативный политик, кстати погибший в 1946 г. в Бутырской тюрьме, писал, что Тиса умер «и вместе с ним погибли нация, страна, трон, монархия и тысячелетняя слава страны».¹⁵ А уже цитированный Розанов писал об убитом Столыпине так: «Что ценили в Столыпине? Я думаю, не программу, а человека; вот этого “воина”, вставшего на защиту, в сущности, Руси».¹⁶ То есть выстрелы в Тису и Столыпина как бы поставили кровавую точку не только в их жизни, но и в целой эпохе развития их стран.

Сход со сцены Тисы и Столыпина и их позднейшее восприятие поневоле пробуждает в памяти заключительные слова Ромула из исторической комедии Фридриха Дюрренматта, которые могут быть отнесены к отнюдь не комической судьбе как Венгрии, так и России. У Дюрренматта Ромул как бы подводит печальный итог целой исторической эпохи словами: «На этом, милостивые государи, Римская империя прекратила свое существование».¹⁷

Примечания

¹ Лучшая биография Иштвана Тисы: VERMES GÁBOR, *Tisza István* (Budapest: Osiris Kiadó, 2001). См. также: TÖKÉCZKI LÁSZLÓ, *Tisza István eszmei, politikai arca* (Budapest: Kairosz Kiadó, 2000); PÖLÖSKÉI FERENC, *Tisza István* (Budapest: Gondolat Kiadó, 1985). Из многочисленных работ о Столыпине выделю: П.А. Столыпин. *Био-хроника* (Москва: РОССПЭН, 2006); П.С. КАБЫТОВ, *П.А. Столыпин: последний реформатор Российской империи* (Самара: Издательство «Самарский университет», 2006); *П.А. Столыпин глазами современников* (Москва: РОССПЭН, 2008).

² А. ИЗГОЕВ, *П.А. Столыпин. Очерк жизни и творчества* (Москва: Кн-во К. Ф. Некрасова, 1912), 15.

³ «Молодой Тиса ...хотел стать образцовым примером кальвинистских добродетелей». По мнению Г. Вермеша, Иштван Тиса стремился превзойти в этом своего отца, Кальмана Тису. См.: VERMES, *Tisza István*, 52.

⁴ В.В. РОЗАНОВ, «Историческая роль Столыпина», *Terror против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г.*, ред. В.В. РОЗАНОВ (Москва: Издательство «Республика», 2011), 274-275.

⁵ Неясно, были ли какие-то основания для этих подозрений, или это был обычный прием межпартийной борьбы. О коррупции в Венгрии и об обвинениях в адрес Тисы см.: SIEGER ANDRÁS, *Politikai korrupció a Monarchia Magyarországnál 1867–1918* (Budapest: Napvilág Kiadó, 2011), 44, 123-124, 170-174.

⁶ VERMES, *Tisza István*, 78.

⁷ АРИАДНА ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС, *На путях к свободе* (Москва: Московская школа политических исследований, 2007), 316-317.

⁸ Письма П.А. Столыпина к жене О.Б. Столыпиной. – <http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1906zhene.html#060726> (февраль, 2018).

⁹ ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН, *Нам нужна великая Россия... Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг.* (Москва: «Молодая гвардия», 1991), 107.

¹⁰ VERMES, *Tisza István*, 200, 484; IFJ. BERTÉNYI IVÁN, “Tisza István, egy szabadelvű világ konzerválója”, in *Tisza István, két korszak határán* (Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2016), 14.

¹¹ П.Н. МИЛЮКОВ, *Воспоминания*. Том первый (1859–1917) (Москва: «Современник», 1990), 400.

¹² ДМИТРИЙ ЖУКОВ, «Жизнь и книги В.В. Шульгина», в: В.В. ШУЛЬГИН, *Дни. 1920: Записки* (Москва: «Современник», 1989), 21.

¹³ IFJ. BERTÉNYI IVÁN, “A gyűlölt Tisza István”, *Kommentár* 5 (2011). – http://kommentar.info.hu/iras/a_gyulolt_tisza_istvan (январь, 2018).

¹⁴ HÓMAN BALINT, SZEKFŰ GYULA, *Magyar történet*. 5. kötet (Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1936), 599.

¹⁵ GYURGYÁK JÁNOS, “Tisza István a jobboldali hagyományban”, in *Tisza István, két korszak határán*, 229.

¹⁶ РОЗАНОВ, «Историческая роль Столыпина», 273.

¹⁷ ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ, *Ромул Великий*. – <https://www.litmir.me/br/?b=87005&p=15> (февраль, 2018).

GÁBOR GYÓNI

Русская революция и Венгрия

В результате Первой мировой войны в 1918 г. рухнули старые монархии Европы, в том числе и историческая, «тысячелетняя» Венгрия. Коллапс Венгрии произошел *именно* в 1918 г., еще до октябрьской революции в Будапеште, однако не в последнюю очередь он был связан с русской революцией, которая потрясла весь мир.

Во время Первой мировой войны благодаря военнопленным, началось небывалое ранее перемещение венгерских и русских (российских) людей на чужие территории. Сотни тысяч венгерских военнопленных оказались на территории России. Приблизительно сто тысяч бывших венгерских военнопленных сражались в российской гражданской войне на стороне красных. Известие о том, что венгерские солдаты сражаются на стороне большевиков, воспринималось в Венгрии с удивлением, хотя подобная информация конечно, особо не афишировалась. Об этом писал в своем дневнике, в частности, герцог Иосиф Август Австрийский.¹ С другой стороны, оппоненты венгров, чехословацкий корпус поддерживал белых, в мае 1918 г. произошли известные столкновения между венграми и чехословацким подразделением в Челябинске, на железнодорожной станции, – таким образом, внутренние разногласия Австро-Венгрии отражались и в событиях российской гражданской войны.

Многие из красных венгров, которые принимали участие в российской гражданской войне, сыграли важную роль в истории страны в 20-м веке (поэт Геза Дьёни; премьер министр Имре Надь; лидер венгерского сталинизма Матяш Ракоши и т.д.) – что тоже является последствием русской революции.

Во время Первой мировой войны в Екатеринбурге существовал лагерь для военнопленных Центральных Держав. Документы, личные данные венгерских военнопленных, из которых многие активно

участвовали в революционных событиях в России, хранятся в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО, г. Екатеринбург) чрезвычайно богаты венгерскими материалами. Во время Первой мировой войны, таким образом, в Екатеринбурге сложилась довольно многочисленная венгерская колония. Известно, что венгры были охранниками пленной царской семьи в Екатеринбурге (данные об Андраше Вергаше, который сделал надпись на стене дома Ипатьева, и по перечню Мейера, якобы участник расстрела царской семьи, встречаются в документах упомянутого архива. Он, по крайней мере, еще в 1921 г. жил в Екатеринбурге).² О екатеринбургских венграх есть данные не только в российских, но и венгерских источниках. Например, в своих воспоминаниях Матяш Ракоши утверждал, что лично беседовал с теми людьми, которые непосредственно участвовали в казни Николая II и его семьи.³ Занимаясь этой темой, пару лет назад я получил письмо от венгра, который попросил меня его имя не публиковать (а письмо в моем распоряжении), он утверждал, что его дед, будучи пленником в Екатеринбурге, был знаком с людьми, которые лично участвовали в казни.

Но в данном случае важнее то, что тысячи и тысячи венгров – по-видимому, особенно из многочисленной нищей, аграрно-пролетарской среды – именно в России ощущали какую-то свободу, и благодаря русской революции получили какой-то «пассионарный толчок». Они обрели ощущение свободы именно в России (что, наверное, является уже само собой странным, невероятным утверждением для тех, которые отождествляют Россию с рабством, холопством). Возможно поэтому, немало венгров после войны осталось жить на Урале, в Екатеринбурге. Они не хотели возвращаться домой. Почему? Наверное, потому что они верили в светлое будущее, свободу, равенство (или опасались репрессий со стороны контрреволюционного режима Хорти).

Этот пассионарный импульс, исходящий из русской революции, сыграл важнейшую роль в истории Венгрии в 1918 г. В Австро-Венгрии уже весной 1917 г. созрела взрывоопасная ситуация: росло недовольство войной, которая казалась все более непонятной, пауперизировалось особенно городское население. Война истощала страну изо дня в день. После прихода к власти молодого кайсера, Карла I, начались секретные переговоры о выходе Австро-Венгрии из войны.⁴ В Венгрии с удивлением воспринимали уже Февральскую революцию в России.⁵ Многие не могли представить, что якобы в самом авторитарном режиме мира мог произойти не просто пе-

реворот, а переворот к свободе, демократии. Читая тогдашнюю прессу, комментарии, можно сделать вывод, что перемены в России, внезапное падение царской власти оказались шоком для венгерского общества уже весной 1917 г.⁶ Это ощущение, что даже «у русских» произошла революция, и пал якобы непоколебимый царский режим, на мой взгляд, играло важную роль в тогдашней политической атмосфере Венгрии (а в международной жизни усиливался тот постулат, который был выдвинут американским президентом Вудро Вильсоном, что война между Антантой и Центральными державами, это есть борьба демократии с авторитаризмом).

Уже 8-го апреля 1917 г. (когда Ленин был еще в Швейцарии) премьер Венгрии Иштван Тиса издал секретный циркуляр, в котором попросил ишпанов обратить внимание на возможные революционные настроения в связи с российскими событиями.⁷

Германия, как известно, поддерживала российских большевиков⁸ (хотя, конечно, только факт германской поддержки не объясняет их успеха), в то время как молодой австрийский кайзер Карл уже весной 1917 г. предостерегал немцев от этой политики: он полагал, что возможные революционные волны как бумеранг будут бить обратно по самой Германии и Австрии.⁹

После того, как большевики пришли к власти в России, левые венгерские силы открыто приветствовали эти перемены. Например, журналист Йозеф Погань (позже в 1919 г. нарком Венгерской Советской Республики) уже 9-го ноября, то есть практически сразу приветствовал большевистский переворот на страницах социал-демократической газеты *Népszava*. В это время в венгерской общественности резко возрос интерес к России. Россия тогда для многих т.н. «прогрессивных» деятелей считалась предметом подражания. Например «Кружок Галилея», который играл важную роль в культурно-политической жизни Будапешта в последние годы войны, и считался эмблемой прогрессивного движения (во время Первой мировой войны они были пацифистами, призывали бросать оружие, но когда в марте 1919 г. пришли к власти коммунисты, они поддерживали диктатуру, и их пацифизм превратился в воинствующий милитаризм)¹⁰ организовал лекции по России. Этот «прогрессивный» кружок уже с начала 1918 года стоит фактически на ленинских позициях: призывает к гражданской войне, резне богатых, организует конспиративную группу для захвата власти (некоторых членов кружка арестуют в январе 1918 г., они будут выпущены осенью, после революции).¹¹ 25-го ноября 1917 г. в Будапеште, на митинге Социал-демократи-

ческой партии Венгрии участники приветствовали переход власти к большевикам в России. Дежо Бокани, один из руководителей СДПВ заявил, что мы подаем руку русским товарищам, потому что они доказали, что есть еще надежда для всего *человечества*.¹² Большевицкий переворот, таким образом, вдохновил многих, особенно левые силы в Венгрии. Интересно, что в венгерской прессе относительно много писали о большевиках, и даже нередко в позитивном духе. Например, в журнале венгерских евреев *Egyenlőség* (Равенство) восхищались Львом Троцким, как человеком, который приносит мир всему миру, и с удивлением отметили, что в России, «в стране погромов», у власти мог оказаться еврей.¹³ То, что военная цензура пропускала такие статьи, наверное, объясняется известной германской поддержкой большевиков. И хотя в декабре 1917 г. Рихард фон Кюльман, секретарь немецкого МИДа с восторгом отметил успехи германской внешней политики, в результате которой большевики могли прийти к власти¹⁴ (действительно, большевики весной 1918 г. заключили Брестский мир с Центральными Державами, фактически отдавая Прибалтику, Белоруссию, Украину); в конечном счете, более мудрыми и дальновидными оказались те опасения, которые еще весной 1917 года высказал австрийский кайзер и венгерский король Карл.

Безусловно, для Венгрии Брест-Литовский мир в марте 1918 г. имел огромное значение, прежде всего потому, что это мирное соглашение предусматривало возвращение военнопленных. Благодаря им, русская революция постепенно проникала и в Венгрию.

Читая новости, воспоминания и прочие материалы 1918 г., можно прийти к выводу, что в Венгрии судьбоносную роль играли военнопленные, вернувшиеся из России. Первый транш бывших военнопленных прибыл из Советской России уже в самом конце февраля. Венгерское правительство создало двухнедельный карантин для этих людей, опасаясь революционных явлений.¹⁵ У консервативного венгерского правительства действительно были причины для переживания, ибо эти люди, вернувшиеся из России, были «заражены» идеями свободы, равенства. Так писал об этом Арпад Пастор, журналист популярной газеты *Az Est* (Вечер) в начале марта 1918 г.:

Я говорил с сотнями людей, возвращающимися из России, но не нашел никакого следа, что их заставили там стать большевиками. Они вообще не употребляют слово большевик, для них современное состояние России, это слобода, как они говорят. Там есть слобода. То есть свобода.¹⁶

О решающей роли бывших военнопленных в Венгрии в 1918 г. красноречиво писал Дюла Ийеш, в своем романе по автобиографическим мотивам *Kora tavasz* («Ранняя весна», на мой взгляд, одно из лучших произведений венгерской прозы XX в.). По его описанию, так выглядела ситуация в венгерской провинции, в деревнях:

Меня удивило, когда однажды утром взрослые стали возвращаться в свои дома. Эти бородатые люди с недоверчивыми глазами как будто находились на фронте, будто они готовились какую-то территорию захватить. Люди, оставшиеся дома, опасались их.

Но рубежи деревни как бы расширились. Будто наша деревня поднялась в небо. Она облегчилась, быстрее дышала. [...]

Рубежи деревни вдруг достигали Камчатки. По ночам жители не закрывали двери в ожидании долгожданных гостей из Красноярска [...]

Казалось, вернувшихся стало больше, чем когда они ушли. Они занимали больше места. Они заполняли комнату, воздух стал от них тяжелее даже тогда, когда они молчали.

Наш край стал диким. Диким или свободным? За одну неделю наш край вернулся на тысячелетие назад... [...] сопредельные земли стали свободными как во время обретения родины, по крайней мере, в глазах крестьян.¹⁷

И эти люди возвращались в Венгрию толпами, сотнями, тысячами. И это были люди, которые считали себя свободными и героями, которые считали, что это общество должно им. Так писал венгерский либеральный политик Оскар Яси о моральном состоянии этих людей:

...если солдаты вернутся из полужверской жизни траншей, и увидят своих измученных, голодных, больных, нищих родственников, изменявших им жен, когда увидят малышей, зачатых чужими мужчинами, тогда здесь произойдет апокалипсис. Эти озверевшие существа выбьют нас из наших квартир, они лягут на наши постели, сожрут наши продукты, они станут носить нашу одежду. И мы даже не можем сказать, что они не правы.¹⁸

И это действительно произошло так. Тот, кто читает венгерскую прессу с весны 1918 г., увидит настоящую криминальную хронику. Возвращающиеся из России солдаты, несмотря на двухнедельный карантин, деморализовали армию, они и примкнувшие к ним дезертиры, собирались в банды, скапливающиеся в больших городах, особенно в Будапеште, где к осени уже бродили 50 тысяч бывших или беглых солдат¹⁹ но и в провинциях тоже, на болотах,

лесах, горах группы солдат, не желавших больше воевать в этой, на их взгляд несправедливой и бессмысленной войне (есть свидетельства и о том, что солдаты, вернувшиеся из России, если их снова отправляли на фронт, были самые ненадежные, бунтующие).²⁰ Они убивали своих неверных жен, их любовников, воровали, грабили, «брали» все, что им хотелось. Ситуация стала такой серьёзной, что в Венгрии фактически к лету прекратилась монополия государства на насилие. И где прекращается монополия государства на насилие – это неизбежная, закономерная смерть государства. Именно это и случилось в Венгрии в 1918 г.

Возможно, что Ленин и большевистское руководство заранее осознало последствия возвращения толп бывших военнопленных в Центральные Державы. Не подлежит сомнению, что сознательные большевики на самом деле подогревали огонь революции. Например, 18 апреля 1918 г. Комиссия венгерских военнопленных в России издала воззвание, в котором призывала солдат, чтобы они дома устроили вооруженное восстание.

С оружием в руках, с ненавистью в сердцах, восстаньте! Уничтожьте все, что на пути вашей свободы. Только чуть маленький революционный толчок, и все будет принадлежать вам. Земля будет ваша, заводы будут ваши, вас ждет благополучие, счастье, мир. Но для этого неизбежно насилие, вооруженное восстание, –

говорится в воззвании.²¹ По сути дела, лидер венгерских коммунистов, Бела Кун дал правильный анализ в своей статье в *Правде* 13-го июля, когда писал, что гибель Австро-Венгрии неизбежна из-за возвращающихся из России военнопленных...²²

Старый режим в Венгрии действительно рухнул, в октябре, в Будапеште произошла революция (хотя передача власти 31-го октября в руки Венгерского Национального Совета, созданного 25-го октября 1918 г., прошла не без элементов конспирации...).²³ К власти пришло прозападное «социал-либеральное» правительство графа Михая Каройи. В условиях полной политической свободы в ноябре в Будапеште была создана Коммунистическая Партия Венгрии (еще ранее, в Москве, в гостинице «Дрезден» также была создана Партия Коммунистов Венгрии. Члены партии обязались ехать в Венгрию, и там положить усилия для создания условий «международной революции»).²⁴ К весне следующего года, за 15 недель политика Михая Каройи потерпела поражение. Правительство Каройи, провозглашавшая политику пацифизма, не предприняло попытку защитить страну

от напавших на Венгрию чехословацких, румынских, сербских агрессоров, которые нарушая условия Белградского перемирия 13-го ноября 1918 г. захватывали новые и новые территории. Бездействие правительства, с одной стороны, подрывало то доверие, которое осенью действительно охватило новую власть и лично Каройи (а в феврале 1919 г. области Хевеш и Фейер практически открыто восстали против правительства Каройи); с другой стороны, политика пацифизма – по сути, сдача значительной территории страны – оказалась совершенно контрпродуктивной, и это сам Каройи признал. К весне 1919 г. вокруг Каройи «закончился воздух», его прижимали как правая, так и левая оппозиция. Советская Россия и коммунистические организации во главе с Белой Куном делали определенную конспиративную работу, чтобы подорвать позиции правительства Каройи. В январе 1919 г. венгерские коммунисты организовали безуспешное восстание в Шалготаряне, в феврале в Будапеште на митинге левых сил кто-то стрелял в толпу (провокация?), после чего начались стычки с полицией, руководство коммунистов было арестовано. Позже следствие установило, что венгерские коммунисты получали деньги от российского дипломатического представительства в Вене, и в Будапеште, в гостинице «Ройал» под видом «сотрудников Красного Креста» работала российская шпионская группа, которая помогала коммунистам (члены этой группы были выдворены из Венгрии в начале 1919 г.).²⁵

После того, как 20-го марта 1919 г. союзники снова потребовали унижительный территориальный уступок от Венгрии в пользу Румынии, Каройи ушел в отставку, к власти пришла коалиция социал-демократов и коммунистов, была создана Венгерская Социалистическая Республика, просуществовавшая 133 дня. В настоящее время в Венгрии преобладает идеологический, резко отрицательный подход к этому событию, забывая, однако, что тогда, в марте 1919 г. действительно многие в Венгрии ждали какое-то чудо от коммунистов: социальной справедливости, отечественной войны. Власть коммунистов сначала поддерживали не только левые радикалы, но лучшие представители венгерской интеллигенции: Бела Барток, Дюла Ийеш, Ласло Немет, Дежо Сабо, Шандор Марай, Михай Бабич, Жигмонд Мориц, Дюла Круди. Другое дело, что через пару недель все они разочаровались, и пришли к выводу, что эта не совсем та власть, которую они ждали, и несмотря на некоторые впечатляющие социальные реформы (например, бесплатный отдых для бедных детей), она использует неприемлемые методы, открытый террор против граждан-

ского населения, действует, возможно, на словах на благо народа, а на деле против воли народа, заставляя забыть о национальных традициях, унижая нацию (запрет венгерского национального флага, преследование религии и т.д.). К сожалению, негативная оценка венгерской советской республики часто приобретала антисемитский характер (сразу после падения власти венгерских коммунистов, а в августе 1919 г. в Будапеште началась серия еврейских погромов).

Это был первый случай в истории Венгрии, когда венгерские власти открыто смотрели на Москву, когда была попытка адаптировать «российскую модель управления» на восточноевропейской почве. И это тоже плод русской революции, хотя, эта попытка не была, и в данной политической, геополитической ситуации не могла быть успешной. Во-первых, Венгерская Советская Республика не была жизнеспособна в условиях международной изоляции. Во-вторых, политическая и экономическая программа венгерских коммунистов встретила сопротивление значительной части венгерского общества, особенно в вопросе о частной собственности на землю. В-третьих, политика террора, нетерпение к инакомыслию отталкивала даже тех, которые в начале поддерживали ее. А от реальных (военных) успехов, которые были достигнуты (против чехословаков) эта власть сама отказалась.

Примечания

¹ József főherceg, altábornagy, *A világháború amilyenek én láttam. VI. A katasztrófák útján a pusztulásba (A piavei csata)* (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1933), 670.

² GYÓNI GÁBOR, *A cári család kivégzésének magyar vonatkozásai.* – <http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=86&dir=&lang=h> (март, 2018.)

³ RÁKOSI MÁTYÁS, *Visszaemlékezések 1892–1925, I. kötet* (Budapest: Napvilág Kiadó, 2002), 249.

⁴ NÉMETH ISTVÁN, ред., *Az első világháború 1914–1918. Tanulmányok és dokumentumok* (Budapest: L'Harmattan, 2014), 422.

⁵ Нап., “Véres éhségzendülések Oroszországban”, *Pesti Hírlap* (12 марта, 1917).

⁶ ANDRÁSSY GYULA, *Diplomácia és világháború* (Budapest: Göncöl-Primusz, 1990), 159.

⁷ SZABÓ DÁNIEL, ред., *Az első világháború* (Budapest: Osiris Kiadó, 2009), 184–185.

⁸ NÉMETH, *Az első világháború 1914–1918*, 427.

- ⁹ NÉMETH ISTVÁN, *A Német Császárság 1871–1918. Összegzés és dokumentumok* (Budapest: L'Harmattan, 2009), 330.
- ¹⁰ “A Galileisták harci szózata”, *Pesti Napló* (22 апреля, 1919), 5.
- ¹¹ KELEN JOLÁN, *Eliramlik az élet...* (Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1976), 76.
- ¹² HAJDU TIBOR, *Közép-Európa forradalma 1917–1921* (Budapest: Gondolat, 1989), 60.
- ¹³ MAGYAR LAJOS, “Troczyk, orosz miniszterelnök”, *Egyenlőség* (17 ноября, 1917).
- ¹⁴ NÉMETH, *Az első világháború 1914–1918*, 61.
- ¹⁵ IVÁNYI EMMA, red., *Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából 1914-1918* (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960), 398.
- ¹⁶ PÁSZTOR, “A magyar fiúk és a ‘szloboda’”, *Az Est* (7 марта, 1918).
- ¹⁷ ILLYÉS GYULA, *Kora tavasz. Regény. Mint a darvak. Visszaemlékezések, rajzok* (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972), 89-90.
- ¹⁸ JÁSZI OSZKÁR, *Magyar kálvária – magyar föltámadás. Két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai* (Budapest: Magyar Hírlap könyvek, 1989).
- ¹⁹ “Sándor László elmondja, hogy miért tört ki a forradalom”, *Az Est* (26 августа, 1920).
- ²⁰ SZENTI TIBOR, *Parasztvallomások. Gazdák emlékezési Hódmezővásárhelyről* (Budapest: Századvég Kiadó, 2008).
- ²¹ JÓZSA ANTAL, KUKK GYÖRGYNÉ, MILEI GYÖRGY, OTTA ISTVÁN, VASS HENRIK, red., *A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista forradalomban és polgárháborúban (1917–1922). Dokumentumgyűjtemény* (Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1967), 154-156.
- ²² JÓZSA, KUKK, MILEI, OTTA, VASS, red., *A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista forradalomban*, 216.
- ²³ BÚS FEKETE LÁSZLÓ, *Katona forradalmárok* (1918), 11.
- ²⁴ KELEN, *Eliramlik az élet...* 123.
- ²⁵ Budapest Főváros Levéltára VII. 5/c 614 f. (Végzés az 1919. évi XI. t. cikkbe ütköző büntett miatt Kun Béla és társai ellen indított bűnügyben a m. államrendőrség főkapitánysága által); NAGY VINCE, *Októbertől októberig. Zilahy Lajos előszavával* (Budapest: Európa, História, 1991), 115-116.

FÓRIS ÁKOS

The Russian Prisoners of War in the Hungarian Soviet Republic

In my paper, I examine the role of the Russian prisoners of war during the 133 days of the Hungarian Soviet Republic. Today, historians generally agree that the question of the prisoners of war was closely connected with the revolutions in Eastern- and Central-Europe between 1917 and 1920.¹ Researchers of this topic usually deal with the prisoners of war returning from Russia, who became familiar with the ideology of the Russian Revolution and later formed the basis of the revolutionary movements in their homeland. Russian prisoners of war staying in the countries of the former Central Powers were examined with less attention, in spite of the fact that state authorities and revolutionary movements equally considered Russian prisoners the supporters of the revolution.

In this paper I examine this position that is to say, what we can know about the headcount and moral of the Russian Internationalists, and what kind of image created the former propaganda about the Russians being in Hungary.

To answer this question, we shall begin with taking a closer look at the problem of the Russian POWs in Hungary after the fall of Austria-Hungary. In October 1918 there were more than 300 000 Russian prisoners of war in the Hungarian part of the Austro-Hungarian Monarchy. Although the majority of these Russians returned home at the end of 1918, many of them were still in Hungary at the time of the proclamation of the Hungarian Soviet Republic. Many prisoners from the West stayed in Hungary due to traffic problems and the fact that the Romanians, Ukrainians and Czechs did not let the trains carrying them through. Other Russians fled to Hungary from the Romanian transit camps as they suffered mistreatment and feared the possibility of forced labour.

Moreover, the Bolshevik government had connections with the Russian POWs in Hungary. In August 1918, a Soviet-Russian Committee arrived to Vienna in order to assist the prisoners' return. This Mission had two other functions: they had to organise Bolshevik propaganda and establish the first and only international relation of the isolated Soviet-Russia. Jakob Bermann established the Budapest Group of this committee during the Aster Republic. Although the Károlyi-government appreciated the activity of the Soviet Red Cross Mission in a declaration at the end November 1918, the members of the Mission were arrested under the pressure of the Entente Committee on 7 January 1919. As a reply, the Russian government arrested the Prisoners of War Mission in Moscow, therefore the members of the Russian Mission in Vienna were set free and sent home in early March, but the members of the Mission in Budapest were held captive in Szeged until the declaration of the Soviet Republic. In addition, Russians also took part in the Labour Movement in Hungary before March 1919.²

After the proclamation of the Hungarian Soviet Republic, the new government changed its policy towards Russians. The Hungarian Soviet Republic regarded the former prisoners of war as their allies due to the Russian Revolution. The foundation of a Russian and a Ukrainian newspaper was permitted, and a Russian Club was established.³ The constitution of the Hungarian Soviet Republic declared, that the Soviet Republic grants the same rights to foreign proletarians that Hungarian proletarians alike.⁴ After 21 March, the Hungarian government established the leading organ of 15 national groups, the Internationalist Socialist Federation of Hungary.⁵

G.V. Chicherin, the People's Commissar for Foreign Affairs appealed to the former Russian POWs from Hungary on 24 March 1919. In his declaration, he asked the Russians in Hungary to support the Hungarian Soviet Republic and to join the Hungarian Red Army.⁶ On 26 March, "all class-conscious Russian proletarians" were called to participate in a meeting in Budapest.⁷ In Zalaegerszeg "the Russians declared that they felt bound to support the Soviet Republic", and 20 former prisoners of war joined the Red Army on 28 March.⁸ The Budapest Group of the (All-)Russian Communist Party called a Russian meeting in support of the Hungarian Soviet Republic in Gólyavár on 30 March.⁹ The People's Commissariat for Military issued an order to call upon "the former enemy prisoners of war" to join the Red Army on 31 March.¹⁰ The first document from the order of battle of the Internationalist units was published on 6 April. According to this the Internationalist units were divided into 3

regiments, the Russians¹¹ served in the I Battalion of the 1st International Regiment.¹²

Firstly, the I Russian Battalion fought against Romanian units from 16 to 27 April in Transtisza. Because the unit suffered significant casualties, it had to be reorganised. After its reorganisation, the battalion was assigned to the 1st Internationalist Regiment of Budapest, then to the 26th Regiment.¹³ As part of the 80th Brigade, these troops fought on the Ipoly-front from the second half of May to the beginning of June and took part in the advance to Losonc. After the retreat from Upper Hungary, the government put the Russians against the Romanians in July. On 24 July, the Romanian attack annihilated the International Battalions.¹⁴

Besides the regular forces, the former prisoners of war were recruited into the paramilitary forces of the Soviet Republic, took part in the reprisals of the Communist regime. A number of former Russian prisoners of war were members of the “Lenin Boys”¹⁵ and József Cserny’s detachment.¹⁶

Nevertheless, not only the Hungarian Soviet Republic wanted to recruit Russians. The Ukrainian Soviet Socialist Republic sent two Ukrainian recruiting officers (Eftinov Grigory, Jukelsohn Isay) to Hungary in May to organize an armed force from the “Russians” staying in Hungary. They intervened in the Hungarian political life and conspired against Béla Kun and the leadership of the Hungarian Soviet Republic. The exact details of this conspiracy are unknown, we do not know, for example, if these officers had relations with any Ukrainian or Russian authorities. However, the sources agree that their aims were the radicalization of the revolution with the removal of social democratic politicians. After the exposure of the conspiracy, Béla Kun had the two officers executed on 19 June.¹⁷

We have no precise information about the number of the Russians serving in the Red Army. Although Antal Józsa counted 1200–1500 soldiers, the historian did not support this estimate with sources and could identify only 29 names.¹⁸ We have only sporadic dates about the headcount of the Russian Battalion.¹⁹ Unfortunately, we do not know the number of the former Russian prisoners in the Hungarian Soviet Republic. Our first data after the end of war are from 1920. At this time, 671 Russian prisoners of war were in Hungary,²⁰ but more than half of them had no intent to return to Soviet-Russia, therefore they probably did not support the Soviet authority.²¹ According to the Hungarian authorities, approximately 150 Russians went to Austria in the last day of the Soviet Republic, or in August.²²

The military documents and press-matter of the Hungarian Soviet Republic usually did not contain data concerning the nationalities of the soldiers, who served in the International units. That brings up a very important question, as the meaning of “Russian prisoner” is not clear in this period. This phrase could equally mean either the Russians in Hungarian captivity or the Hungarians in Russian captivity. The former Hungarian prisoners, who learned Russian during the years of captivity and probably served in the Russian Red Army, were often called “Russian”.

The Revolutionary Governing Council recruited into the 1st International Red Regiment in Budapest the Hungarians returning from Russian captivity on 23 March 1919,²³ who were assigned in the II Battalion, 1st International Regiment, and – after the reorganization of the International units in the end of May – in the III/26 Battalion.²⁴ Although both orders of battle distinguish the Russians and the Hungarian from Russia, the II/26 Battalion of the 1st Brigade was organized from Russians and the former Hungarian prisoners of war.²⁵

The People's Commissariat for Military had already recruited Ukrainian, Ruthenian und Russian-speaking officers and non-commissioned officers in the middle of April.²⁶ Although the People's Commissariat for Military forbid the International Regiments to recruit Hungarians and Seklers on 26 May,²⁷ the 3rd Division had already asked for former Hungarian prisoner of war officers for the I International Russian Battalion on 2 June.²⁸ Therefore, a decree of the People's Commissariat on 8 June issued an order to recruit Russian-speaking former Hungarian prisoners to the Russian units.²⁹ Therefore Hungarians also served in the Russian units.

These facts have relevance from the viewpoint of propaganda. The recruitment of Russians to the Hungarian Red Army had two propaganda functions. Firstly, it showed the solidarity between the Soviet-Russia and the Hungarian Soviet Republic. The Russian Bolsheviks recruited Hungarian prisoners of war to the Red Army since 1918, therefore the Hungarian state recruited Russians. The part of the representation was, that the Russian and the former Hungarian prisoners of war from Russia served in different battalions, but in the same regiment, and the period press brought the common Russian-Hungarian character of the regiment into prominence. Secondly, the International Military Units of the Hungarian Soviet Republic represented – borrowing a phrase from József Pogány – “internationalism becoming reality”.³⁰ The parade on 7 April,³¹ which members of American and English Military Missions and foreign journalists attended, had an important part in the identity of the International units.³²

It is hard to determine the motivations of the Russian joining the Hungarian Red Army. The narratives about the Russians' motivations were born only after the fall of the Hungarian Soviet Republic. We have to count in the fact that the Russians' accounts about their motivations adapted to their actual situation. During the trials against the members of the Soviet Republic in 1919–1920, they underlined their existential motives.³³ After their return to Soviet-Russia, or following the Second World War, the former Russian red soldiers inserted their stories into the official narrative of the state-socialist state.³⁴

The former relevant literature dealt with the Russians, who didn't want to serve in the Hungarian Red Army. The People's Commissariat for Military was well aware of the fact that some Russians did not want to fight in the Red Army. The People's Commissariat for Military ordered on 31 March, that the "former enemy prisoners of war", who don't do "productive work"³⁵ and don't want serve in the Red Army, have to be transported to a prisoners of war camp in Csót, where they have to participate in re-educational propaganda, than be released.³⁶ This order was forwarded to the Foreign Office in connection with the procedure with the former Russian prisoners of war. The regulations of this order were changed in case of the Russians, because they had to work on cooperative farms until their release to Russia.³⁷ In spite of the decree, the Directory of the Pest-Pilis-Solt-Kiskun County complained about the rambling Russian former prisoners of war.³⁸ The military service of foreign citizens was found desirable,³⁹ but Béla Kun had to issue an order against the forced recruitment of foreigners at the end of April.⁴⁰

As a closure of my paper, I would like to describe the fall of these units after the Hungarian Soviet Republic. The new state authority ordered to disband the Red Army and to deport non-Hungarian soldiers to the camp at Csót.⁴¹ The Hungarian and Romanian authorities regarded the former prisoners of war as communists or even "red terrorists".⁴² Based on the criminal procedure of the Prosecutor of Budapest the authorities arrested the Russians only because of their nationality.⁴³ The most significant trial against Russians dealt with the case of the two executed Ukrainian officers in Budapest, 1919–1920.⁴⁴ On the other hand, the Hungarian government sent home the former Russian prisoners of war by 1922. Soviet-Russia regarded the captured Hungarian officers as hostages, because the Hungarian counter-revolutionary regime took proceedings against the leaders of the Hungarian Soviet Republic and Hungarians held the former Russian prisoners of war captive. After the agreement of Riga, the two states exchanged the Hungarian officers for the Russians and the communist politicians.⁴⁵

Notes

¹ HANS LEIDINGER, VERENA MORITZ, *Gefangenschaft, Revolution, Heimkehr: die Bedeutung der Kriegsgefangenenproblematik für die Geschichte des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa 1917–1920* (Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2003).

² These studies offer a survey of the question of Russian prisoners of war during the existence of the Hungarian People's Republic: LJUDMILLA CSIZSOVA, JÓZSA ANTAL, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért* (Budapest: Kossuth Kiadó, 1973), 16-22; FÓRIS ÁKOS, "Orosz hadifoglyok Magyarországon 1918 végén", in *Világháború, világforradalom, világbéke*, ed. KATKÓ MÁRTON ÁRON, MÉSZÁROS ZSÓFIA, KRAUSZ TAMÁS (Budapest: ELTE Kelet-Európa Története Tanszék, 2017), 57-72; FÓRIS ÁKOS, "Orosz hadifoglyok Magyarországon 1919 januárjától a Tanácsköztársaság kikiáltásáig", in *Kelet-európai sorsfordulók. Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére*, ed. JUHÁSZ JÓZSEF (Budapest: L'Harmattan, 2016), 224-232.; JÓZSA ANTAL, "Orosz hadifoglyok Magyarországon 1917–1919", in *Magyar internacionalisták Szibériában és a Távol-Keleten 1917–1922*, ed. PACH ZSIGMOND PÁL, A.P. OKLADNYIKOV (Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1978), 254-260.

³ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 27; KÖVÁGÓ LÁSZLÓ, *Internacionalisták a Tanácsköztársaságért* (Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1969), 119.

⁴ MDP KV Párttörténeti Intézet ed., *A magyar munkásmozgalom válogatott dokumentumai*, vol. 6/B (Budapest: Kossuth Kiadó, 1960), 215.

⁵ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 249-250; KÖVÁGÓ, *Internacionalisták a Tanácsköztársaságért*, 51.

⁶ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 201-205.

⁷ KÖVÁGÓ, *Internacionalisták a Tanácsköztársaságért*, 207.

⁸ Hadtörténelmi Levéltár / Military History Archives, Budapest (hereafter: HL) Magyar Tanácsköztársaság Gyűjtemény / The Collection of the Hungarian Soviet Republic (hereafter: MTK) 6/4 The summaries of the country press reports from the recruiting.

⁹ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 20-214.

¹⁰ HL MTK 33/83 7369.sz. / eln.54.-1919. 31. March 1919.

¹¹ According to Zoltán Szántó's (political commissar of the 1. International Regiment) memoirs, the quarter of the battalion were Poles, who served in the Imperial Russian Army. In: CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 267.

¹² HETÉS TIBOR, *A 80. nemzetközi dandár* (Budapest: Zrínyi Kiadó, 1963), 43-44.

¹³ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 237-240.

¹⁴ HETÉS, *A 80. nemzetközi dandár*; TIBOR HETÉS, "A Magyar Vörös Hadsereg nemzetközi alakulatairól", *Hadtörténelmi Közlemények* 26/1 (1979).

¹⁵ The Lenin Boys' most important Russian member was Maxim Jablonsky. In: Budapest Főváros Levéltára/Budapest City Archive (hereafter: BFL) Criminal suits of the Royal Budapest Court VII.5.c. B. Kgy. 10082/1919.

¹⁶ The Royal Budapest Court sentenced Boris Grünblatt, “Cserny-terrorist” of Russian birth to 15 years in year, because he took part in the execution of a counter-revolutionary army officer in Püspökladány on 19 April 1919. In: VÁRI ALBERT, 108-109; BFL VII.5.c 8953/1919.

¹⁷ The Royal Budapest Court examined the circumstances of the murders after the Soviet Republic: BFL VII.5.c. B. Kgy. 10082/1919.; BÖHM VILMOS, *Két forradalom tüzében. Októberi forradalom – Proletárdiktatúra – Ellenforradalom* (Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1923), 393-394; BORSÁNYI GYÖRGY, *Kun Béla: Politikai életrajz* (Budapest: Kossuth Kiadó, 1979), 188-189; HAJDU TIBOR, *A Magyarországi Tanácsköztársaság* (Budapest: Kossuth Kiadó, 1969), 439.

¹⁸ JÓZSA, *Orosz hadifoglyok Magyarországon*, 264.

¹⁹ According to the reports of the 22nd and the 26th of April the strength of the I Battalion was 364 soldiers. 742 Russians and Poles served in the I Battalion on the 22nd of May, and the scouts and machine-gunners were Russians in the II Battalion, in which Poles, Serbs, Germans and Romanians served. In: HL MTK Box 6, Reports about recruitment; CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 33; HETÉS, A 80. *nemzetközi dandár*, 82.

²⁰ According to Litvinov, there were around 15000 former POW in Hungary. After the agreement of Copenhagen Radek wrote to Chicherin about 800 Russians. In: KOLONTÁRI ATTILA, *Magyar-szovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok. 1920–1941* (Budapest: Napvilág Kiadó, 2009), 15-16.

²¹ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár / National Archives of Hungary, Budapest (hereafter: MNL OL) Prisoner of War Department of Foreign Office K 73. 20. csomó / document bundle (hereafter: cs.) 89. tétel / items (hereafter: t.) 7-8. (6835/1920. Report from the interned Communists and Russian prisoners of war).

²² MNL OL K 73. 20. cs. 89. t. 25. (51375 The Department of Prisoners of War of the Foreign Office; 2192/hdf.sz. The letter of the liaison officer of Wien to the Department of Prisoners of War of the Foreign Office, 18 December 1919).

²³ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 200-201.

²⁴ HETÉS, A 80. *nemzetközi dandár*, 80.

²⁵ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 240.

²⁶ *Vörös Újság* (15 April 1919), 2.

²⁷ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 237-239.

²⁸ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 244-245.

²⁹ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 248.

³⁰ CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 211; According to Tamás Révész’s research the “world revolution” (and not nationalism) was the most common theme in leaflets of the propaganda of the Hungarian Soviet Republic. In RÉVÉSZ TAMÁS, “Vörös katonák előre? A Tanácsköztársaság toborzó propagandája a

röplapok tükrében”, in *Veritas Évkönyv 2014*, ed. UJVÁRY GÁBOR (Budapest: Magyar Napló, 2015), 125-142.

³¹ Likewise, the national sections (including the Russian section too) of the Internationalist Socialist Federation of Hungary went together on the parade of 1 May.

³² CSIZSOVA, JÓZSA, *Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért*, 220-225; The “Red Report” (Vörös Riport), the news reel of the Hungarian Soviet Republic dealt with the recruitment of Russians in the Buda Castle. In: *Red Report Film 2.* (April 1919). – <http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5232> (February, 2018)

³³ For example, Jablonszky Maxim, one of the members of the Lenin Boys, gave the reason for joining the International Red Regiment, that he did not have the means for living and got the ration card in the Army.

³⁴ This viewpoint is typical of the memoirs in the Special Collection of the Hungarian Soviet Republic of the Hungarian Military Archive. See: HL MTK 130/42, Vladimír Urasov’s memoir. Short for this memoir: VLADIMÍR URASOV, “Az orosz forradalmárok segítőnek”, in *Nagy idők tanúi emlékeznek: 1918–1919*, ed. LÁNYI ERNŐNÉ (Budapest: Kossuth Kiadó, 1958), 31-43.

³⁵ The unemployed Russians were previously the problem of Hungarian authorities. See: FÓRIS, “Orosz hadifoglyok Magyarországon 1919 januárjától a Tanácsköztársaság kikiáltásáig”, 227-228.

³⁶ HL MTK 33/83 7369.sz./eln.54.-1919. 31. March 1919.

³⁷ MNL OL K 73. 20. cs. 89. t. 1920. 18-19 (People’s Commissariat for Military 112611/54.-1919. Procedure with the former Russian prisoners of war, 21 May 1919).

³⁸ Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltár / The National Archives Pest County Archives, Budapest, the sub-prefect of Pest-Pilis-Solt-Kiskun County IV.408.b 24744/1919 – Joining the Red Army in the territories of the Hungarian Soviet Republic.

³⁹ The People’s Commissariat for Military gave permission to recruit foreign citizens on 19 April. in: *Vörös Katona* (20 April 1919), 2.

⁴⁰ *Vörös Újság* (25 April 1919), 7.

⁴¹ K 73. 20. cs. 89. t. 34–35. (1919/89/50904 – HM 236762.sz./54.-1919. Procedure with former Russian prisoners of war and internees. 15 September 1919).

⁴² For instance, Hungarian police officers arrested some Russians on 20 March 1920, because the Russian song, what they singed, was similar to the Internationale. In: BFL Documents of the Royal Prosecutor’s Office VII.18.d. 13/6536-1920. 10-11. (The report of the Hungarian Royal Police of Budapest, 22 May 1920).

⁴³ E.g. BFL VII.18.d 13/1582-1919; 13/1583-1919.

⁴⁴ BFL VII.5.c. B. Kgy. 10082/1919.

⁴⁵ KOLONTÁRI, *Magyar-szovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok*, 13-55; PETRÁK KATALIN, *Emberi sorsok a 20. században: Magyar hadifoglyok és emigránsok a Szovjetunióban a két világháború között* (Budapest: Napvilág Kiadó, 2012), 105-128.

BRIGIT FARLEY

The Russian Expeditionary Force on the Landscape of Great War Commemoration in France, 1917–2017

In February 1917, the Tsarist regime in Russia fell, victim of the terrible strains of the First World War. This event had serious consequences far beyond Russia, as it cast serious doubt on Russia's continued participation in the war on the side of Britain and France. But the fall of the 305-year-old Romanov dynasty hit the soldiers of the Russian Expeditionary Force in France particularly hard. The REF consisted of two brigades of Russian soldiers sent to France as part of a Franco-Russian deal: the REF was to shore up French defenses after two years of dreadful losses in the French Army, while France shipped much-needed munitions and weaponry east to Russia.¹ For a few months, REF members trained and fought in the Marne Valley with few problems, but events in 1917 would prove fatal to their mission. Following Tsar Nicholas II's abdication in March and the REF's participation in the disastrous and deadly Nivelle offensive of April 1917, some Russian soldiers refused to continue fighting the war and announced they wished to return to Russia.² French military officials, who were dealing with disorders in their own ranks, removed the entire REF to central France, far behind the lines.³ Soldiers faced an ultimatum from the French government: go back to the front under closely controlled conditions, take a non-military job behind the lines or go to hard labor in North Africa.⁴

Like this first Russian revolution and the second that followed in October, these events on the western front were extremely controversial in 1917 and 1918, and they have continued to bring forth passionate reactions to this day. The details and physical geography of the REF's ordeal

are relatively well known a hundred years later, having become the subject of several excellent monographs by Jamie Cockfield, Rémi Adam and others. One question that remains to be answered, for this conference and students of the Great War generally, concerns the geography of memory. How is the REF commemorated in France, where these fraught events took place? Who is remembered, and has this changed in the decades since the end of the Great War? If so, how and where?

The oldest monument to the Russian Expeditionary force in France is the most elaborate. The Union of Russian Officers and Participants in the War on the French Front (whose relatives and friends eventually formed the Association of Russian Veterans of the French Front, now the Russian Expeditionary Force in France Memorial Association), in the main officers who remained loyal to pre-Bolshevik Russia and the Allied cause to the end of the war, were determined early that their fallen comrades would have a place of honor. "Great Russia may be no more," one of their representatives wrote in 1918, "but the graves of these warriors represent evidence that the spirit of the Russian people lives on and knows no physical boundaries".⁵ In the Marne Valley, a cemetery eventually known as St. Hilaire-le-Grand became the final resting place of about 1000 REF members – including many who had joined the Russian Legion, a unit that distinguished itself in battle for the Allies in 1918.⁶ The cemetery is located on hallowed ground. Nicholas II came there to review French troops in 1896 in connection with the Franco-Russian alliance that the two nations had forged after Wilhelm II's Germany had let lapse its formal relationship with Russia.⁷ After the REF had arrived in France, moreover, members of the 2nd regiment, 1st brigade, built a small monument nearby to their comrades who had been killed in some of the REF's first action. The inscription reads, "Children of France! When the enemy is defeated and you can calmly pick flowers in these fields, remember us, your Russian friends, and bring us some flowers".⁸

In the mid-1930s, the Association of Russian Veterans of the French Front received permission from the French government for the construction of a memorial chapel beside the cemetery.⁹ They planned to finance it through a subscription drive. The famed composer Sergei Vasilievich Rakhmaninov became its major contributor, responsible for almost one third of the funding; the architect was Aleksandr Benoit, one of the brightest lights of the world of Russian art and design. It is appropriately named the Church of the Resurrection and seeks to pay tribute to Russian soldiers killed in action in France as well as on the Salonika front, where the two other brigades that made up the Russian Expedi-

tionary Force went to fight. The chapel was dedicated on May 16, 1937, in the presence of French officials, veterans of the REF and representatives of the Russian émigré community in France.¹⁰

Benoit constructed the chapel in a style reminiscent of Novgorod and Pskov, likely because that period of architecture represented a link between the first Russian capital, Kiev, and its future capital, Moscow. The frescoes and icons also recall the 15th century. On the walls hang the coats of arms of Moscow, Kiev, Vladimir-Suzdal and Novgorod, representing the regions from which most REF soldiers came. The inscription above the iconostasis reads, “Greater Love Hath No Man Than to Lay Down His Life For His Friends.” There is a memorial plaque as well in the church’s interior, honoring the memory of the men who fought and died “on the field of honor in France” as well as the armies of the East, on the Salonika front.¹¹ The chapel and cemetery proved to be emotional and evocative for those who visited. An individual well acquainted with the memorial and men commemorated in it left this lyrical reminiscence of a visit in the 1950s: “In the summer, when the sun pierces a thick cloud cover and a warm wind rustles the grass, our Russian cemetery and brightly shining Church of the Resurrection come into view, the church’s white walls bearing this simple inscription: ‘in memory of the Russian soldiers who fell on the field of honor for France.’ When you see the graves of our dear ones, covered in grass and flowers with butterflies flitting about, the scene can seem to a Russian soul a vision of our distant, beloved Motherland”.¹²

Relatives and friends of those commemorated in the cemetery and chapel saw to it that the site became an ongoing and active memorial. An account of a visit to St. Hilaire-le-Grand in the papers of General Mikhail Dmitrievich Nechvolodov serves as a preview of what was to come: “I will come back, I will come back, but not alone,” the author vowed. “I will return with my comrades, and we will pay fitting tribute: with banners, flags and soldiers’ songs. Our songs will be heard far and wide beneath the stars of Champagne. Our tents will stand beneath the Russian pine trees. Our flags and banners will be lowered to honor our Russian dead”.¹³ Indeed, friends and relatives have returned to St. Hilaire-le-Grand to remember and honor the REF dead. Each year, the Russian Expeditionary Force in France Memorial Association organizes a pilgrimage to the cemetery and chapel for a service of remembrance on Pentecost Sunday.¹⁴ The 2017 ceremony would include an REF member buried in the cemetery barely three months prior. In January 2017, a French researcher unearthed the body of a Russian soldier near Cormicy,

in the Marne Valley, an area where Russian troops saw action in 1916–17.¹⁵ This individual, like so many others whose remains were discovered decades later, could not be identified – a uniform button with faintly discernible Cyrillic lettering was among the few clues. But there was no doubt that he would be honored with burial in St. Hilaire-le-Grand, because he had obviously been killed in action. This was a Russian soldier loyal to pre-Bolshevik Russia and its ally, France.

For many years, the cemetery and chapel represented the only commemoration of the Russian Expeditionary Force in France. But this began to change in the 21st century, with the dedication of a monument at Fort de la Pompelle, near the city of Reims. The honorees were those REF members who defended that city and the Champagne region from the Germans in 1916–1917. A joint French-Russian initiative, the monument was dedicated in September 2010.¹⁶ In June 2011, Russian President Vladimir Vladimirovich Putin added to the landscape of REF commemoration when he traveled to France on a state visit and presented the French government with a monument to the REF. It is appropriately situated near the Alexander III bridge in Paris, which recalls the Franco-Russian alliance that made the Russian Expeditionary Force possible. The work of prominent Russian sculptor Vladimir Aleksandrovich Surovtsev, it declines to take sides in the REF controversy, depicting a rank-and-file Russian soldier with his horse, gazing into the distance.¹⁷ In an interview marking the monument's dedication, Surovtsev confirmed this appraisal, declaring that he wanted to evoke the calm before the storm, the first moments of the REF in France: "Everything still lies ahead. They have just arrived in France. Loyal to the alliance, to their oaths of allegiance and their military duty, they will go into battle some time later. Meanwhile, they take a moment to pause in this peaceful scene".¹⁸ In his dedication speech, Putin similarly avoided the REF's controversial fate after May 1917: "When revolutionary events began brewing in Russia", he declared, "the Soldiers' Committees of the Russian Army convened to decide whether or not they would continue fighting the war. They decided to stay and fight. Many were killed. When I think about that night, I, for one, am filled with pride for these Russian soldiers. They truly earned the respect of their French comrades-in-arms".¹⁹ The Russian leader told an incomplete story. It is true that the REF Soldiers' Committees – formed in response to the February Revolution – decided in late March that they would fight for the Allies. However, they took this decision well before the Nivelle offensive of mid-April 1917, which proved to be the catalyst for serious disorders in the

French ranks and the outright refusal of some REF soldiers to fight on. While many REF members remained committed to the war, the bloody Nivelle disaster seems to have confirmed to the more radically inclined that this was a rich man's war in which the poor were destined to fight and die in huge numbers.²⁰

As the centennial of the REF's mission in France approached, a fourth monument appeared on the French landscape. It is located in the cemetery near the camp at La Courtine, in the central French department of Creuse, where the rebels – those who had refused to fight on with the Allies after the Nivelle offensive – were interned in June 1917. The authors of this tribute, France's National Federation of Free Thinkers, have always viewed with skepticism all religious, political or philosophical dogma and are well known for their antiwar views.²¹ For many years, its members have worked to restore the reputation of the 650 French soldiers from the First World War who were executed for desertion or refusal to fight, much like their counterparts in Britain, who doggedly pursued the exoneration of British soldiers "shot at dawn." It was not surprising, therefore, that the Free Thinkers of the Creuse would take up the cause of the Russian rebels who had been interned nearby.²² In their view, the rebels represented the real heroes of the REF's dramatic time in France, not the soldiers who wished to continue to fight. Like French socialist leader Jean Jaurès, the Russian rebels rejected war and paid the ultimate price—imprisonment, exile and/or death, in the violent liquidation of the La Courtine camp that took place in September 1917.²³

Shortly after the 80th anniversary of the REF's ordeal in 1997, the La Courtine Free Thinkers began to contemplate a memorial to the rebels, to be placed in the cemetery where several of them are buried. They launched a subscription drive in the early 2000s to finance the project, achieving success a few years before the centennial of the REF's arrival in France. Dedicated in September 2012, the monument took the form of a plaque inside the La Courtine cemetery. At the dedication ceremony, where local Free Thinkers with banners calling for the exoneration of French soldiers "shot as an example" in the Great War mingled with descendants of the rebels, a rebel grandson unveiled a bronze plaque. On it, men wave their arms and weapons, hoisting banners to the sky, with the motto in Cyrillic script, "*Doloi voinu* (Down with war)" clearly visible. Placed just below the plaque, an inscription reads, "To the memory of the 10, 300 Russian soldiers of the First Brigade, interned in the La Courtine camp from 26 June to 19 September 1917. Those who had rebelled against continuing the war and demanded repatriation to revolu-

tionary Russia were repressed here by military force”.²⁴ The Russian rebels now have their own memorial, honoring their decision to quit the war, not far from where they were imprisoned and where some were killed.

The Russian Expeditionary Force was removed from the front lines of the Great War 100 years ago, beginning a long and often tortuous journey for all its members. Some would remain in France for the rest of their lives; others undertook the long journey back to what was becoming the Soviet Union. The fundamental details of their ordeal are fixed and unchanging. But these three monuments demonstrate that the landscape of memory, the sites and monuments established in tribute to these soldiers and the decisions they took in a fraught series of events, has evolved and changed quite a lot since the end of the first global conflict 100 years ago.

Notes

¹ Details on the origins of this episode in Franco-Russian history in JAMIE COCKFIELD, *With Snow on their boots: The tragic odyssey of the Russian Expeditionary Force in France during World War I* (New York: St. Martin's Press, 1999), 18-22.

² Private Artem Vavilov, who was among the rebel soldiers, left a memoir in which he describes a tense confrontation between soldiers who refused to continue in the war and their officers: “Meanwhile, a serious conflict developed between us and with our officers, when they tried to force us to submit to their authority. Officers wanted us to dance to their tune again, trick us going back to war. They ordered us to assemble for a meeting and parade. The brigade formed up in expectation of just that, a meeting and parade. Our officers decided to play along with us. First, we had to listen to a series of long speeches. At the conclusion of his remarks, General Lokhvitskii declared that it was imperative that we swear an oath of allegiance to the Provisional Government, submit to its authority and obey all its commands. However, he was not able to finish his speech. Some comrades interrupted him, trying to convince the soldiers to refuse to take the oath. Almost everyone objected to serving the Provisional Government. Then the general decided to take a different tack. He said, “Whoever wishes to take the oath of allegiance to the Provisional Government should remain in place. Those who do not may leave.” What happened? Only officers and officers’ lackeys remained. That was the first step towards a total rejection of the Provisional Government’s authority”, АРТЕМ ВАВИЛОВ, *Записки солдата Вавилова* (Москва: Государственное издательство, 1927), 32.

³ French reaction to Russian soldiers’ refusal to fight is recounted in «Русские солдаты на западном фронте в мировую войну», *Красный Архив* 44 (1930–1931), 155.

⁴ RÉMI ADAM, *Histoire des soldats russes en France, 1915–1920: Les damnés de la guerre* (Paris: L’Harmattan, 1996), 97-127.

⁵ В.Н. СМІРНОВ, *Верные долгу. Русский легион. France 1919*. Unpublished manuscript, papers of V.N. Smirnov, Bakhmetev Archive, Columbia University, New York.

⁶ As was the case with many Great War cemeteries, Russian burials from a number of temporary graveyards were consolidated on a permanent basis in St. Hilaire-le Grand by the time of the chapel's consecration in May 1937.

⁷ НАТАЛИЯ СМІРНОВА, *Достопримечательные русские храмы и кладбища* (Paris: L'union directrice des associations orthodoxes de Russe, 2003), 151.

⁸ СМІРНОВА, *Достопримечательные русские храмы и кладбища*, 157.

⁹ http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/cimetieres/russes/saint_hilaire.htm (April, 2017).

¹⁰ http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/cimetieres/russes/saint_hilaire.htm (April, 2017).

¹¹ An anonymous description of the chapel and several postcard views provided these details. Papers of M.N. Nechvolodov 1917–1939, box 1, Bakhmetev Archive, Columbia University, New York. Also, СМІРНОВА, *Достопримечательные русские храмы и кладбища*, 160-161.

¹² СМІРНОВ, *Верные долгу*, papers of V.N. Smirnov, Bakhmetev Archive.

¹³ Undated letter from “Vitiaz’ Volodia”, describing a visit to the cemetery in the mid-1930s. Papers of M.N. Nechvolodov 1917–1939, box 1, Bakhmetev Archive.

¹⁴ A program from one of the recent pilgrimage ceremonies can be viewed here: <http://artcorusse.org/pelerinage-annuel-de-pentecote-a-saint-hilaire-le-grandmormelon> (March, 2017).

¹⁵ <https://reims1418.wordpress.com/2017/01/20/le-soldat-decouvert-a-cormicy-mar-ne-est-un-russe> (April, 2017).

¹⁶ Details regarding the origin of this project are difficult to find, but there is a brief history and photograph here: http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/monuments/pompelle_russe.htm (September, 2017).

¹⁷ A photomontage of this monument can be found at: http://www.eutouring.com/images_paris_statues_242.html (July, 2017).

¹⁸ <http://archive.premier.gov.ru/eng/visits/world/15638/info/15649> (April, 2017).

¹⁹ Transcript of speech at: <http://archive.government.ru/eng/docs/15656> (April, 2017).

²⁰ The Nivelle offensive, so key to the mutiny of the First Brigade of the REF, was planned for April 1917. French and Russian brigades were preparing for participation in a major offensive spearheaded by the French General Robert Nivelle, one of the heroes of the Verdun campaign of 1916. Convinced that the Germans had been fatally weakened by the ordeal of Verdun, Nivelle intended to launch an all-out, coordinated attack on the Germans, with the British taking the offensive in the north, near Arras, and the French on the river Aisne. The First Brigade was to join French forces in an assault against German defenses on a high ridge near the Chemin des Dames, to complement a British operation that would include an attack on Vimy ridge. While the Canadians achieved notable suc-

cess at Vimy, almost everything went wrong in the French offensive. The Germans had gotten word of the impending attack, the weather was atrocious and the expected coordination between advancing infantry and artillery was compromised owing to terrain, weather and changes in German troop positioning. The results were disastrous. This episode is explained in detail in NORMAN STONE, *World War One: A Short History* (New York: Basic Books, 2009), 126-130. See also ERIC DEROO and GERARD GOROKHOFF, *Héros et mutins: les soldats russes sur le front français* (Paris: Gallimard, 2010), 80-108.

²¹ http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18/article/2014/06/10/la-paix-gronde-a-la-courtine_4434642_3448834.html#meter_toaster (July, 2017).

²² http://www.lacourtine1917.org/IMG/pdf/la_montagne_250614.pdf (April, 2017).

²³ Private Vavilov's memoir describes in vivid detail the wrenching end of the La Courtine camp: "We armed ourselves and prepared for an invasion. On the second day, September 2, we were shelled 11 times. But this did not break our resolve. We reminded ourselves that we were all for one and one for all, and played some bracing march music. On day 3, the shelling became serious and constant. It began at midnight. We were not even able to collect our dead. We had nowhere to help the wounded, because the medical area was already full. By September 4, the seriousness of the situation became clear and people became apprehensive. Some among us maintained it was time to give up; others insisted that we press on. But the shells kept falling, the streets became stained with blood, and finally our strength was failing. We had no food left. When the authorities cut deliveries to the camp, we maintained ourselves on reserves – mostly dried bread and jam. The horses had nothing to eat and were dying. Our food supply was exhausted on September 1. From the 1st through the 5th, we were living on the meat of our dead horses. On 5 September, everyone began contemplating escape. But there was nowhere to run. Anyone trying to run from camp was shot. We were forced to surrender on 6 September", ВАВИЛОВ, *Записки солдата Вавилова*, 48-49.

²⁴ There is a wonderful brief French language TV account of the dedication of this monument, affording clear views of the monument and inscription. <http://14-18.crdp-limousin.fr/blog/2015/03/04/la-mutinerie-des-soldats-russes-la-courtine-en-1917> (September, 2017).

THOMAS SCHMUTZ

A Caucasus without Russia: the Implications of the Russian Revolutions on the German-Ottoman War Partnership

Reconsider the Ottoman wartime experience

This article reflects on a “sideshow of a sideshow”, the rather forgotten Caucasian front in the First World War. The fact that the historical events and dynamics in the borderlands and the Ottoman-Russian front remain rather unnoticed is the essence of the problematic, mostly Eurocentric historiography of the First World War. The Caucasian front can be described as a sideshow, but it is a question of perspective. For the Ottoman Empire, it was the most important battlefield and caused the most casualties during the war. For the Russian Empire, the region was a permanent issue regarding imperial expansion. The civilian casualties during the Great War bring the region into the spotlight of the statistics of the global war.

The Ottoman theatres of war should be more integrated into the narratives and studies about the Great War. It was only here that battles were fought for holy cities and vast territories. While victory in Western and Eastern Europe was most of the time not in sight, the theaters of war in the Caucasus and Mesopotamia received some sort of “compensatory” character, since an increasing amount of Ottoman territory could be invaded. Warfare in these regions established an important realm of illusions, dreams and propaganda.

Different from the decision makers in St. Petersburg and Vienna, the Ottoman elite perfectly knew that losing the war meant the end of the century old multiethnic empire. Three years before Western Europe went to war, the Ottoman decline and fight for survival had already begun. The Balkan Wars radicalized the Ottoman politics, since almost all territories

in the Balkans were lost. For the Young Turks, the war constituted a chance to regain lost territories and re-live as an empire, free from European penetration.¹ But different from Germany, the war experience would not end with the treaty of Mudros in 1918. The First World War in Anatolia is followed by the Turkish war of independence. The Ottoman world was at war before and after the “official wartime” in the West. The 1910s can be described as “Ottoman Cataclysm”.

War aims and coalition warfare

German and Ottoman rulers had close ties, both under the rule of Abdul Hamid II and with the Young Turks. Wilhelm II wanted the German Reich to be an accepted power in the Muslim world. German diplomacy developed clear visions of a German future in the Orient. With the Baghdad Railway project, the necessary infrastructure for trade and military mobility was being established. The German Foreign Ministry formulated in the year 1913 that the desired zone of influence would be in Cilicia. The plan was to link the Baghdad Railway to the port cities in Cilicia and establish a global trade network. Therefore, the German diplomacy tried in 1913 to contain the radical Russian reform plan for Eastern Anatolia in order to stop the “scramble of the Ottoman Empire” and keep up the balance of rival powers in the region. At the same time, a German military mission was reforming the old structures of the Ottoman Army. The Balkan Wars showed its inefficiency. The military mission warned at the beginning of the July crisis that the Ottoman Empire would be a burden for Germany in the coming war.²

To align with Germany was not the obvious choice for the Sublime Porte, since France was building up its gendarmerie and finance sector and Great Britain was establishing a modern Ottoman navy. However, one of the major reasons for the Sublime Porte to align with Berlin was the fact that Berlin would not divide the Ottoman Empire after the war, since the German presence was depending on the cooperation with the Ottomans. The Young Turks made it clear in early August 1914 that the war partnership with Germany would not allow Berlin to interfere in “internal matters” of the Sublime Porte. The Ottoman elite wanted to have a free hand with the already ongoing homogenization of their imperial core land. At the same time, they wanted to end once and for all the time of European penetration in the Ottoman realm.³

Facing both the Russian threat, German and Ottoman leaders believed in the power of the religious authority of the caliphate over Muslim subjects in the Entente colonies. Especially the Germans believed in

the tremendous effects of jihad, which was declared in November 1914. The uprising of Muslim subjects in the Russian or British territory remained a powerful phantasy on both sides until the end of the war. However, the effects were minimal. But the reactions of the two empires at war, the Russian and Ottoman multiethnic powers, to the potential disloyalty of their subjects were genocidal. Both empires were deporting suspicious “elements” from their borderlands, whereas the Young Turks continued their social Darwinist project of the homogenization in Anatolia.⁴

With regard to military offensives, the Ottoman troops were able to counter the Russian advances in summer 1915, and at the same time, to defend the amphibious operations at Gallipoli. The German support was minimal in the Caucasian front, whereas the defense of the Gallipoli peninsula was a joint German-Ottoman undertaking. German officers were gradually put in key positions. The German side dislocated an increasing number of troops to support the Ottoman war efforts. In the last months of the war, more than 25.000 German troops were deployed, mainly to Palestine and the Dardanelles. On the Palestinian front and in Mesopotamia, the German officer corps conducted or at least influenced strongly most operations from spring 1916 until the end of the war.⁵ The Ottoman officers had the lead in the Caucasus, where the Germans were in an advisory position. The German interest into the Caucasus before the Russian revolutions was limited to the Ottoman success of occupying as many Russian divisions as possible.

The Dream of Tsargrad

The military campaign in the Caucasus needs to be viewed in the context of the history of the long Russian-Ottoman enmity. The clash between the familiar foes could have happened before 1914, especially when the Armenian Question became an issue of international diplomacy in 1913. Pro-German Ottoman war minister Enver Pasha initiated the first offensive of the war and pushed to the Caucasus in December 1914 with the clear territorial objective of gaining back the three lost provinces of 1878. A victory in the region of Sarikamis would not only bring back lost territories, but unleash Muslim uprisings. It was Enver’s dream that Ottoman victories would stir the Muslim populations of Central Asia, Afghanistan, Egypt and India.⁶

The Russian side was not expecting an attack before spring, but the battle of Sarikamis turned into a disaster for the Ottomans. Most men died because of the winter conditions and lack of food. The defeat was

total. More than half of the Ottoman Third Army ceased to exist and the Russians were about to move southwards. The ideal scapegoat for the disaster were the Ottoman Christians. In face of the evolving internal war, Germany as war partner became a bystander. Berlin emphasized that the war partnership should not be put at risk due to "moral considerations".⁷

The first Suez campaign in 1915 alarmed London and a fast victory against the Ottomans became important. At the same time, the Russian armies needed more support since losses in the Caucasus were enormous. The solution to this was the milestone change of British security policy: Russia should get Istanbul and the Straits. But in 1915, the Ottoman forces managed to counter the Russian attacks and the front lines were changing rapidly. The expected Russian offensive came in the following year.⁸

Yudenichs divisions attacked Köprüköy in January 1916. In the next two months, Grand Duke Nicholas captured the fortress of Erzurum in mid-February, which was a disaster for the Ottomans. Russian success continued: Bitlis fell in March and Trabzon in April. However, the offensives both in Anatolia and Eastern Europe overexerted Russian strength. A revolt in Central Asia threatened internal stability. It was the climax of the desperate Russian policy towards the Muslim suspects.⁹

The final offensive to capture Istanbul was planned for spring 1917. As Russia was preparing its next offensive, the Ottoman side of Eastern Anatolia was being emptied of Armenians. War and genocide were in a direct correlation, with the fight against the external and internal enemy escalating on a parallel scale. In the same year, the Ottoman leaders had to manage to keep the imperial order together. The Ottoman Empire had its own revolt in summer 1916, when Arab leaders tried to challenge Djemal Pasha.¹⁰ Despite the advance of British forces in Palestine and Mesopotamia in 1916 and 1917, the important theater of war for the Ottomans remained the Caucasus and Eastern Anatolia. The main war effort was conducted there. Two thirds of the Ottoman losses in the year 1916 were in the battles against the Russian Caucasus army. On the other side, more than a million Russian soldiers were involved in this front from 1914 to 1917.¹¹

Last Visions of Imperial Greatness

The dissolution of the Russian army and the resulting end of Russia's involvement in the war was an unexpected turning point for the Ottoman leaders. Ottoman war minister Enver Pasha thought that the time had come to push into Central Asia and fulfil his dream of a pan-Turanian

empire. While the fall of Baghdad and Jerusalem in 1917 had shown that the Empire had lost its Arab provinces, the expansion into Central Asia would not only be an ideal compensation, but was considered to be the righteous way the Ottomans should go. It was in ideological terms an expansion of the *Türk Yurdu*, the fatherland in Anatolia. Enver ignored the military necessity to enforce the armies in the south and risked too much for his last grasp of greatness.¹² British forces were creating new realities in the Middle East. Similar to the German high command, Enver and Talaat had not realized, by the end of 1917, that the empire was fighting for its survival. The outcome of the Brest-Litovsk peace agreement nourished dreams and visions in Berlin and Istanbul.

German diplomats and policy makers had great admiration for and phantasies about a German presence in Asia. They cherished hopes for trade and a small influence zone in Central Asia. The secret German missions had not made any serious achievements in places such as Afghanistan, nonetheless it caused the prevailing fear in British India of a German sponsored Muslim uprising. The unpromising attempt to reach British India was still an active phantasy in 1918. The left power vacuum in the Caucasus caused fears and dreams of new imperial expansion on both sides.¹³

The new opportunities due to the treaty of Brest-Litovsk changed the German-Ottoman war alliance. The main reason was that the Ottoman leadership did not recognize the arrangements of the peace treaty and wanted more territory in the Caucasus. The Ottoman overall strategy was to have direct controlled zones in the Caucasus and affiliated state-like entities, such as Azerbaijan. The Ottoman armies advanced in the shadow of new negotiations with the Transcaucasian representatives slowly northwards. The Transcaucasian politicians tried to get diplomatic recognition through Germany and wanted to settle separately with the Ottomans. Due to the fact that the government in Tiflis was not officially independent from the new Russia, the Sublime Porte used the Brest-Litovsk agreement for its own advantage. As soon as the Ottomans crossed into the former Ottoman provinces of 1877 and beyond, Berlin feared an intervention from the Bolsheviks. Berlin started backchannel diplomacy with the new rulers in Moscow in order to deescalate the fluid situation on Russia's southern border.¹⁴ Both the German military command and the diplomats did not want a Turkish annexation of the Caucasus. The German aim was mainly to keep Russia out of the war and use the Caucasus as a buffer zone. This led to tensions between Berlin and Istanbul in April 1918.

Opening Pandora's Box

The leader of the German military mission in the Ottoman Empire, general Liman van Sanders, had the difficult task to defend Palestine and Syria in spring 1918. The Russian armistice in the Caucasus led to a competition between his operations and Enver's expansionist dreams for Central Asia. Enver demanded troops for his new military campaign. Liman reported the clear and present danger of the Ottoman decision that German troops should retreat from the Palestine front. He explained that the Ottoman forces would not be able to defend the positions in the Middle East. He evoked the German-Ottoman alliance agreement of August 2, 1914. In his opinion, the Ottoman military command should not interfere with the German presence in the Middle East and stop any conquest in the Caucasus.¹⁵ Mustafa Kemal for example complained about the German dominance in the military operations, but he agreed on the view that the positions in Palestine had to be defended.¹⁶

From the diplomatic point of view, the Caucasus was the new key area of interest, not Palestine. The German ambassador in Istanbul, Johann Heinrich von Bernstorff,¹⁷ emphasized the viewpoint for the German diplomacy: The most important rule was to keep Russia out of the region and out of the war. In the case of a Russian reentry into the war, German forces would not be able to "protect" its alliance partner anymore.¹⁸ The dilemma was however, that Germany needed to continue the war alliance with the current leaders. There were no better alternatives regarding pro-German Ottoman leaders to Talaat and Enver.¹⁹

Ambassador Bernstorff did not believe that the Ottomans would remain passive in the Caucasus. He concluded an analysis in early August with the description of two options: On one side, they could send so many German troops into Georgia and Armenia that the Ottomans would have to behave. The second option would be to let the Ottomans alone, even when Russia would become a war enemy again. Bernstorff pointed to the lack of reliability of the Sublime Porte. A new telegram from Enver Pasha revealed the hidden intention of the Ottoman leaders to find an excuse to both expand further than the border of Brest-Litovsk and to annihilate more Armenians. It would be even a wish of the Turks, as Bernstorff concluded, that half a million Armenians would perish.²⁰ This kind of awareness and sensibility about the faith of the Armenians was rather unprecedented in the German reports. Most diplomats and officers wanted to prevent further "complicity" of German authorities with the ongoing killing of Christians in the borderlands. Different from the time of the deportations in 1915, the Armenians in the Caucasus were no Ot-

toman citizens and therefore not an “internal affair” any more. The former Russian Armenians were establishing an own state in the post-imperial space. It was crucial to establish law and order in a place of anarchy. Therefore, the self-determination of the newly founded Georgian state was important for Berlin. Georgia was not only a reliable buffer against the new Russia, but would give the Germans a base to exploit the resources of the Caucasus and a bridge to Central Asia.²¹ It was no secret that Germany wanted to expand its economic influence. Coal and petroleum along the Baghdad Railway were often mentioned, but more important was the oil in Baku.²²

The creation of new political entities in June 1918 boosted the crisis of the Central powers. The Sublime Porte wanted to dictate the terms of coexistence with the new neighboring states. A dispute over the recognition of the self-declared new states erupted. The Sublime Porte was not in favor of the German direct support for Georgia. Furthermore, Armenia declared its independence which led to Talaat Pasha's fear of a Western controlled state in the Ottoman backyard.

The Caucasian Question

It became obvious in summer 1918 that the German Reich and the Ottoman Empire had a different political agenda in the Caucasus. Berlin did not believe that the Sublime Porte was a stabilizing power for the Caucasus and tried itself to establish a German controlled Georgia. New treaties were signed in Tiflis and secretly German battalions were sent to create at least a minor weight in the distant geopolitical turmoil.²³ Talaat Pasha tried to justify Enver's demands to expand Ottoman influence, but agreed to make concessions regarding economic questions and the regulation of violence against Armenians. At the same time, British troops advanced to Baku. Since both the Ottomans and Germans wanted the resources in Baku, they found a common denominator in a joint operation.²⁴

Berlin wanted to clarify the Caucasian Question and sent for Talaat. When Talaat arrived first in Vienna in early September 1918, he formulated a new policy for the Caucasian territories: The new states of Armenia, Azerbaijan and Georgia should serve as buffer zones against Russia, while Turkestan with its 14 Million Muslims become a state as well.²⁵ On his last visit to Berlin as an Ottoman leader, Talaat tried to gain German support for his idea. He asked for German military advisors to set up new Muslim armies that could be used on other fronts. While Enver and Talaat were discussing the Ottoman future in the Caucasus, the British advance created new realities on the southern Ottoman fronts. The Sublime

Porte had to realize in a short time that the dream after the Russian revolutions about new expansion and pan-Turanian phantasies did not become reality. The armistice of Bulgaria ended the German-Turkish adventure in the Caucasus.²⁶

With war coming to an end, the German authorities secretly planned to evacuate the Ottoman leadership.²⁷ This was a clear sign of the now defeated German Empire to keep its “Nibelungentreue” and not to condemn the Young Turk atrocities.²⁸ The war alliance had its deepest friction at the end of the war, but at the same time, the correspondence between the Bosphorus and Berlin show that both empires declared their bonds almost religiously. “We will stand and fall together”, was one example of a solemn assertion.²⁹ The diplomats were successful until the end to nourish each other’s illusions about a fatalistic common destiny.

Imperial legacies

The Russian-Ottoman enmity showed the “imperial face” of the global war and was a conflict that could have been triggered without the global dimension of the world war. The First World War in the Caucasus was the continuation of the long-term hostilities of the last two centuries and the two imperial claims on the same territory, however, it showed also another face of the Great War: Irregular warfare, ethnic cleansing, demographic changes and the deadly response to questionable imperial loyalties. These aspects and the unprecedented violence against civilians in general made the Russian-Ottoman borderlands a unique warzone which has to be taken into account into the scholarship of the First World War. The Caucasian theater of war seems to be forgotten in the latest historiography, but it surely was no sideshow. On the opposite: It showed the warfare of old multi-ethnic empires in a modern and total war and a warzone without clear distinction between home and front.

The effects of the Russian revolutions were tremendous for the Central Powers. Unprecedented windows of opportunities opened at the Eastern fronts, which became the antipode to the stalemate in the West. Pre-war phantasies of a Pan-Turanian empire, Muslim unity and a German Orient guided the leaders into military adventures and failures. The Ottoman war minister almost forgot the situation in Palestine and wanted to push into Central Asia. Similar to the Entente coordination of warfare and postwar plans for the post-Ottoman world in the Middle East, friction and rivalry came between the Central Powers. German and Ottoman aspirations towards the reorganization of the Caucasus as a puffer zone against Russia had different intentions, but both ignored the reality of their own

strength. Only weeks before the armistice was signed, the general staff and political leaders were planning for the next few years. For German aspirations, the Russian retreat made it possible to gain territory in Asia alongside the Ottoman Empire and not only as a force within the Ottoman realm. For the Ottoman side, it was both a fulfillment of the 1914 aim to regain the lost three Ottoman provinces from 1878 and the concept of a Muslim-ruled Central Asia. But the war displayed the limits of pan-Islamic ideas and movements. Jihad was not unifying; however, the promise of a homeland was. The First World War is more important for the Middle East and the Caucasus than any other conflict in the 20th century with regard to the political landscape it created.³⁰ The seminal rupture in the Ottoman world came with the collapse of the Russian Empire.

Notes

¹ MUSTAFA AKSAKAL, "The Ottoman Empire", in *The Cambridge History of the First World War. Volume I, Global War*, ed. by JAY WINTER (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 459-478.

² Political Archive of the German Foreign Department (Auswärtiges Amt): AA (M) R 14080-14081 (7100).

³ MUSTAFA AKSAKAL, *The Ottoman road to war in 1914: the Ottoman Empire and the First World War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 137-138.

⁴ LOHR ERIC and UĞUR ÜMIT ÜNGÖR, "Economic Nationalism, Confiscation, and Genocide: A Comparison of the Ottoman and Russian Empires during World War I", *Journal of Modern European History*, vol. 12, issue 4 (2014), 500-522.

⁵ HANS WERNER NEULEN, *Feldgrau in Jerusalem: das Levantekorps des kaiserlichen Deutschland* (München 2002), 30-54.

⁶ HEW STRACHAN, *The First World War* (London: Simon & Schuster, 2014), 107-109; EUGENE L. ROGAN, *The fall of the Ottomans: the Great War in the Middle East, 1914–1920* (London: Allen Lane, 2015), 107-109.

⁷ ROGAN, *Fall of the Ottomans*, 105-108; REYNOLDS, *Shattering Empires*, 142-148.

⁸ SEAN MCMEEKIN, *The Ottoman endgame: war, revolution and the making of the modern Middle East, 1908–1923* (London: Allen Lane, 2015), 315-317.

⁹ SALAVAT MIDCHATOVIC ISCHAKOV, "Die russischen Muslime im Ersten Weltkrieg", in *Osmanismus, Nationalismus und der Kaukasus*, edited by FIKRET ADANIR and BERND BONWETSCH (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2005), 258; MCMEEKIN, *Ottoman Endgame*, 289.

¹⁰ DONALD BLOXHAM and HANS-LUKAS KIESER, "Genocide", in *The Cambridge History of the First World War. Volume I, Global War*, ed. by JAY WINTER (Cambridge:

Cambridge University Press, 2014), 459-478; NEIL FAULKNER, *Lawrence of Arabia's war. The Arabs, the British and the Remaking of the Middle East in WWI* (New Haven: Yale University Press, 2016), 152-187.

¹¹ DOMINIC LIEVEN, *Towards the Flame: Empire, War and the End of Tsarist Russia* (London: Allen Lane), 343-351; ROBIN PRIOR, "1916: Impasse", in *The Cambridge History of the First World War*, volume I: *Global War*, ed. by JAY WINTER (Cambridge: Cambridge University Press), 89-108.

¹² ERIK JAN ZÜRCHER, *The Young Turk legacy and nation building: from the Ottoman Empire to Atatürk's Turkey* (London: I.B. Tauris, 2010), 174-176.

¹³ MALTE FUHRMANN, *Der Traum vom deutschen Orient. Zwei deutsche Kolonien im Osmanischen Reich 1851–1918* (Frankfurt, 2006), 47-51; JÖRN LEONHARD, *Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkrieges* (München: C.H. Beck, 2014), 926.

¹⁴ ROB JOHNSON, *The Great War and the Middle East. A Strategic Study* (Oxford: Oxford University Press, 2016), 228; ULRICH TRUMPENER, *Germany and the Ottoman Empire, 1914–1918* (Princeton: Princeton University Press, 1968), 170-191.

¹⁵ AA (M) R 13804-2, Report from Bernstorff to Foreign Department, 20.06.1918, with a citation from Liman von Sanders.

¹⁶ JOHNSON, *Middle East*, 190-191; NEULEN, *Feldgrau in Jerusalem*, 30-54.

¹⁷ JOHANN HEINRICH VON BERNSTORFF (1862–1939) was the German ambassador in Istanbul in 1917 and 1918.

¹⁸ AA (M) R 13804-2, 27-28, Bernstorff to AA, 15.06.1918.

¹⁹ AA (M) R 13804, 32 and 41.

²⁰ AA (M) R 13804-2, Bernstorff to the Foreign Department (AA), 05.08.1918, 92-96.

²¹ AA (M) R 13804, 21; 85.

²² AA (M) R 13804, 47.

²³ TRUMPENER, *Germany*, 175-181.

²⁴ AA (M) R 13804 – 13805.

²⁵ AA (M) R 13804-3, 54. Hintze to Lersner and Berckheim, Berlin 08.09.1918.

²⁶ Neulen, *Feldgrau in Jerusalem*, 59-61.

²⁷ AA (M) R 13804 – 13805.

²⁸ AA (M) R 13804-4, Bernstorff to AA, Constantinople 27.10.1918; Waldburgg to AA, Constantinople 06.11.1918, 35-36.

²⁹ AA (M) R 13804-2, Bernstorff to AA, Constantinople, 20.06.1918, 44-45.

³⁰ JAMES L. GELVIN, *The Modern Middle East: A History* (New York: Oxford University Press, 2011), 182.

OLGA DUBROVINA

Special Aspects of the Soviet Foreign Policy in an Italian Context

Immediately after the October Revolution a newborn Soviet government had to face foreign policy questions determining its responsibilities as part of a Triple Entente and its own attitude to the “old” international diplomacy. In the second “Decree on Peace” published on 26th October 1917 the reply to the key issue was given. Lenin declared that Russia should immediately exit from the First World War and that the negotiation process between all belligerent countries should begin.

This act did not only put a stop to the traditional diplomacy of the tsarist period, but it also announced a beginning of a new Soviet foreign policy inspired by revolutionary ideas. Once the Bolsheviks had taken power, they expected that the revolutionary process would involve all of Western Europe. This challenge created the Komintern in 1919.

This article focuses on the first steps of the Soviet government on the international stage, analyzing their policy by following the example of the Soviet-Italian relationship. More specifically, the issue of the dichotomy between People's Commissariat of Foreign Affairs and Komintern on Italian soil will be explored.

Italian military Mission and General Italian Consulate in Moscow

In 1918 before the military intervention of the former allies started, Čičerin tried to maintain good relationships with official Italian representatives staying in Russia. They were members of the Italian Military Mission sent to Russia in 1915¹ and the Italian Consulate in Moscow.

The Italian Mission continued in this period to carry out its tasks which included observing and gathering information about the “military

reorganization of the revolutionary Russia",² defending Italian national interests and providing security on behalf of Italian prisoners, former soldiers of Austro-Hungarian troops grouped in Moscow,³ as well as their immunity from the Bolsheviks' propaganda.⁴ Despite the fact that this activity concealed a military espionage and anti-Bolshevik propaganda, the Soviet government proved to be tolerant and welcoming as far as possible in the first months following the Revolution and during the civil war.

The attitude of the Soviet government towards the Italian Mission has been seen in the overall context and analyzed in light of Soviet foreign policy in this period. The lack of confidence in the Brest-Litovsk Treaty and consequently in the peace process with Germany along with a need for military collaboration with former allies, forced the Bolsheviks out of maintaining a diplomatic relationship with French, Italian and American representatives who were staying in Moscow.⁵

The conditions of the Italian Military Mission's work were guaranteed by the People's Commissariat of Foreign Affairs and by Čičerin personally. "The worst sufferance" according to Majoni, head of the Consulate in Moscow, was a "forced housing proximity imposed on all".⁶ Moreover, there was a shortage of fuel and a desperate need to find horses to provide a connection with former prisoners allocated in different areas of the city. Italian officials also had to provide board and lodging to numerous Italian soldiers who had reached the capital from various Austrian concentration camps. The outcome of the Italian requests that I analyzed was in most cases positive. Soviet authorities canceled orders to reduce living spaces occupied by Italian citizens, they allowed lodging for Italian former prisoners and they delivered certificates that provided immunity to people and their means of transport. A favorable attitude was shown through the different arrangements of the People's Commissariat of Foreign Affairs, for example through the order to deliver a huge number of bottles of wine "for the needs of the Italian military Mission".⁷

However, the attitude of the Soviet government changed after the English contingent landed in Murmansk harbor in June 1918. This disembarkment increased the number of Entente troops who were already on Russian territory from March 1918. Majoni wrote in July in Rome: "All sorts of hostility are being emphasized against the Entente: it's impossible to telegraph our governments, it's forbidden to print any retractions or notices. Moreover, we were punished like bad children by a suspension of wine that until now the state monopoly had granted us".⁸

Finally, after numerous requests of the Consul and his demands at the People's Commissariat of Foreign Affairs, the Italian military mission left Moscow for Italy on the 26th of August 1918 suffering from "some sort of harassment" by the Soviet Authority.

We could therefore suppose that immediately after the October Revolution the Soviet diplomacy did not demonstrate hostility towards the representatives of one of the "bourgeois-capitalist" governments. The Soviet foreign policy took its first steps for the need to survive, which consisted in avoiding direct conflict and in actually preserving friendly relationships. This stance was ended by the Entente Powers' choices and by the revolutionary element inherent in Bolshevism.

The first Soviet Mission in Italy of M. Vodovozov

After Italian official representatives left Russia in Autumn 1918, the relationship between the two governments was interrupted because of Italian intervention in Russia with Entente Powers. In spite of several appeals from Čičerin to stop the intervention and to restore the diplomatic relationship between the two countries,⁹ Italian authorities were hesitant. These hesitations continued despite the intensifying pressure of the Socialists in Parliament, the spread of strikes in support of the Russian revolution and the ever-increasing economic needs of Russian markets.

However, almost two years passed before the Italian government entered a long process of recognition of Soviet Russia and the opening of a relationship with a new socialist State. The first move in this direction was made during negotiations in Copenhagen which started in March 1920.¹⁰ Another year passed before the Soviet representative Vorovsky arrived in Italy in March 1921.¹¹ However, Vorovsky was not the first official representative who defended the interests of the Bolsheviks' government on Italian soil. Unofficially since 1919 in Italy Mikhail Kh. Vodovozov was acting for Soviet purposes. His mission did not receive due attention from Russian and Soviet historians,¹² who defined him only as an "official Soviet representative"¹³ but they never mentioned his name. On the other hand, Italian scholars who base their research mainly on the documents issued by the Italian police did not have sufficient material to deepen the nature of his mission in Italy in the period from 1919 to 1921.¹⁴

The Vodovozov mission represented numerous aspects: he was responsible for propaganda and conscription in the Red Army of former Russian prisoners in Italy, for trade exchanges between Italian cooperatives and Soviet Tsetrosoyuz (Union of Consumer's co-operatives). He

was also an intermediary in political negotiations between Nitti's and Soviet governments. Moreover, he acted as a secret supplier of war equipment for the Red Army, and finally – according to the Italian police - he was a Soviet secret agent who was carrying out subversive activity against social order. Between all these functions there was another one certainly not less important: Vodovozov supplied information about the Italian internal situation and above all, about the workers' movement.

For example, he reckoned that the Socialist party did not achieve its task towards the working class and did not find the right moment for the best organization of the masses to give support to Bolshevik Russia and its political recognition. These two major points of Vodovozov's activity in the period 1919–1920, that is the diplomatic one and the “lobbyist” one inside the Socialist party, seem to blend seamlessly into Lenin's larger strategy that included Soviet Russia abandoning the international diplomatic isolation in order to catch its breath before the decisive assault on the Western bourgeoisie.

In fact, in his open letter to Giacinto Menotti Serrati, the head of the Socialist party, sent in October 1919 and published in “Avanti!” Lenin warned Italian Socialists about the “premature insurrection”. Instead, in July 1920 Lenin changed his opinion about eventual Italian revolution and wrote to Stalin that “the situation in the Komintern is perfect. Zinoviev, Bukharin and I suppose that we have to encourage the immediate revolution in Italy”.¹⁵

Lenin's optimistic position was supported by the counteroffensive of the Red Army in Poland, by the favourable turn of direction of the civil war and by the suspension of the military support to the White troops by the former allies. The “red bridge” between Moscow and Berlin that was represented by Soviet Poland, as Italian scholar G. Petracchi claims, could open a new outlook regarding the revolutionary situation in Italy. Realistic and flexible views of Lenin on the impossible revolution in Italy were transformed in a new Komintern strategy that included Bolshevik aid to Italian communists during their preparation of the Socialist revolution.¹⁶ With the Vodovozov mission we face a paradox: an agitator under police surveillance who came into direct contact with the Italian prime minister in order to convince him to establish closer relationships with the Soviet government. Vodovozov was an efficient living embodiment of the Bolsheviks foreign policy, which according to the political expediency used one or another instrument at its disposal.

NKID-Komintern: one government – two instruments

As Russian scholar A. Vatlin claims, two fundamental structures of the Bolsheviks' international activity embodied two intertwined targets: the fight for communist victory all over the world, and the need to save Soviet Russia.¹⁷

As time went on, a sort of rivalry appeared between two institutions, above all due to the fact the both of them worked in the same field, in other words in the foreign Soviet policy. Despite several resolutions of the Politburo with regard to the functioning of the two institutions, the confusion of their roles lasted a long time.

The first constitutive conference of the Komintern¹⁸ was organized under the direction and supervision of the NKID and under the personal responsibility of Čičerin. He took an active part during the first Congress and believed that the Komintern would work under the control of his Commissariat.

However, Lenin¹⁹ had a different idea: he considered that the moment of *diplomatičanije* (conducting diplomacy) had gone with the breakup of the Brest-Litovsk Treaty and he resumed to think in a revolutionary way.²⁰ Therefore Lenin made the nomination of Zinov'ev for the office of the President of the Executive Committee of the Third International. There was an overlap of staff and functions that was reinforced by using the same resources, like radio communication and couriers.²¹

During the first years of Komintern's life, the members of the NKID didn't even hide their links with the Executive Committee. So the head of the Soviet diplomacy asked the Italian authorities for a visa for the highest leaders of the international communist movement: Zinov'ev and Bukharin, who were sent to participate in the socialist congress in Livorno in 1921.

During the first months of his journey to Rome as head of the soviet official delegation, Vorovsky continued to act in close cooperation with the Komintern by providing information about the Italian socialist party to the Secretariat of the Komintern. Vorovsky's tasks also involved maintaining the relations with the Italian communist party. He had to be a sort of "spiritual leader" for young Italian communists. In his private letter to Vorovsky Lenin wrote: "Do you help communists? You must. Absolutely must. Extremely underground. They haven't got experience. They commit stupid things. You must teach them, teach and teach how Bolsheviks worked, through the articles, through the press".²²

The interference of Vorovsky in Italian internal policy by means of support of far-left socialists and direct intervention in communist party

affairs was born due to Soviet funding sent through diplomatic channels. However, the main action of the Soviet government on the socialist party before and communist after was carried out by secret Komintern agents who lived in Italy even before the October Revolution.²³

Soviet diplomacy versus Italian communist party

The early interweaving between the NKID and Komintern had gradually passed over as Soviet diplomats took a consciousness about the difficulty to act on the international stage being representatives of both institutions. Apparently, the first conflict of interest on Italian soil was manifested in 1921. So after Vorovsky deepened his knowledge of the Italian internal situation and discovered the conditions of politic recognition by the Italian State, he became more cautious and tried to conceal links between the official diplomacy that he embodied and the Komintern. Driven by national interests and his own diplomatic role, Vorovsky didn't stop at conflict with the leader of the Italian communist party, Bordiga.

He fought his personal battle in February-March 1923,²⁴ after the declaration issued from the Executive Committee about the "crusade against fascism in general and the fascist government in particular"²⁵. Called in by Mussolini he had to reply to the duce's questions about bonds between the Soviet government and Komintern. In front of his government, Vorovsky tried to argue the need to sign "an unofficial treatment with the fascist government about the limits and forms of the propaganda spread by both sides".²⁶

Vorovsky was also aware of the real political situation of Italian left wing parties. He communicated to Moscow that the Italian communists "are not only weak but even crippled" and "act slowly and tiredly".²⁷

The optimistic picture of the Italian situation corresponding to Bolsheviks' expectations was also painted by Mátyás Rákosi, who was at that time a Secretary of the Executive Committee of the Communist International. In his article issued on 28th of November 1924 in "Pravda", he emphasized the role of the Italian communist party in internal Italian policy. A Soviet representative in Rome, Konstantin Jurenev was outraged. In his letter to Moscow he asked: "Who needs these lies"?²⁸ Like Vorovsky he continued to insist on the "extreme weakness of our friends. Above all their headquarters is weak. They do not have strong leaders".²⁹

Obviously we can't forget the famous episode about Jurenev inviting Mussolini a few days before Matteotti (Italian socialist politician) was killed. The Soviet diplomat decided not to cancel the dinner, even though

he hadn't received an approval from the Politburo. After the dinner Jurenev was strongly criticized by Italian communists and Gramsci personally. Like Vorovsky, Jurenev consciously faced a conflict with "Italian friends" giving priority to the interests of the national diplomacy at the expense of revolutionary internationalism.

Conclusions

The study of the Soviet foreign policy in Italy at the very beginning of its long history brings us to reflect in particular on four points. The *first* one deals with Soviet policy towards Italy and the Bolsheviks' intentions to spread the proletarian revolution there. During the early months after the October Revolution the consciousness of the urgent peace in order to guarantee the victory in the internal battle took over. When this strategy failed after the Entente intervention and institution of the Communist International, the problem of the nature of the soviet foreign policy appeared. After 1919 it was institutionally articulated on two tracks.

The *second* point concerns the way of gathering information about the internal situation in Italy, particularly about Italian left-wing parties. These sources of information respected two different ways to see Italian reality and to interpret it in the light of revolutionary idealism.

The ambiguity of Soviet policy towards Italy drives us to the *third* reflection: special aspects of the Soviet presence in Italy. From the very beginning it was characterized by the deep ambiguity from the perspective of the functions of the secret and semi-secret agents who operated either as subversive propagandists or as intermediaries between two governments.

Finally, the *fourth* point concerns the dynamic of the coexistence of two tracks in the Soviet foreign policy. The studied documents of Russian archives prove quite clearly a progressive and an increasingly sharper separation between NKID activity carried out by soviet polpredy and Komintern, whose interference in the affairs of official diplomacy was tolerated less and less by diplomats. The conclusion that I'd like to argue is that the position of NKID regards to the Komintern was not so subordinate and auxiliary as it was previously claimed.³⁰

Notes

¹ About Italian mission in Russia see: ANTONELLO BIAGINI, *In Russia Tra Guerra e Rivoluzione: La Missione Militare Italiana, 1915–1918* (Roma: Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Storico, 1983); FRANCESCO RANDAZZO, *Alle Origini Dello Stato*

Sovietico: Missioni Militari e Corpi Di Spedizione Italiani in Russia (1917–1921) (Roma: Stato maggiore dell'esercito, Ufficio storico, 2008); GIORGIO PETRACCHI, *Da San Pietroburgo a Mosca: La Diplomazia Italiana in Russia, 1861 / 1941* (Roma: Bonacci, 1993), 167-176.

² About reports sent by Romei-Longhena to Rome see in: GIORGIO PETRACCHI, *La Russia Rivoluzionaria Nella Politica Italiana: Le Relazioni Italo-Sovietiche, 1917–1925* (Roma-Bari: Laterza, 1982), 68-69.

³ About repatriation of Italian prisoners of former Austrian-Hungarian army see PETRACCHI, *La Russia Rivoluzionaria*, 85-97; and QUINTO ANTONELLI, *I dimenticati della grande guerra: la memoria dei combattenti trentini, 1914–1920* (Trento: Il margine, 2014).

⁴ BIAGINI, *In Russia Tra Guerra e Rivoluzione*, 131-134.

⁵ PETRACCHI, *La Russia rivoluzionaria*, 63-65.

⁶ GIOVANNI CESARE MAJONI, *A Mosca. Nell'anno Rosso. Agosto 1917 – Settembre 1918* (Roma: Istituto per gli studi di politica internazionale, 1936), 49.

⁷ Foreign policy Archive of Russian Federation (AVP RF) Fond 98, opis' 2, no. 3, folio 1.

⁸ MAJONI, *A Mosca*, 56.

⁹ Among the Italian documents kept in the AVP RF there are at least three radiograms sent in this period by Čičerin to the Italian Ministry of foreign affairs: 17th of January 1919, 15th of February 1919, 31st December 1919.

¹⁰ I.D. OSTOJ-OVSJANYJ, “K istorii ustanovlenija diplomatičeskich otnošenij meždu SSSR i Italiej”, in *Leninskaja diplomatija mira i sotrudničestva* (Moskva: Nauka, 1965), 69.

¹¹ About Vorovsky's mission see V.A. BURYAKOV, “Missija V.V. Vorovskogo v Italii v 1921 godu”, *Voprosy istorii* no. 2 (1971): 131-142; KOLOMIEZ V.K., *Il bel paese visto da lontano...: immagini politiche dell'Italia in Russia da fine Ottocento ai giorni nostri* (Manduria-Bari-Roma: Lacaita, 2007), 90-104.

¹² I.A. CHORMAČ, *Otmošenija meždu sovetским gosudarstvom i Italiej 1917–1924* (Moskva: Institut Rossijskoj istorii RAN, 1993); OSTOJ-OVSJANYJ, “K istorii ustanovlenija...”, 72; BURYAKOV, “Missija V.V. Vorovskogo...”, 137.

¹³ OSTOJ-OVSJANYJ, “K istorii ustanovlenija...”, 72.

¹⁴ About Vodovozov's activity in Italy see: A. VENTURI, *Rivoluzionari Russi in Italia, 1917–1921* (Milan: I Fatti e Le Idee, Saggi e Biografie. Feltrinelli, 1979) 83-84, 128; A. ACCATTOLI, *Rivoluzionari, Intellettuali, Spie: I Russi Nei Documenti Del Ministero Degli Esteri Italiano* (Salerno: Collana Di Europa Orientalis. Collana di Europa orientalis, 2013), 291; VALENTINE LOMELLINI, *La “grande paura” rossa: l'Italia delle spie bolsceviche (1917–1922)* (Milano: Franco Angeli, 2015).

¹⁵ Russian state archive of social and political history (RGASPI), F. 2, op. 2, no. 343, f. 1, cit. in JAKOV S. DRABKIN, LEONID G. BABIČENKO, KIRILL KIRILLOVIČ ŠIRINJA, ed., *Komintern i ideja mirovoj revoljucii: dokumenty* (Moskva: Nauka, 1998), 118-186.

¹⁶ PETRACCHI, *Da San Pietroburgo a Mosca*, 279.

¹⁷ A.JU. VATLIN, “L’attività internazionale dell’URSS: dalla rivoluzione mondiale all’espansione imperiale”, in *Da Lenin a Putin e oltre. La Russia tra passato e presente*, edited by VITTORIO STRADA (Milano: Jaca Book, 2011), 15.

¹⁸ About organization and structure of Komintern see: KERMIT E. MCKENZIE, *Komintern e rivoluzione mondiale 1928 / 1943* (Firenze: Sansoni, 1969), 34-46.

¹⁹ About Lenin's role in Komintern see for example F.I. FIRSOV, *Lenin, Komintern i stanovlenie kommunističeskich partij* (Moskva: Politidzat, 1985).

²⁰ A.JU. VATLIN, *Komintern: Idei, Rešenija, Sud'by* (Moskva: Rosspen, 2009). 67.

²¹ VATLIN, *Komintern*, 119.

²² RGASPI, F. 2, op. 1, no. 24693, cit. in G.M. ADIBEKOV, Z.G. ADIBEKOVA, ed., *Politbjuro CK Rkp(b)-Vkp(b) i Komintern 1919–1943. Dokumenty* (Moskva: Rosspen, 2004), 96.

²³ About Komintern agents in Italy see: V. LEONT'EV, “Gruppa ‘russkich bol’shevikov’ v Italii i emissary Kominterna (1917–1922)”, in *Russkie v Italii*, edited by M.G. TALALAJ (Moskva: Russkij put’, 2006), 57-58.

²⁴ See also KOLOMIEZ, *Il bel paese visto da lontano*, 94-95.

²⁵ AVP RF, F. 098, op. 6, no. 46, f. 28. See also N.P. KOMOLOVA, *Komintern protiv fashizma: Dokumenty* (Moskva: Nauka, 1999), 80.

²⁶ AVP RF, F. 04, op. 20, no. 25, f. 11.

²⁷ AVP RF F. 04, op. 20, no. 19, f. 19.

²⁸ AVP RF, F. 04, op. 20, no. 44, f. 144.

²⁹ AVP RF F. 04, op. 20, no. 44, f. 80.

³⁰ ANNA DI BIAGIO, *Coesistenza e isolazionismo. Mosca, il Komintern e l’Europa di Versailles (1918–1928)* (Roma: Carocci, 2004), 32.

ARON SHNEYER

Советская власть и феномен коллаборационизма в СССР 1941–1945 годов

Для всех без исключения стран, оккупированных Германией, характерен коллаборационизм.

Вопрос о причинах коллаборации индивидуальной и коллективной с любым оккупационным режимом один из самых сложных в истории вообще, а в истории бывшего СССР особенно. В советские годы исследования на тему сотрудничества советских граждан с нацистами были запрещены, так как они могли разрушить сформированный советской идеологией миф о многонациональном единстве советских народов в годы войны и заставить задуматься о причинах сотрудничества с оккупантами. Коллаборационизм в СССР сводился лишь к деятельности генерала Власова, что является безусловной ложью. Целью такого подхода было желание скрыть реальные масштабы военного, полицейско-карательного, административного, хозяйственного, культурно-идеологического, политического, церковного сотрудничества советских граждан независимо от их национальности и территории проживания с немецкими властями.

На постсоветском пространстве появились исследования историков о коллаборационизме. Однако нет отдельных работ о коллаборации различных национальностей, религиозных конфессий, социальных и гендерных групп: советской сельской и городской администрации, технической и научной интеллигенции, крестьянства, рабочих, учащейся молодежи, преступной среды, о мужской и женской коллаборации, о сотрудничестве с нацистами разных возрастных групп включая подростков и юношей¹. Нет работ о колла-

борации комсомольцев и коммунистов, хотя тысячи из них сотрудничали с оккупантами. Известно, что Гитлер отдал распоряжение принимать бывших немецких коммунистов в нацистскую партию.² Он говорил, что «национал-социалисты никогда не выходят из социал-демократов и профсоюзных деятелей, но превосходно выходят из коммунистов».³

Например, Г.Н. Жиленков – секретарь одного из райкомов партии Москвы, бригадный комиссар, попав в плен, затем стал одним из ближайших помощников генерала А.А. Власова – коммуниста, как и большинство его соратников бывших советских офицеров и генералов.⁴

Управляющий делами Совнаркома Белоруссии Кандыбович работал в Генеральном комиссариате Белоруссии. Советская разведка сообщила о нем: «Слишком предан немцам».⁵

В районных центрах Калининской, Курской, Орловской, Смоленской областей из 500 коммунистов, до войны занимавших ответственные посты, 70% добровольно работали на немцев.⁶

Важно отметить, что по сравнению с Западной Европой на оккупированной территории СССР наибольшее число коллаборантов было представлено в местных полицейско-карательных и национальных формированиях СС, которые участвовали в антипартизанской и охранной деятельности и в уничтожении мирного населения.

Почему это произошло? Для ответа на этот вопрос необходимо изучить комплекс различных социально-политических причин, исторических реалий, военных обстоятельств места и времени, а также индивидуально-психологических черт, культурных и моральных ценностей, стечения различных жизненных обстоятельств как отдельных коллаборантов, так и целых групп населения, а то и народов. Однако мы остановимся только на социально-политических причинах.

Причины коллаборации на территории СССР надо искать, прежде всего, во внутренней политике Советского Союза, характерными чертами которой были политико-социальные и национальные репрессии, насильно внедряемая моноидеология, коллективизация, секуляризация. Социально-политические причины были важнейшими из всех, приведших граждан СССР к коллаборации с нацистским режимом.

Террор Советской власти после Октябрьского переворота и в годы Гражданской войны, расказачивание казачества, коллективизация и голод 30-х годов на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье, на юге Центрально-Черноземной области, в Западной Сибири, в Ка-

захстане; фактический разгром и уничтожение религиозных структур всех направлений, сталинские репрессии.

В 1929–1933 гг. было раскулачено около 4 млн. человек,⁷ из них сослано 2,5 млн. из которых умерло 600 тыс. человек.⁸

Миллионы жизней унес голод 1932–1933 гг. На Украине по разным данным от голода в 1932–1933 гг. погибло от 5 млн. до 7 млн. человек. В Казахстане от голода умерло более 1,750 млн. человек – более половины коренного населения.⁹

Беспрецедентный характер носили антирелигиозные репрессии. В 1915 г. русское православное духовенство насчитывало в своих рядах 140 епископов и более 141 тысячи служителей Русской Православной церкви. В 1941 г. осталось всего 4 архиерея и около 500 действовавших священнослужителей.¹⁰ Репрессии коснулись всех религиозных конфессий, без исключения.

Коллективизация вызвала волну крестьянских выступлений. 1931–1932 гг.: вооруженные столкновения происходили в Тамбовской области, на Алтае, Западной Сибири, в Ростовской области, восстание в станице Тихорецкая на Кубани, в Дагестане, рабочие волнения на Урале. В июле 1933 г.: вооруженные столкновения на Северном Кавказе и в Закавказье.

Несогласие с внутренней политикой привело осенью 1934 г. к массовому выходу молодежи из комсомола.¹¹

По сводкам НКВД во время Гражданской войны в Испании в 1936–1938 гг. казаки верхнедонских округов говорили: «Хотя бы скорей фашисты покончили с Испанией и взялись за СССР, освободили бы от ига. <...> скоро будет война. Мы организуем здесь восстания, чтобы скорей свергнуть советскую власть». В начале 1940 г. некоторые кубанские колхозники утверждали, если Германия нападет на СССР, <...> Пусть только дадут оружие нам в руки, тогда мы посмотрим, кого нужно защищать».¹²

В справке «О политико-моральном состоянии населения» Николаевского обкома партии 15 июля 1941 г. отмечено: «В колхозе “Авангард” колхозница Тютюник заявила: “Когда придут немцы, мы все заберем у тех, кто нас раскулачивал, особенно с ними рассчитаются семьи репрессированных”».¹³

Во Владимирском районе, в колхозе им. Ленина «Дети отдельных колхозников колхоза «Прогресс» говорят: «Скоро не будет большевиков, наш папа вернется».¹⁴

Религиозная тема также отмечена в высказываниях. В Ленинграде в августе 1941 г. верующие отмечали: «Что же Гитлер? Хуже,

чем есть, не будет, а хоть церкви-то разрешат иметь и Богу молиться. Главное – покончить с большевиками».¹⁵

Многие жители СССР не хотели воевать и ждали немцев. Так в Таганроге по приказу о мобилизации явилось всего 10%. Рабочие, не эвакуировались с заводами, другие жители не вышли на работу, боясь, что им прикажут отступить с Красной Армией.¹⁶

В 48-й пехотной дивизии «часть мобилизованных перед самой войной из Калининской и Псковской областей при первой возможности дезертировали, бросая оружие, иногда, захватывая его с собой, и спешили делить колхозы...».¹⁷

Советская пропаганда утверждала, что немецкими пособниками были буржуазные националисты, «отщепенцы», «изменники своего народа» «кулацко-уголовные элементы», «дезертиры и предатели. Конечно, среди коллаборантов были и такие. Однако большинство из них не были выходцами из эксплуататорских буржуазных слоев, у них не было уголовного или антисоветского прошлого. Среди коллаборантов крестьяне и рабочие, коммунисты и комсомольцы, гражданские и военнослужащие, милиционеры, партийные и советские чиновники. Уровень образования – от начального до высшего. Среди коллаборантов были представители всех социальных групп.

Говоря о причинах коллаборации необходимо упомянуть и национальные проблемы в СССР в границах 1939 г. В различных республиках многие деятели культуры и руководители республик были обвинены в украинском, татарском, узбекском и соответственно в другом национализме и были репрессированы. В середине 30-х годов началась русификация республик. Поэтому с началом войны антисоветские настроения проявились в разных районах СССР, населенных национальными меньшинствами. Например, в Калмыцкой АССР: «многие из калмыков не явились при мобилизации в армию в 1941 г., а занялись терроризмом».¹⁸

Уже в июле 1941 г. в Чечено-Ингушетии было 20 повстанческих групп.¹⁹ Многие местные партийные и советские работники присоединились к повстанцам. Только в Чеченском, Черекском, Эльбрусском районах – 46 человек; среди них: 5 членов бюро и инструкторов райкомов партии, 5 секретарей первичных парторганизаций, 6 председателей сельсоветов, 6 председателей колхозов и их заместителей, 6 директоров школ и учителей.²⁰

В Крыму положение было не лучше. Командующий 11-й немецкой армией, Эрих фон Манштейн писал: «Татары сразу же встали на нашу сторону. Они видели в нас своих освободителей от большевист-

ского ига, тем более что мы уважали их религиозные обычаи. Ко мне прибыла татарская делегация, принеся фрукты и красивые ткани ручной работы для освободителя татар «Адольфа Эффенди».²¹

С приходом немцев в Крым тысячи татар вступили в добровольческие отряды,²² а в январе 1942 г. в состав частей 11-й немецкой армии, осаждавшей Севастополь, было принято более 8600 татар-добровольцев.²³

На Западной Украине немцев встречали хлебом, солью, сооружали триумфальные ворота с надписями: «Слава Гитлеру, Слава Бандере». Проводились благодарственные парады в национальных костюмах.

В центральных районах и на востоке Украины не столько национализм, сколько память о голоде и сталинских репрессиях вела к массовому дезертирству и сдаче в плен.

В немецких листовках подчеркивалось, что немецкие войска пришли освободить СССР от власти жидо-большевиков. Эта пропаганда находила поддержку в разных слоях советского общества.

В районе Полтавы, в село, занятое немцами, строевым шагом вошло несколько сот человек в красноармейской форме во главе со своим командиром, с белым флагом, с зачехленным знаменем части. Во время сдачи в плен, командир-подполковник заявил вышедшим навстречу немецким офицерам и жителям села: «Если бы мы знали, что эта война против жидов и москалей, мы бы вообще на фронт не пошли».²⁴

Лидия Осипова из пригорода Ленинграда Павловска в своем дневнике 19 сентября 1941 г. написала: «Свершилось. Пришли немцы! Красных нет. Свобода».²⁵ Но здесь возникает серьезный и простой вопрос: свобода для кого и для чего?

Внешняя политика СССР и ее последствия также стали причиной коллаборации на территориях, ставших советскими в 1939–1940 гг. Здесь значительная часть, если не большинство, не принимало новую политическую систему, навязываемую культуру. Война резко обострила национально-освободительные, антисоветские и антирусские настроения, ибо население испытывало ощущение утраты независимости и оскорбленное чувство национального достоинства.

Во время и после войны в сознание советских людей внедрялся миф о том, что «вероломное нападение гитлеровской Германии на СССР вызвало у латышского эстонского, литовского, народов гнев и возмущение». Многочисленные факты свидетельствуют как раз о другом. В странах Балтии, как и на Западной Украине, был самый

высокий уровень антисоветских, антиеврейских и антирусских настроений и соответственно коллаборационизм.

Организованная военная поддержка оккупантам в первые дни войны была в Латвии, Литве и Эстонии. В этих странах 14–17 июня 1941 г. было арестовано и выслано более 40 тысяч человек.²⁶ Разве могли поддерживать советскую власть, тем более воевать за нее родственники репрессированных за неделю до начала войны?

С первого дня войны против Красной Армии в Латвии действовало 129 вооруженных групп, около 6-8 тыс. местных жителей.²⁷

В антисоветском восстании в Литве приняло участие около 100 тыс. литовцев.²⁸ Из 16 000 солдат-литовцев 29-го Литовского территориального корпуса с Красной Армией отступило не более 2 тыс. Немецкий солдат Фриц Бельке пишет в своем дневнике: «22 июня. <...> сердечный прием литовского населения. Со всех сторон они выходят из домов и дворов, несут яйца, сыр, хлеб и воду. 23 июня. Литовцы, вооруженные русскими орудиями, с восторгом маршируют рядом с нашими колоннами».²⁹

Также дезертировала и присоединилась к повстанцам большая часть 24-го Латвийского территориального корпуса.

В Эстонии из 7 тыс. эстонцев-военнослужащих 22-го эстонского территориального корпуса на сторону немцев перешло более 5 тыс. человек.³⁰ К 1 сентября 1941 г. в составе эстонских отрядов, нападавших на части Красной Армии насчитывалось 25 тыс. человек.

В Каунасе, Риге, Таллинне местное население встречало немецких солдат цветами, в национальных костюмах, размахивая национальными флагами.

Польское население западно-украинских и белорусских областей, видело в советской власти и в Красной Армии завоевателей, поделивших Польшу вместе с немцами, однако предпочитало немецкую власть.

Уже 22 июня 1941 г. в Бресте «...девушки-полячки подносили цветы немецким мотоциклистам, польское население приветствовало нападение немцев как избавление от еврейско-большевистского ярма».³¹

В Западной Белоруссии группы поляков обстреливали отступающих красноармейцев.³²

30 июня 1941 г. немецкие войска вступили во Львов. Украинцы и частично поляки встретили их ликующими криками и цветами. «...Немецкие машины двигались по морю цветов».³³

Призывники присоединенных территорий скрывались от мобилизации, а мобилизованные при первой возможности дезертировали или перебежали к немцам. К 11 июля 1941 г. 70 тыс. перебежчиков, бывших солдат и офицеров Красной Армии, было готово к сотрудничеству с врагом.³⁴

Конечно, не только внутренняя и внешняя политика советского государства были причинами коллаборации. Ее причины кроются также в психологии, нравственности, культурных и политических традициях народа, семейного воспитания, особенно в тех случаях, когда речь идет об участниках преступлений против личности. Таким образом, надо говорить о социальной психологии личности коллаборанта, сформировавшейся в процессе социального общения и под воздействием социальной среды. Но социальная психология и среда на протяжении почти 20 лет формировались советской идеологией через школу и общественно-политические организации.

Несмотря на сказанное выше, неверно думать, что будто Красная Армия и народы СССР только и мечтали о приходе немцев. Это представление не соответствует действительности. Признавая наличие элементов пораженчества в армии и народе, необходимо в оценке его строго соблюдать пропорции. <...> пораженчество было довольно быстро изжито, потому что оккупанты очень скоро сбросили маску «освободителя народов» и предстали жестокими работодателями и палачами.³⁵

Однако к ноябрю 1941 г. СССР оказался на грани катастрофы. Стало понятно, что советской коммунистической идеологии недостаточно для сплочения народа на борьбу с врагом. И хотя 7 ноября 1941 г. Сталин сказал: «...все народы нашей страны подпирают нашу армию и флот». Впервые разыгрывается национальная карта. Сталин очень своевременно обращаясь к истории России, обратился в первую очередь к русскому народу. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!». ³⁶ Обратите внимание все названные являются русскими, чьи имена до сталинской речи 7 ноября 1941 г. сознательно были почти убраны из истории России. Возвращение к ним означало не только поворот во внутренней политике, последует и изменение церковной политики, все это должно было показать непрерывность и преемственность российской истории в лице СССР. И главное, вызвать патриотический подъем. Затем будет принято решение об учреждении орденов Суворова и Кутузова, Нахимо-

ва и Ушакова. А перед началом освобождения Украины и ордена Богдана Хмельницкого. Появятся погоны. Советское руководство искусно использовало историческое прошлое Российской империи, поставив ее на службу советскому государству.

Примечания

¹ Например, Б. Ковалев ввел термин детская и половая коллаборация. См. Б.Н. КОВАЛЕВ, *Коллаборационизм в России 1941–1945 гг. Типы и формы* (Великий Новгород: НовГУ. 2009), 308, 348.

² ГЕРМАН РАУШНИНГ, *Говорит Гитлер. Зверь из бездны* (Москва: «Миф», 1993), 107.

³ РАУШНИНГ, *Говорит Гитлер*, 107.

⁴ К.А. ЗАЛЕССКИЙ, *Кто был кто во Второй мировой войне. Союзники Германии* (Москва: Астрель, 2004), 492.

⁵ А. ШНЕЕР, «О Катастрофе и геноциде. Общее и особенное», *Война на уничтожение. Нацистская политика геноцида на территории Восточной Европы. Материалы международной научной конференции. Москва. 26–28 апреля 2010 года*, сост. А. ДЮКОВ, О. ОРЛЕНКО (Москва: Фонд «Историческая память», 2010), 387.

⁶ И.Г. ЕРМОЛОВ, *Под знаменами Гитлера. Советские граждане в союзе с нацистами на оккупированных территориях РСФСР в 1941–1944 гг.* (Москва: «Вече», 2013), 27.

⁷ В.Н. ЗЕМСКОВ, «К вопросу о масштабах репрессий в СССР», *Социологические исследования* № 9 (сентябрь 1995), 118–127.

⁸ В.Н. ЗЕМСКОВ, *Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук* (Москва, 2005), 34–35.

⁹ О.Ф. СУВЕНИРОВ, *Трагедия РККА 1937–1938* (Москва: «Тerra», 1998), 34.

¹⁰ Священ. ГЕОРГИЙ (МИТРОФАНОВ), «Церковный геноцид в большевистской России: его истоки и их христианское осмысление», *Богословие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к евреям и иудаизму в Православной церкви большевистской России*, сост. Н.А. ПЕЧЕРСКАЯ (СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1997), 122.

¹¹ А.В. ОКОРОКОВ, ред., *Материалы по истории Русского Освободительного Движения. Сборник статей, документов и воспоминаний. Вып. 2-й* (Москва: Архив РОА, 1998), 6.

¹² А.П. СКОРИК, В.А. БОНДАРЕВ, «Образ грядущей войны в сознании крестьянства и казачества юга России (1937–1941 гг.)», *Война в истории и судьбах народов юга России. (К 70-летию начала Великой Отечественной войны). Материалы Международной научной конференции 1–2 июня 2011 г.* (Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2011), 31.

¹³ Yad Vashem Archives (далее YVA), fond M-37, number 269. folio 2–5.

¹⁴ YVA, fond M-37, number 269. folio 2–5.

¹⁵ К. КРИПТОН, *Осада Ленинграда* (Нью-Йорк: Изд. им. Чехова. 1952), 65.

¹⁶ YVA, fond M-33, no. 580. fol. 15, 48.

¹⁷ Testimony of Solomon Abramson. January 30.1995. YVA O.37983.

¹⁸ Н.Ф. БУГАЙ, *Л. Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...»* (Москва: АИРО-XX 1995), 68.

¹⁹ БУГАЙ, *Л. Берия – И. Сталину*, 92.

²⁰ БУГАЙ, *Л. Берия – И. Сталину*, 124.

²¹ ЭРИХ ФОН МАНШТЕЙН, *Утерянные победы* (Москва: Астрель, 1999), 238, 253.

²² YVA, M40/RCM-1, fol. 39.

²³ С.И. ДРОБЯЗКО, *Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941–1945* (Москва: «Эксмо», 2004), 266.

²⁴ Testimony of Grunya Grigoryeva. October 10, 1992. YVA, O.3/6712.

²⁵ О.В. БУДНИЦКИЙ, ред., *«Свершилось. Пришли немцы!» Идеальный коллаборационизм в СССР в годы Великой Отечественной войны* (М.: РОССПЭН, 2014), 82.

²⁶ С.В. СТЕПАШИН, ред., *Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)* (Москва: Книга и бизнес, 1995), 247.

²⁷ BLEIERE DAINA, *Latvia Otraja pasaules kara (1939–1945)* (Riga: Jumava, 2008), 249.

²⁸ Н.И. ВЛАДИМИРЦЕВ, А.И. КОКУРИН, сост., *НКВД – МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956), Сб. Документов* (Москва: Объединенная редакция МВД России, 2008), 59.

²⁹ ФРИЦ БЕЛЬКЕ, *Дневник солдата* (Ржев, 2002). – http://www.1942.ru/book/rzev_belke.htm (март, 2018).

³⁰ ВЛАДИМИРЦЕВ, КОКУРИН, *НКВД – МВД СССР в борьбе с бандитизмом*, 54.

³¹ К. ГАНЦЕР, И.Э. ЕЛЕНСКАЯ, Е.И. ПАШКОВИЧ, Е.С. РОЗЕНБЛАТ, *Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии* (Смоленск: «Инбелкульт», 2016), 324, 333, 371.

³² В.И. ЕРМОЛОВИЧ, С.В. ЖУМАРЬ, *Огнем и мечом. Хроника польского националистического подполья в Белоруссии (1939–1953 гг.)* (Минск: БелНИЦДААД, 1994), 20-21.

³³ Э. ЙОНЕС, *Евреи Львова в годы второй мировой войны и Катастрофы европейского еврейства 1939–1944* (Москва: Иерусалим. 1999), 92.

³⁴ ИОАХИМ К. ФЕСТ, *Гитлер. Биография*, т. 3 (Пермь: Алетейя, 1993), 243.

³⁵ Б. ДВИНОВ, *Власовское движение в свете документов* (Нью-Йорк, 1950), 22, 25.

³⁶ И. СТАЛИН, *Речь на параде 7 ноября 1941 г.* – http://www.sovmusic.ru/text.php?fname=st_71141 (март, 2018).

SUI-AN LI

Чжан Симань – предвестник распространения идей российской революции 1917 года в Китае

В этом году исполняется 100 лет Российской революции 1917 года. Кто первым познакомил китайский народ с этим важным историческим событием и распространил революционную теорию большевиков в Китае? В конце XX века этот вопрос обрёл точный ответ: Чжан Симань. Раскрыть этот исторический секрет помогла Чжан Сяомань, дочь Чжан Симаня.

1.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ КИТАЯ ПО ВОПРОСУ О РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

В Китайской Народной Республике (КНР) Российская революция 1917 года, т.е. Октябрьская социалистическая революция, по сей день получает очень высокую оценку и прославляется.

Мао Цзэдун, вождь Коммунистической партии Китая (КПК) и основатель Китайской Народной Республики, сказал: «Звук пушечных залпов Октябрьской революции познакомил нас с марксизмом». «Вывод: идем вперед по дороге русских»¹.

26 сентября 2017 г., накануне 100-летия победы Октябрьской революции в России, в Пекине состоялась конференция «Октябрьская революция и социализм с китайскими характеристиками». Лю Чикао, член Политбюро ЦК КПК, секретарь Центрального секретаря

риата и секретарь Центрального отдела пропаганды, присутствовал на этой конференции и сделал большой доклад. Эта конференция, проходившая на высоком уровне, и доклад, прочитанный высокопоставленным руководителем Китая, выражают официальную позицию страны в отношении Октябрьской социалистической революции.

Лю Чибao отметил, что в этом году исполняется 100 лет со дня победы великой социалистической революции в России в октябре 1917 года. Октябрьская революция – эпохальное событие в истории мира. Она открыла новую эру человеческой истории, и благодаря ей марксизм-ленинизм приобрёл популярность в Китае. За прошедшие сто лет Китай неоднократно и значительно изменялся и достиг великих успехов. Причина этого заключается в том, что Китай выбрал социалистический путь, открытый Октябрьской революцией в России.

Исторические достижения Октябрьской революции и великие достижения Советского социалистического строя нельзя отрицать в связи с распадом Советского Союза. Социалистическая система Советского Союза не смогла продолжаться по многим причинам, включая консерватизм и жесткость во взглядах, но первой причиной стал отход от марксизма-ленинизма и уход от социалистического пути, открытого Октябрьской революцией.

Лю Чибao подчеркнул, что Китай должен ясно понимать всё значение Октябрьской революции, чтобы лучше придерживаться и развивать социализм с китайской спецификой.

Лю Чибao говорил, что сегодня мы отмечаем это событие, и мы продолжаем идти по победному социалистическому пути. Самое главное – придерживаться социализма с китайской спецификой, развивать и стремиться к достижению цели «двухсот лет» и великого омоложения китайской нации, воплощать Мечту Китая, чтобы добиться блестящих достижений социализма.

В октябре 2017 г. в Пекине проходил XIX съезд Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин – генеральный секретарь ЦК КПК – 18 октября сделал важный доклад, в котором он повторил типичную формулировку Мао Цзэдуна об Октябрьской революции: «Сто лет тому назад звук пушечных залпов Октябрьской революции познакомил нас с марксизмом. Передовые элементы Китая увидели метод решения китайского вопроса в научной истине марксизма-ленинизма. ...Коммунистическая партия Китая возникла в 1921 году в жестокой борьбе китайского народа против феодализма и иностранной агрессии, и в процессе объединения марксизма-ленинизма с китайским рабочим движением...

Несомненно, Китай продолжит идти по пути Октябрьской революции, который открыли в России.

Однако стоит отметить, что КПК подчеркивает: социализм Китая имеет «китайские характеристики».

2.

ЧЖАН СИМАН: ПРЕДВЕСТНИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В КИТАЕ

Кто пропагандировал и распространял идеи Октябрьской социалистической революции и революционную теорию большевиков в Китае? Открытые исторические источники ответили, что этим человеком был Чжан Симан (Илл. 1).

Чжан Симан родился в 1895 г. в китайской провинции Хунань. В молодости он принимал участие в революционном движении, которое видело своей целью свержение династии Цин (1644–1911). Реакционное правительство преследовало его, поэтому Чжан Симан бежал в Россию, во Владивосток, чтобы там укрыться от опасности. Там в Восточном институте он изучал русский язык. Там же он познакомился с русскими революционерами, изучал труды Г.В. Плеханова и В.И. Ленина. В 1912 г. Чжан Симан, желая лучше узнать Россию, побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда у него зародилась идея: китайские революционеры должны изучить революционную теорию и тактику русских предшественников, и реализовать их в Китае.²

В 1917 г. большевики совершили в России Октябрьскую социалистическую революцию. Это важное историческое событие оказало огромное влияние на Китай.

Чжан Симан был очарован революцией. Зимой 1918 г. он отправился в Советскую Россию, чтобы своими глазами увидеть первую социалистическую страну в мире, изучить революционную теорию, опыт и методы партии большевиков.

В начале 1919 г. Чжан Симан из Советской России писал Сунь Ятсену (1866–1925) – великому лидеру Китайской революции 1911 г., основателю Китайской Республики – и другим руководителям страны, что Китай должен изучить и использовать успешный опыт Советского Союза для трансформации китайского общества и партии Гоминьдан.

Весной 1919 г. в Китае произошло великое событие – Движение 4 мая. В июле этого же года Чжан Симан вернулся на родину, где устроился на работу в библиотеке Пекинского университета. Там он совместно с Ли Дачжао, Чэнь Дусю – основателями будущей Ком-

мунистической партии Китая, организовали тайную «Ассоциацию изучения социализма», которая стала первой группой по изучению марксизма-ленинизма, пропаганде Октябрьской социалистической революции в Китае. Вскоре отделения «Ассоциации изучения социализма» открылись в Тяньцзине, Шанхае, Чэнду, Ханькоу, Гуанчжоу и других городах Китая и даже в столице Японии – Токио. В «Ассоциацию» входило около 100 членов, среди которых были и Мао Цзэдун – будущий основатель Китайской Народной Республики, и Чжоу Эньлай – будущий премьер.

В Советской России Чжан Симан общался с большевиками, от них он получил ряд документов Коммунистической партии России (б): Программу Коммунистической партии России, Конституцию РСФСР 1918 г. Чжан Симан перевел документы на китайский язык (Илл. 2.). Самым важным из них, пожалуй, была Программа Коммунистической партии России (б), потому что ее писал сам Ленин. В ней говорилось о 15 направлениях деятельности: политическом, этническом, военном, правовом, образовательном, религиозном, экономическом, здравоохранения и других. Опираясь на Программу Коммунистической партии России (б), китайские коммунисты разработали программу своей партии, свою политическую стратегию, чтобы продвигать революционное движение в Китае вперед.

В августе 1920 г. в целях создания коммунистической партии в Китае Коминтерн начал издавать и распространять переводы на китайский язык³ упомянутых выше документов, выполненные Чжан Симанем. Программа Коммунистической партии России (б) была издана тиражом 3000 экземпляров, так же как и книга «Коммунист», которая была напечатана в 1922 г. Эта литература получила широкое распространение в Китае. Спустя почти 90 лет переводы сегодня хранятся в бывшей Ленинской библиотеке в России (ныне Российская государственная библиотека, РГБ), в Городской библиотеке Лиона во Франции, в Национальном музее Китая.

Чжан Симань три раза обращался к Сунь Ятсену с предложением о том, что партия Гоминдан должна идти единым фронтом с Советской Россией и Коммунистической партией Китая. Сунь Ятсен принял это предложение. Затем Чжан Симан разработал и внедрил знаменитые «три политических принципа» (союз с Россией, союз с компартией, союз с рабочими и крестьянами).

В 20-е гг. Чжан Симан не только горячо пропагандировал марксизм и Октябрьскую революцию, но и организовал преподавание русского языка в Китае. Он помог создать в Пекинском университете

факультет русского языка, став затем его профессором, создал Китайско-русский университет (вскоре, однако, закрытый милитаристами), составил «Граматику русского языка», «Курс этимологии русского языка», учебное руководство «Новая Россия» и т.д. (Илл. 3). Среди его студентов были Цюй Цюбо и Цао Цзинхуа, которые впоследствии стали широко известными деятелями культуры, выдающимися переводчиками русской литературы.

В 30-е гг. Чжан Симан перевел на китайский язык Конституцию СССР. Определенный период времени Чжан Симан работал секретарем советского посла в Китае.

В 1935 г. Чжан Симан основал Общество китайско-советских культурных связей. Общество быстро стало расширяться сразу после своего создания (кстати, в него входили и советские дипломаты), во многих городах открылись его отделения. Во время Второй мировой войны Общество внесло важный вклад в укрепление китайско-советских отношений, в победу над общим врагом – фашизмом (Илл. 4-6).⁴

7 ноября 1946 г. в честь 29-летия Октябрьской революции Чжан Симан написал статью «Как Октябрьская революция вдохновляет и зовет меня».⁵ В ней он вспоминал свой жизненный путь и писал: «Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновляет и зовет меня, поэтому я не боюсь никаких трудностей и препятствий, борюсь, как солдат и пионер, за освобождение китайского народа и демократизацию Китая, за прочную дружбу и культурный обмен между Китаем и СССР».

Чжан Симан – союзник и сторонник Коммунистической партии Китая. В 1949 г. китайская революция победила и КПК создала социалистическую страну – КНР. Очень жаль, что Чжан Симан скончался после болезни в июле того же года. КПК провел торжественную церемонию погребения. Чжоу Эньлай лично написал текст для надгробной плиты Чжан Симаня.

В последние годы в Китае часто проходили мероприятия, посвященные Чжан Симаню.

20 июня 1995 г. правительство Китая организовало конференцию по случаю 100-летия со дня рождения Чжан Симаня. На конференции выступал член ЦК КПК Ван Чжаогу, он высоко оценил вклад Чжан Симаня в распространение марксизма-ленинизма в Китае.

9 сентября 2014 г. в память о 95-летию создания «Ассоциации изучения социализма» и 100-летию со дня рождения Вэй Сичжао, супруги Чжан Симаня, состоялось собрание в Институте современной

истории Академии общественных наук Китая в Пекине. Участники собрания так оценили Чжан Симаня: «Как член партии Гоминьдан и соратник Сунь Ятсена Чжан Симан создал “Ассоциацию изучения социализма” в Пекинском университете в 1919 г. Создание организации открыло новую страницу в истории современной китайской революции, зажгло искру коммунизма во тьме старого Китая».

В СССР и современной России также высоко оценили заслуги Чжан Симаня. Летом 1995 г. в Китае состоялась торжественная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Чжан Симаня, посол РФ в КНР И.А. Рогачев направил участникам конференции приветственное письмо:

УВАЖАЕМЫЕ КИТАЙСКИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

Сегодня, в день, когда отмечается 100-летие со дня рождения Чжан Симаня – известного китайского общественного деятеля, одного из основателей и руководителей Партии Гоминьдан, инициатора и проводника в жизнь Трёх великих принципов Сунь Ятсена, разрешите поделиться с Вами воспоминаниями, которые навсегда остались в памяти россиян.

В нашей стране Чжан Симан известен как человек, делом жизни которого было укрепление дружбы между Китаем и Советским Союзом.

Связанный с Россией годами учебы во Владивостоке в дореволюционный период и поездками в нашу страну в 20-е годы, Чжан Симан по возвращении в Китай стал большим сторонником курса на сближение с Россией.

Чжан Симан создал в Китае первое Общество по изучению русского языка, ставшее затем факультетом русского языка и славистики Пекинского университета, профессором которого он являлся.

В 1935 году Чжан Симан основывает Общество китайско-советских культурных связей, действующее в Пекине до 1949 года и внесшее неоценимый вклад в развитие культурного сотрудничества между народами наших стран.

В архивах Всесоюзного общества культурных связей и наших творческих союзов и сегодня бережно хранятся статьи и письма, направленные Чжан Симанем в Москву в годы Великой Отечественной войны. В них – неизменная вера в победу Советского Союза и рассказ о том, как наши успехи на фронтах вдохновляли патриотов Китая на борьбу за свободу и независимость своей страны.

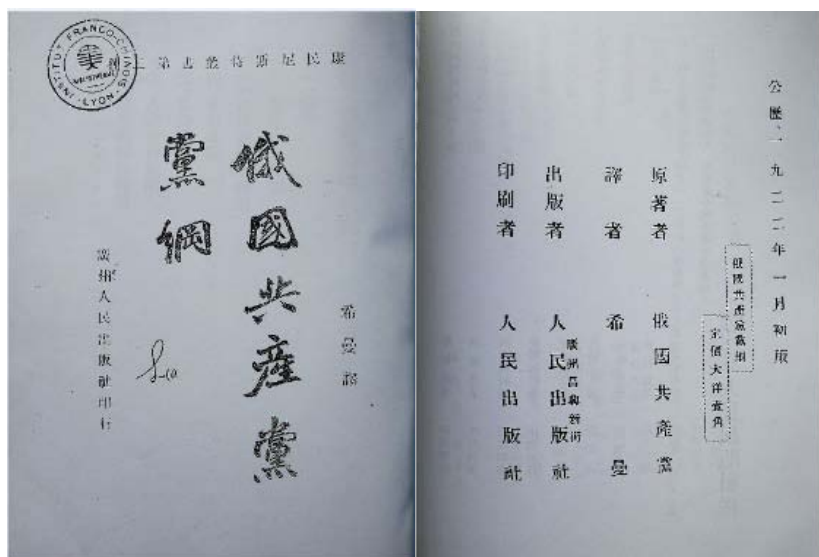
Безвременная кончина Чжан Симаня в июле 1949 года прервала его благородную деятельность.

Но дело, которому он посвятил свою жизнь, живет и находит подтверждение в успехах Китая в непрерывно развивающемся всестороннем российско-китайском сотрудничестве.

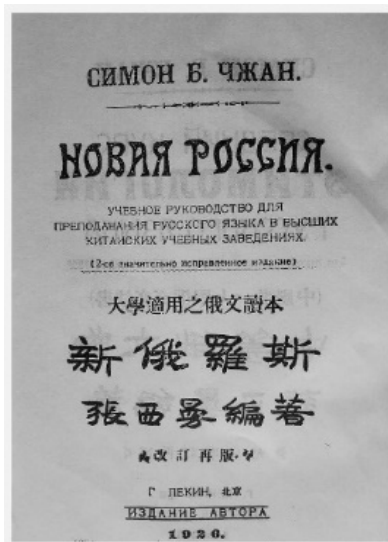
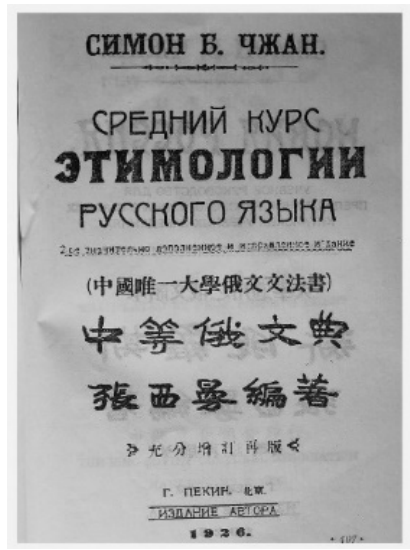
Это дело будет жить в веках в интересах наших стран и народов!



Илл. 1.
Чжан Симан (1895–1949 г.).



Илл. 2
Программа Коммунистической партии России (б),
издана на китайском языке в переводе Чжан Симаня в 1922 г.



Илл. 3.

Учебники русского языка, составленные Чжан Симанем.
Изданы в Пекине в 1926 г.



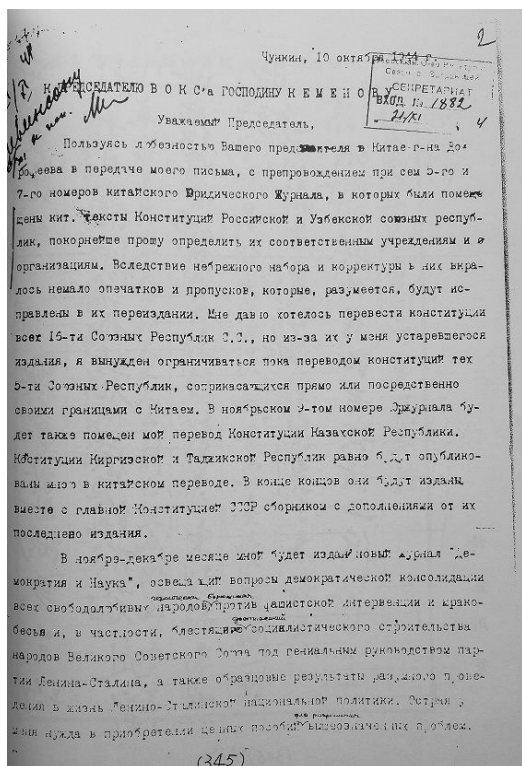
Илл. 4.

Встреча (8 декабря 1940 г.) деятелей культуры Китая и СССР в Обществе китайско-советских культурных связей, в которой приняли участие представители ВОКС (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей), представители советского посольства, корреспонденты ТАСС. На фото: Чжан Симан – шестой, слева, во втором ряду.



Илл. 5.

Мероприятие, организованное Обществом китайско-советских культурных связей в 1946 г., в Шанхае, в честь 125-летия со дня смерти Пушкина. На фото: участники мероприятия из Китая и СССР. Чжан Симан – третий справа.



Илл. 6.
Письмо Чжан Симана, написанное Председателю ВОКС
10 октября 1944 г. в Чунцине.

Примечания

¹ Мао Цзэдун, *Избранные сочинения Мао Цзэдуна*, т. 4 (Пекин: Народ, 1961), 1472, 1481.

² Ли Суй-ань, «Чжан Симань и Общество китайско-советских культурных связей», *Проблемы Дальнего Востока* 5 (2001), 157-160.

³ Чжан Сяомань, *По следам ног моего отца* (Неофициальная публикация, 2005), 82, 127, 147.

⁴ Ли Суй-ань, *История китайско-советских культурных обменов (1937–1949 гг.)* (Харбин: Харбин, 2003), 136-158.

⁵ Чжан Симань, «Как Октябрьская революция вдохновляет и зовет меня», *Китайско-русская культура* 11 (1946).

**КУЛЬТУРА И
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ**



**CULTURE AND
THE VALUES OF REVOLUTION**

OXANA IGNATENKO-DESANLIS

Images of the Russian Revolution¹

Eyewitnesses and on-site reporters of revolutionary events, satirists and editors of the main satirical reviews in Saint Petersburg of the time delivered week after week an illustrated vision, albeit partial and biased, of the Russian revolution. The study of illustrated reviews they have handed down turn out quite fascinating as they foster an original purview, not bereft of humor, of current events and the principal characters that would leave their indelible marks during this ever so singular period. Emanating principally from the progressive Russian intelligentsia, of democratic leaning, the reviews sustained nevertheless a level of popularity as bore witness the fame of two editors-in-chief, namely Arkadi T. Avertchenko, nicknamed *The King of Laughter (The New Satyricon)* and Alexander V. Amphitheatrov, alternately referred to as *the Russian Zola (The Whip)*.

Our present objective calls for giving an image to the Russian revolution by making use of these primary sources that constitute an excellent starting point in view of weaving a historical and satirical account gleaned over the course of these publications, and off the beaten path of the 1917 revolution.

The context is that of the year 1917 early on in Russia and arguably one of the most morose periods. The front is bogged down for the third year in a row. Concomitantly, rationing becomes increasingly drastic. Political instability is heightened by social demands ever more severe and expressed by the common folk living in the outlying districts and in poor neighborhoods. Humor is clearly not on the agenda especially with the draconian censorship all the more hardened because of the conflict in the battlefield, leaving satirists precious few and drab subjects of currency, all critique of the imperial family, the government, and the army being severely repressed.

The czar is absent from the capital and from the affairs of state, and devotes his efforts to scoring victories against the Central empires. The

Russian army is downtrodden after almost three years of relentless war effort and combat. A convergence of events (mass strikes, demonstrations by some of the regiments in support of the insurrectionists, etc.) leaves the czar with his back against the wall and with no option other than abdicating.

From that point on, we note the birth of a myth, that of a triumphant and victorious revolution, holding out great promise for the future. In effect, as soon as the tsar's abdication was announced, he was caricatured, something strictly forbidden by censorship that had just been abolished. He was depicted surrounded by bayonets while sitting on his throne, dressed in full regalia. Popular euphoria had immediately made a myth of the fall of autocracy and underscored not the "freely-consented" abdication, but rather the heroic victory, akin to an armed takeover, with trophies as the attributes of the monarchy, as evidenced by the symbolic presence of the two-headed eagle originating in the Byzantine Empire.²

Follow the euphoria and flood of liberties staged by satirists, complete with the ravaging iconoclasm, highlighting the first criticisms of the new revolutionary political power, featured in a most irreverent review, *The Scaffold* № 1 (Fig. 1), that only published three issues, the last of which did not hesitate to represent in a highly emboldened manner Russian dual power in the form of a female anthropomorphic doubled-headed eagle, fat and feathered, perched atop the Palace of Tavrida, or the government as an insane asylum (cover of *The Scaffold* № 3) (Fig. 2).

These first warning signs aside, the first revolutionary Easters unravel under the sign of the Russian people's resurrection and end up bestowing a messianic aura to this revolution that sees itself henceforth as endowed with a designated mission, that of the Russian people's salvation.

However, the party was destined to be short-lived, for at the same moment a trouble-maker was about to make his sulphurous and noticeable appearance. Lenin had just returned to Russia in a "sealed" train, after crossing enemy Germany, a train used by the emperor as a last-ditch means of destabilizing Russia from within.³ He was immediately referred to as a traitor paid off by Germany, akin to a latter-day Judas. His coming and his role immediately inspire satirists determined to make hay of the Lenin case.

Having made the headlines with his *April Theses*, artists had trouble putting a face to this name who was nevertheless much written about. Lenin remains little known (which has to take the cake for what was to become the object of a veritable personality cult). He is perceived as a Little Red Riding Hood selling an ugly peace to the Kaiser-Wolf – (*The Stun Gun* № 5 (Fig. 3) or else as key component of German stratagem of a Trojan Horse (*The New Satirikon* № 15).

The paradox is indeed stunning: how does one fathom the fact that Lenin could be unknown in Russia in 1917? To be sure, because of his political activities, Lenin was exiled for three years in Siberia between 1897 and 1900. Starting in 1907, he had settled in Finland, still a Russian dependency: Nicolas II was Grand-Duke of Finland. Lenin enjoyed a certain autonomy and had been allowed to travel in Europe (to Geneva and Paris notably), before settling in Montreux in Switzerland in 1910 and then returning to Russia on April 3, 1917. As a consequence, he was very mobile in Europe, traveled a lot, participated in international conferences, published articles, but lived physically isolated from Russia.⁴ This fiery return triggers off the fatal countdown for the Russian Revolution. With Lenin taking over the Bolsheviks, they take front stage position as the arch enemies of the revolution by combining all the evil, all the vices and faults, the brutality, crassness, dumbness, violence, and betrayal. Far from conquering heroes of Eisenstein, groveling under the snows of the Winter Palace...⁵ Heretofore fragmented minorities, the Bolsheviks (once featured in *The Scaffold* № 1, depicted as harmless fools wearing their straightjackets), the revolution suddenly shifts and sinks into riots, violence, and anarchy.

The first April riots and especially the infamous Days of July plunged the revolution into mourning and laid waste any hope for a generous and triumphant revolution, inspiring Maxim Gorky to write: "I no longer recognize Petrograd. The streets are filthy. The people are increasingly lazy and cowardly. All the basest and most criminal instincts I've always fought against seem to awaken. It's an Asian revolution that is about to unleash itself and destroy Russia".⁶

There then appeared in this new context, a new protagonist, the quintessence of the "boor", anti-hero, and anti-messiah at its finest, whose eminently biblical name is Sham, beckoning back to the curse of Cana (Fig. 4). Russia was now facing the full impact of the revolutionary events and the struggle between good and evil, between vice and virtue, in the grips of a truly millennial psychomachia.⁷ By way of example, Simeon L. Frank says: "In search of last-ditch signs of hope, one seeks out historical analogies in an attempt to find appeasement and faith, but to no avail...and the only suitable examples that come to mind are these terrible events, full of biblical fright: the sudden destruction of the Great Empires of Antiquity".⁸ The cataclysmic stage is set. Henceforth the messiah will no longer come in the name of the Lord. Hard to find a more potent comparison.

All the base instincts which Maxim Gorky abhorred seemed to be incarnate in the caricatures, with this personification of violence and arrogant brutality of the Bolshevik alternately vociferating "down with" all "doloi" *The Whip*, (Fig. 5) and leaving it to the other giant monsters of

anarchy (the Bolsheviks) the task of spreading chaos in their wake, as found in № 19 of *The New Satirikon* and № 27 of *The Whip*. The theme of the boor, i.e. of Sham crowned, as can be seen in the review № 38 of *The Whip* (Fig. 9), was undoubtedly inspired by Dmitry Merezhkovsky, who foresaw the *Advent of Sham*, in 1905, after the first Russian revolution.

The summer thus marks a rough turning point when the review *The Whip*, the one most deeply imprinted with millennialism under the editorial direction of Alexander Amphitheatrov,⁹ represented the “virgin of the revolution” (Fig. 6), idealized, breaking her chains, as if leading the people toward freedom, appears on the back cover, by way of a prodigious shortcut, embodied by a vixen, bellowing off fruits and vegetables on a sordid outdoor market, draped with the words “republic” and “democracy” (Fig. 7). The symbols are rash and cynical, the front and back page combination of daunting effect. The book of the Revolution opened on a nice homepage, full of promise, it ends up in an abrupt halt, in a sordid and tragic ending, in the depths of cynicism, where fantasized grandeur strays into a repugnant triviality.

The transformation is carried out; the butterfly turns back into a larva. Everything gets inverted and the revolution henceforth is presented as being in danger, as underscored by several reviews on the front page.

On the military side of things, after holding out hopes for victory, the army gets eaten away by Bolshevism notably via the *Trench Pravda*. General Denikin, who would be the major of the Army during the Moscow Conference of August 1917, complained about it bitterly:

The army was drowned in the evil and defeatist literature (i.e. Bolshevik). No problem convincing oneself of our army’s pittance, at the expense of state subsidies, in other words the nation’s money and so reported by the Military Bureau of Moscow that alone provided the literature to the front in the following proportions: Starting on March 24 until May 1st were delivered on the front: 7972 copies of Pravda, 2000 copies of the Soldiers’ Pravda, 30 375 copies of the Social-Democrat Journal, etc. From May 1st to June 11: 61 525 copies of the Soldiers’ Pravda, 32 711 copies of the Social-Democrat Journal, 6999 copies of Pravda, etc.¹⁰

Martin Malia summarizes the situation as follows: “Starting in September, the Russian army begins to dissolve by itself, the peasant soldiers heading home to partake in the division of land owned by the nobility. One can see how all the crisis of the “double power”, from April to July and then on to August, were directly attributable to the war, and how the impact of these crises on the army left the State without any military force to rely upon. This type of situation is called anarchy: not in the

sense of open violence organized against the State, but in the sense of a genuine absence of government".¹¹

As a result, despite the initial breakthroughs and the prisoners taken during the Kerensky offensive, the latter ended up in a terrible stampede whereas the troops held an advantage during the first counter-attack. Kornilov's attempt at the head of the last loyal regiments gave the final blow of discredit on Kerenski, the head of the government, who stood for the strongman and on whom rested many a hope...

Kerenski's image evolved with the most striking effects in the course of a few short weeks, going from super minister catching hold of all files, a new invincible Napoleon, all the way to preventing his soldiers from attacking, re-establishing the death penalty, and decreeing himself dictator with full powers... For *The New Satirikon* № 38, he became the reflection, the copy of Nicolas II in a severe caricature where the fallen czar, knout in hand, is beating up a man while his twin reflection Kerenski, sporting a Phrygian bonnet, stands in the same posture, the title and caption comparing him to Seliphane, Chichikov's brutal coachman in Gogol's *Dead Souls*, blindly obeying his master's orders.

While the central was making a fool of itself and losing all credibility by returning to the time of autocracy, the Bolsheviks' influence increased relentlessly despite its open-faced treason,¹² and the government's reaction turned out to be too little too late.¹³

It is in that context that the review *Lukomoria* in a last-ditch show of patriotism published its last issue where freedom triumphs finally over the monster anarchy bearing the face of Trotsky (Fig. 8)... As the power and influence of the Bolsheviks grew, the printing houses were requisitioned, the stocks of paper confiscated, thus preventing the opposition reviews from expressing themselves. The day after the October coup d'état (there was in fact only one revolution, that of February), bourgeois newspapers and reviews were immediately forbidden.

The switch from dream to nightmare is complete, death triumphs and gloats, Russia is prey to highway robbers, she is already fleeced, tortured, and in agony.

The illustrations effectively appearing in the last issues of the main reviews displayed apocalyptic pessimism. To wit, the review *The Whip* devotes its last two cover pages of the year (№ 42 and 43, Fig. 10-11) to The Mower, the last cover page showing her triumphant and strewing a multitude of corpses. *The New Satirikon*, more cynical, plays with puns in № 42, in which one sees Russia at the start of the war, directing the negotiations, prior to appearing on the table about to be split apart. Finally, she is hanged from a tree and stripped of her shoes (Fig. 12).

Despite the violence of the themes, one cannot help but be overwhelmed by the clairvoyance of Russian satirists who would maintain an editorial activity right up to June-July 1918, before being definitively shut down by the new authorities.

Freedom will have been short-lived, but the lively witnessing that marked that year with its images allows us to see little known but highly significant aspects of the revolution, both historical and artistic. These men endowed with sharp humor, immense talent, and great culture, gave rise to a genuine image of the Russian Revolution and the brutal coup that put an end to it. Not content with having illustrated daily life and political life of the time, they analyzed the ins and outs of the revolution and knew full well with Lenin's return the looming danger, having identified that implacable law of fate in the face of these extremists, also known as maximalists, who, diehards that they were, intended to take over power. They stood for the enemy of freedom, and invariably shattered all optimistic prognoses, among them the dreams built on the revolutionary springtime that would crash on this concrete wall of cynicism. Pandering "to the darkest instincts of the masses (Gorky, *Untimely Thoughts*), to quote Maxim Gorky to finally humiliate Russia by a dishonoring armistice, amputating the empire of its most fertile lands and resources, fostering divisions that would bring about civil war, ushering in the twilight, the dark night about to fall, and the triumph of death as foretold by the satirists.

This story in pictures of the revolution, from jubilation to fright, from hope to havoc, unfolded over a mere few months, a few weeks during which the satirists managed to make good of the freedom they were granted. Leaping way beyond the limits of humor and satire, their charges against the Bolsheviks quickly turned apocalyptic, in the wake of deep contempt they inspired in the satirists, who never tired to counter their arguments, to denounce their gambits, their violence and treason, all the while predicting their own fateful demise.

On all issues, these cover pages illustrate a certain destiny, all the more bitter and cynical as it had fed on spontaneous hope, undoubtedly dashed for having too naively expressed it.

Notes

¹ Russian magazines analyzed in the paper: *Lukomorie* (weekly-illustrated satirical magazine); *The New Satirikon* (weekly-illustrated satirical magazine); *The Scaffold* (weekly-illustrated satirical magazine); *The Stun Gun* (weekly-illustrated satirical magazine); *The Whip* (weekly-illustrated satirical magazine).

² In heraldry, the Eagle is a naturally female figure. The two-headed eagle was the coat of arms emblematic of the union of the Eastern and Western Empires as defined by Constantine. Ivan III, Great Prince of Moscow remarried Zoe (Sophia) Paleologue (heir to the eponymous dynasty and niece of the last Byzantine emperor, Constantine XI); following the wedding, Ivan III took the two-headed eagle for his own coat of arms...

³ “Lenin’s financial connections with Germany, though indirect, are undeniable. The evidence can be consulted in German archives... Hereafter, it becomes clear that starting in 1917 the Bolshevik Party has at its disposal for propaganda purposes considerable funds, to wit the wholly unexpected development of the press after February (cf; numbers provided by Claude Anet, article entitled *Lukomoria* № 12-13, April). Lenin’s correspondence with Hanetski, in charge of dishing out the money, takes on importance between February and April of that year and bears witness to the ties existing between the two men and to the sums made available from one to the other to enable Lenin to leave Switzerland. (HÉLÈNE CARRÈRE D’ENCAUSSE, *Nicolas II, La transition interromue. Une biographie politique* [Paris: Fayard, 1996], 439-444).

⁴ This facilitated his escape into Finland in July 1917, where clean-shaved and wearing a simple hairpiece has was able to cross the border without particular worry.

⁵ It won’t be before mid-June when the Bolsheviks gain majority in the laborers’ section of Petrograd.

⁶ Cf. NICOLAS WERTH, *1917, La Russie en révolution* (Paris: Gallimard, 1997), 75.

⁷ See notably the cover pages of *The New Satirikon* № 21, *The Whip* № 25, *The Whip* № 24, *The Whip* № 38...

⁸ SIMEON L. FRANK, “De profundis”, quoted by Isabelle Stal in her article: “‘De Profundis’ or the critic of the revolution’s reason”, *Cahiers du monde russe et soviétique*. Vol. 24 № 1-2 (Jan-June 1983), 60.

⁹ He was the son of an archpriest who would officiate at the cathedral of Saint Michael the Archangel in the Moscow Kremlin.

¹⁰ CLAUDE ANET, *La Révolution russe: Chroniques 1917–1920* (Paris: Phebus, 2007), 307-308.

¹¹ MARTIN MALIA, *La Tragédie soviétique. Histoire du socialisme en Russie, 1917–1991* (Paris: Editions du Seuil, 1995), 144.

¹² Pierre Pascal evokes in turn Lenin’s treason and the Bolsheviks’ financing by Germany in his *Journal de Russie* dated July 18: “The people’s newspapers publish a counter-espionage release denouncing Lenin as a traitor – he allegedly received money from Germany through Furstenbert in Stockholm, by way of the Via Bank and he Bank of Siberia. Pereverzev had this item inserted [...] Kerenski telegraphed from the front: ‘Arrest Lenin and his friends and shut down Pravda’. The government agrees. The Soviet fully supports the government, but hesitates about arrest. That came about at the moment when Lenin escaped to Finland, disguised...”). PIERRE PASCAL, *Journal de Russie* (Lausanne: L’Âge d’Homme, 1975), 161.

¹³ “The Government holds in hand a telegram addressed to the Swiss minister in Petrograd that proves the Grimm is a German agent who had come to negotiate a separate peace with Russia on instructions from the Imperial Chancellor of Germany. A stone thrown in the duck pond. Stupor! Silence! The maximalists are the first to pull themselves together. Lenin and Trotsky declare that Grimm’s expulsion is a world-wide scandal”. (Anet, *La Révolution russe*, 271.)

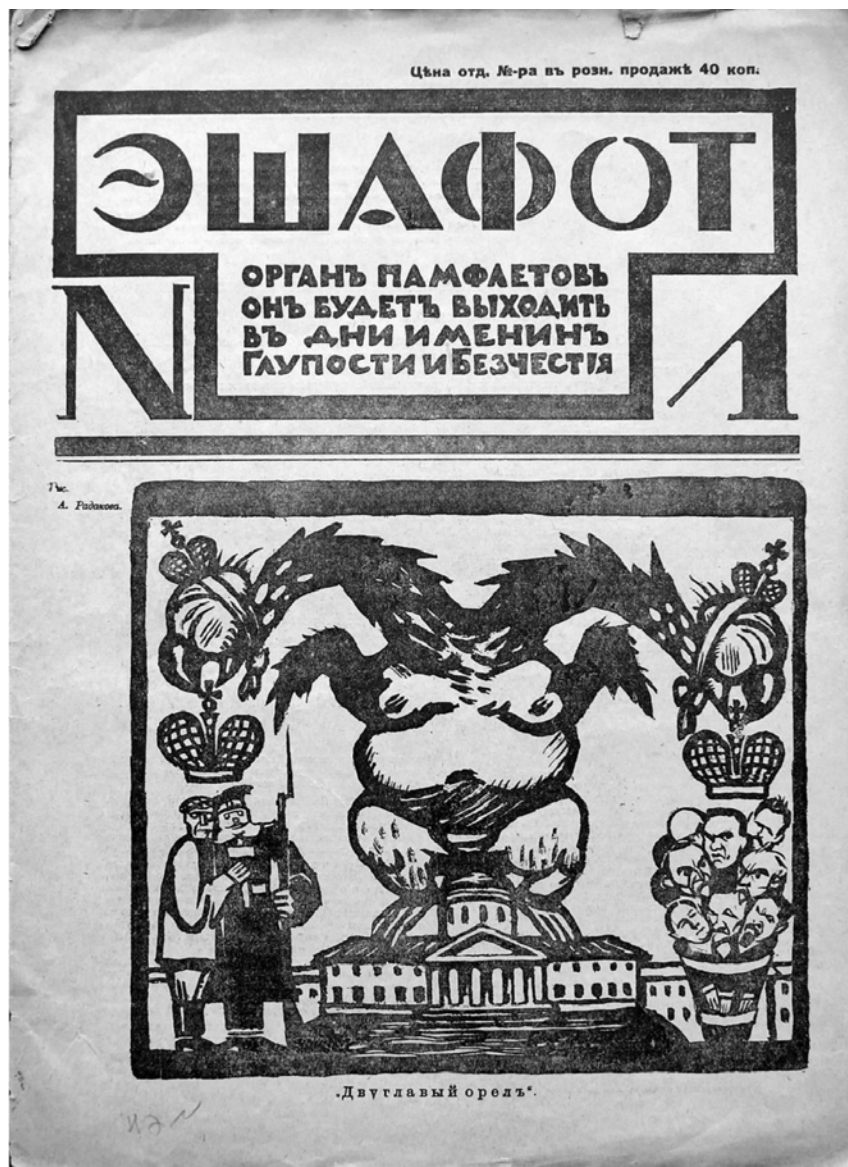


Figure 1.

THE SCAFFOLD, an illustrated satirical weekly magazine. Subheading says: "This organ of pamphlets will be published on the name days of Stupidity and Disgrace". Issue № 1. Dated March 1917. Printed in Petrograd. The front cover has a drawing by A. Radakov under the title "Double-headed Eagle".

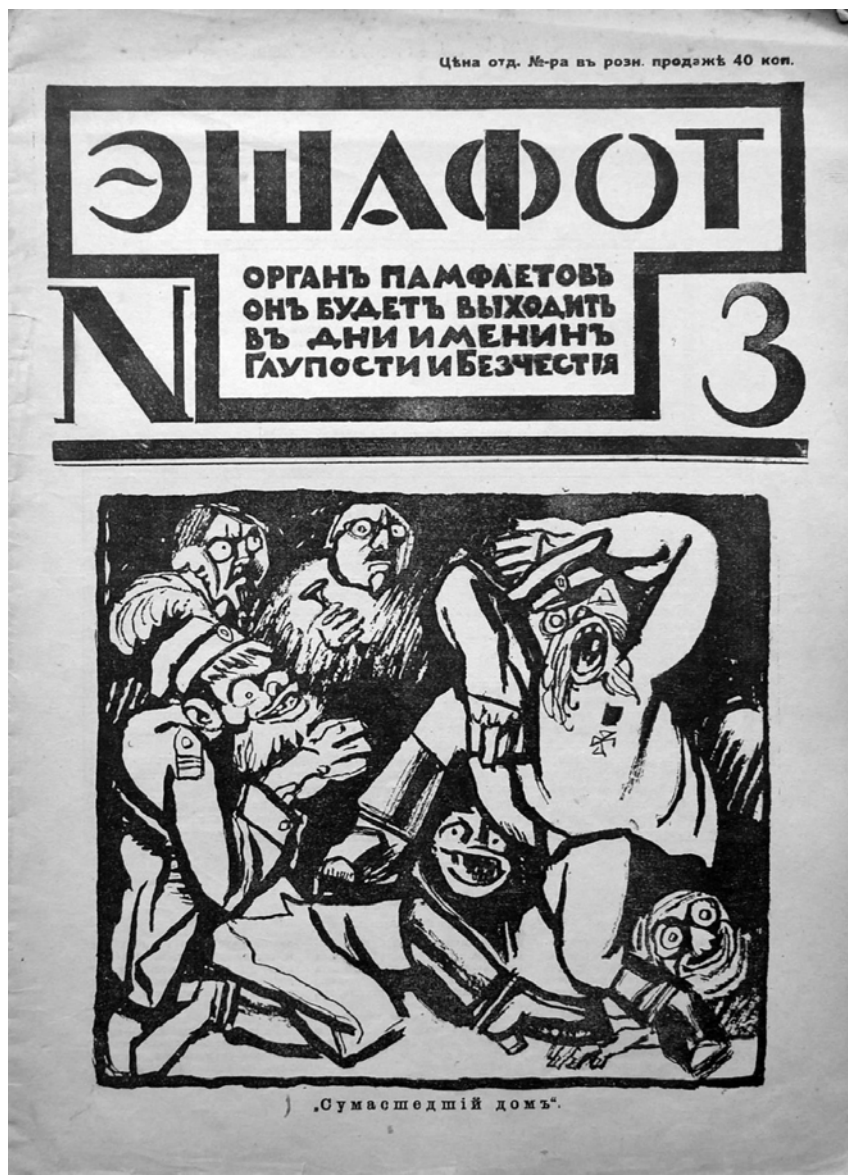


Figure 2.

THE SCAFFOLD, an illustrated satirical weekly magazine. Subheading says: "This organ of pamphlets will be published on the name days of Stupidity and Disgrace". Issue № 3. Dated March 1917. Printed in Petrograd. The front cover has a drawing by A. Radakov under the title "Madhouse".



Figure 3.

THE STUN GUN, a weekly illustrated artistic, satirical magazine, Issue № 5, dated May 1917. The back cover has a drawing by Gustave Mootse under the title “Russian Red Riding Hood”. The drawing has a caption which says:

“Red Riding Hood (Lenin): What big arms you have!
 Wolf: All the better to hug you with, my dear, while fraternizing.
 Red Riding Hood: What big eyes you have!
 Wolf: All the better to see with, my child, while fraternizing.
 Red Riding Hood: What big teeth you have got!
 Wolf: All the better to eat you up with”.



Figure 4.

NEW SATIRIKON, a weekly illustrated satirical magazine, Issue № 21 dated June 1917, printed in Petrograd; the front cover has a drawing by Re-Mi (V. Remizov-Vasilyev) under the title “His Program”. The caption below says:

“On the Quiet Side of the Revolution”.

Bolshevik: “Well now, they repeatedly said, ‘here comes the One, here comes the One!’ All right, here I am. I’ve come!”.

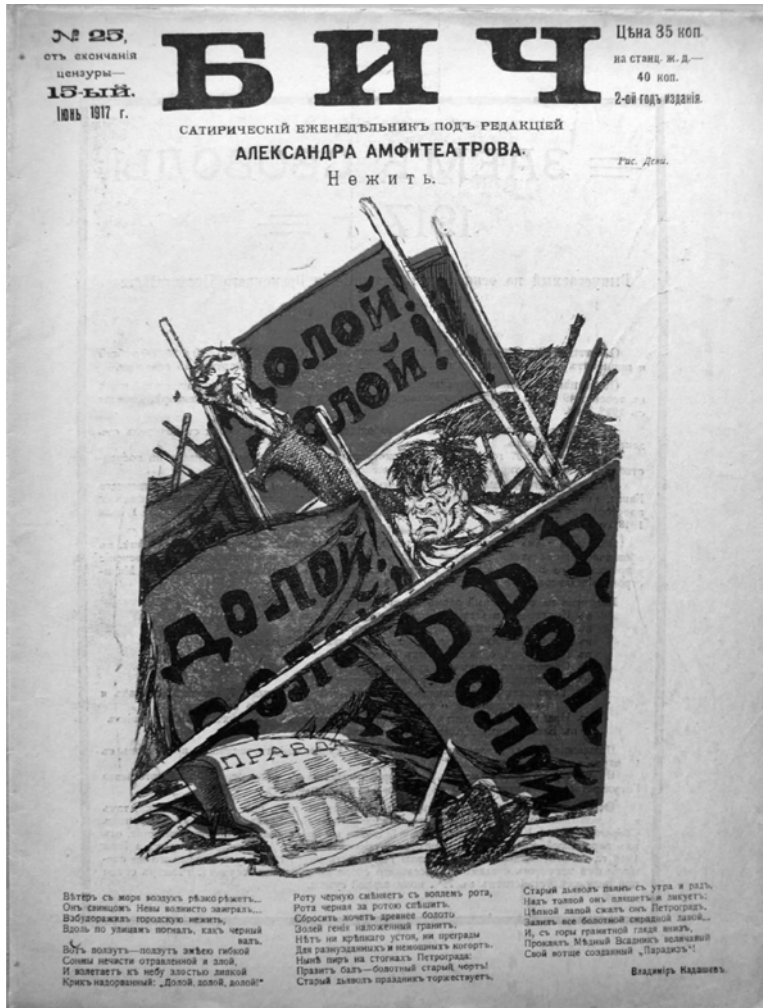


Figure 5.

THE WHIP, a weekly illustrated satirical magazine, Issue № 25 (№ 15 as of date the censorship was removed), dated June 1917. Printed in Petrograd. The front cover has a drawing by Deni (V. Denisov) under the title “Undead”. Vladimir Kadyshev authored the caption which says:

The sea wind is cutting deeply through the air...
It has started playing with the leaded waters of the Neva river...
It has disturbed the city’s Undead
It has driven them along the streets like a black wave
Here they crawl like a springy snake
Crowds of the evil spirits, poisoned and vicious.
And their scream full of sticky anger reaches the sky
With the words ‘Down with... Down with...!’



Figure 6.

THE WHIP, a weekly illustrated satirical magazine, Issue № 28 (№ 18 as of date the censorship was removed), dated July 1917. Printed in Petrograd. The front cover has a drawing by M. Bobyshev under the title “The Virgin of the Revolution”. The caption below picture says: “The 27th of February”.

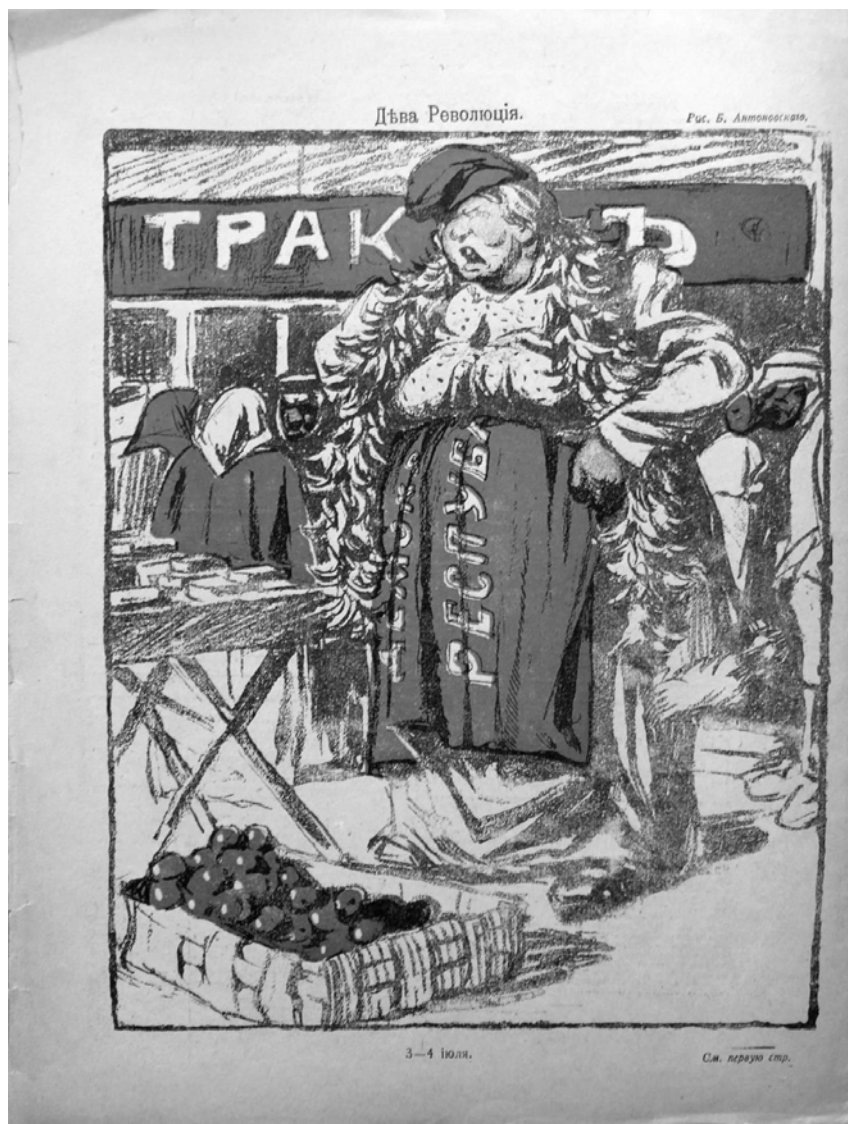


Figure 7.

THE WHIP, a weekly illustrated satirical magazine, Issue № 28 (№ 18 as of date the censorship was removed), dated July 1917. Printed in Petrograd. The back cover has a drawing by B. Antonovskiy under the title "The Virgin of the Revolution". The caption below picture says: "July 3-4".



Figure 8.

LUKOMORIE, a weekly illustrated satirical magazine, Issue № 28-29, dated August, 1917. Printed in Petrograd. The front cover has a drawing by Pem (P. Maliutin) under the title: “May it be so!” The caption below says: “Anarchy. Freedom”.



Figure 9.

THE WHIP, a weekly illustrated satirical magazine, Issue № 38 (Issue № 28 as of date the censorship was removed), dated October 1917. Printed in Petrograd. The back cover has a drawing by Deni (V. Denisov) under the title “Lord of Our Days”. The caption below says: “His Highness the Twerp I, enthroned on 21st April, and crowned on July 3-5, 1917”.



Figure 10.

THE WHIP, a weekly illustrated satirical magazine, Issue № 42 (Issue № 32 as of date the censorship was removed), dated November 1917. Printed in Petrograd. The first cover has a drawing by Deni (V. Deni-sov) under the title "October 1917".



Figure 11.

THE WHIP, a weekly illustrated satirical magazine, Issue № 43 (Issue № 33 as of date the censorship was removed), dated December 1917. Printed in Petrograd. The back cover has a drawing by B. Antonovskiy under the title “Glory to God on high and on earth peace...”.

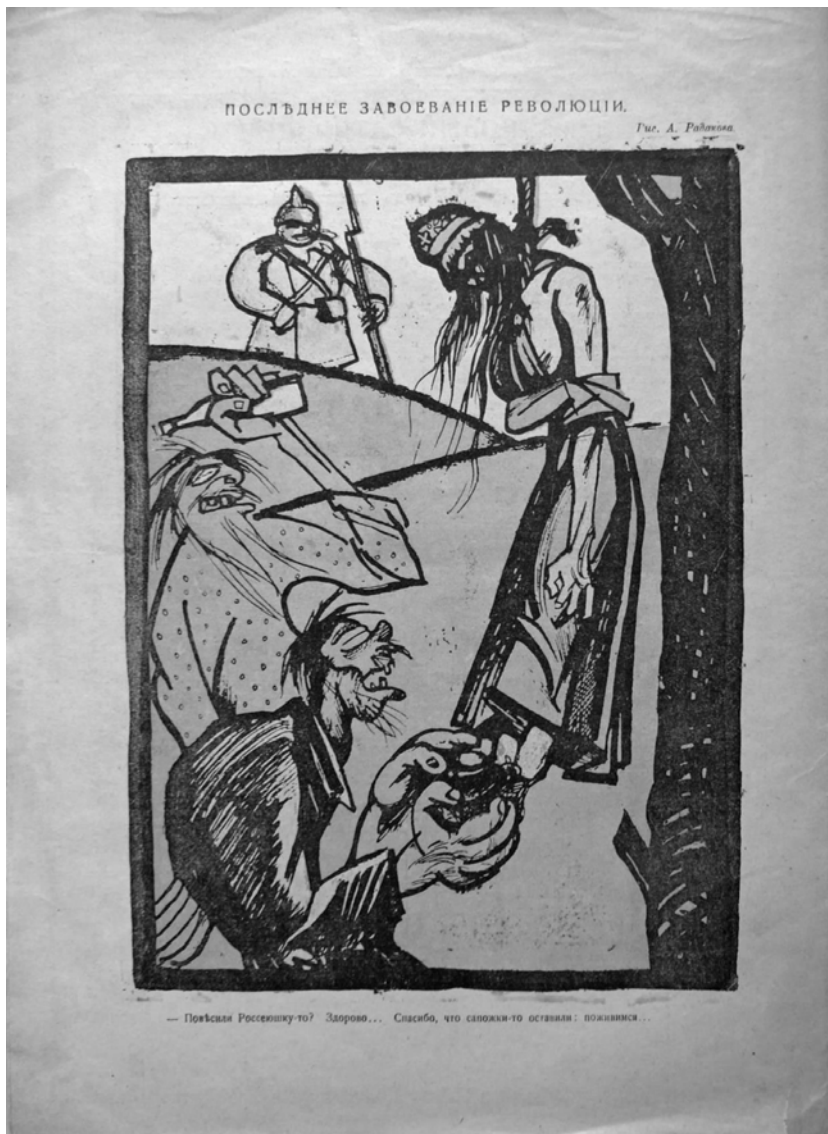


Figure 12.

NEW SATIRIKON, a weekly illustrated satirical magazine, Issue № 43 (special funeral) dated December 1917, printed in Petrograd; the back cover has a drawing by A. Radakov under the title “The last achievement of the Revolution”. The caption below says:

“Did they really hang Mother Russia? That’s great...Thanks, they left her nice boots on as we can profit by them.”

Л.А. БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА

Красный Октябрь: рождение и становление нового человека¹

1.

ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА: КЛАССОВАЯ ИЛИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ?

Революционный разворот классовой борьбы в период Первой мировой войны вывел на международную арену набиравший силу пролетариат, ибо господствующий класс к этому времени продемонстрировал свою абсолютную несостоятельность в разрешении тех мощных противоречий, в тисках которых находилась не только Россия, но и мир в целом. Сменив баррикады трех революций, выпрямляющийся пролетариат наконец-то завоевал право и на такой вопрос: где та культура, которая была бы *про* него, *для* него и *от* него?

В связи с этим возникает вопрос: имеет ли класс, создающий материальное «тело» культуры, право не только на формальный доступ к ней, но и на полноценное – субъектное включение в нее? И насколько взаимосвязь пролетариата с культурой является обязательной для социалистических преобразований?

В дореволюционный период пролетариат был отчужден от культуры, но это обстоятельство с позиции обывателя объясняется, как правило, интеллектуальной ограниченностью самих представителей этого класса («*что поделать, если Бог не дал?*»), а раз это так, то пусть пролетариат, в отличие от «избранных», довольствуется массовой культурой. Интересно, что «избранные», не признавая принцип классовости как таковой (уже одно слово «класс» вызывает у них неприятие), но одновременно утверждая закономерность деления культуры на массовую и элитарную, тем самым настойчиво

проводят идею классовой демаркации. Но ведь эти демаркации в культуре могут в одночасье превратиться в баррикады истории.

Итак, в набирающей ход социалистической революции и через революцию пролетариат заявил свой общественный запрос на ту культуру, которая отвечала бы его интересам как класса; отражала бы его вопросы и надежды; несла бы такой художественный взгляд на мир, который давал бы человеку труда и творчества возможность осмыслить себя, свое место в новой общественной ситуации, разглядеть свои исторические перспективы, понять противоречия своей деятельности. Другими словами, пролетариат сделал запрос на культуру, которая была бы *про него, для него и от него*.

Но запрос на качественное обновление культуры был обусловлен и самим ее объективным состоянием, в котором она находилась накануне Октября 1917 года, а оно расценивалось даже самой интеллигенцией как глубоко кризисное. Культура содержательно уже не справлялась с той напряженностью и остротой общественных противоречий, которые были вызваны Первой мировой войной. Художественное высказывание к этому времени реально было уже исчерпано: символизм прятался в театральные занавесы; в футуризме корчились надломленные формы и смыслы. Это с одной стороны. С другой – внутренние противоречия культуры, требующие своего разрешения, оставались по-прежнему замкнутыми в старые социальные формы, не давая возможности их разрешения. Суть этого кризиса выразил А. Блок в своем докладе «Крушение гуманизма»:

Творческий труд сменяется безрадостной работой, открытия уступают первое место изобретениям. Все множественно, все не спаяно; не стало цемента, потребного для спайки; дух музыки отлетел, и «чувство недовольства собою и окружающим», по признанию историка, «доводит до изнеможения». Мы имеем право сказать о себе словами Паскаля, что человек бежит от самого себя. Таков недуг нашей эпохи, и симптомы его так же очевидны для человека мыслящего, как физическое ощущение приближения грозы.²

Итак, накануне Октябрьской революции сформировались два типа общественного запроса на *новую* культуру. Первый – *идеологический*, востребовавший *пролетарскую* культуру, призванную содержательно отвечать интересам пролетариата как субъекта социалистической «перезагрузки» истории. Вторым – *культурный*, ориентированный на такое высвобождение прежней (*общечеловеческой*) культуры от сковывающих ее развитие социальных форм, ко-

торое связывало бы ее с новой исторической магистралью развития человека и общества. В связи с этим вставал вопрос: эти два запроса подразумевали два разных типа *новой* культуры или все же один, но только именуемый разными социальными «заказчиками» по-разному?

Возникали и другие вопросы: запрос революционных масс на новую культуру – есть ли это запрос именно на пролетарскую культуру? И если это так, то в какой мере пролетарская культура является действительно *новым* типом культуры? А будучи таковой, в какой мере она предполагает *общечеловеческое содержание*? И еще один важный вопрос: пролетарская культура – это *культура класса* или это *классовая культура*?

Все эти вопросы поднимались не только большевиками, но обсуждались и в кругах литературно-философской интеллигенции того времени. Какова сущность грядущей культуры, которая связана с приходом новой общественной силы – пролетариата? В чем состоит ее новизна и гуманизм?

Вот что писал Андрей Белый по поводу обсуждения этих вопросов в кругах философской интеллигенции:

Со стороны одной части общества мы слышим: пролетарская культура есть именно та культура грядущего, которая раскроет нам то, что в условиях современной действительности, пока в мире существует буржуазный строй, не вскрываемо, а со стороны другой части общества мы имеем целый ряд категорических утверждений, отрицающих самую постановку вопроса о пролетарской культуре, потому что пролетариат есть класс и как класс среди классов развивает свое отношение к действительности; между тем культура мыслится многими как нечто общечеловеческое, как нечто, выходящее из рамок класса.³

Особенно острые дискуссии вызывали вопросы о соотношении между классовым и общечеловеческим содержанием пролетарской культуры:

Я поставлю вопрос в более общей форме: является ли пролетариат проводником не классовой культуры, а общечеловеческой; действительно ли идеи рабочего класса – идеи всего человечества; действительно ли это тот класс, которому не нужно господства, которому нужно только освобождение. Так ли это? (А.А. Гизетти).⁴

Вопрос о соотношении классового и общечеловеческого содержания формулировался чаще всего в форме противоречия: если

пролетариат является классовым субъектом истории, то откуда у него может появиться общечеловеческая культура?

Андрей Белый еще не разрешает это противоречие, но уже вполне определенно связывает его с исторической ролью пролетариата: «Я полагаю, что многое в устремлениях пролетарского сознания следует отнести к свободе, высвобождающей в человеке – человека по существу: пролетариат, имея свой смысл, как класс боевой, имеет, может быть, другой, второй смысл, воистину человеческий смысл. Царство свободы, прыжок в которую из необходимости избражает Энгельс, это-то царство в нас с нашими предвзятыми догматами задавлено».⁵

Но идеологи Пролеткульта (А. Богданов) считали, что *пролетариату необходимо свое классовое искусство*.⁶ Такая позиция вызвала достаточно жесткую критику со стороны В.И. Ленина. Подчеркивая необходимость и важность подчинения всей культурной политики большевиков задаче уничтожения классов и устранения всякой эксплуатации человека человеком (это и есть главная цель диктатуры пролетариата), В.И. Ленин в то же самое время отвергал идею пролетарской культуры как культуры узкоклассового характера, говоря философским языком – культуры *для-себя-бытие*, суть которой состоит в таком «*выходе за предел, за свое инобытие, что оно как это отрицание есть бесконечное возвращение в себя*».⁷ Не прорыв из классовости, а постоянное возвращение в нее – такой подход, из которого исходили идеологи Пролеткульта, противоречит самой сущности пролетарской революции. Вот почему в этой *пролетарской особости* Ленин видел «*теоретически неверные и практически вредные, всякие попытки выдумывать свою особую культуру, замыкаться в свои обособленные организации*»,⁸ ибо уже сама сущность пролетариата, связанная с диалектическим снятием классовости, исключает принцип его классовой обособленности, в том числе и в культуре.

Если пролетарская культура претендует стать общечеловеческой, то это означает, что она должна нести в себе все наследие мировой культуры, ибо в противном случае она не может считаться таковой. Именно это положение стало одним из тех, которое свело в один стан идейных оппонентов (большевиков и некоторых представителей творческой интеллигенции с антибольшевистской позицией) и развело по разные стороны, казалось бы, идейных единомышленников (Ленина и Богданова). Надо сказать, что диалектика становления советской культуры разрешила это противоречие, но тогда, в 1920-е годы, этот вопрос вызывал жесткую полемику.

Одним словом, историческая ситуация накануне Октября 1917 потребовала «перезагрузки» уже и самой культуры, но такой перезагрузки, которая отвечала бы классовым интересам пролетариата. Суть этого интереса заключалась в том, что вопрос культуры для пролетариата являлся насущной необходимостью первого порядка, ибо от этого зависело не только качество и перспектива его исторического дела, но прочность его политической власти. Классу, не «пришедшему» к власти, а завоевавшему ее, жизненно необходима была та культура, которая давала бы ему понимание, как осуществлять движение по тому историческому пути, ради которого и велись классовые сражения, унесшие сотни тысяч людей. Одним словом, культура должна была отвечать требованиям социалистического пути развития общества и человека.

Социалистическая революция, с одной стороны, дала революционным массам возможность открыто заявить свой исторически законный запрос на новую культуру, а с другой, – выдвинуть требование уже к самому пролетариату на новый и обязательный тип включения в нее – не потребительски-симулятивный, а субъектно-творческий, при котором только и возможно снятие отчуждения человека труда от культуры.

Но ведь субъектно-творческое включение в культуру требует соответствующего образования, материальных условий, да и просто физической возможности (наличия сил и времени), чтобы воспользоваться предоставляемой доступностью культуры, если, конечно, эта доступность есть. Просто привести солдата, крестьянина или рабочего на концерт симфонической музыки – это еще не решение проблемы преодоления его отчуждения от культуры. Решение дали большевики, когда связали вопрос созидания нового мира (социализма) с **идеями преодоления господствующих сил отчуждения** и что важно – силами **самих** революционных масс (*«не Бог, не царь и не герой»*).

Вот почему большевики поставили на повестку истории вопрос не только о формальной доступности культурного наследия, но самое важное – вопрос о *субъектном бытии пролетариата в культуре*. Соответственно, главной задачей культурной революции стала, по мнению советского философа-марксиста Н.С. Злобина, *не столько проблема доступности продуктов духовного творчества, сколько и, прежде всего проблема доступности самого духовного творчества.*⁹

Запрос на субъектно-творческое бытие в культуре был продиктован самой целью социалистической революции – необходимостью осуществления таких фундаментальных преобразований, которые

были бы ориентированы на развитие человека, общества, культуры. В условиях же отчуждения революционных масс от культуры объективно сохраняется угроза волюнтаризма и самоуправства, в том числе и в области культуры, что и показали практики 1920-х гг.¹⁰ А.В. Луначарский так объяснял стихийный вандализм революционной эпохи:

Пока революция наша шла стихийно – или, вернее, там, где она шла стихийно, – она, конечно, развертывала и слепые разрушительные силы...¹¹

Кроме этого было еще одно обстоятельство, о котором пишет А. Бузгалин:

В условиях революции, когда установленный миропорядок рушится на глазах у звереющего от этого хама, все это вкупе вызывает у него неспособность к самоориентации и провоцирует стремление хама одновременно и к хаотически-разрушительным действиям (бандитизму и уголовщине), и к власти твердой руки. Именно такого обывателя-мещанина, взбесившегося от неопределенности и противоречий революций, от необходимости (но неспособности) самостоятельно, сознательно, со знанием дела принимать решения и действовать, мы можем назвать «Хамом».¹²

И все же остается вопрос: откуда у пролетариата может появиться общечеловеческая культура?

Будучи отчужденным от мирового культурного наследия всей своей предшествующей историей, пролетариат объективно не мог (по крайней мере, на этом этапе) создать ее. Может быть, тогда представители буржуазии могли бы решить эту задачу? Но вот как отвечал на этот вопрос один из одесских пролеткультовских журналов в период разгара Гражданской войны:

...не может создать живую, здоровую культуру отживающий, умирающий класс. В руках буржуазии все вековые богатства... Однако, несмотря на все это, буржуазия не в состоянии создать ничего... Это должна раз навсегда учесть молодая рабочая демократия.¹³

2.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ – ОСНОВА НОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Генезис советской культуры оказался непосредственно связан с рождением нового типа общества, развитие которого было задано

Октябрьской революцией 1917 года. Зарождение нового типа общества стало главной предпосылкой генезиса уже и нового типа культуры – советской.

В постсоветское время была открыта дискуссия о терминологическом определении советской культуры. Те, кто отказывал ей именно в этом названии, исходили из того, что «*советская культура*» и «*культура советского периода*» – это два концептуально разных понятия, и потому предпочитали иные определения: «*художественная культура России советского периода*», «*новая культура*», «*русская культура XX века*», «*отечественная культура*», «*тоталитарная культура*».

И все же автор данной статьи настаивает на сохранении понятия «*советская культура*», выражающего генетически новый тип культуры, и постарается это теоретически обосновать. Следует отметить, что еще в период своего зарождения (1920–1930-е годы) советская культура имела несколько названий: *новая, пролетарская, интернациональная, совдеповская, социалистическая, всемирная, революционная* и т.п.

Историческое значение Красного Октября 1917 вырвалось за пределы политического формата: революция заявила себя как поворотный вызов в логике общественного развития мировой системы.

Сущность этого исторического поворота заключалась в том, что революционные массы с оружием в руках завоевали свое право на то, чтобы (1) **самим** (2) **практически** (3) **участвовать** (4) **в обустройстве** (5) **общественной реальности**, определяющей не только формы, но самое главное – цели и смыслы человеческой жизнедеятельности.

В октябре 1917 года революционные массы продемонстрировали всему миру и уже не столько запрос, сколько саму волю и готовность быть субъектом исторических преобразований.

Говоря современным языком, революция перезагрузила саму субстанцию бытия индивида: существуя до этого лишь в качестве функции капитала, социальных институтов и патриархальных традиций, теперь он объективно был востребован в принципиально иной ипостаси – как субъект истории и культуры.

Этот запрос на субъектное бытие индивида и общества был заявлен еще в условиях классовой борьбы, предшествующей Октябрю 1917 года. А вот становление принципа **субъектного бытия** индивида происходило уже в условиях развернувшейся и выходящей за пределы России вооруженной борьбы между теми, кто встал на отстаивание исторического поворота на социализм, и теми, кто пытался

развернуть его если не к прежнему самодержавно-патриархальному развитию страны, то к ее промышленно-капиталистической модернизации.

Борьба между сторонниками левого и правого поворота истории, вылившаяся в форму Гражданской войны, создала ситуацию, при которой едва ли не каждому приходилось решать, на чью сторону вставать – белых или красных. Этот выбор требовал почти от каждого не только идейного самоопределения, но и личной готовности отстаивать свой выбор, рискуя нажитым укладом жизни, ближним кругом и нередко даже самой жизнью. Революционный ход разворачивающихся событий, ставил едва ли не каждого в ситуацию, которую автор называет *принуждением к позиции*. Но именно та ситуация, когда едва ли не каждый оказывался перед необходимостью самоопределения своей общественно-политической позиции, причем не только через слово, но самое главное – через поступок (вставать на защиту «белых» или «красных») – именно это положение и дает основание делать, казалось бы, парадоксальное заключение: именно в период Гражданской войны в революционной России и было гражданское общество, которое утверждало себя в сложнейших противоречиях и острейших кровопролитных столкновениях.

Необходимость идейного самоопределения вызывала сильное неприятие особенно у носителей мелкобуржуазного интереса (будь то в лице интеллигенции, служащего, рабочего или крестьянина), старающихся цинично примкнуть к господствующей силе, которую они никогда не принимают (большевиков – из идейной чуждости, крупную буржуазию – из чувства конкуренции), чтобы в итоге занять лучшие места в партуре нового социально-политического расклада.

Так что революционные массы, меняя и разворачивая основы общественной системы в сторону социалистической перспективы, объективно несли и утверждали идею субъектного бытия как **новый онтологический принцип**, который становился вызовом и капитализму, и русской патриархальности.

А ведь после поражений революции 1905 и 1907 годов казалось, что Россию уже никогда не сдвинуть с этих двух основ: капитализма и патриархальности. Но большевики *сдвинули с места* этот громадный патриархально-самодержавный материк под названием «имперская Россия», запрос на что проговаривали даже их оппоненты.

Становление субъекта истории происходило, *во-первых*, через его *личное участие* в борьбе за освобождение действительности от власти многообразных сил отчуждения (*«добьемся мы освобожде-*

ня *своею собственной рукой*»); во-вторых, в условиях его *многомерного противостояния* попыткам реставрации самодержавия и патриархальной традиции, с одной стороны, и развитию советского бюрократизма – с другой.

В-третьих, становление принципа субъектного бытия в период 1920-х годов осуществлялось в форме *социального творчества* («*мы наш, мы новый мир построим*») – особого вида творческой деятельности, связанной с таким решением социально-экономических проблем, которое, основываясь на снятии действительных противоречий, рождало новый тип общественных отношений, мерой которых становился «Человек», а точнее – *Новый человек*.

Другими словами, для социалистического поворота истории требовался прежде всего человек как субъект исторического и культурного преобразования с его позицией и поступками, то есть *Новый человек* во всем богатстве его конкретно-личностной, а значит – культурной феноменальности. Этот *Новый человек* как раз и заключал в себе гуманистическую суть Октябрьского поворота всемирной истории.

Глубинное и точное понимание гуманистической сущности революции как раз и позволяло большевикам в лице их идеологов говорить об этом без ложного пафоса:

...революция никогда не была, не есть и не будет целью, революция есть средство, средство к созданию гармонической культуры, к бесконечному росту сил и красоты человека. Человек – вот цель всех нужных и важных вещей: его совершенство – вот что сияет нам, когда мы думаем, а не прём по-звериному и не «парадоксим».¹⁴

3.

СОЦИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – ПРЕДПОСЫЛКА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Только через включение в практику социально-экономических преобразований (социальное творчество) у человека труда появляется возможность становления его как субъекта истории. Согласно теоретическим разработкам АБузгалина,¹⁵ *сущность социального творчества* есть созидание самими индивидами качественно новых общественных отношений, снимающих господство над человеком внешних сил отчуждения (власти рынка, государства и тп.) и потому несущих в себе альтернативу этому феномену.

Социальное творчество 1920-х годов стало главной предпосылкой того положения, когда у масс появилась возможность (в какой мере и как – этот вопрос исследовался во многих работах автора¹⁶) самим формировать содержание социальных отношений в экономике, в социальной сфере, культуре, то есть самим определять большую политику – то, что Ленин называл «*управлять государством*». Важно отметить, что задачу вовлечения в управление государством большевики связывали не с какой-то узкой группой (профессионалов, партийных соратников или культурной «элиты»), как это принято сегодня), а именно с широкими слоями масс. Эту мысль Ленин акцентировал постоянно:

...для нас важно привлечение к управлению государством поголовно всех трудящихся. Это – гигантски трудная задача. Но социализма не может ввести меньшинство – партия. Его могут ввести десятки миллионов, когда они научатся это делать сами.¹⁷

Практики 1920-х годов показали, что в процессы управления, например, в сфере культуры включались самые разные субъекты: представители не только государственных институтов, но местных Советов и их исполкомов, органов местного самоуправления (сельских обществ, волостных и земских управ), общественных советов, коллективов фабрик и заводов и т.д.).

Например, рабочие Ленинграда (в 1924 году) разрабатывали проект организации театра на кооперативных началах. Все члены союза железнодорожников, являющиеся пайщиками театра, вносили от 60 копеек до 3 руб. в месяц. Каждый пайщик имел право посетить со своей семьей в месяц 4 спектакля и 8 кинопосещений. Места по карточке, которые выдавались каждому пайщику, распределялись через урну.¹⁸

Демократический характер культурной политики СССР, ориентированной на идею развития общества и человека, несмотря на весь бюрократизм, признавали и зарубежные деятели искусства. Так, например, Эмма Редель – примадонна Чикагской оперы – в 1933 году в связи с этим отметила следующее:

Не так уж много лет понадобится на то, чтобы СССР превратился в Мекку для музыкантов и художников... Советское государство несет музыку в массы. Я никогда не встречала такого развития культурной демократии, и она дает счастье.¹⁹

Подчеркивая огромное значение социального творчества 1920-х годов и его практические результаты, в то же время следует при-

знать, что революционные массы творили новые общественные отношения противоречиво и зачастую примитивно, в меру всего того «культурного богатства», которое им «даровало» царское самодержавие. Вот только один пример: 80%²⁰ населения дореволюционной России было безграмотным.

Это «наследие» было настолько тяжелым, что не признать этого было нельзя. Вот что об этом писал Горький в 1918 году:

Мы тогда мечтали о свободе, не ощущая в себе живой, творческой силы ее, ныне весь народ наконец ощущает эту силу. Он пользуется ею эгоистически и скотски, и уродливо, все это так, однако – пора понять и оценить тот огромного значения факт, что народ, воспитанный в жесточайшем рабстве, освобожден из тяжких, уродующих цепей.²¹

Подобное признание делает и американский банкир Уильям Бойс Томпсон, возглавляющий миссию американского Красного Креста:

Русскую революцию следует рассматривать как великий перелом. Подумайте о той несправедливости, которую народ терпел с незапамятных времен, о полном отсутствии свободы и человеческих прав. На трудящихся в России смотрели как на собаку. Во многих отношениях с ним обходились еще хуже. И вдруг эти 180 млн угнетенных получили абсолютную свободу...²²

Действительно, за всем этим стояло достаточно серьезное противоречие 1920-х годов: социальные преобразования не могут развиваться на базе низкого общекультурного уровня, в то же время повышение культурного уровня масс невозможно вне созидательно-общественной практики.

Характерный для интеллигентских кругов ход суждений по поводу разрешения данного противоречия, как правило, выстраивался в известную цепочку, тянущуюся еще из народничества: сначала подъем культурного уровня – потом революция и социальные преобразования. Противоречие между объективной необходимостью включения широких масс в процесс социальных преобразований и отсутствием у них необходимого для этого культурного потенциала – это противоречие было предметом острых дискуссий, открытых еще до революции (например, известная полемика между Лениным и Богдановым).

Сложность этого противоречия большевистские идеологи понимали очень хорошо: *«При нашей некультурности мы не можем решить лобовой атакой гибель капитализма»*.²³ Таким образом, фено-

мен социального творчества с самого своего зарождения оказался глубоко противоречив. Однако он был реален.

Большевики, в отличие от большинства интеллигенции, не испугались дать диалектический «ход» этому противоречию, и основания для этого были весомые. *Во-первых*, идеологи большевизма понимали, что неразрешенность этого противоречия гораздо опаснее тех социальных «издержек», которые неизбежно появляются при попытках его практического разрешения. *Во-вторых*, непосредственное включение революционных масс в социальные преобразования является важнейшей предпосылкой формирования у них объективной потребности в культуре и потому *едва ли не единственно возможной формой преодоления отчуждения их от отечественного и мирового культурного наследия*. *В-третьих*, по мере включения индивида в процесс освоения культуры у него формировалась потребность реализовать себя еще и в качестве ее творческого субъекта. *В-четвертых*, практики социального творчества становились формой познания закономерностей уже самой общественной реальности, без чего невозможны ее конструктивные преобразования, тем более в русле социалистической перспективы. *В-пятых*, практика социального творчества объективно приводила к высвобождению сущностных, родовых сил индивида. Вот откуда мощный взрыв энергии социального и культурного творчества 1920–1930-х годов. *В-шестых*, социальное творчество создавало возможность для становления разных форм субъектности: не только *личностной* («Я») – для отдельного ассоциированного индивида, но и *коллективной* («Мы») – для широких масс. Интересно, что в русском языке нет выражения «я победу», есть – «Мы победим».

Итак, мы видим, что включение революционного индивида в социальное творчество способствует формированию у него (1) **потребности включения в культуру** (2) и, что важно, не как пассивного потребителя – а в качестве **творческого субъекта**, что позволяло ему в конечном итоге обретать (3) **разные формы субъектности** от «Я» до «Мы».

Все это и дает автору основание утверждать, что социальное творчество есть система диалектически взаимосвязанных предпосылок формирования индивида как **Нового человека** (творца истории и культуры социализма).

Следует отметить, что В. И. Ленин связал идею «*живого творчества масс*» с понятием «*управление государством*», и эта взаимосвязь проходит красной нитью во всех трех ленинских теориях: революции,

государства и культуры. Можно сказать, что именно идея революционного индивида как творца социализма определяет и диалектическую взаимосвязь трех важнейших институций: *культуры* – как **содержания** социализма (революции), *государства* – как **средства** революции и *революционного преобразования* (социального творчества) – как **онтологического императива Нового человека**. Вот почему с полным основанием можно сказать, что Ленин, разрабатывая проблему *«живого творчества масс»*, тем самым связал в единую систему все свои три теории (государства, революции и культуры), которая в своем интегральном выражении являет систему предпосылок становления *Нового человека как создателя общественных отношений*, лежащих по ту сторону мира отчуждения.

Практики социального творчества стали подтверждением этого. Они стали подтверждением и другого положения: социальное творчество, будучи одной из сторон (наряду со сталинизмом) советской реальности, является богатейшим социально-культурным феноменом, который активно не видят ни либеральные «критики», ни сталинисты. Вот один из примеров либерального понимания сущности Октябрьской революции 1917 года, которую представляет, в частности, Ортега-и-Гассет:

...все происходящее в России не представляет исторического интереса; что-то, но это не переход к новой жизни. ...И большевизм, и фашизм – ложные зори; они предвещают не новый день, а возврат к архаическому, давно пережитому, они первобытны.²⁴

Для европейского философа социализм неприемлем уже хотя бы в силу того, что он выводит *«человека массы»* на арену истории, да еще в качестве главного действующего лица, нарушая вековой порядок – это место только для элиты. Вот как эту позицию представил Ортега-и-Гассет: движение *«заурядного человека массы»* возможно только как движение по вертикали с единственной целью – *«занять место элиты»*. Примечательно, что в подобных рассуждениях понятие «господствующий класс», как правило, подменяется понятием «элита». За этим стоит откровенная попытка подменить принцип классовой стратификации общества принципом «культурного избрничества», якобы определяющим принадлежность элите, у которой только и есть право определять господствующий порядок вещей.

В. И. Ленин дает марксистский ответ на подобные либеральные воззрения:

Во что бы то ни стало надо разбить старый, нелепый, дикий гнусный и мерзкий предрассудок, будто управлять государством, будто ведать организационным строительством социалистического общества могут только так называемые «высшие классы», только богатые или прошедшие школу богатых классов.²⁵

Эту же позицию о демократичности социалистических преобразований выражает и один из героев А. Платонова:

Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений.²⁶

Еще одним доказательством того, что социальное творчество есть важнейшая предпосылка формирования *Нового человека*, является то, что его процессы в 1920-е годы развернулись прежде всего в сфере культуры. Вот некоторые примеры. Уже за первые годы советской власти самодеятельность в сфере культуры стала настолько широкой, что к началу 1920-х годов потребовались всероссийские съезды для обсуждения опыта, проблем и перспектив развития этого массового художественного творчества. Например, в ноябре 1919 года (и это в условиях Гражданской войны!²⁷) был собран Первый Всероссийский съезд рабоче-крестьянских театров, в котором участвовало 243 делегата (от коммунистов, эсеров, меньшевиков и беспартийных) из 27 губерний²⁸. В 1921 году прошло Первое Всероссийское совещание музыкальных работников, так как в 1920 году в стране действовали уже 224 музыкальные студии Пролеткульта.²⁹

Студии изобразительного искусства также открывались немедленно по мере освобождения территории от белогвардейцев: в 1918–1920 годах по республике их насчитывалось 186, в одном лишь Петрограде участвующих в семи студиях было более четырех тысяч человек.³⁰ Уже в октябре 1920 года проходил Первый Всероссийский съезд пролетарских писателей.

О том, какую атмосферу порождала культурная самодеятельность революционных масс, можно судить уже по этим двум воспоминаниям.

«Надо удивляться мощному духу пролетария, когда он, утомленный работой, военным обучением, заботой о куске хлеба, аккуратно приходил в студию и скудный остаток (часа 3–4) своего отдыха отдавал искусству», – вспоминал об этом времени бывший актер МХАТ, а в те годы режиссер Центральной студии Пролеткульта В.С. Смышляев³¹.

А вот что писал о своих занятиях со студийцами Пролеткульта В.Ф. Ходасевич:

На основании этого знакомства я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории – прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность. Она очень мало склонна к безразборному накоплению сведений. Напротив, во всем она хочет добраться до «сути», к каждому слову, своему и чужому, относится с большой вдумчивостью. Свои сомнения и несогласия, порой наивные, она выражает напрямик и умеет требовать объяснений точных, исчерпывающих. Общими местами от нее не отделаешься. Занятия шли успешно, но это именно и не нравилось верховным руководителям Пролеткульта.³²

Ниже приведем только некоторые примеры из длинной хроники социального творчества в сфере культуры:

Осень 1917 года. Петроград. Путиловцы подают идею создания детской художественной студии при заводской школе³³.

24 ноября 1918 года. Орел. Рабочие местных заводов работают в воскресенье с тем, чтобы дневной заработок отчислить в фонд пролетарского университета³⁴.

24 августа 1919 года. Москва. Проводится день сбора литературы для Красной армии под лозунгом «Книгу в окопы». Собрано несколько десятков тысяч экземпляров³⁵.

10 ноября 1921 года. Брянская губерния. Севский уезд. Граждане села Невдольска обеспечили учителей хлебным пайком на целый год³⁶.

1922 год. Студенческие дружины проводят безвозмездное обследование беспризорных детей³⁷.

26 декабря 1923 года. В клубе рабкоров газеты «Рабочая Москва» проходит инсценированный «суд» над отделом газеты «По фабрикам и заводам», которому предъявлено обвинение в слабом отражении общественного мнения рабочих. «Суд» признает обвинение несостоятельным³⁸.

20 мая 1924 года. Одесса. Сообщается о публичной защите в вечернем рабочем техникуме дипломных проектов первыми рабочими-инженерами, получившими высшее образование без отрыва от производства³⁹.

Вот из этой практики социального творчества 1920-х годов со всеми его противоречиями уже позже вышли трудовой энтузиазм 1930-х годов и советская художественная культура.

Основные выводы

Первый. Принцип разотчуждения стал выражением сущности (1) **социального творчества советской истории** (что есть суть социализма), (2) **освободительной тенденции советской культуры** и (3) **творческого соцреализма** как основного метода советского искусства, то есть той конкретно-всеобщей основой, которая связала все эти три сущности в одну диалектическую метасистему. Вот почему каждую из них (и историю, и культуру, и искусство) нельзя рассматривать как некую автономную от остальных *отдельность*, а только через диалектическую взаимосвязь ее со всеми остальными.

Насколько целостной была диалектическая взаимосвязь советской истории, культуры и искусства, показала глубина ее распада, продолжающегося до сих пор на протяжении уже почти четверти века. По своему характеру и фундаментальности изменений этот распад оказался настолько масштабным, что последствия его, причем не только для нашей страны, но и для мира в целом, до сих пор не осознаны в полной мере. Не случайно смена парадигмы общественного развития нашей страны в 1990-е годы вызвала и столь же фундаментальные изменения в культуре (в широком смысле) и искусстве уже постсоветской России.

Второй вывод. Сущность разотчуждения как конкретно-всеобщей основы советской действительности состоит в **диалектической взаимосвязи ее с реальными противоречиями** действительности. Но диалектика этой взаимосвязи проявляется по-разному. В процессе социального творчества общественные противоречия получают свое действительное разрешение; в советской культуре (ее *освободительной тенденции*) они также получают свое разрешение, но уже в сфере идеального; в искусстве творческого соцреализма это разрешение (и как процесс, и как результат) обретает уже свой художественный образ.

Третий вывод. Разотчуждение несет в себе не только отрицание равнодушного (отчужденного) отношения к отчуждению, но самое важное – его деятельностное снятие (что есть суть подлинно критического отношения), которое **зарождалось** в революционных практиках не только отечественной, но и мировой истории; **переживалось** и **осмыслялось** в практиках культуры и **выражалось** в художественных образах и в искусстве.

И – как *summa summarum* – главный вывод: сущность *освободительной* тенденции СССР есть диалектика разотчуждения, явленного в трех его модусах:

- (1) как социальное творчество (создание новых – альтернативных социально-экономических отношений), то есть как творчество истории;
- (2) творчество культуры как идеальное практики разотчуждения;
- (3) деятельностный принцип бытия *Нового человека* как онтологический принцип прорыва из «царства необходимости» в «царство свободы», составляющего суть социалистического гуманизма.

Вот почему *Новый человек*, отстаивающий всеобщие интересы, есть альтернатива *Сверхчеловеку*, решающему одну задачу – утверждения себя в системе властных отношений для установления своего господства над другими.

Примечания

¹ Данная статья – отрывок из следующего: Л.А. Булавка-Бузгалина, «Красный Октябрь: рождение и становление Нового человека», *Вершина Великой революции: к 100-летию Октября*, ред. Б.Ф. Славин, А.В. Бузгалин (Москва: Алгоритм, 2017).

² См.: А. Блок, «Крушение гуманизма», *Соч. в двух томах, т. 2.* (Москва: Художественная литература, 1955).

³ «Беседа о пролетарской культуре 21 марта 1920 года», *De Visu. Агентство «Алфавит»*, 1993. № 7 (8), 7.

⁴ «Беседа о пролетарской культуре», 20.

⁵ «Беседа о пролетарской культуре», 10.

⁶ А. БОГДАНОВ, «Пролетариат и искусство», *Пролетарская культура*, по. 5 (1918), 32.

⁷ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЬ, *Наука логики*, т. 1 (Москва, 1970), 224.

⁸ В. И. ЛЕНИН, *Полн. собр. соч.*, т. 41 (Москва: Издательство политической литературы, 1981), 337.

⁹ См.: Н.С. ЗЛОБИН, *Культура и общественный прогресс* (Москва: Наука, 1980).

¹⁰ Л. Булавка, «Советская культура как идеальное СССР», *Культура. Власть. Социализм. Луначарский и не только* (Москва: ЛЕНАНД, 2013), 94-134.

¹¹ А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ, *Мир обновляется* (Москва: Молодая гвардия, 1989), 149.

¹² А.В. Бузгалин, А.И. Колганов, *Глобальный капитал* (Москва: ЛЕНАНД, 2004), 458.

¹³ Шоо, «Пролетарская культура», *Пролетарская культура*, по. 1 (1919), 16-17.

¹⁴ А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ, «Об искусстве и революции», *Собрание сочинений в 8 томах*, т. 7. *Эстетика. Литературная критика. Статьи. Доклады. Речи (1903–1928)* (Москва: Художественная литература, 1967), 140.

¹⁵ Понятие «социальное творчество» фундаментально разрабатывалась главным образом в работах А.В.Бузгалина. См.: Бузгалин, Колганов, *Глобальный капитал*, ч. 4.

¹⁶ См. следующие работы: Л.А. БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА, «Массы и свобода: творчество vs. Бунт», *Дорога к свободе. Критический марксизм о теории и практике социального освобождения*, ред. Б.Ф. Славлин (Москва: URSS, 2013), 229-270; Л.А. БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА, «“Пролетарские массы” и культура: преодоление отчуждения», *Философские науки*, по. 12 (2013), 74-88; Л.А. БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА, «Низы Пролеткульта и рабочие клубы: что делали и чем жили», *Альтернативы*, по. 3 (2012), 89-133.

¹⁷ В.И. ЛЕНИН, «Доклад о пересмотре программы и изменении названия партии 8 марта [Седьмой Экстренный съезд РКП(б) 6–8 марта 1918 г.]», *Полн. собр. соч.*, т. 36 (Москва: Издательство политической литературы, 1974), 53.

¹⁸ *Рабочий театр* № 2. 1924 (Ленинград), 23.

¹⁹ И.М. КРАСНОВ, ред., *Советский Союз глазами американцев. 1917–1977* (Москва: Мысль, 1979), 152.

²⁰ Положение с состоянием образования и культуры широких масс в России было настолько тяжелым, что Ленин отмечал: «Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, – такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России... Этому отуплению народа помещичью властью соответствует безграмотность в России... в России грамотных всего 21 % населения, а за вычетом (из населения) детей дошкольного возраста, то есть детей до 9 лет, всего 2%» (См. В.И. ЛЕНИН, «К вопросу о политике министерства народного просвещения [Дополнения к вопросу о народном просвещении]», *Полн. собр. соч.*, т. 23 [Москва: Издательство политической литературы, 1973], 127).

²¹ М. ГОРЬКИЙ, *Несвоевременные мысли* (Париж: Ed. de la Seine, 1971), 215.

²² КРАСНОВ, ред., *Советский Союз глазами американцев*, 11.

²³ См.: В.И. ЛЕНИН, «Новая экономическая политика и задачи политпросветов. Доклад на II Всероссийском съезде политпросветов. 17 октября. 1921 г.», *Полн. собр. соч.*, т. 44 (Москва: Издательство политической литературы, 1970), 168-169. Подобные оценки можно найти и в других его работах. См.: В.И. ЛЕНИН, «Падение Порт-Артура», *Полн. собр. соч.*, т. 9 (Москва: Издательство политической литературы, 1967), 155-156; В.И. ЛЕНИН, «Единение царя с народом и народа с царем», в *Полн. собр. соч.*, т. 11 (Москва: Издательство политической литературы, 1960), 180-181; В.И. ЛЕНИН, «VIII съезд РКП(б)», *Полн. собр. соч.*, т. 38 (Москва: Издательство политической литературы, 1969), 165-166.

²⁴ ОРТЕГА-и-ГАССЕТ, «Восстание масс», *Вопросы философии*, по. 3 (1989), 152.

²⁵ В.И. ЛЕНИН, «Как организовать соревнование?», *Полн. собр. соч.*, т. 35 (Москва: Издательство политической литературы, 1974), 198.

²⁶ А. ПЛАТОНОВ, «Усомнившийся Макар», *Впрок. Проза* (Москва: Художественная литература, 1990), 635.

²⁷ Вот как этот период характеризовал в своих воспоминаниях Трощкий: «Весна и лето 1918 года были... тяжелым временем... Продовольствия не было. Армии не было. Железные дороги были в полном расстройстве. Государственный аппарат еле складывался. Всюду гноились заговоры... Псков был в немецких руках. Украина стала австро-германской колонией. На Волге – французская и английская агентура подняла в 1918 году восстание корпуса чехословаков из бывших военнопленных. Мурманск и Архангельск – английская и французская зона. Ярославль – восстание белогвардейцев, организованное Савиновым. Урал – банды Дутова. Дон – восстание Краснова. Кольцо вокруг Москвы... Воевали без запасов. Уже в 1919 году на центральных складах не осталось ничего... Самая низкая точка революции – падение Казани». См.: Л. Трощкий, *Моя жизнь. Опыт автобиографии*, т. 2 (Москва: Книга, 1990), 123-124, 139, 147.

²⁸ *Вестник театра* 43 (1919), 5.

²⁹ Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), фонд 1230, опись 1, единица хранения 1541, лист 28.

³⁰ Л.М. КЛЕЙНБОРТ, *Рабочий класс и культура*, т. 2 (Москва: ВЦСПС, 1925), 154-156.

³¹ *Грядущее* 4 (1920), 11. Цит. по: Л.А. ПИНЕГИНА, *Советский рабочий класс и художественная культура 1917–1923* (Москва: Издательство Московского университета, 1984), 81.

³² См.: В.Ф. ХОДАСЕВИЧ, *Пролеткульт и т.п. (Из воспоминаний)*. – http://dugward.ru/library/hodasevich/hodasevich_proletkult.html (март, 2018.)

³³ *Рабочие и крестьяне России о Ленине* (Москва: Советская Россия, 1958), 101.

³⁴ *Народное просвещение*, по. 23-25 (1918), 15.

³⁵ *Правда* (26 августа 1919), 2.

³⁶ См.: *Известия ВЦИК* (10 ноября 1921), 2.

³⁷ *Правда* (31 декабря 1922), 3.

³⁸ *Рабочий корреспондент*, по. 1 (1924), 75.

³⁹ *Правда* (20 мая 1924), 7.

Ю.А. РУСИНА

**«Приподнять завесу истории»:
журнал петроградских студентов
о русской революции 1917 года***

В известном публицистическом эссе,¹ обращенном к образованному слою советского общества, А. Солженицын, сравнивая техническую и гуманитарную дореволюционную российскую интеллигенцию, отмечает, что:

...техническая интеллигенция в 20-е годы оказала гораздо большую духовную стойкость, чем гуманитарная, не спешила принять Идеологию как единственно возможное мировоззрение, а по независимости своей работы и физически устояла...

Причину отличия автор видит в том, что «технари» опирались «на прочную деловую почву» и были «реально связаны с национальной промышленностью».²

Одним из российских вузов, готовивших специалистов технического профиля и оказавших огромное влияние на формирование российской интеллигентской среды, был Петроградский институт инженеров путей сообщения Императора Александра I. В канун революции 1917 г. он насчитывал уже более чем вековую историю своей деятельности. Путевский вуз, как принято его было именовать, занимавший одно из первых мест в системе российского образования, выпустил из своих стен немало известных имен, оставивших яркий след в российской истории. Так, например, диплом инженера Санкт-Петербургского Института путей сообщения полу-

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-21-07002-ОГН ««Человек советский» в амбивалентной рецепции венгерской и русской гуманитаристики XX–XXI вв.».

чил писатель и путешественник, автор трилогии «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры», Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852–1906). Одна из глав его автобиографической повести «Студенты» полностью посвящена альма-матер писателя. Окончил Санкт-Петербургский путейский вуз и Борис Александрович Бахметев (1880–1951), посол Временного правительства России в США с 1917 по 1922 гг. Позже Б.А. Бахметев, став профессором Колумбийского университета, собрал уникальную коллекцию документов и воспоминаний своих соотечественников за рубежом, названную сегодня его именем.³ К числу знаменитых выпускников, несомненно, может быть причислен Александр Сергеевич Кудашев (1872–1917), создатель первых отечественных самолетов-биплан с бензиновым двигателем, погибший на фронтах Первой мировой войны.⁴ И подобные примеры могут быть продолжены.

Располагаясь на Забалканском (ныне Московский) проспекте в Петрограде, даже в силу своего географического положения, институт, его преподаватели и студенты оказались в центре революционных событий, резко изменивших привычный уклад их жизни. Осознавая масштаб и историческую значимость происходящих перемен, учащиеся решили выпускать самостоятельный журнал, первый номер которого вышел 10 мая 1917 г. и открывался словами:

Два месяца прошло с момента рождения Русской Свободы. Два месяца тяжелого творческого труда и беспримерной организационной работы. В этой работе есть и наша доля. Два месяца тому назад мы всем институтом шли к Государственной Думе – отдать наши силы в её распоряжение. На улицах нас встречала ружейная трескотня, дробь пулеметов и зарева пожаров. <...> Ныне в молниеносном беге событий и времени эти дни вспомнятся как далекие, подернутые завесой забвения осколки Истории. И наша первая и ближайшая цель – приподнять эту завесу и по мере сил и возможности осветить эту область уже отошедшую в историю, и в частности ту роль, которую сыграло студенчество нашего института в те великие дни.⁵

Журнал студентов-путейцев получил название, в котором были вербализованы знаки отличия института – «Топор и якорь». Вызванный к жизни духовным подъемом революционных событий февраля 1917 г., одобренный и поддержанный руководством вуза, в том числе финансово, он просуществовал всего год, составив 12 номеров, последний из которых появился на свет в мае 1918 г. Сегодня, пожелтевшие журнальные выпуски, хранят, подчас, уникаль-

ный материал о революционных месяцах и становлении нового общества, новых ценностей, а, вместе с тем, об уходе со сцены российской истории целого поколения, исчезновении глубокого культурного слоя.

Помимо Российской национальной библиотеки, годовая подшивка «Топора и якоря» хранится также в документальном фонде Объединенного музея писателей Урала (г. Екатеринбург), куда она попала с коллекцией материалов уральского журналиста и писателя Стефана Захарова, отец, которого был выпускником Петроградского института инженеров путей сообщения⁶. Факт сбережения журнала в семейном архиве на протяжении многих лет свидетельствует об отношении его владельцев к своему прошлому, к истории альма-матер, о глубокой исторической памяти и уважении к истории своей страны.

В журнале было создано несколько постоянных рубрик, которые позволяют судить о студенческой жизни, взаимоотношениях с преподавателями, традициях института и восприятию быстро меняющихся дней 1917–1918 гг. последними студентами Империи. Так, в разделах «Наши дела» и «Очередные темы» освещались студенческие собрания, сходки, митинги. Был открыт отдел «Хроники», куда помещались новости институтской жизни. Художественно и литературно одаренным студентам давалась возможность публиковать свои произведения в соответствующих журнальных рубриках. Юмористические страницы назывались «Досуги лягушат», имея ввиду неофициальный символ института «зеленую лягушку», олицетворяющую непростые условия работы инженеров-путейцев, строителей железных и водных дорог, мостов и плотин.

О тиражах и популярности «Топора и якоря» сообщается на страницах самого журнала.

<...> первый № нашего журнала, отпечатанный в количестве 100 экземпляров разошелся в течении 3-х часов. <...> Второй номер, отпечатанный в литографии Управления железных дорог, в количестве уже 200 экземпляров разошелся также в течение 3-х часов. Запись на второе издание № 1 дала уже свыше 100 человек, и номер уже сдан в литографию. Учитывая все возрастающий спрос – Издательский комитет постановил выпустить третий номер «Топора и якоря» в количестве уже 300 экземпляров.⁷

С желтых, потрепанных страниц 1-го журнального номера перед современным читателем встает картина февральского революционного Петрограда, нарисованная студентами, обремененными в это же время сдачей экзаменов:

Улицы в это время уже оглашались залпами и на главных артериях столицы были сосредоточены значительные массы войск и полиции, газеты перестали выходить и над городом царствовал всесильный страх. Трамвай стал. Извозчики не выезжали и даже пешеходное сообщение было сведено к минимуму расставленными всюду патрулями <...> 27-ое – понедельник – экзаменационный день и, несмотря на общее повышенное и напряженное состояние, состоялись почти все экзамены <...> под доносившуюся трескотню пулеметов, ружейных залпов и орудийных выстрелов <...>⁸

Материалы журнала позволяют увидеть, как революционные практики и революционная риторика проникают в студенческую повседневность, меняют ее, заставляют приспосабливаться к новым условиям и осознавать глубину и масштабность происходящих событий. Решения организационных вопросов студенческой жизни и выражение отношения к политическим переменам в стране происходит в эти дни на институтских митингах и сходках. «Сознавая особенно важным освещение всех наших собраний и сходок, мы отводим им почетное место», – сообщалось в первом выпуске «Топора и якоря». Важно подчеркнуть, что редколлегия журнала настаивала на его «беспартийности», то есть открытости для любых политических взглядов и заявляла, что в её составе «нет тех, кто хотел бы затормозить течение свободной отныне жизни нашей Родины»⁹.

Февральские дни были встречены студентами-путейцами восторженно, как «*рождение Русской Свободы*» и «*светлый февральский подъем*». Февральская революция приветствовалась ими в журнале так:

Тяжелая, беспросветно-темная пора прошла. Дни гнилой распутицы за плечами. Пришедшая могучая весна сейчас смывает своими дружными ручьями последнюю труху и гиль. Впереди расцветает светлая, молодая и прекрасная жизнь <...> Великая страна – страна открытого сердца, долготерпения и подвига, страна необъятного пространства – раскинувшаяся от Балтийского и Чёрного морей до Ледовитого и Атлантического океанов, страна, перенесшая Батюга и 1812 год, страна, давшая миру Толстого и Мечникова и в два дня сделавшая Великую Революцию – эта страна сумеет выковать своей железной закаленной рукой судьбу достойную её.¹⁰

Об эмоциональном подъеме и стремлении участвовать в «огромной ответственной работе» говорят и студенческие сходки первой половины 1917 г. Так, на сходке 25 февраля «была послана при-

ветственная телеграмма Государственной Думе, как единой выразительнице воли народа». На сходке 28 февраля был избран Временный распорядительный Комитет, которому была поручена организация студентов и координация их деятельности в работе по указанию Временного Комитета Государственной Думы. По постановлению этой сходки все присутствовавшие студенты отправились организованной колонной к Государственной Думе для немедленного получения от Временного Комитета ее инструкций. Институтская студенческая сходка 15 и 16 марта была созвана для выбора представителей в Совет солдатских и рабочих депутатов и Совет Советов высших учебных заведений Петрограда. Кроме того, на этом студенческом собрании обсуждалась организация в Институте двух партийных групп: Демократической республики и Народной Свободы.¹¹

Последняя из перечисленных сходка примечательна также тем, что здесь, как пишет журнал, были подняты «внеочередные» вопросы национального характера. Читая строки студенческого журнала начала XX в., приходится отметить, что болезненность этой щепетильной тематики не исчезла до сих пор. От студентов-поляков Института выступил их представитель Я. Янковский, который огласил резолюцию, принятую на собрании студентов-поляков всех высших учебных заведений Петрограда 2-го марта 1917 года:

Больше ста лет польский народ, ведет борьбу за свободу всех народов и за свою собственную независимость. В настоящий момент польская молодежь на эмиграции с радостью приветствует успех нового союзника в нашей борьбе в лице сбросившей оковы Русской Демократии. Желаем скорейшего возрождения Русского Народа в формах настоящего демократического строя. Да здравствует свободная и несущая свободу Россия!

От имени студентов-украинцев Н. Чечель¹² зачитал следующее заявление:

<...> Два с половиной века тому назад Украина соединилась с Великороссией, как равная с равной, на началах полной политической автономии. С тех пор и до нынешней революции старым режимом проводилась по отношению к Украине политика, основанная на том, что украинского народа нет, не было и быть не может. Ныне, когда сброшены в России оковы царизма, свободный украинский народ <...> выражает уверенность, что в новой России, устроенной на началах демократической федеральной республики, снова вернутся к нему его старинные права, отнятые врагом всякой свободы – царским правительством.¹³

Кроме сходок собирались также студенческие митинги. Журнал повествует, по крайней мере, об одном из них:

30 мая 1917 г. в аудитории № 1 состоялся митинг, на котором произнесли <...> речи министр Франции Альбер Тома, чешский профессор Масарик и П.Н. Милюков. В журнале были воспроизведены автографы, сделанные на предложенном студентами листе ватмана видными участниками митинга. Этот лист ватмана предполагается поместить под стекло и присоединить к историческим реликвиям Института¹⁴.

Совершенно иная эмоциональная и содержательная окраска у журнальных строк, датированных январем и маем 1918 г.: переживаемое время характеризуется редколлегией и авторами «Топора и якоря» как

...страшная, поистине трагическая година, <...> когда все святое затоптано в грязь, когда рушатся все идеалы, <...> когда царствуют наглость, насилие и произвол и когда вся страна залита потоками братской крови.¹⁵

Отмечая, что журналу исполнился год, его создатели с тяжелым чувством говорят о том, что «светлый февральский подъем» с головокругительной быстротой сменили «тусклое уныние, и беспредельная горечь».

Мы пережили за этот год самое страшное и самое трагическое: мы были свидетелями гибели Родной Земли. <...> Кругом бесновались толпы пьяных рабов. <...> И над всеми и всем царил властно один бог, один идол: нажива. <...> А враг стоял у ворот.¹⁶

Сходка 18 января 1918 г. была посвящена проблеме финансового положения Института, где высказывалось общее мнение собравшихся, что непременным условием поддержания нормальной жизни вуза является совместная работа таких демократических институтских структур как, Совет Старост и Совет Профессоров «в сохранении единого фронта со всей интеллигенцией страны»¹⁷.

Но несмотря на переживаемые трудности и остроту их восприятия студенческий самодеятельный журнал сохранил все творческие рубрики (поэзию, прозу, публицистику и юмор), занимавшие около половины содержания каждого номера.

В первом номере за 1918 г. напечатан «Маленький фельетон», написанный от мужского лица, но подписанный – «Блондинка». Тема его, на самом деле, весьма серьезна: перемены, возвысившие сто-

рожей, дворников и коридорных перед преподавателями и «профессорами-буржуями». Действительно, как отмечалось в деловых разделах журнала, ситуация с расходами на деятельность института была такова, что наибольшая их часть приходилась на оплату жалования низшим служащим, количество которых журнал оценивал, как «огромное», а качество «совершенно бесполезное», лишь обременяющее бюджет. При этом, в условиях новой власти «уменьшение этого штата не представлялось возможным». Автор фельетона саркастически замечает:

По-видимому сторожам показалось ниже их достоинства получать жалование, всего в два раза превосходящее директорское. <...> Отдается приказ – урезать, что можно с преподавателей – буржуев. Ну разве же не буржуи: получают в месяц по 25 рублей – и еще неисправно ходят – отговариваясь какими-то побочными заработками. Бесятся с жиру! <...> В целях демократизации преподавательского состава поручить: курс геодезии – сторожу Ляховичу, <...> богословия – столовщику общежития Филимону Осипову и политической экономии – коридорному того же общежития Андрею Матвееву.¹⁸

Рост самоуважения «низшего люда» отразил также ироничный «Краткий справочник и толкователь некоторых терминов, употребительных в обиходе институтской жизни». Здесь, наряду с объяснением слов и словосочетаний, присутствующих во всякой студенческой жизни, встречаются и термины «на злобу дня»:

ВИКЖЕЛЬ – жаргон, обозначающий бутерброд с кетой и салом (намек на то, что на съезды профсоюза железнодорожников ходили с целью посещения буфета); ИЛЬЯ – швейцар общежития: за 1 рубль в месяц здороваётся – сидя, за 2 – стоя, за 3 рубля – подаёт пальто.¹⁹

Также в юмористическом разделе студенческого журнала, вышедшего на рубеже двух эпох, под заголовком «Из подслушанных разговоров» можно прочитать диалог, смысл которого впоследствии стал классикой диссидентского отношения к советской прессе:

... Чёрт бы их драл – эти газеты – противно читать!
... А Вы не читайте. Вот берите пример с меня – с октября ничего, кроме «Топора и Якоря» не читаю!²⁰

Для сравнения тональности в содержании юмористических публикаций послеоктябрьского периода и тех, что появились как отклик на февральские события, можно обратиться к первому номе-

ру «Топора и якоря». Здесь отсутствуют сарказм, горечь и бессилие перед «новыми хозяевами», но видится радостное и озорное устремление молодых людей в будущее и «разгул демократии», отмеченный в студенческом сообществе, как ожидание полнокровных демократических перемен в стране. В шуточной рубрике «Досуги лягушат» опубликован «Приказ № 1 Комитета партии студентов-радикалистов непревзойденных от 20 марта I года Республики», требующий:

Омолодить устарелый состав допереворотного Совета Профессоров введением в его среду в достаточном количестве (не менее 55%) владельцев молодой ало-красной крови, зарезанных в течение сего года на наших экзаменах зверями-преподавателями <...> Для облегчения прохождения курса Института отменить на зачетных книжках фотографические карточки. Признать неуместным и недопустимым некоторые выражения экзаменаторов по адресу студентов, как например: «ничего не знаете», «почитайте записки», «придите в следующий раз» <...>. ²¹

Самодельный журнал «Топор и якорь», рожденный чувством исторической ответственности и творческим порывом студентов-путейцев, действительно приоткрыл для сегодняшнего исследователя и читателя «завесу истории». Он явился свидетельством тех переживаний, радостных надежд и разочарований, которые испытывали представители молодого поколения российской технической интеллигенции в год русской революции. Публикации журнала, в целом, подтверждают то довольно распространенное суждение, что образованный слой российского общества с восторгом принял Февраль, ожидая от него демократических преобразований и свобод и был «выбит из седла» и часто деморализован переменами, которые принес Октябрь. Как упоминалось выше, последний номер журнала студенты выпустили в мае 1918 г. Совсем скоро Россию будет рвать на части Гражданская война, совсем в недалеком будущем отправятся от родных берегов философские пароходы, увозя в изгнание цвет российской науки, и многотысячный поток эмиграции хлынет из России. Но в мае 1918 г. студенты Петроградского института инженеров путей сообщения пока об этом не знают, а юность и любовь к Родине награждает их верой, запечатленной на страницах последнего журнального выпуска:

Верьте! Из дыма пожаров, из бездны позора, из братоубийственной бойни, из нищеты и голода, – как Феникс из пепла, Россия выйдет свободной, могучей, великой. ²²

Примечания

¹ А.И. СОЛЖЕНИЦЫН, «Образованщина» в Русская интеллигенция. История и судьба (Москва: «Наука», 2000), 125-149.

² СОЛЖЕНИЦЫН, «Образованщина», 130.

³ Л.И. КОРЕНЕВ, «Забывшие имена в истории Петербургского государственного университета путей сообщения», *Известия ПГУПС* № 4 (2009), 107-109.

⁴ КОРЕНЕВ, «Забывшие имена...», 115-117.

⁵ *Топор и якорь*, № 1 (10 мая 1917 г.), 1.

⁶ Фонды Объединенного музея писателей Урала (ОМПУ). Ф. 120. Оп. 1. Д. 38.

⁷ *Топор и якорь*, № 3 (26 мая 1917 г.), 12.

⁸ *Топор и якорь*, № 1 (10 мая 1917 г.), 5.

⁹ *Топор и якорь*, № 1 (10 мая 1917 г.), 2.

¹⁰ *Топор и якорь*, № 1 (10 мая 1917 г.), 3.

¹¹ *Топор и якорь*, № 1 (10 мая 1917 г.), 5-6.

¹² Николай Флорович Чечель (1891–1937) – политический деятель, член ЦК Украинской партии социалистов-революционеров, член Центральной Рады Украины от студенческих организаций, политический единомышленник и соратник М. Грушевского. Представлял Украину на Демократическом совещании в Петрограде, был делегатом Всероссийского учредительного собрания украинских социалистических партий. В начале 1931 г. арестован по делу так называемого Украинского национального центра. В 1937 г. расстрелян (См.: Л.Г. ПРОТАСОВ, *Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи* [Москва: РОССПЭН, 2008], 215, 229, 417).

¹³ *Топор и якорь*, № 1 (10 мая 1917 г.), 7.

¹⁴ *Топор и якорь*, № 4 (5 июня 1917 г.), 17.

¹⁵ *Топор и якорь*, № 7 (январь 1918 г.), 1.

¹⁶ *Топор и якорь*, № 12 (май 1918 г.), 1.

¹⁷ *Топор и якорь*, № 8 (февраль 1918 г.), 15.

¹⁸ *Топор и якорь*, № 7 (январь 1918 г.), 8-11.

¹⁹ *Топор и якорь*, № 12 (май 1918 г.), 20-21.

²⁰ *Топор и якорь*, № 7 (январь 1918 г.), 19.

²¹ *Топор и якорь*, № 1 (10 мая 1917 г.), 11-12.

²² *Топор и якорь*, № 12, (май 1918 г.): 1.

ZSUZSANNA GYIMESI

Начало документальной прозы в России: творчество С.З. Федорченко

За последние пятнадцать лет заметно увеличилось количество научных проектов и конференций, в рамках которых обсуждается вопрос, в какой степени можно считать художественные произведения историческими источниками.¹ Новизна этих научных устремлений в том, что при определении источниковедческой ценности художественных произведений за основу берется не то, подтверждают ли эти произведения исторические знания, полученные традиционными методами исторической науки. Предметом исследования становится вопрос, что можно узнать из художественного произведения о какой-либо эпохе или конкретном историческом событии и нельзя найти в источниках другого типа. Эти исследования не только направлены на анализ и интерпретацию создания и воздействия произведения как исторического факта, но и являются попытками раскодировать относящуюся к действительности информацию, их вложенную из фикции.² Представляется, что одно из важнейших положений научного рационализма, согласно которому истина может быть получена лишь при строго научном подходе, сочленяется с одной из главных идей современной герменевтики, в соответствии с которой встреча с произведением искусства – это понимание, в ходе которого раскрывается скрытый в произведении опыт реальности. В случае релевантных художественных текстов этот скрытый опыт может иметь ценность источника и для исторической науки.

В этом смысле особенно интересным литературным жанром считается новое явление XX века, документальная проза. Этот пограничный жанр – настоящий пасынок: это и не совсем художественная литература, и не достоверный исторический источник, он не

соответствует полностью правилам ни социологического, ни этнографического сбора данных, но в то же время тесно связан со всеми перечисленными областями и, если произведение хорошо написано, то оно может заинтересовать и потрясти читателя. В 2015 г., после присуждения Нобелевской премии по литературе, по всей Европе развернулась дискуссия об определении и ценности этого жанра. Лауреатом премии стала белорусская писательница Светлана Алексиевич, для которой документальная проза является главным жанром. Ее книги представляют собой сплетения текстов, состоящие из репортажей с простыми людьми. Их автор десятилетиями собирала, в определенной степени стилизовала эти репортажи и объединяла их в тематические циклы, создав тем самым – по ее собственным словам – новый жанр, так называемый «коллективный роман» или «роман-ораторию».³ Его суть в том, что в тексте произведения слышатся только голоса персонажей, наррации нет, а автор покидает традиционную позицию писателя и присутствует как редактор текстов, «похищенных» у действительности. В этой области Алексиевич считает своим крупным предшественником также белорусского, знаменитого писателя XX в. Алеся Адамовича,⁴ и часто называет еще одно имя, имя Софьи Федорченко. Кого же она имеет в виду?

Софья Захаровна Федорченко – малоизвестная, но необыкновенно интересная ранняя представительница документальной прозы, главным произведением которой является трехтомный «роман-оратория» *Народ на войне*. В 1914–1917 гг. Софья Федорченко была сестрой милосердия на русском фронте, недалеко от Петрограда. Она работала среди рядовых солдат. В феврале 1917 г. она вернулась с фронта в город и увидела, что в газетах нельзя найти реальной картины войны. Софья Федорченко захотела написать о том, какой кажется война с точки зрения простых солдат. Она собрала свои воспоминания и случайные записи слышанного от солдат и разослала некоторые из них в редакции газет. Эти фрагменты были немедленно опубликованы,⁵ а летом 1917 г. в Киеве была выпущена целая книга под названием *Народ на войне: Фронтовые записи*.⁶ На почти полутора страницах предисловия к первому изданию Федорченко рассказала историю создания текстов. Она писала, что публикует отрывки материалов, собранных во время бесед раненых солдат между собой. Услышленное она записывала прямо на месте или позже, по памяти. Солдаты не стеснялись в ее присутствии, так как привыкли к тому, что сестры все время ходят между кроватей с историями болезни и письменными принадлежностями. За некоторыми исключениями солдаты

обращались со своими словами не к ней, а друг к другу, и она как бы непреднамеренно подслушивала эти разговоры.

Таким образом, Федорченко, начав работать сестрой милосердия, не думала о писательстве. Она записывала услышенное не как писательница, а без особых целей, из-за своего рода глубокой человеческой чуткости, сочувствия. Во время Первой мировой войны наблюдалось много примеров того, как представители различных слоев общества, осознав трагичность исторической ситуации, в меру своих скромных возможностей старались не допустить забвения, как-то поддержать связь между молниеносно исчезающим настоящим и неизвестным будущим. Об этом свидетельствуют случайные фронтовые заметки, тетради, письма и дневники. В 1986 г. некий Петр Владимирович Антропов,⁷ житель города Каменск-Уральский, которому тогда исполнилось уже 90 лет, показал посетившим его студентам свои тетради (четыре-пять школьных тетрадей), в которых он во время Первой мировой войны записывал важнейшие увиденные им события, даты, имена казненных и павших, время и место смерти, а также песни и частушки. Он не имел школьного образования, не умел правильно писать, и все же чувствовал побуждение записать все это и сохранить записи до конца жизни. Эти заметки стали проявлением инстинктивной борьбы против обезчеловечения.

Предположительно похожим чувством социальной ответственности руководствовалась и Софья Федорченко, когда начала собирать услышанное от солдат. Ее социальная восприимчивость ясно проявилась в том, что во время Первой мировой войны она пошла работать сестрой милосердия. Тогда ей было за тридцать,⁸ данных о ее прежней жизни почти нет, документированным литературным прошлым она не располагала. В качестве писательницы она впервые выступила в 1917 г., опубликовав первую часть своих заметок, сделанных во время фронтовой службы. Однако сама она стала смотреть на себя как на писательницу только после того, как ее первая книга, опубликованная летом 1917 г., получила множество положительных откликов как от простых читателей, так и от известных писателей и публицистов.⁹ В этой книге отрывки текста напечатаны без видимого редактирования, в случайном порядке, «вперемешку». В постскрипуме к вступлению Федорченко объясняет такое решение тем, что, по ее мнению, было бы «скучно» тематически систематизировать материалы, что, конечно, не исключает наличия в книге от начала до конца определенной внутренней логики.¹⁰ Рыхлая структура, кажущаяся случайной очередность отрывков дают калей-

доскопическую картину солдатских мыслей, которая может быть по желанию легко изменена без ущерба для достоверности картины. В то же время эта структурная мобильность обеспечивает жизненность записанного, воспроизводит настроение больничной суety, когда можно случайно прислушаться то к одному, то к другому разговору. Интересно, что в более поздних изданиях¹¹ Федорченко все же изменила структуру книги и разбила тексты на восемь тематических глав.¹² В то же время в рамках отдельных глав калейдоскопичность сохранилась. Мы поочередно читаем подтверждающие или опровергающие друг друга утверждения, доказательства и сомнения, согласующиеся друг с другом и различные мнения о разных аспектах войны. Благодаря этому весь текст в целом сохраняет способность создавать впечатление изменчивости и произвольности.

Крайне разнообразны по жанру и объему и строительные кирпичики, из которых складывается полный текст. Друг друга сменяют бессвязные диалоги и монологи, между которыми с промежутками в две-три страницы вклиниваются частушки или тексты песен. Отдельные части текста отрывочны, бесконтекстны, лаконичны, кратки.¹³ Неизвестно, кто и когда говорит, голоса повествователя или наррации нет. Зато известно, что всегда говорят мужчины, все – простые рядовые, часто неграмотные, и все они лежат в госпитале. Все это в определенной степени приближает текст к литературному роду драмы.¹⁴

В течение десяти лет, до 1928 г., книга Федорченко пользовалась огромным и всеобщим успехом, а писательница попала в число наиболее часто публикуемых авторов. Это сопровождалось двумя серьезными последствиями: с одной стороны, Федорченко стала официальным писателем, а с другой стороны, через некоторое время у нее появились недоброжелатели. Начнем с хорошего. Все восторгались Федорченко, в том числе Максим Горький, Максимилиан Волошин и Александр Блок.¹⁵ В 1919 г. ее книга была опубликована на английском языке под названием *Ivan speaks*,¹⁶ в 1923 г. – на немецком,¹⁷ а в 1930 г. – на французском языке.¹⁸ С 1924 г. Федорченко стала председателем московского Сектора детской литературы Союза писателей СССР. В 1925 г. увидел свет второй полный том книги под названием *Народ на войне, т. II. Революция*, который охватывает период с февраля по ноябрь 1917 г. Материалы для него она собирала тоже работая сестрой милосердия, так как в 1917 г. после нескольких месяцев перерыва она вернулась на фронт. С 1918 по 1922 гг. Федорченко добровольно оказывала помощь населению в тылу, в Украине, в Крыму и на Северном Кавказе. В это время она

уже целенаправленно собирала материалы для третьего тома, посвященного периоду гражданской войны.¹⁹ Жанр документальной прозы, инстинктивно опробованный Федорченко, хорошо соответствовал художественно-философским устремлениям эпохи. Стирание границы между искусством и повседневной жизнью, а также стремление дать услышать голос народа принадлежали к наиболее четко выраженным целям движений авангарда. Книга Федорченко соответствовала обеим целям. Критики того времени подчеркивали, что главными достоинствами книги являются ее достоверность, правдивость, жизненность и искренность, что в ней проявился истинный народный дух, и в то же время она содержит серьезные художественные ценности, но без всякой литературной искусственности. В целом считалось, что от книги невозможно оторваться. Пользуясь современным термином, можно было бы сказать, что ее тексту придавали культурно-антропологическое значение, а его литературные недостатки, то есть то, что «он не написан как следует», одновременно оценивались как художественное качество высшего порядка.

С середины 1920-х гг. на Федорченко как писательницу стали сыпаться удары сразу с двух сторон. С одной стороны, некоторые писатели начали смотреть на фрагменты книги *Народ на войне* как на доступную поживу, на сырье для их собственных произведений, которое не требует ссылок, так как эти фрагменты воспринимались как этнографический материал, собиратель которого не считается автором. Такой подход давал еще одну возможность для нападок. Дело в том, что записи Федорченко не соответствовали элементарным правилам сбора этнографических данных, поскольку не указывалось ни имя, возраст, национальность и образование говорящих, ни время и место записанных бесед. Таким образом, книга не отвечала основным профессиональным требованиям, предъявляемым к этнографическим описаниям. Все это, конечно, неприятно затронуло Федорченко, и защищая свое писательское достоинство, она в 1927 и 1928 гг. сделала несколько заявлений о том, что в действительности у нее не было фронтовых записей, и она все написала сама.²⁰ Ее обижало, что не признается ее роль в создании книг. Тогда писательница подверглась нападению с противоположной стороны. На страницах *Известий* писатель Демьян Бедный опубликовал разоблачительную статью, в которой обвинил Федорченко в фальсификации и мистификации.²¹ Эта статья оказала настолько сильное влияние, что отрывки из книги и третий том *Народа на войне* в дальнейшем не публиковались, даже несмотря на многолетнюю борьбу Федорченко и

некоторых ее собратьев по перу (в том числе Михаила Булгакова). Вместе с тем писательская деятельность Федорченко не прервалась полностью. Она написала и редактировала множество книг для детей, стала автором романа-трилогии об эпохе пугачевского восстания (*Павел Семигоров*), народного исторического романа (*Илья Муромец и миллион богатырей*) и нескольких пьес по народным мотивам. Однако своим главным произведением она считала *Народ на войне*, а цель жизни и свою писательскую и гражданскую обязанность видела в обработке и издании третьей части книги.

Научное издание трех томов книги *Народ на войне* впервые было опубликовано в 1990 г. в Москве под редакцией и со вступительной статьей Н.А. Трифонова. Трифонов не сомневается ни в документальном характере книги, ни в ее художественном значении и считает ее одним из выдающихся произведений, изображающих ту эпоху. В 2014 г. в Санкт-Петербурге полное произведение Федорченко было опубликовано снова, на этот раз с вводной статьей А.А. Панченко, который разделяет осуждающее мнение Демьяна Бедного, согласно которому Федорченко преднамеренно мистифицировала обстоятельства создания текста. И все же Панченко считает, что книга достойна прочтения, поскольку, как он пишет, ей сопутствует ореол этнографической аутентичности, тем самым она стала одним из важных представителей народной ветви русской литературы XX века.²² Е. А. Подшивалова в небольшой статье, опубликованной в 2012 г., назвала главную книгу Федорченко особенной. Она анализирует ее как классическое художественное произведение и указывает на экспериментальный характер формы текста. По ее мнению, Федорченко просеяла оригинальные документы (услышанное от солдат) через свое писательское сознание, но потом «вернула» слово солдатам, чтобы читатель смог вступить в непосредственный контакт с первоначальными голосами.²³

Здесь снова напрашивается отсылка к книгам Светланы Алексиевич и сложившемуся вокруг них современному литературному и идеологическому дискурсу. Один из центральных вопросов, подстегивающих дискуссию, связан с проблемой истины. Кто способен раскрыть истину? Документ? Свидетель? Литературное произведение? Хороший писатель? Как считает российский социолог и переводчик польской литературы Борис Дубин,²⁴ жанр документальной прозы способен раскрыть и сохранить истину, поскольку несет в себе дыхание свободы, поскольку автор присутствует в произведении в основном как личность и в меньшей степени как писатель, и поскольку обязательным элементом произведения в целом является искрен-

ний интерес автора к другому, к своему персонажу. По мнению Дубина, в наши дни в Европе фактографическая литература имеет наибольший престиж в Польше, в то время как в России художественная литература и документализм едва соприкасаются друг с другом.²⁵ Таким образом, соотношение фикции и документа и его оценка меняются в зависимости от времени и от страны. Примером этого может служить и деятельность Софьи Федорченко. В 1920-х гг. в России эти две области творчества окунулись друг в друга, но позже опять разошлись. В упомянутой выше беседе польский культуролог Марек Радзивон говорил о том, что литературное произведение может вызвать доверие в том случае, если оно рассказывает о конкретном опыте конкретного человека и тем самым сообщает что-то существенное об обществе, об эпохе или об истории в целом. Софья Федорченко соответствует этим критериям, и поэтому ее ст. б. читать и в наши дни.

Примечания

¹ К их числу относятся проект СО РАН «Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования» в Новосибирске в 2012–2013 гг.; конференция “Interpreting Modernism in Literary Texts”, совместно организованная Уральским федеральным университетом, Университетом Париж-И Пантеон-Сорбонна и Страсбургским университетом и состоявшаяся в Страсбурге 2829 сентября 2016 г.; научные чтения «Документаризм vs фикция» на заседании Историко-филологического общества славистов в Сомбатхее 16–17 июня 2017 г., а также несколько бесед за круглым столом в будапештском Центре русистики в 2015–2016 гг.

² Исследования такого профиля вызывают еще множество вопросов методологического характера, однако, мнение, согласно которому между исторической наукой и литературоведением не может быть связи, представляется поколебленным.

³ См.: www.alexievich.info (декабрь, 2017).

⁴ Произведения Алеся Адамовича переведены и на венгерский язык, см., например: ALESZ ADAMOVICS, *Hatinyi harangok* (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1977); ALESZ ADAMOVICS, *Feljegyzések a blokád könyvéből* (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1979); ALESZ ADAMOVICS, *Büntetőosztások* (Budapest: Zrínyi Kiadó, 1983).

⁵ *Северные записки* 1 (1917); *Народоправство* 9 – 13 (1917). См. также: Н.А. Трифонов, «Несправедливо забытая книга», в: С.З. ФЕДОРЧЕНКО, *Народ на войне* (Москва: Советский писатель. 1990), 3–23.

⁶ С.З. ФЕДОРЧЕНКО, *Народ на войне: Фронтовые записки* (Киев, 1917), 139. – <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/17849-fedorchenko-s-z-narod-na-voynе-frontovye-zapiski-kiеv1917#page/7/mode/inspect/zoom/4> (декабрь, 2017).

⁷ Сообщено 20 мая 2017 г. в Центре русистики литературоведом Юлией Матвеевой, профессором УрФУ, которая в 1986 г., будучи студенткой, делала интервью в Свердловской области с солдатами, участвовавшими в Первой мировой войне.

⁸ По мнению биографов Софьи Федорченко, она родилась в 1880 г., но она сама в автобиографии, написанной 20 мая 1952 г., назвала год своего рождения 1888 г. См.: ФЕДОРЧЕНКО, *Народ на войне* (1990), 386, примечание 1.

⁹ Об этом она писала в краткой автобиографии, на которую я ссылаюсь в предыдущем примечании.

¹⁰ См. примечание 6.

¹¹ Второе полное издание вышло в 1923 г., а третье – в 1925 г. Кроме того, во многих местах печатались отрывки их книги: ТРИФОНОВ, «Несправедливо забытая книга», 4.

¹² I. Как шли на войну, что думали о причинах войны и об учении; II. Что на войне приключилось; III. Каково начальство было; IV. Какие были товарищи; V. Как переносили болезни и раны; VI. Как о «врагах» говорили; VII. Что о доме вспоминали; VIII. Что о войне думали.

¹³ Как правило речь идет об отрывках в 4–6 строк; самый короткий отрывок состоит из двух коротких предложений, самые длинные – не превышают полстраницы. Длина песенных текстов колеблется от 4 строк до одной страницы.

¹⁴ В 2015 г. современный российский драматург Ася Волошина написала на основе книги Федорченко *Народ на войне: Фронтовые записки* драму *Гибнет хор*.

¹⁵ ТРИФОНОВ, «Несправедливо забытая книга», 5-7.

¹⁶ Пер. Тн. WHITTEMORE. – <https://archive.org/details/1364659upenn> (окт., 2017).

¹⁷ SOFJA FEDORTSCHENKO, *Der Russe redet: Aufzeichnungen nach dem Stenogramm. Deutsch von Alexander Eliasberg* (München: Drei Masken Verl., 1923).

¹⁸ SOPHIE FEDORTSCHENKO, *Le Peuple à la guerre. Propos de soldats russes rec. par une infirmière*, adaptés du russe par LYDIA BACH et CHARLES REBER (Paris: Valois, 1930).

¹⁹ Не считая отрывков, напечатанных в 1927–1928 гг., книга *Народ на войне*, т. III: *Гражданская война* в конце концов была опубликована только в 1983 году, через 24 гожа после смерти писательницы, в 93 томе серии «Литературное наследие».

²⁰ ТРИФОНОВ, «Несправедливо забытая книга», 9-10.

²¹ Д. БЕДНЫЙ, «Мистификаторы и фальсификаторы – не литераторы», *Известия* № 43 (19 февраля 1928 г.)

²² А.А. ПАНЧЕНКО, «Софья Федорченко и “русский народ”», в: С.З. ФЕДОРЧЕНКО, *Народ на войне* (Санкт-Петербург: Лениздат, 2014), 17.

²³ Е.А. ПОДЫШАЛОВА, «Монтаж “человеческих документов”: “Народ на войне” С. Федорченко», в: *Русская литература XX века: 1917–1920-е годы*, в 2 кн., кн. 2 (Москва: Академия, 2012), 295.

²⁴ Прозвучало в беседе, состоявшейся 22 декабря 2011 г. в редакции Радио Свобода и посвященной тематическому номеру журнала «Иностранная литература» 10 (2011) о документальной прозе. – <https://www.svoboda.org/a/24430528.html> (октябрь, 2017).

²⁵ Ярким исключением является деятельность teatr.dok.

ANNA DI GIUSTO

The Russian Amazons and the Bolshevik Revolution

Introduction

Women played a significant role in the history of Russian art, in particular during the Bolshevik Revolution.¹ Their role can only be understood through an analysis of the Russian woman situation in the second half of the nineteenth century. The extreme backwardness of Russian society, before the Communist Revolution, contributed to fostering a climate of passionate debate about the woman's condition. Some important intellectuals had reached social awareness, reformist commitment, and spirit of providing incentive; more than every other European intellectual.²

In 1840 A. Herzen and N. Chernyshevsky wrote against the condition of women farmers, who were recognized as the emblem of every social injustice and unreason. They fought for gender equality and sexual freedom, which were considered as a necessary component of every project of political change.³ In 1860 a new generation of intellectuals came to the fore, whose reform program was inspired by responsibility, both socially and economically. A lot of women committed themselves to the cause of funding people's schools, directing workshops which aimed to train women artisans and laborers. At the end of the century, they went to farming villages to preach and teach the woman's liberation, together with doctors and lawyers who created the first courts and centers of local justice.

All these intellectuals were in favor of divorce and women's right to inheritance: they thought that only in that way a woman is protected and wriggled out of the terrible logic of abuse and violence, that was very common in the countryside.

Lots of Liberals were trying to push the Ministry of Education to accept women at University. After a series of rejections, in 1870 the Medical Academy of Dimitry Milyutin, a private school, broke the ice and

provisionally accepted some female students. Since 1871 a good education was guaranteed to Russian women, 20 years earlier than in France. The Imperial Academy of Fine Arts in St Petersburg opened the door to girls, followed by the Moscow School of Painting, Sculpture, and Architecture. In 1906, they passed legislation on the general right of university education. At that time, many rich families bypassed these institutional barriers by going to study in Europe.

The most active supporters of women's empowerment were not revolutionaries by trade, but intellectuals in the service of the State, members of the cultural elite. After the 1905 Revolution, women were still not allowed to vote yet, but in that time, they occupied powerful positions in education. In 1912, the majority of school teachers were women.

The first generation of women artists grew up in private centers. The most famous artists were Elizaveta Bern, Alexandra Makovskaya, Olga Lagoda-Shishkina, Marya Jakuncikova (1870–1902), and Marya Baskirtseva. Thanks to their work, the sector of applied arts became a field where women were the majority.⁴

The Russian Amazons

The second generation, active from 1910 to 1920, is commonly referred to by critics as the Amazons. Among them, it is worth remembering Anna Golubkina, Alexandra Exter, Zinaida Serebryakova, Nadezhda Udaltsova, Lyubov Popova, Varvara Stepanova, and the most famous of them, Natalya Goncharova.⁵

All these artists contributed in their own way to the revolutionary process in the art of the early twentieth century. They were near-contemporaries, and their differences, even oppositions, are the clearest sign of the complexity of the developments taking place. The historical forces of their time were evidently experienced with extreme acuity by women artists, and when mounting pressure required a new analysis of reality, then women artists come to the fore. They were interested in pursuing their careers rather than in spreading education in the countryside. They traveled a lot, changing the meaning of traveling to Europe. While the first generation of women artists found in Western societies, and especially in Paris, the place where it was possible to have a good education, the Amazons traveled to Europe in order to study art.⁶ If Academies, both in Russia and in Europe, were conservative and still focusing on Impressionism at the beginning of the twentieth century, in Paris they could discover the avant-garde, from Cubism to Futurism. Their journeys allowed them to break up with the Academic style, which was unable to under-

stand the new development of the history of art. As a consequence, the Russian traditional culture was either maintained at the cost of a new re-visitation or was completely destroyed to create something really new, as the Revolution, in less than a decade, asked them.

Anna Golubkina

Golubkina (1864–1927), the most rebellious of these, rejected the harmonious resolutions to which recent rebellions against academicism had led. Sculpture played a distinctive role in Russian art, and she was the pioneer and leader in this field. Golubkina was one of the new generation who searched for fresh expressive possibilities with which to convey contemporary life. Golubkina's path could not but cross with that of Auguste Rodin, and in 1895 she left St Petersburg Academy of Arts for Paris. However, she failed to enter Rodin's studio, and studied instead with the Italian sculptor Filippo Colarossi. Although Golubkina shared her Parisian lodgings with two other young Russian women artists, Kruglikova and Shevtova, she found herself at a complete loss in the city. She had no money, nowhere to go and none to go with, and within a year she had returned to St Petersburg. It was only on her second visit to Paris in 1897 that Golubkina made the acquaintance of Rodin, and while she could not afford to study with him, Golubkina managed to set up her own studio and occasionally consulted him. She was able to accept Rodin's powerful influence while remaining creatively independent and pre-eminently a Russian woman artist. For example, both sculpted the subject of *Old Age* working from the same model, but a comparison of the two sculptures reveals Golubkina's independence at this point particularly well. In Rodin's sculpture one feels regret for the ephemeral nature of physical beauty, while Golubkina subordinates her form to the sorrow of human destiny, caused by the endless chain of suffering which has molded the Russian people.⁷

It is possible to compare her sculpture *Walking Man* of 1903 with Rodin's *The Striding Man* of 1877. Whereas Rodin at this stage was primarily interested in proportion, anatomy, and the rendering of movement, Golubkina evokes a threatening and menacing quality. Her *Walking Man* seems to arise, like a primordial creature, out of the very earth itself, and it confronts the future threatening revenge for the human condition into which it has been born.

Golubkina's passionate humanistic convictions led her to play a role in the revolutionary events of 1905. In that year, she completed the first Russian portrait of *Karl Marx* and donated the fee she received to a fund

for homeless workers. In 1907, she was arrested for distributing documents calling on the peasantry to overthrow the Tsar and the Government. During 1914–1915 Golubkina arranged a personal exhibition in Moscow to raise funds for the war-wounded. She was a revolutionary influenced by decadence, a Realist inspired by Symbolism, a daughter of the people who spoke in mystical tones. These apparent contradictions can only be explained by the fact that Golubkina's work reflects the complex times through which she lived, and it is this which contributed to the intensity and depth of her approach, and to the strong and organic qualities of her work.

Alexandra Exter

It is interesting that in pre-Revolutionary Russia many of the brightest and most talented women artists emerged from the Ukraine and Belorussia – among them Exter, Stepanova, and Udaltsova. Perhaps it was the rich traditions of popular and applied art which first shaped their consciousness, and dictate the subsequent path they would follow. Alexandra Exter was described as “Scythian Riders” galloping from the south-west to challenge the refined European conventions of Moscow and St. Petersburg.⁸

Exter was born in 1882 in the Kiev region, and in 1908 she studied at the Académie de la Grande Chaumière in Paris. On her return home, Exter participated in the famous “link” exhibition in Kiev which had been organized by Larionov and Goncharova. The exhibition was the forerunner of the Futurist shows and was the first to call down on its head a storm of protest.

Exter was not an artist to be rigidly bound to a specific ideology or group, and so in the years before the war, she was associated with many different factions of the Russian avant-garde. Moreover, as Exter moved freely among Kiev, Moscow, St. Petersburg and Paris, she contributed to many exhibitions both at home and abroad.

On her visits to Paris Exter associated with the Cubists painters and poets. She knew Leger particularly well and was friendly with Picasso, Apollinaire, Delaunay and the Futurist painter Soffici. Because of her Western contacts, Exter was always treated with respect by the Russian avant-garde and was often consulted as an authority on Western developments.⁹

Generally, works such as *Sevres bridge* of 1912 are cast in a Cubist mold, but Exter always introduced an interesting structural dynamism of color and line. Her extraordinary sensitivity to color relations within her painting also distinguishes her work from that of her Cubist counterparts

and adds an emotive quality, which is lacking in the strictly logical and analytical work of Picasso and Braque.

In 1914, she visited Italy and showed works in the “First Free Futurist Exhibition” alongside those exhibited by Rozanova. Several of Exter's paintings of this period such as *Florence* are dedicated to her Italian interest. In their bright coloring and architectural references, these paintings recall the cityscapes of Delaunay. However, Exter's abstract work is totally constructive. *Florence* is built on a precise enumeration of the details of an urban landscape. It is interesting that in this picture Exter uses a Futurist motif by introducing the written word into her painting.

In 1924, Exter emigrated to Paris, where she became an active participant in avant-garde circles and taught stage design and painting at Leger's Academie d'Art Moderne. Artistic life in Paris was in full bloom, and Exter played a vital role within it, but, removed from the revolutionary context of the new Russia, her art gradually lost its *raison d'etre*. The heroic phase of Exter's career had come an end.¹⁰

Exter was a crucial figure in the dialog between Russia and West, both before and after the Revolution. As a painter, she earned the respect of the French Cubists, Italian Futurists, and the Russian avant-garde. Exter left her mark on her women contemporaries who were working in the fine dramatic and applied arts. Her departure from Paris might have created a hiatus in Russia, but new Scythian raiders were ready to advance the cause which Exter had championed.¹¹

Zinaida Serebryakova

Serebryakova (1884–1967) created a harmonious synthesis between the peasant subject-matter of nineteenth-century Russian Realism and the Return to Order, in particular the Italian version of Carrà and Funi. Serebryakova was fortunate to be born into the intellectual and cultured Lanceray-Benois family which was well known both inside and outside Russia. Her father was a sculptor, one brother a talented painter and a leading member of the “World of Art” group.

This group played a crucial role at the time in preparing the way of Russian modernism. Led by Diaghilev, artists such as Benois, Lanceray and Dobuzhinsky tried to promote the concept of “national art”. Unlike her colleagues, Serebryakova found her themes and inspiration in contemporary life and her Russian surroundings, so that for her there was never any question of retrospectivism. Her enthusiasm for self-portraiture is characteristic, and the painting *Self-portrait at the dressing-table* of 1909 made an immediate and strong impact on her contemporaries.¹²

Serebryakova, like her colleagues in the Word of Art, also had a keen sense of preserving what was fine in artistic tradition. Consequently, the subjects of some of her peasant paintings, such as *Bleaching Linen* of 1917 are expressed with the monumentality of form of composition derived from her admiration of Titian and Tintoretto, Rubens and Poussin. Executed from a low viewpoint, the picture elevates the simple yet bold forms of the peasants and conveys an almost mythological quality.¹³ The revolutionary storm swept Serebryakova aside as it did most artists. In 1918 a fire destroyed not only Serebryakova's house but also many of her paintings. Then in 1919, her husband died of typhus.

In 1924, Serebryakova left Petrograd for Paris to execute a commission for a large mural, and remained there, hoping to be able to earn a livelihood. Unfortunately, the circumstances of times prevented her return and she was to spend the rest of her life in exile among people who, as she wrote, did not understand "simple Russian art", and in an environment whose art she herself was unable to accept.¹⁴

Serebryakova traveled widely, visiting Brittany, Algeria, and Morocco, and continued to paint popular life in a realistic style. Serebryakova was never radical or an avant-garde artist. Both Serebryakova and the World of Art failed to recognize the importance of destroying conventional disciplines.

Natalya Goncharova

Goncharova was both an artist and an innovator. She claimed the role of leader of the emergent avant-garde, an initiator of new paths in art, and she led the way to a new type of femininity characterized not by weakness, but by a strength and frenzied preaching. She spent much of her childhood at their grandparent's estate at Ladyzhino, in Central Russia.¹⁵

In 1898, she attended sculpture classes at the Moscow School of Painting, Sculpture, and Architecture, where she met Mikhail Larionov, who was to have a decisive influence on her life and artistic development. Goncharova initially painted in a gentle Impressionist style, and at the invitation of Sergei Diaghilev, she exhibited some of her earlier works in the "Russian Art Exhibition" at the Salon d'Automne in Paris 1906. The real breakthrough in Goncharova's art occurred after 1908, when in the "Golden Fleece" exhibition she adopted a more primitive and expressionist approach.¹⁶ Her circle of paintings *The Fruit Harvest* of 1909 betrays the French influence. These works have all the exotic and primitive power of Gauguin, combined with the heavy sculptural form to be found in the early Cubist figure-paintings by Picasso.

The essence of Goncharova's art lies in the fact that she was a deeply national painter. In her thirst to discover a new painterly language, she turned wholeheartedly to the folk tradition. This approach culminated in her first mature work of 1910, which dealt with specifically Russian subjects and revealed the bold impact upon her of Russian artistic traditions such as the icon and the popular print (lubok). This style, which Goncharova elaborated in conjunction with her companion Larionov, became known as Neoprimitivism and represented a unique development on Russian soil of the Expressionist tendencies which were then flourishing in the West.

A key example of Goncharova's work at this time was her cycle *The Evangelists* of 1910, which is a contemporary re-interpretation of traditional Russian art-form. However, the execution of each Evangelist reflects the additional refinement of Goncharova's vivid Expressionist approach.¹⁷

Goncharova and Larionov understood the vital contribution of Eastern art to the development of traditional Russian culture, and in 1913 they organized an exhibition in Moscow entitled "Original Icon Paintings and Popular Prints", which included Persian miniatures and Japanese and Chinese prints. Goncharova drew ever nearer to the West, but not as a pupil, more as an opponent fully aware of her own strength.

In the two years before the First World War, she turned her attention to the claims of Italian Futurism and became excited by electricity and movement. She subscribed to Larionov's theory of Rayonism, signed his manifestos, and executed a remarkable series of Rayonist landscapes. According to Apollinaire, the success of these abstract and non-objective works lay in Goncharova's ability to sift and synthesize the best from "Fauvism of all varieties, Cubism of all system and Futurism of all nationalities".¹⁸

In these years Goncharova was a formidable advocate of Russian Futurism and was frequently reported in the press for her violent propagandistic activity. The once-quiet Impressionist now burgeoned into an Amazon of the avant-garde. The Futurist phase was sufficient to attract the attention of Diaghilev, the director of the Ballets Russes, who invited her to make stage designs for his production of *Le Coq d'Or*, which was to be staged at the Paris Opera in 1914. Goncharova's final designs were a triumphant success of Neoprimitivism. They combined the rich and striking color-harmonies of Russian folk art with the simple yet expressive qualities of the popular print and icon and represented a complete synthesis of Russian tradition. *Le Coq d'Or* brought Goncharova both fame and success in the West.¹⁹

In 1915, however, Goncharova forsook blood-stained Russia and traveled to Switzerland with Larionov to take up Diaghilev's invitation to join the Ballets Russes. For several years Goncharova toured Europe with Diaghilev working as a stage designer. In Spain, she was captivated by the mantillas of the Spanish ladies, which inspired the series of paintings entitled *Espagnoles*. In Rome, she worked with Larionov on the designs of the ballet *Contes Russes* and collaborated with the plethora of artists, writers, and composers who surrounded Diaghilev. These years of wandering finally drew to a close in 1919, when Goncharova settled permanently in Paris with Larionov.²⁰

Here she became familiar with painters such as Matisse, Derain, Picasso, Delaunay, and Léger, as well as writers such as Jean Concteau and the Dada poet Tristan Tzara. In these years, Goncharova built her international reputation not as a painter but as a stage designer. She worked not only for Diaghilev, but also for Boris Romanov's Russian Theatre in Berlin and Michel Fokine's ballet company in America. Her work of the last years evoked a sense of "Russian nostalgia" because throughout her entire working life Goncharova remained a Russian artist.

Conclusions

If what is truly "of his time" is also outside its time, is eternal; the art of the Russian Amazons is imbued with the power of the primitive, even though it may also be theoretically profound and rationally organized.²¹ Their style and language combine the prosaic with the dramatic and symbolic. It was as the nerves and voice of their time that women artists drew, painted, embroidered, sculpted, constructed and designed. The first peak of women artists' achievement was reached in the pre-Revolutionary period, and the second was the Constructivist period in the 1920s. During the late 1920s and early 1930s, women artists led two contrary developments: one of an intimate and personal character (Sofronova), the other more publicly affirmative (Lebedeva and Mukina). The mid-1930s, however, marked another new stage, when the general development of Soviet culture suppressed female perception, and for a period its contribution ceased to be distinctive.²²

Notes

¹ CAMILLA GRAY, *The Russian Experiment in Art 1863–1922* (London: Thames & Hudson, 1986).

² LAURA ENGELSTEIN, "Between Old and New. Russia's Modern Women", in *Amazons of the Avant-garde: Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga*

Rozanova, Varvara Stepanova and Nadezhda Udaltsova, ed. JOHN E. BOWLT and MATHEW DRUTT (New York: Guggenheim Museum Publications, 2000), 59-74.

³ MARTINA CORGNATI, *Artiste. Dall'Impressionismo al nuovo millennio* (Milano: Mondadori, 2004).

⁴ OLGA MATICH, "Gender Trouble in the Amazonian Kingdom: Turn of the Century Representation of Women in Russia", in *Amazons of the Avant-garde*, ed. BOWLT, DRUTT, 75-94.

⁵ JOHN E. BOWLT, "20 Women of Genius", in *Amazons of the Avant-garde*, ed. BOWLT, DRUTT, 20-38.

⁶ CHARLOTTE DOUGLAS, "Six (And a Few More) Russian Women of the Avant-Garde Together", in *Amazons of the Avant-garde*, ed. BOWLT, DRUTT, 39-58.

⁷ SOPHIA MANUKOVA, *Changing Mask* (Raleigh: Roman Gosin, 2016).

⁸ GEORGII KOVALENKO, "Alexandra Exter", in *Amazons of the Avant-garde*, ed. BOWLT, DRUTT, 131-154.

⁹ VICTOR ERLICH, *Alexandra Exter. Artist of the Theatre* (New York: New York Library, 1974).

¹⁰ RONNY H. COHEN, *Alexandra Exter and Western Europe* (New York: New York University, 1979).

¹¹ GEORGII KOVALENKO, *Alexandra Exter* (Moscow: Galart, 1993).

¹² MIUDA YABLONSKAYA, *Women Artists of Russia's New Age*, trans. ANTHONY PARTON (London: Thames&Hudson, 1990).

¹³ ANN SUTHERLAND HARRIS, LINDA NOCHLIN, *Women Artist 1500-1950* (Los Angeles: County Museum of Art, 1976).

¹⁴ CORGNATI, *Artiste. Dall'Impressionismo al nuovo millennio*.

¹⁵ JANE A. SHARP, "Natalja Goncharova", in *Amazons of the Avant-garde*, ed. BOWLT, DRUTT, 155-184.

¹⁶ GABRIELLA DI MILIA, *Mir Iskusstva – Il mondo dell'arte. Artisti russi dal 1898 al 1924* (Napoli: Società Editrice Napoletana, 1982).

¹⁷ MARINA CVETAeva, *Natalja Goncharova: vita e creazione*, trans. LUCIANA MONTANANI (Torino: Einaudi, 1995).

¹⁸ JANE SHARP, *Russian Modernism Between East and West: Natalia Goncharova and the Moscow Avant-Garde, 1905-1914* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

¹⁹ ANTHONY PARTON, "Russian 'Rayism': The Work and Theory of M. Larionov and N. Goncharova", *Leonardo*, XVI, (1983): 298-305.

²⁰ MARY CHAMOT, *Goncharova: Stage, Designs and Paintings* (London: Oresko, 1979).

²¹ JOHN MILNER, NATALIA MURRAY et al., *Revolution: Russian Art 1917-1932* (London: Royal Academy of Arts, 2017).

²² MARIO DE MICHELI, *Le Avanguardie artistiche del Novecento* (Milano: Feltrinelli, 2009).

ANN KLEIMOLA

Threading the Rapids of Revolution: the Art of Il'ia Efimovich Repin (1844–1930)*

When the revolution erupted in 1917, Il'ia Efimovich Repin was 73 and long recognized as a grand old man of Russian art. His reputation rested on his socially conscious contributions to the Association of Traveling Exhibits (*Peredvizhniki*), portraits of Russians from the highest to the lowest classes, and historical works. A veteran of the contentious cultural clashes roiling Russia's art world, wherein some younger artists considered him a relic of the past,¹ Repin encountered much more drastic realities in the social and political upheavals that unbalanced Russia during and after 1917. These changes impacted his life and legacy in totally unexpected ways which would continue to resonate and evolve in the wake of new seismic events transforming Russia after 1991.

In March 1917 Repin hoped his country was on the verge of a bright future, writing his neighbor and friend Aleksandr Vasil'evich Statsenko: "I am ready to jump for joy at the thought that there will be a republic in Russia... I did not even dare to dream about this and now I still fear that I am dreaming!"² In November, despite the difficult conditions in the capital, he was feted with a retrospective exhibition at the Russian Museum marking the 45th Jubilee of his artistic career (1871–1916). In his response to the honor, Repin declared that the "best memorial he could wish for would be the immediate establishment of free art workshops in his hometown of Chuguev"³ (now Chuhuiv, Ukraine).

It was Repin's last visit to the capital. In April 1918 the Russian-Finnish border closed, leaving "Penaty", the small estate in the dacha

With gratitude to the Russian, East European and Eurasian Center, University of Illinois Champaign-Urbana, and to the University of Illinois Libraries.

community of Kuokkala where he had lived since 1903, on Finnish territory. Repin's property and money in Russian banks disappeared, and he had become a man without a country. More immediately pressing were shortages of food and supplies, the absence of the cultured Russian *dachniki* who had enlivened Repin's former world, and the on-going worries about friends and relatives on the other side of the border. Ominous rumors circulated about starvation and disorder,⁴ while strained relationships with his children and worries about their future increased his burdens.⁵

Additional stress came from being caught in the post-Revolutionary political cross-currents. Repin seemingly remained ambivalent about the Bol'shevik Revolution, although recently published correspondence indicates that he was more sharply critical than long-censored earlier editions revealed.⁶ While he was impressed by some Soviet policies (e.g., separation of church and state, social equality, the opening of educational opportunities), he was angered by the loss of his personal property and continued to believe that wealthy patrons were necessary for the creation of artistic culture.⁷ At the same time, as he wrote to Vladimir Zeeler, Russian lawyer, former White politician, and major player in the emigration based in France, "I was too close to the monarchy to be for it".⁸

Repin wanted to see "our Russian art" one last time, particularly in connection with the exhibitions commemorating his 80th birthday, organized in Moscow in 1924 and Leningrad in 1925, while the Politburo wanted to secure his "return" to the USSR. Visa negotiations bogged down, however, over his insistence that he be given an unconditional guarantee for returning to Kuokkala.⁹ As long as it appeared Repin might come back, the regime tried to win him over through the Association of Artists of Revolutionary Russia (AKhRR), followers of political realism. A delegation from Moscow visited "Penaty" in July 1926, returning with some artwork but no decision by the artist. A Politburo meeting on 18 November 1926 decided that upon arrival he would receive a pension at the highest amount set in law and be promised the title of People's Artist within a short time. But after Lunacharskii's agents were unsuccessful in luring him back, Repin became a non-person in Soviet circles.¹⁰

In the midst of political pressures, requirements of subsistence, and concerns about family and friends, Repin maintained a remarkably extensive correspondence with a wide range of people and devoted considerable effort to writing and publishing his memoirs. But art, above all, remained his pole star for daily life. He had to adapt to changing circumstances that in turn affected his style and technique. From the

1890s on his right hand grew steadily weaker, but he continued to use it as late as 1917, while teaching himself to paint with his left hand. Despite his family's efforts to make him stop, he kept working, experimenting with new techniques and themes, even as scarcity and rising costs of materials forced other adaptations upon him. His studio could be used only in summer, and he had to move into the dining room during cold weather. Photos show him wielding a huge brush, and he also worked his thick paint with a palette knife and even his fingers. Repin's late paintings reveal more rapid work and greater exaggeration of forms created from layers of paint.¹¹ As the following examples show, he returned to themes and genres from his earlier decades, but with continually evolving new perspectives and techniques.

Portraits had long been among Repin's most successful works. Alexandre Benois recalled watching Repin at work in 1885 on a portrait of his sister-in-law: "Nothing looks more like magic than the birth of an image under the brush of a great artist..."¹² Chukovskii noted Repin's unsurpassed ability to capture the psychological essence of the subject as well as every fold in his clothing and the slightest turn of the head.¹³ Repin's pupil Valentin Serov, himself a distinguished portrait artist, declared, "we can draw too, but we are unable to pose a subject and catch everything like this".¹⁴ The Russian émigré writer Teffi (1872–1952, pen name of Nadezhda Lohvitskaia) recalled going to Kuokkala in the winter of 1916, where Repin seated her on a dais above him as he worked: "He was using colored pencils, which he didn't do often. 'It'll be Paris style', he said with a smile". The finished portrait was "something magically tender, unexpected, not at all like his usual more forceful work".¹⁵ Repin used watercolor and lead pencil to similar effect in *Woman Sitting at a Table* (c. 1923) and his portrait of Mariia Khlopushina (1927).

Repin's 1920 portrait of the Finnish artist Akseli Gallen-Kallela (1865–1931), a large oil sketch that was never finished, has been described by the art historian David Jackson as a "deft likeness with expressionistic use of brushwork", which creates the "desired image of warmth and vivacity" from a distance even though the whites of the eyes "are merely bare canvas, giving a mask-like countenance on close viewing".¹⁶ Repin's portrait of I.P. Pavlov was a product of happy happenstance. Over 100 people came to Kuokkala to celebrate Repin's 80th birthday in 1924. No official delegate came from the Soviet Union, but the guests included Pavlov, who was staying with his son, a friend of Repin's, at his dacha in Kellomäki (now Komarovo). Repin seized the opportunity to do a portrait from life.¹⁷

Perhaps Repin's most enigmatic work is his portrait of Aleksandr Kerenskii (1918), based on sketches from sittings in the Winter Palace in October 1917. One of the works the Soviet delegation took back to Moscow from Kuokkala in 1926,¹⁸ it was given to the Museum of the Revolution (now the Museum of Contemporary Russian Political History), and thereafter evidently not exhibited until 1994.¹⁹ In consequence, it has not yet received the attention it will undoubtedly attract. Galina Churak, head of the late 19th – early 20th century department at the State Tret'iakov Gallery, notes that Repin perspicaciously saw the contradictory and complex character of his subject. Everything in the portrait conveys a feeling of instability, with Kerenskii on the edge of his chair, ready to leap into action, rays of light contrasting with deep shadows falling across his figure. His evasive gaze, she concludes, underlines an image that is simultaneously demonic and pathetic.²⁰ David Jackson describes the portrait as "a most unflattering and demonic apparition", the face in darkness, the eyes "shining with reptilian sharpness in the gloom", brilliant sunlight striking the top of the head and "fully illuminat[ing] the incongruous hands".²¹ But should we describe Kerenskii as demonic or rather at the edge of desperation? It seems likely that the artist's brush caught instead a man seeing his entire world disintegrating around him as events outpaced his ability to shape them.²²

Repin had begun his career as an apprentice to icon painters in the church at Chuguevo, and several of his most ambitious projects from the 1920s mark his return to religious themes. The new works included *The Incredulity of Thomas*, *Christ and Mary Magdalene*, *The Ascent to Heaven of the Prophet Elijah*, and, his most dramatic and unusual work, *Golgotha* (1922). If asked what the artist intended to express, most viewing *Golgotha* for the first time would not immediately declare: "Joy!" Yet that was his goal. In the post-Revolutionary confusion, Repin heard that various friends had been shot and even read Western reports of his own death. The painting was inspired by the news that his old friend A.F. Koni was alive and lecturing. In a letter to Koni from 15 / 28 April 1921 he said that hearing this had made him think how Christ must have rejoiced when he realized that he was alive: "I wanted to depict the joy of the Resurrected – but it is so hard!"²³ The painting has been described as a "brutal expression" of the theme,²⁴ "a tragic picture of utter desolation".²⁵ The focal point of Repin's intent, however, is the ray of light far in the background where the stone has been rolled away. This foreshadows by decades Leonard Cohen's image in *Anthem*: "There is a crack in everything, That's how the light gets in"²⁶ – or, in this case, gets out to illuminate the world.

Like most of Repin's post-1917 work, Golgotha remained largely unknown in the Soviet Union, where he was still an "unperson" at his death. On 20 October 1930, weeks after Repin died, I. I. Brodskii, his pupil and a member of AKhRR, wrote in agitation to Voroshilov, noting that "Soviet newspapers have not written a word about the artist Repin – the pride of Russia—who has passed away".²⁷ It was not long before his reputation was resurrected and he was declared the "father of Socialist Realism", but being restored to the pantheon of great Russian national artists came with a price: the assessment that he had done no significant work after 1905, most often attributed to Oleg Grabar' in his 1937 two-volume biography.²⁸ The appropriation of this legacy was completed by the onset of World War II. And a 1944 poster entitled "Repin and the White-Finnish Savages" depicts the burning of "Penaty" where "our great Repin lived" and promises that the "slimy band of gorillas" will pay for ruining the "altars of our culture!"²⁹

While Repin's earlier work was widely known in the Soviet Union, he remained relatively unnoticed in the West, in part because his paintings were widely scattered in Western museums and private collections, and in part thanks to the negative assessment by the influential art critic and advocate of Abstract Expressionism, Clement Greenberg, who defined Repin's paintings as prime examples of "kitsch, synthetic art" preferred by peasants but not "cultivated" people.³⁰ A more positive and deeper reappraisal of Repin's work was launched in 1994 with a huge retrospective exhibition at the Tret'iakov, which included works from abroad shown in Russia for the first time and also royal commissions and landscapes that had not been on view earlier.³¹ This initiative has been followed by major Western exhibitions in more recent years and the re-discovery of works thought lost, often at auction.³²

The reappraisal of Repin's work has been ongoing. Back in the late 1950s Alexandre Benois had already modified his earlier sharp criticism, paying tribute to Repin's mercurial attitudes, which he saw as the artist's continuing strong point: "with the approach of old age he did not lose his freshness and sensitivity... he kept on... painting everyone and everything with his earlier youthful spontaneity and with total sincerity".³³ Repin's last major painting is a vivid illustration of Benois' perceptive comment. It marked a return to his lifelong fascination with the Cossacks and his vision of their way of life, where freedom joined with independence to create an equitable community.³⁴ In 1880, while working on his historical scene of the Cossack letter to the Turkish sultan, he commented: "No one else in the whole world has felt so deeply about freedom, equality and brotherhood!"³⁵ In 1926, as he was writing his memoirs of M.P. Musorgskii, he

started work on Gopak, a wild and joyous Cossack dance scene dedicated to the memory of the composer. After working on it for six months, he wrote Chukovskii on 18 May 1927, “It is such a shame: I will not manage to finish it... But then, more and more, all the themes are merry, alive...³⁶

Gopak was another expression of his joy in life as well as a look back at his early vision of what the Revolution might bring. In the same letter above to Chukovskii Repin mentioned a friend who had announced that he was now a confirmed communist: “As you well know, I am also a confirmed communist: I adore the Cossack commune – from its earliest incarnation, which I have declared publicly in my pictures... these are the knights of goodness and truth”.³⁷ Despite all his seemingly contradictory comments over the years, in the end Repin’s art explains why he could not make the journey from Kuokkala to the Soviet Union, even though it was only 19 kilometers away on the railroad line. As John Updike once memorably wrote about crossing a room, it was just too far to go.³⁸

Notes

¹ G.S. CHURAK, “Vstupitel’naia stat’ia”, in *Il’ia Repin, Kornei Chukovskii. Peregiska 1906–1929* [hereafter *Repin – Chukovskii*] (Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2006), 7-8.

² I. REPIN, *Izbrannye pis'ma v dvukh tomakh 1867–1930* (Moscow: “Iskusstvo”, 1969), 2: 320.

³ “Memoir of M.A. Kerzin”, in *Novoe o Repine* (Leningrad: Khudozhnik SSSR, 1969), 275.

⁴ T.M. GORIAEVA and E.V. KIRILINA, “Il’ia Efimovich Repin (1920-e gody)”, in *Il’ia Efimovich Repin, Viktor Ivanovich Bazilevskii: Peregiska 1918–1929 goda* (St. Petersburg: “Mir” – Moscow: RGALI, 2012), 304-308; DAVID JACKSON, *The Russian Vision: The Art of Ilya Repin* (Schoten, Belgium: BAI, 2006), 249-251.

⁵ *Repin – Chukovskii*, 284-289; GORIAEVA, KIRILINA, “Repin”, 372; V.F. LEVI, “I.E. Repin v gody revoliutsii”, in: *Repin: Khudozhestvennoe nasledstvo*, ed. I.E. GRABAR’ and I.S. ZIL’BERSHTEIN, 2 vols. (Moscow – Leningrad: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, 1948), 1: 309-314. Repin’s daughter Tat’iana and her family were threatened with “dekulakization” but managed to leave the Soviet Union, arriving at Penaty shortly before Repin’s death; on her experiences, see “Sem’ia I.E. Repina v pis'makh T.I. Repinoi-Iazevoi”, ed. I.A. DORONCHENKOVA and I.A. SAVKINA, *Ezhegodnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma, 1991: 252-308*. – http://lyonguide2008.narod.ru/tbkr/Drugie_berega.pdf [April, 2017].

⁶ This apparently was the reason that even in the 1980s I.S. Zil’bershtein decided not to publish the Bazilevskii correspondence; GORIAEVA and KIRILINA, “Repin”, 381. To illustrate the problem – on 10 July 1926 (p. 205) Repin unexpectedly, as if out of the blue, wrote Bazilevskii: “Lenin was by his nature and activities the biggest state criminal (*gosudarstvennyi prestupnik*)! What a decline in all the achievements of our culture”.

Chukovskii encountered the problem earlier, as shown in his diary entry for 18 January 1935: "I'm writing about Repin again and cursing my ineptitude: there he is, standing before me in all his complexity, large as life, and I can't get him down on paper. I've been going through the letters he wrote to me. Some are remarkable. But the unfounded ferocity of his hatred for everything Soviet will put people off"; KORNEI CHUKOVSKY, *Diary, 1901–1969*, ed. VICTOR ERLICH, trans. MICHAEL HENRY HEIM (New Haven and London: Yale University Press, 2005), 312.

⁷ ELIZABETH KRIDL VALKENIER, *Ilya Repin and the World of Russian Art* (New York: Columbia University Press, 1990), 194-195.

⁸ Letter of 23 October 1926, V. Zeeler Papers, Bakhmetieff Archive, Columbia University, quoted in Valkenier, *Repin*, 198.

⁹ REPIN, *Izbrannye pis'ma*, 2: 360-363; GORIAEVA and KIRILINA, "Repin", 334.

¹⁰ GORIAEVA and KIRILINA, "Repin", 320-321, 346-348, 360-372; Jackson, *Russian Vision*, 174-175.

¹¹ See the discussion in Jackson, *Russian Vision*, 169, 254.

¹² ALEXANDRE BENOIS, *Memoirs*, trans. MOURA BUDBERG (London: Chatto & Windus, 1960), 111.

¹³ K. CHUKOVSKII, *Il'ia Repin* (Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1995), 38 [reprint of the essay in KORNEI CHUKOVSKII, *Sovremenniki. Portrety i etudy* (Moscow: Molodaia gvardiia, 1963)].

¹⁴ I.S. ZIL'BERSHTEIN and V.A. SAMKOV, ed. *Valentin Serov v vospominaniakh, dnevnikakh i perepiske sovremennikov* (Leningrad: Khudozhnik RSFSR, 1971), 2: 206.

¹⁵ TEFFI, "Ilya Repin", in *Tolstoy, Rasputin, Others, and Me: The Best of Teffi*, ed. ROBERT CHANDLER, ANNE MARIE JACKSON (New York: New York Review Books, 2016), 190.

¹⁶ JACKSON, *Russian Vision*, 267. In a letter to Chukovskii from 18 March 1926 Repin repented his earlier unjustly harsh critique of Gallen's work; *Repin – Chukovskii*, 229-230.

¹⁷ GORIAEVA and KIRILINA, "Repin", 323.

¹⁸ Chukovskii had visited Repin in January 1925, and on his return wrote to P.I. Neradovskii at the Russian Museum about the paintings he had seen in Repin's studio. He described the Kerenskii portrait as "very interesting"; *Repin – Chukovskii*, 188-190. A second copy, different only in size by one centimeter but otherwise exact, has been examined by the Tret'iakov experts. It was in Repin's studio at his death, later taken to France by his daughter Tat'iana, auctioned at Christies in 1990, and sold again twelve years later, evidently to a Russian collector; see GALINA CHURAK, "Vstrechi s 'novym' Repinyim", *Sobranie: Illiustrirovannyi zhurnal po iskusstvu* 1 (2004), 25.

¹⁹ DMITRII EVTUSHENKO, "Eshche maloizvestnyi Repin. Portreta Kerenskogo. 1917–18", the Russian artist's blog entry for 14 December 2008. – www.Evtushenko75.livejournal.com (January, 2017).

²⁰ CHURAK, "Vstrechi", 25.

²¹ JACKSON, *Russian Vision*, 178.

²² Repin's former student Isaak Brodskii also attended the sittings and finished his own, much less dramatic, portrait of Kerenskii in 1918. – www.the-Athenaeum.org/art/full-php?ID=86779 and www.artinrussia.org/isaak-brodsky (July, 2917).

²³ Repin to Koni, 15 / 28 April 1921, in *Izbrannye pis'ma*, 2: 329.

²⁴ DAVID JACKSON, "The 'Golgotha' of Ilya Repin in Context", *Record of the Art Museum, Princeton University*, 50, no. 1 (1991), 13.

²⁵ VALKENIER, *Repin*, 192-193.

²⁶ <http://www.azlyrics.com/lyrics/leonardcohen/anthem.html> (April, 2017).

²⁷ GORIAEVA and KIRILINA, "Repin", 320-321, 346-348, 360-372; JACKSON, *Russian Vision*, 174-175.

²⁸ See, for example, GRABAR', *Repin*, 2: 131, 135-138.

²⁹ Petr Mitrofanovich Shukhmin and Dem'ian Bednyi, Repin and the White-Finnish Savages, Aug. 4, 1944, Chicago Art Institute Prints and Drawings Collection, Gift of USSR Society for Cultural Relations with Foreign Countries, 2010. – <http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/192440> (April, 2017).

³⁰ CLEMENT GREENBERG, "Avant-Garde and Kitsch", in *The Collected Essays and Criticism*, vol. 1, *Perceptions and Judgments 1939–1944*, ed. JOHN O'BRIAN (Chicago and London: University of Chicago Press, 1986), 15-17.

³¹ *Il'ia Efimovich Repin, 1844–1930. K 150-letiiu so dnia rozhdeniia. Katalog iubileinoi vystavki* (Moscow: Krasnaia ploshchad', 1994); JACKSON, *Russian Vision*, 14; GALINA CHURAK, "The Contemporary Reception of Ilia Repin's Solo Exhibition of 1891", in *From Realism to the Silver Age*, edited by ROSALIND P. BLAKESLEY and MARGARET SAMU (DeKalb: NIU Press, 2014), 120-121.

³² JACKSON, *Russian Vision*, 9-12; HENK VAN OS and SJENG SCHEIJEN, *Ilya Repin. Russia's Secret* (Groningen: Groninger Museum, Waanders Publishers, 2001); Catalog for the Saarland Museum and the Nationalgalerie: *Ilja Repin: Auf der Suche nach Russland*, ed. ANGELIKA WESENBERG, NICOLE HARTJE and ANNE-MARIE WERNER (Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 2003); *Repin. A Russian Master's Life and Work in Finland* (Tallinn: Kadriorg Kunstmuuseum, 2013); on Russian art from Czech collections exhibited in the summer of 1915, see VOVA POMORTZEFF, "Hidden Masterpieces of Russian Art", at www.pomortzeff.com/eng/features/2015/rusart (April, 2017); Repin's Bol'sheviki, purchased at auction by Mstislav Rostropovich, subsequently was acquired by Alisher Usmanov; see DMITRII EVTUSHENKO, "Il'ia Efimovich Repin. Bol'sheviki. 1918 g.", blog entry for 12 December 2008, at <http://evtushenko75.livejournal.com/26532.html> (April, 2017).

³³ ALEKSANDR BENUA, *Moi vospominaniia v piati knigakh*, 5 vols. (Moscow: Nauka, 1990), 4: 50.

³⁴ JACKSON, *Russian Vision*, 96.

³⁵ Letter to V.V. Stasov, 6 November 1880, *Izbrannye pis'ma*, 1: 240.

³⁶ *Repin – Chukovskii*, 269-271.

³⁷ *Repin – Chukovskii*, 269-271.

³⁸ JOHN UPDIKE, *Too Far to Go: The Maples Stories* (1979), available online at <https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/zy4k38dw.appspot.com/o/Too-Far-Go-Maples-Stories-ebook-PDF-cd9e46c90.pdf?alt=media&token=652a-4799b-3c25-abc99a> (April, 2017).

Г.В. МАЛЯСОВА

Новое искусство для нового мира: революция и формирование сети свободных государственных художественных мастерских

Послереволюционные годы – пожалуй, один из наиболее противоречивых и неподдающихся однозначной интерпретации периодов в истории России. Суровые реалии Гражданской войны и военного коммунизма, голод и разруха причудливо сочетались с беспрецедентным порывом к строительству нового мира, а отказ от идеи государства как устаревшей и отжившей, – со стремлением показать всему миру пример успешности нового социалистического строя и тем самым инициировать мировую революцию. Слом старых систем и активное строительство новых затрагивает практически все сферы, и мы видим, что в области художественного образования, – казалось бы, предельно далекой от революционных событий – размах строительства художественных школ и их востребованность не только не уступают дореволюционным, но и в ряде регионов их превосходят.

Уже в 1918 г. начинает формироваться сеть Свободных государственных художественных мастерских (СГХМ) – художественных учебных заведений нового типа, опиравшихся на модель ренессансных мастерских, и предполагавших обучение в ходе совместной практической работы художника-мастера и его учеников-подмастерьев. В 1918 г. Свободные государственные художественные мастерские были образованы в Москве, Петрограде, Казани, Саратове, Пензе, Екатеринбурге, к 1919–1920 гг. – в Астрахани, Витебске, Вологде, Воронеже, Костроме, Нижнем Новгороде, Самаре, Оренбурге, Ярославле и других городах. Всего с 1918 по 1921 гг. в стране было создано бо-

лее двух десятков СГХМ, образовавших первую в истории России общегосударственную сеть художественных школ. Интересно проследить, что именно вызвало такую востребованность художественных школ в регионах в столь непростых жизненных условиях, какое место занимали художники в строительстве нового мира и как они представляли себе новое искусство, призванное служить этому строительству.

Наиболее активными инициаторами реформы художественного образования становятся студенты крупных академических художественных учебных заведений – прежде всего, Московского училища живописи, ваяния и зодчества (УЖВЗ). Основная их идея – отказ от академической системы преподавания. Весь 1917 год в УЖВЗ происходили студенческие волнения и протесты против давления этой системы на их творческую свободу под лозунгом «Да здравствует свободное искусство!».¹

Уже в апреле 1918 г., одновременно с расформированием Академии художеств как «учреждения глубоко бюрократического, оторванного от общего развития культуры страны, которое никогда не пользовалось авторитетом среди лучшей части художественного мира»² в Петрограде проходит конференция учащихся искусству, посвященная формированию принципов будущей реформы. Интересно, что председателем конференции становится Георгий Щетинин, а секретарем – Матрена Солодовникова, оба – учащиеся Строгановского художественно-промышленного училища, крупной московской школы прикладных искусств, не имевшей академического статуса. Они же в июне 1918 г. занимаются подготовкой Всероссийского съезда учащихся изобразительным искусствам (не состоялся), формулируя положения, которые вскоре окажутся основными принципами будущей реформы. Среди них: децентрализация искусства, конструкция коллегиального управления делами искусств, определение термина «Большое искусство», определение понятий государственной и частной мастерской, невмешательство в дела искусства правительственных чиновников и организация художественных школ в провинции.³ Включение в перечень важнейших вопросов работы в провинции и создания там новых художественных школ было не абстрактным пожеланием столичных студентов, а ответом на инициативу из регионов – так, молодой воронежский художник Борис Бессарабов представил доклад о своем опыте создания новой художественной школы в Воронеже (будущих Воронежских свободных государственных художественных мастерских).⁴ Одновременно еще один из орга-

низаторов конференции, студент архитектурной мастерской УЖВЗ В. Малинин, отправляется в Рязань для создания там художественной школы по предложенным на конференции принципам – выбор города был связан с тем, что там жили родители его жены.⁵

Буквально через несколько месяцев после выдвинутых студентами инициатив, в августе-сентябре 1918 г. Наркомпрос выпускает Положение о Свободных государственных художественных мастерских и Инструкцию по выборам в Свободные государственные художественные мастерские, во многом отвечавшие требованиям студентов. Их ключевыми положениями становятся: выборность руководителей мастерских (и возможность создания мастерских без руководителя, если никто из предложенных мастеров студентам не подойдет), отмена вступительных экзаменов и образовательного ценза для поступления в мастерские (что снимало сословные и образовательные ограничения при приеме в мастерские, но одновременно приводило к существенной разнице в подготовке учащихся внутри каждой мастерской), равенство и равная представленность в СГХМ всех имеющихся в регионе художественных направлений и специализаций, от «чистых искусств» до декоративно-прикладных и от классики до авангарда, и переход управления мастерскими к выборным советам преподавателей и студентов (при этом связь с Наркомпросом, остававшимся координационным центром реформы, осуществлял уполномоченный мастерских). Обучение должно было вестись в ходе совместной работы мастера и его подмастерьев. Важным моментом становится полная независимость мастерских друг от друга и отсутствие общих для них программ.

5 сентября 1918 г. в СГХМ были преобразованы Строгановское училище и Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве.⁶ За ними последовали петроградские и региональные художественные школы. В ряде регионов (в Астрахани, Воронеже, Вологде, Вятке, Костроме и др.) СГХМ создаются «с нуля» – в силу отсутствия в этих регионах крупных академических художественных школ или нежелания организаторов СГХМ с ними сотрудничать.⁷ В некоторых городах (в частности, в Екатеринодаре) художественные школы преобразуются в СГХМ по мере отступления оттуда белых и прихода советской власти вплоть до 1920 г.

Наконец, движение по созданию СГХМ мгновенно распространяется за границы РСФСР – свободные мастерские возникают в новых государствах на территории нынешних Белоруссии, Украины, Средней Азии, под руководством местных органов управления куль-

турой или отдельных художников-энтузиастов.⁸ Более того, и на территории РСФСР существуют свободные мастерские, известные по мемуарам и биографиям художников, но отсутствующие в официальных отчетах Наркомпроса и документальных материалах его архивного фонда – и, вероятно, не имевшие с ним никаких официальных связей (например, в Липецке).

Руководителями и реформаторами художественного образования в регионах становились как молодые художники, уезжавшие из столиц на свою малую родину или просто в поисках лучшей жизни и интересной работы (С. Романович, Г. Крутиков и А. Боева в Воронеже, М. Соколов в Твери, Н. Купреянов в Костроме и др.), так и целые педагогические коллективы дореволюционных художественных школ, пытавшиеся адаптировать свою работу к изменившимся реалиям (П. Краснов в Екатеринодаре, И. Горюшкин-Сорокопудов в Пензе, и др.).

Новое время требовало и нового искусства. Однако, если сегодня под новым искусством того периода понимается, прежде всего, художественный авангард, тогда этот термин имел другое наполнение. Различные течения авангарда в документах тех лет именуется «левыми направлениями в искусстве». При этом, несмотря на то, что среди идеологов реформы и сотрудников Наркомпроса был ряд крупных художников и теоретиков искусства, в расстановке приоритетов нового искусства они ставят во главу угла не художественно-стилистические принципы, а классовый подход и практическую применимость искусств в строительстве нового государства и эстетизации жизни в нем. Так, впервые в истории прикладные искусства не уступают в значимости традиционным «чистым искусствам» – живописи, скульптуре и архитектуре, а центром реформы художественного образования – Первыми СГХМ – становится Строгановское училище. Руководивший Отделом ИЗО Наркомпроса Д.П. Штеренберг отмечал, что: «уже с самого начала своей педагогической деятельности, Коллегия Отдела Изобразительных Искусств поняла, что эстетическое развитие и художественное образование не заложены исключительно в картинах, скульптуре, архитектуре и гравюре. Только оторванность народных масс от искусства создала то ненормальное положение, при котором небольшая группа людей, рисующих на полотне, выделяющих из мрамора украшения, являющиеся роскошью и не имеющие широкого распространения в массах, стала монополистами искусства. Раньше, когда существовали цеховые мастера, когда народ был связан с искусством в повседневной

жизни, произведениями искусства были не только живопись и скульптура, а все предметы быта».⁹ Во многом эта позиция становится развитием идей движения «Искусств и ремесел» английских художников У. Морриса и Дж. Рескина, имевших большую популярность в дореволюционной России, им же принадлежит и идея обращения к опыту художественных цехов Средневековья и Ренессанса. Однако если в Англии эти идеи были в значительной степени направлены против технического прогресса и перехода к промышленному производству, то в промышленно отсталой России они коренным образом меняют свой смысл, знаменуя переход от аграрного общества к промышленному. Одной из насущных задач реформы по мнению Штеренберга становится «создание кадра ремесленников высшего типа», а одним из ее важнейших достижений – применимость навыков художественных специальностей в целом ряде рабочих профессий, когда «в гос<ударственных> св<ободных> худ<ожественных> мастерских появились рабочие, тяготеющие к искусству, как к таковому, а равно расширяющие свои познания для приложения к специальному труду: наприм<ер>, формовщики ортопедического института, рабочие декораторы, граверы и т.д.»¹⁰

Художники, в свою очередь, должны были черпать вдохновение в ремесле. По словам Вс. Дмитриева, художественного критика, руководившего созданием аналога московского отдела ИЗО Наркомпроса в Белоруссии, «искусство, живопись в том смысле, как оно понималось раньше, уступает место ремеслу... Ремесло – выделка мебели, посуда, вывески, платья... как подлинное жизненное творчество – становится фундаментом для нового вдохновения, становится основой и смыслом художества».¹¹ Не менее ярко и полемически высказывается на эту тему один из идеологов производственного искусства Осип Брик: «Сапожник делает сапоги, столяр – столы. А что делает художник? Он ничего не делает; он творит. Неясно и подозрительно... Коммуне ни жрецы, ни дармоеды не нужны. Только люди труда найдут в ней место... Труд дает художнику право встать рядом с трудовыми группами Коммуны, с сапожниками, со столярами, с портными».¹² Один из организаторов СГХМ в Тамбове, скульптор Б.В. Лавров утверждал: «Нужно создать быстро и решительно новое оборудование всей жизни производящего класса: создавать приходится почти из ничего (так как все старое не годится). Необходимо создать ядро высококвалифицированных рабочих-художников. Ни одна художественная школа или архитектурные классы, с лабораторно-отвлеченным искусством и старыми метода-

ми, не создали и вряд ли создадут в будущем подобное художественно-производящее ядро. В настоящее время нужны опытно-производительные школы – в виде отдельных групп мастерских, охватывающих полностью какое-либо производство». Лавров утверждал, что «старый способ строительства и все его художественные формы не требовали от рабочего, мастера и художника никакого единения в одном лице всей суммы знаний. Рабочего никогда ничему не учили, мастер сам учился, а художника учили в чисто буржуазном духе создавать удобные формы для развлечения, комфорта и выгоды своих работодателей». Таким образом, «новым искусством», так необходимым строящемуся новому советскому миру, оказывается не столько художественный авангард, сколько соединение искусств и ремесел в общей сфере производственного искусства. Организация учебного процесса целенаправленно возвращает художественную школу к модели средневековых мастерских, одновременно выводя ее на уровень современного производства. В системе ценностей производственного искусства простое создание учебных работ, не имеющих практической значимости, выглядело совершенно нерациональной тратой трудовых ресурсов. Так, по предложению Б.В. Лаврова, «все обучающиеся фактически производят работу в мастерских и получают за работу в размере 500 + 900 руб. от соц<иального> обес<печения> и Н<ародного>. К<омиссариата>. П<росвещения>., квалифицированные специалисты – добавочно в размере 10%, 20% и 30% обеспечения. Обучение производится без ограничения сроком». Последнее в условиях продовольственного кризиса позволяло учащимся СГХМ не только иметь заработок, но и рассчитывать на рабочие пайки и другие привилегии трудового класса. Так, Одесские свободные мастерские в ходе реформы получили право на снабжение рабочим пайком, а благодаря созданию художественного профсоюза «ячейка художников <...> выросла, окрепла и получила соответствующее влияние в союзных и государственных органах». При этом мастерские «должны были иметь преимущественно строй производственного предприятия с 8-ми часов<ым> рабоч<им> днем с оплатой работников — начиная с завед<ующих> мастерскими и кончая младш<им> учеником-подручным – по соответствующим тарифным ставкам. Все работники мастерских должны были быть членами профсоюза и объединялись в профессиональном отношении Заводским комитетом. Согласно “Положению о мастерских” для работников мастерских, подмастерьев, старш<их> учеников и младших читались лекции по научным дисциплинам, а для опытных и

даже практических работ должны были быть оборудованы лаборатории». ¹³

Новая расстановка приоритетов заметно меняет и положение женщин в художественном образовании. Феномен «амазонок авангарда» давно отмечен исследователями – их появление в искусстве стало не постепенным процессом, а мгновенной реакцией на официальное установление равноправия полов после революции. Женщины-художницы наравне с мужчинами становятся руководительницами мастерских, организаторами и реформаторами новых художественных школ – О. Розанова в Иваново-Вознесенске, А. Боева в Воронеже, Пензе и Екатеринбурге, Е. Субботина в Перми и т.д. Молниеносность процесса во многом была предопределена дореволюционной ситуацией, когда потребность в художественных кадрах предопределяла приход женщин в эти профессии, однако существовавшее неравенство не позволяло им делать полноценную академическую карьеру, либо удерживая в «низкостатусных» областях искусства (ДПИ, графике, керамических и текстильных производствах), либо затрудняя возможность подняться в профессии выше квалификации учительницы рисования. В результате, как только революция перевернула иерархию художественных специализаций, множество женщин-художниц мгновенно оказались на его передовых рубежах, как занимаясь педагогической работой, так и практически с нуля формируя наиболее востребованные художественные направления, впоследствии ставшие советским дизайном. Педагогами СГХМ были такие крупные художницы советского авангарда, как В. Степанова, Л. Попова (Москва), А. Софронова (Тверь), А. Платунова (Казань) и др.

Революция меняет не только специфику художественного заказа, но и тип заказчика. Многочисленные частные заказчики уходят в прошлое, промышленность в условиях гражданской войны зачастую стоит, и одним из крупнейших заказчиков художественных работ становится Красная армия. Художники мобилизуются на фронты Гражданской войны зачастую не для участия в боевых действиях, а для работы по специальности. Армия в этот период занимается в том числе и агитационным оформлением городских и сельских торжеств по случаю всевозможных революционных годовщин и праздников, и росписью агитпоездов, и театральными постановками (как традиционными, так и новаторскими, включавшими, например, импровизационный театр с вовлечением сельской публики в общее действо), не говоря уже о рисовании лозунгов и оформлении красноармейских

клубов. Так, художник А. Синицын вспоминал о мобилизации в Красную армию художников Саратовских СГХМ (бывшего Боголюбовского училища): «В 1919 г. многие из учащихся Боголюбовки (в том числе и я) были призваны в ряды Красной армии и нам (как молодым специалистам) поручали исполнять разные оформительские работы... Николай Загреков, Яков Земцов, Михаил Аринин, Александр Софьин и другие... как мобилизованные работали по росписи клубов (армейских и других). Помню, целая бригада боголюбовцев расписывала товарные вагоны... Много было сделано агитнадписей на стенах домов, на заборах. На доме (угол Б. Казачьей и Вольской) по сей день сохранилась надпись тех далёких лет: «Идя навстречу светлой дали, / Неся в груди огонь живой, / Под звон гудка и грохот стали / Вперёд к победе мировой»».¹⁴

Нередко перемещение вместе с частями Красной армии обеспечивало циркуляцию художественных кадров между регионами и коренным образом меняло расклад художественных сил в городах. Так, ученик скульптурной мастерской УЖВЗ Ефим Равдель, мобилизованный в армию, с началом Гражданской войны оказывается в Пензе, где после оформления ряда постановок в местном красноармейском театре выдвигается в региональные органы управления искусством, устанавливает первый памятник Марксу (из глины и гипса) и возглавляет реформу Пензенского художественного училища в свободные мастерские, шокируя местных художников авангардными методами преподавания.¹⁵ В частности, педагог Пензенской художественной школы И. Горюшкин-Сорокопудов вспоминал о нем: «Были например такие чудачества: связывали разные предметы из предметов обихода, на веревке подвешивали к потолку, и кто-нибудь раскачивал эту связку, а ученики должны были рисовать. Это называлось: «Натюр-Морт» в динамике».¹⁶ Равдель стал уполномоченным Пензенских СГХМ, а затем, в 1920 г., первым ректором Московского ВХУТЕМАСа.

Создание Московского ВХУТЕМАСа и предшествовавшая ему Конференция учащихся и учащихся СГХМ запустили процесс преобразования региональных свободных мастерских в школы более традиционного типа с делением на курсы и факультеты и, зачастую, статусом высших школ, так решительно отвергнутым в 1918 году. К 1922 г. – времени централизации страны и создания СССР – большинство из них утрачивают производственно-романтическую цеховую составляющую и становятся художественно-педагогическими техникумами. Дольше всего – до 1927 г. – название мастерских со-

хранял Московский ВХУТЕМАС, под этим именем завоевавший признание на международных выставках как выдающаяся советская школа дизайна.

Таким образом, мы можем утверждать, что, несмотря на краткость периода существования СГХМ, их создание позволило в условиях Гражданской войны и военного коммунизма сохранить, а зачастую и развить почти до столичных масштабов крупные художественные центры в регионах. Решающую роль в этом процессе играла инициатива снизу, при этом Наркомпрос выполнял роль координационного центра региональных проектов. Новые запросы к искусству и обеспечение доступности художественного образования для учеников без многолетней академической подготовки позволили создать во ВХУТЕМАСе школу дизайна мирового уровня.

Примечания

¹ С.О. ХАН-МАГОМЕДОВ, *ВХУТЕМАС. Книга первая* (Москва: «Издательство Ладья», 1995), 24.

² Д.П. ШТЕРЕНБЕРГ, «Отчет о деятельности Отдела Изобразительных искусств Наркомпроса», *Изобразительное искусство* 1 (1919), 52.

³ Государственный архив РФ. Ф. 2306. Оп. 23. Д. 5. Л. 1-1об.

⁴ Государственный архив РФ. Ф. 2306. Оп. 26. Д.21. Л. 3-6.

⁵ А.О. НИКИТИН, «Судьба утопии: Рязанские государственные свободные художественные мастерские в 1919–1920 гг.», *Рязанская старина, 2004–2005*, вып. 2-3, сост. А.О. НИКИТИН, П.А. ТРИБУНСКИЙ (Рязань: Край, 2006), 136-215. – <http://www.p-porfir.ru/doc/rhu2.pdf> (март, 2018).

⁶ ХАН-МАГОМЕДОВ, *ВХУТЕМАС*, 25.

⁷ Г.В. МАЛЯСОВА, «Свободные государственные художественно-промышленные мастерские – попытка построения новой системы художественного образования в России (1918 – нач. 1920-х гг.)», *Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс. Тенденции научных исследований, проблемы терминологии, исторические и междисциплинарные аспекты развития дизайна, декоративно-прикладного и народного искусства и архитектуры, опыт художественно-промышленных школ. Материалы Междунар. науч. Конференции к 190-летию МГХПА им. С.Г. Строганова и к 100-летию П.А. Тельтевского, 20 марта 2015 г.*, ред. А.Н. ЛАВРЕНТЬЕВ (Москва: МГХПА, 2015), 51-56.

⁸ Г.В. МАЛЯСОВА, «Свободное художественное образование послереволюционной Украины: опыт реформы по материалам ГАРФ (1918–1921)», *Вісник ХДАДМ, Харьков* 9–10 (2015), 73-74.

⁹ ШТЕРЕНБЕРГ, «Отчет о деятельности Отдела Изобразительных искусств Наркомпроса», 56-57.

¹⁰ ШТЕРЕНБЕРГ, «Отчет о деятельности Отдела Изобразительных искусств Наркомпроса», 55.

¹¹ В.С. ДМИТРИЕВ, «Первый итог», *Искусство Коммуны* № 15 (16 марта 1919 г.). <http://www.elena-olshanskaya.ru/page.php?p=6> (март, 2018).

¹² О.М. БРИК, «Художник и Коммуна», *Изобразительное искусство* № 1 (1919), 25-26.

¹³ Г. В. МАЛЯСОВА, «Идеи производственного искусства в свободном художественном образовании: проект Б.В. Лаврова по реорганизации Тамбовских СГХМ. 1919 г.», *Дом Бурганова. Пространство культуры: научно-аналитический журнал* № 1 (2016), 39-41.

¹⁴ Е.И. ВОДНОС, *Очерки художественной жизни Саратова эпохи «культурного взрыва». 1918–1932* (Саратов: СГХМ им. А.Н. Радищева, 2006), 52.

¹⁵ Д.Н. ДИМАКОВ, «Равдель Е.В. – революционер и художник. Биографический очерк», *Реабилитация жилого пространства горожанина. Материалы IX Международной научно-практ. конференции им. В. Татлина, 19–20 февраля 2013 года* (Пенза: ПГУАС, 2013), 356-360.

¹⁶ И.С. ГОРЮШКИН-СОРОКОПУДОВ, *Мои грустные воспоминания революционного периода в Пензенском художественном училище.* – http://art-penza.ru/houme/162_gorushkin.html (март, 2018).

ROLAND GÁSPÁR

Революционная власть и водка в 1917 году

На дворе 1917 год. Февральские события положили конец власти царя, и в стране, летящей в пропасть, возникло двоевластие. С одной стороны, активизировались меньшевики и эсеры и образовали Совет рабочих и солдатских депутатов (Петроградский Совет, или сокращенно Петросовет), с другой стороны, было создано Временное правительство во главе с князем Г.Е. Львовым. Сформированный во время отречения от престола Николая II Петроградский Совет с самого начала жестко выступил против пьянства во избежание хаоса и беспредела. 16 мая Исполнительный комитет Петроградского Совета в газете «Известия» опубликовал манифест *«Всем гражданам России»*. В этом манифесте говорилось, что алкоголизм – благодатная почва для контрреволюции.¹

Временное правительство оказалось неспособным навести порядок. Оно не могло закрепить свою власть, ведь не вышло из войны и не решило земельный вопрос. Это оказалось роковой исторической ошибкой, исправить которую уже не было возможности и, что еще важнее, времени. Таким образом, все попытки кратковременно и бессильного Временного Правительства, направленные на установление порядка, были тщетными, ибо по словам исследователей данной темы, Курукина и Никулина, на большей части территории страны царило безвластие:

...весной 1917 года весь государственный аппарат империи развалился. Если в центре существовало двоевластие в лице Временного правительства и Советов, то в провинции царило «многовластие» при отсутствии какой-либо правовой системы.²

Нападения на хранилища алкоголя начались уже летом 1917 года несмотря на то, что МВД еще в августе 1916 года издало приказ *«о порядке уничтожения, по чрезвычайным обстоятельствам, спирта, вина и других крепких напитков»*.³ Согласно этому приказу любой алкоголь надо было вылить в канализационные трубы и сточную канаву, или – если обстоятельства позволяли – сжечь в специальных ямах. Выполнение подобных задач, как правило, назначали на ночное время, чтобы избежать присутствия большого количества людей. Акцию осуществляли в основном женщины, потому что считалось, что мужчины неохотно пошли бы на этот шаг и все это вылилось бы в поголовное пьянство. Сложно представить, что в тотальном хаосе подобные приказы были с должной эффективностью приведены в исполнение. В деле по уничтожению запасов алкоголя не удалось добиться ощутимых результатов, попытки предотвратить нападения на эти запасы также оказались безуспешными.

25 октября 1917 года вспыхнул *«большевистский переворот»*. В.А. Антонов-Овсяенко от имени Военно-революционного комитета провозгласил советскую власть.⁴ Это событие окончательно решило судьбу Временного Правительства. Передача власти большевиками произошла почти бескровно и достаточно быстро. Это также доказывает то, что к этому времени поле деятельности Временного Правительства сильно сузилось. Красная Гвардия и революционные отряды оккупировали главные пункты и здания Петрограда, а также Зимний Дворец.

Самый главный рассматриваемый мною вопрос заключается в том, как пришедшие к власти большевики относились к вопросу алкоголя, насколько они понимали его важность и как реагировали на сложившуюся ситуацию. Погромы были спонтанными событиями или же их стоит рассматривать как провокацию для поддержания хаоса?

До нас дошло немало документов, свидетельствующих о многочисленных алкогольных погромах во время беспорядков, прокатившихся по всей стране. Разного рода нарушения законов, злоупотребления властью, пьяные мятежи стали повседневными явлениями и нередко касались целых военных отрядов. Беспорядки имели и жертвы. В ходе аварий погибали люди. Воспоминания гимназиста из города Острогжск Воронежской губернии очень наглядно показывают трагические последствия грабежа:

Пили из ведер, из солдатских котелков и просто перегнувшись через край огромного чана, пили тут же у бочек, пили во дворе,

усевшись у стенок подвала. К заводу бежали со всех сторон всякие проходимцы. Теснота и давка в подвале нарастала с каждой минутой. Солдаты, чтобы не лазить по гладким и скользким стенкам чанов и не черпать водку, перегибаясь через стенки, просто простреливали чаны из винтовок. Струйки водки лились прямо в котелки. Вскоре в подвале ходили по пояс в водке. Кто падал, больше уже не вставал – тонул в ней. Тут же возникали драки пьяных из-за мест у бочек и чанов, из-за прохода в подвалы. Все кончилось чрезвычайно печально. То ли кто-нибудь, выпив, решил закурить в подвале и бросил горящую спичку, то ли кто-то зажег спичку, чтобы найти упавшего товарища, но вдруг в подвале вспыхнул пожар, который моментально охватил все помещение. Началась страшная паника. Все ринулись к выходам. Образовались пробки. Люди с громкими воплями выскакивали из подвалов и с воем катались по земле, стараясь потушить свою горящую одежду.⁵

Такие и подобные случаи имели место во многих местах по всей стране.

Перед большевиками стоял ряд важных вопросов. Самые важные из них – это выход из войны, решение земельного вопроса, введение 8-часового рабочего дня. Без решения этих вопросов невозможно было закрепить свою власть и восстановить порядок. Между тем большевики осознавали, что нельзя недооценивать многочисленные нападения на алкогольные склады и ни в коем случае не стоит пренебрегать этим явлением, поэтому с самого начала прихода к власти они уделяли «вопросу о водке» должное внимание. События требовали быстрых и решительных мер, ведь беспорядки, длившиеся несколько месяцев, не только не стихли, но, наоборот, усилились. На улицах царил анархия. В дни эйфории революции новое ощущение свободы сопровождалось безудержным пьянством и разгулом инстинктов.

По указу Военно-революционного Совета уже 25 октября закрыли залежи алкоголя, а на другой день издали указ об его уничтожении.⁶ В Москве спустя пару дней после революции, 29 октября, Замоскворецкий военно-революционный комитет, реагируя на события, издал следующее предписание⁷:

Замоскворецкий военно-революционный комитет объявляет, что будут подавляться самыми беспощадными мерами:

1. продажа водки,
2. погромы,
3. стрельба из домов,
4. черносотенная агитация.

Все нарушители порядка, все появляющиеся в нетрезвом виде, все чинящие насилие и грабежи – враги народа и революции, и с ними будет потуплено со всею строгостью революционного времени.

Ношение и хранение оружия допускается только с разрешения Военно-революционного комитета.⁸

Трудно сказать с полной уверенностью, кто именно стоял за этими беспорядками, но все-таки можно предположить, что речь шла не только и не столько о спонтанном появлении недовольных масс, а скорее всего об организованной провокации, за которой стояли враги и конкуренты новой власти. В первую очередь те группы людей, которые хотели хотя бы частичную реставрацию царского режима. Такой группой была партия кадетов. В своей книге Курюкин и Никулин пришли к этому же выводу.⁹ У нас есть все основания считать, что кадеты, хотя и не были зачинщиками местных мятежей, были заинтересованы в том, чтобы усиливать и поддерживать их. Однако реконструкция тогдашних событий задача не из легких, потому что подобные погромы в исторических документах либо плохо освещаются, либо не упоминаются вовсе, но одно очевидно: они были выгодны контрреволюционным силам, ведь они мешали новой власти установить порядок и закрепить свою власть. Есть мнение, что это кадеты ответственны за погромы против складов алкоголя. Ульянова разделяет именно такое мнение: «*В Петрограде организатором беспорядков явилась кадетская партия*».¹⁰

Ульянова ссылается на Ленина, который в декабре 1917 года виновником всех подобных и все усиливающих погромов назвал буржуазию, то есть, по сути, сторонников старого строя:

Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их с целью погромов.¹¹

Мишенью погромщиков стали водочные фабрики и склады:

Советской власти с первых же дней ее существования пришлось столкнуться с проблемами, оставленными прежним режимом. На какое-то время одной из главных стал алкоголь, огромные запасы которого были сосредоточены на складах и прочих хранилищах в столице. В ноябре 1917 г. эта бомба взорвалась: под лозунгом «Допьем романовские остатки!» в Петрограде начался разгром винных складов.¹²

На складах столицы хранились огромные запасы алкоголя, в основном для промышленных целей. Они не особо охранялись, так

что могли служить отличной мишенью. По мнению Ульяновой, за нападениями стояли располагающие финансовыми ресурсами преступные организации: «Для подготовки винных погромов была создана преступная организация, которая располагала крупными денежными средствами». ¹³ Курукин и Никулин в то же время отмечают, что «алкогольные погромы» вспыхнули не обязательно как результат контрреволюционной деятельности. Они больше напоминали спонтанные действия. Об этом свидетельствует тот факт, что погромы начались уже летом 1917 года. На самом деле погромы начались сразу же после того, как центральная власть рухнула, и, таким образом, не было непосредственной связи между ними и приходом к власти большевиков:

С падением «старого режима» и ликвидацией дееспособной власти представители новой силы, прежде всего солдаты, поняли наступившую свободу как возможность вволю попить-погулять. В этом желании не было ничего принципиально «контрреволюционного» – погромы винных складов и заводов начались не с приходом к власти большевиков, а еще летом 1917 года. ¹⁴

Н.И. Подвойский, начальник Петроградского Военно-Революционного Комитета наглядно описывает ситуацию, сложившуюся на улицах:

Город оказался беззащитной добычей погромного элемента, хулиганья, погромной агитации и ножевых расправ. Это была мутная вода, в которой контрреволюции легко было удить рыбку и пачкать грязью лицо революции. ¹⁵

В начале большевистское руководство тоже с трудом справлялось с беспорядками. Революция разразилась на руинах царизма, но после этого они должны были что-то сделать с недовольной массой людей и экстремистскими группировками. К концу ноября ситуация стала невыносимой. По всей стране прокатилась волна алкогольных погромов, которые нередко сопровождалась антисоветской агитацией. 23 ноября ограбили винные погреба и склады Зимнего дворца. Реагируя на это, Петроградский Совет на другой же день издал манифест под названием «*Ко всему населению Петрограда*». В этом манифесте все, кто выступает против советской власти и принимает участие в винных погромах, считаются врагами и самым строгим образом караются законом. Цитирую от Токарева:

Не дадим, товарищи рабочие и солдаты, запятнать нашу революционную честь и нарушить наше революционное братство вин-

ными погромами и бесчинствами! Не поддадимся новой провокации контрреволюционеров, пытающихся утопить в вине и крови завоевания Октябрьской революции. Дадим решительный и беспощадный отпор контрреволюционным ордам погромщиков. Пусть знают все, что тот, кто будет уличен или замечен в организации или учинении погромов, будет считаться врагом народа и испытает всю силу и непоколебимость революционной воли петроградских рабочих и солдат.¹⁶

Власть ставила во главу угла борьбу с виновными погромами. По этому спустя нескольких дней после публикации приказа, 28 ноября вышел в свет «приказ Военно-революционного комитета № 514»¹⁷ со следующим содержанием:

1. Впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких алкогольных напитков.
2. Предписывается всем владельцам спиртовых и винных складов, всем фабрикантам алкоголя и алкогольных напитков не позже 27-го с. м. довести до сведения о точном местонахождении склада.
3. Виновные в неисполнении приказа будут преданы военно-революционному суду.¹⁸

Ленин самым радикальным способом пытался решить этот вопрос, и большевистское руководство поддерживало это стремление. Они хотели восстановить порядок как можно скорее и для этого необходимо было принимать решительные меры. Петросовет назначил чрезвычайного комиссара Г.И. Благоднарова на пост руководителя города. Его должны были поддержать и все районные военные советы, а также отряды Красной Гвардии.¹⁹ Военно-революционный комитет 2 декабря издал новое «воззвание под номером 531»²⁰:

ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ И ГРАЖДАНЕ!

Военно-революционный комитет и народные комиссары принимают все меры к тому, чтобы уничтожить пьянство. Вина в Петрограде не будет. Те из вас, кто верит в народное правительство и хочет помочь ему поддержать порядок среди трудящихся, не должны:

1. Останавливаться около предполагаемых или известных мест хранилищ вина.
2. Покупать, брать и хранить вино. Те граждане, которые нарушат эти указания, – наши враги, и с ними будут поступать по всей строгости революционных законов.²¹

По указу Петросовета 4 декабря был создан Чрезвычайный Комитет, целью которого была борьба против погромов. В создании этого комитета принимал участие лично Ленин. Партия большевиков обратилась к своему петроградскому комитету с просьбой дать 100 надежных кадров для создания организации.²² Вышеупомянутый Благонравов возглавил созданный Комитет по борьбе с погромами. Задача комитета была вести ожесточенную борьбу против «пьяных погромов». Комитет получил широкий круг полномочий, они имели право уничтожать алкогольные склады и могли арестовать участников и организаторов этих погромов.

Несколькими днями позднее, 6 декабря Петросовет вновь обратился к населению Петрограда с выступлением следующего содержания²³:

**КО ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ ПЕТРОГРАДА!
ГРАЖДАНЕ! ТОВАРИЩИ!**

Тёмные силы вас подстерегают. Они вызвали мятежи генералов Каледина, Корнилова и других, чтобы затопить в крови народную революцию. Одновременно эти тёмные силы пытаются создать анархию и беспорядки в стране и особенно в красном Петрограде. Они толкают бессознательных и слабых людей на пьянство и погромы.

Всякий, кто в нынешний тревожный момент устраивает беспорядки или способствует им, есть враг революции и русского народа. Все сознательные люди обязаны всеми мерами прекращать анархию и содействовать восстановлению революционного порядка.

Не прикасайтесь к вину: это яд для нашей свободы! Не допускайте разгромов и эксцессов: это смерть для русской революции!..²⁴

В этот же день петроградский Чрезвычайный комитет объявил военное положение. Это позволило ему принять очень жесткие меры. Вокруг складов установили пулеметы, чтобы предотвратить попытки грабежа, стрелять можно было без предупреждения.²⁵ Благодаря этим мерам к началу декабря властям удалось ликвидировать погромы. Значительную роль в этом сыграли революционно настроенные толпы людей, которые оказывали помощь в восстановлении порядка и в поиске виновных. Борьба пролетариата за установление порядка, новые организационные структуры и накопившийся опыт сыграли свою роль в строительстве нового молодого социалистического государства.²⁶

Постепенно руководство большевиков достаточно суровыми методами, но за короткое время совладало с погромами складов спиртных напитков. Нельзя сказать однозначно, какую именно роль играли контрреволюционные силы в организации пьяных погромов. Но Ленин и руководство большевиков утверждали, что царь и буржуазия спаивали народ, поэтому они намеренно сформировали представление о том, что вспышка погромов складов спиртных напитков была результатом подрывной деятельности сторонников старого строя.

Новая власть в начале декабря 1917 года заключила перемирие с Центральными державами. 22 декабря начались мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако заключение мира не означало осуществление стремления к миру. Последовали тяжелые годы гражданской войны и военного коммунизма, которые принесли с собой полную национализацию спиртовой промышленности.

Примечания

¹ KRAUSZ TAMÁS, *A cártól a komisszárokig – Az 1917-es forradalmak történetéből* (Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1987), 154.

² И. КУРУКИН, Е. НИКУЛИНА, *Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина* (Москва: Молодая гвардия, 2007), 372.

³ КУРУКИН, НИКУЛИНА, *Повседневная жизнь русского кабака*, 372.

⁴ FONT MÁRTA, KRAUSZ TAMÁS, NIEDERHAUSER EMIL, SZVÁK GYULA, *Oroszország története* (Budapest: Pannonica Kiadó, Budapest, 2001), 456.

⁵ С.М. КРИВОШЕИН, *Сквозь бури* (Москва: Молодая гвардия, 1959), 31.

⁶ С.Б. УЛЬЯНОВА, «Из истории борьбы с винными погромами в Петрограде в первые месяцы советской власти», *Народная борьба за трезвость в русской истории* (Ленинград: «БАН», 1989), 34.

⁷ «Предписание замоскворецкого военно-революционного комитета, 29 октября 1917 года».

⁸ «Документ № 20», *Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии (1917–1921 гг.) Сборник документов*, сост. А.К. ГОНЧАРОВ, И.А. ДОРОШЕНКО, М.А. КОЗИЧЕВ, Н.Н. ПАВЛОВИЧ (Москва: «Госполитиздат», 1958), 23.

⁹ И. КУРУКИН, Е. НИКУЛИНА, «Государево кабацкое дело» *Очерки питейной политики и традиций в России* (Москва: «АСТ», 2005), 235.

¹⁰ УЛЬЯНОВА, «Из истории борьбы с винными погромами в Петрограде», 32.

¹¹ В.И. ЛЕНИН, *Полное собрание сочинений*. Том 35 (Москва: Издательство политической литературы, 1974), 156.

¹² Курукин, Никулина, «Государево кабацкое дело», 235.

¹³ Ульянова, «Из истории борьбы с винными погромами в Петрограде», 33.

¹⁴ Курукин, Никулина, *Повседневная жизнь русского кабака*, 373.

¹⁵ Ю.С. ТОКАРЕВ, «Петроградские рабочие в борьбе за установление и охрану революционного порядка (август – декабрь 1917 г.)», *Рабочие Ленинграда в борьбе за победу социализма* (Москва – Ленинград: Труды ЛОИИ, 1963), 39.

¹⁶ ТОКАРЕВ, «Петроградские рабочие в борьбе», 54.

¹⁷ «514. Приказ Военно-революционного комитета, 28 ноября 1917 года».

¹⁸ «Документ № 514», *Документы великой пролетарской революции*, том 1, *Из протоколов и переписки Военно-революционного комитета Петроградского совета*, сост. Е.Н. ГОРОДЕЦКИЙ, И.М. РАЗГОН (Москва: ОГИЗ, 1938), 313.

¹⁹ ТОКАРЕВ, «Петроградские рабочие в борьбе», 54.

²⁰ «531. Воззвание Военно-революционного комитета, 2 декабря 1917 года».

²¹ «Документ № 531», *Документы великой пролетарской революции*, сост. ГОРОДЕЦКИЙ, РАЗГОН, 321.

²² В.И. ЛЕНИН, *Полное собрание сочинений*, том 50 (Москва: Издательство политической литературы, 1970), 17.

²³ «Обращение Петроградского Совета ко всему населению Петрограда с призывом единодушно выступить на борьбу за восстановление революционного порядка, 6 декабря 1917 г.».

²⁴ «Документ № 67», *Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии*, сост. ГОНЧАРОВ, ДОРОШЕНКО, КОЗИЧЕВ, ПАВЛОВИЧ, 73.

²⁵ Ульянова, «Из истории борьбы с винными погромами в Петрограде», 36.

²⁶ ТОКАРЕВ, «Петроградские рабочие в борьбе», 61.

М.С. ПЕТРОВА

Журнал «Символ» как способ установления кросскультурного диалога в христианской традиции советской и постсоветской эпохи

Российской интеллигенции хорошо известен журнал «Символ», ставший ярким примером установления диалога между православной и католической традициями в советское время. Действительно, для русскоязычных читателей той эпохи журнал был символом – знаком, олицетворяющим культуру. В настоящей статье речь пойдет не столько о самом журнале, сколько о его корнях, становлении и истории.

Сам журнал – парижский. Он начал издаваться иезуитами (членами наиболее влиятельного в католической церкви монашеского ордена¹) в Медоне (пригород Парижа) – там, где после множества трудностей, сменив несколько мест хранения, обрела постоянное место Славянская библиотека,² основную часть фондов которой составили личные книги и документы князя Ивана Сергеевича Гагарина (1814–1882).³ Там же, в Медоне, функционировал интернат св. Георгия («Сен Жорж»), основанный иезуитами в 1921 году для воспитания русских мальчиков.⁴

По этой причине история журнала «Символ» неразрывно связана со Славянской библиотекой, поскольку изначально она представляла собой не только хранилище книг, но и некий научно-исследовательский центр, занимавшийся изучением православия и славянской культуры. Объединенные фонды Славянской библиотеки и библиотеки интерната стали источником информации для мис-

сионерских изданий – бюллетеня «Пламя» и журнала «Символ». Приступая к изданию последнего, Славянская библиотека стремилась продолжить дело, начатое ее основателем – И.С. Гагариным, ставшего иезуитом (1843) и страстно желавшего примирения Русской церкви со Святейшим престолом.⁵ Однако впоследствии «Общество Иисуса» расформировало за ненадобностью интернат, а Славянская библиотека лишилась своего места и в 2002 г. была перевезена на временное хранение в Лион.⁶

Иезуиты вместе с Александром Менем (1935–1990) и Михаилом Аксёновым-Меерсоном (р. 1944, ныне настоятель храма Христа Спасителя в Нью-Йорке) решили создать журнал, обращенный к российским христианам, который отвечал бы духовным запросам людей, просивших придать бльший резонанс их исследованиям и духовным поискам. С ними у членов малого редакционного коллектива, группировавшегося вокруг Славянской библиотеки, проходили «подпольные» встречи, существовала и личная переписка (№ XXX, с. 3-4) – нет нужды напоминать читателю о тех трудностях, которые выпали на долю христианских общин СССР, тех унижениях, преследованиях, арестах, помещениях в психиатрические лечебницы, что обрушились на миллионы людей России, Украины, Белоруссии и Литвы (XXX, с. 5). И, конечно, контакты между христианами Франции и России были налажены. Сами иезуиты приезжали в Россию; многие через них покидали Россию навсегда (№ XXX, с. 3-4).

В Советском Союзе духовная литература появлялась исключительно благодаря самиздату; каких-либо публикаций, удовлетворяющих интерес читателей к богословской мысли западного христианства и практической жизни христианских общин, не существовало.

Журнал «Символ» был создан в 1979 г. и выходил два раза в год. Его редакционную коллегию составили⁷ кардинал Анри де Любак (Общество Иисуса), о. Ив Конгар (Доминиканский орден), Сергей Аверинцев, В.В. Иванов, А. Валицкий (Нотр-Дам, США), Н. Рязановский (Беркли, США), А.М. Мосин (гл. редактор, Париж), М. Арранц (Рим), Рене Маришаль (директор Славянской библиотеки, Париж), А. Стерпен (отв. секретарь, Париж), Ф. Руло (Париж), Р. Темпест (редактор отдела архивных и литературных публикаций, Урбана, США). Самой редакцией вновь созданный журнал мыслился, с одной стороны, «...перекрестком; где две христианские традиции, две культуры, черпающие из одного источника, но долгие столетия шедшие параллельными путями, могли бы встречаться для того, чтобы постепенно осознать сущность своей взаимодополни-

тельности» (№ I, с. 39), с другой стороны, – «как некое пространство для диалога между представителями католической и православной традиций... но с учетом культурного измерения обеих сторон... вносящего различие в образы христианского бытия “по-западному” и “по-восточному” – элемента, ставшего скорее проявлением многообразного богатства общего христианского наследия, нежели фактором разрыва и разделения» (№ XXX, с. 4). Такому замыслу отвечали и рубрики журнала («Богословие», «Вера и наука», «Западная духовность», «Иезуиты», «Подвижничество», «Русская мысль», «Русские католики», «Святоотеческие писания», «Церковь», «Экуменизм», «Эсхатология» и др.), которые отражали мировоззрение ориентированных на диалог представителей обеих культурных традиций. Немалое место отводилось публикации архивных материалов⁸ и, в частности, изданию эпистолярного наследия, источников и документов, содержащихся в фондах Славянской библиотеки,⁹ а также материалам “Ad memotiam” и “Ad majorem Dei gloriam”.¹⁰ Собирая фонды, необходимые для издания «Символа», члены редакции обратились с просьбой к сотням людей во Франции, связанных с Медонским центром и Славянской библиотекой, с предложением подписаться на журнал вместо того или иного российского читателя, то есть, по сути, редакция попросила оплатить подписку на журнал, получать который они не будут...¹¹ Эта страница истории «Символа» свидетельствует о силе превосходящей конфессиональные перегородки христианской солидарности, в лоне которой родился журнал (№ XXX, с. 5-6).

Для российского читателя появление «Символа» было значительным событием: в журнале публиковались не только недоступные в России труды по истории церкви и монашества русских религиозных философов и медиевистов [Л.П. Карсавин,¹² П.А. Флоренский,¹³ Н.А. Бердяев,¹⁴ Вл.С. Соловьев¹⁵ и др.], но и переводы с французского на русский язык работ выдающихся французских ученых и богословов – Анри де Любака (1886–1991),¹⁶ Жана Даниэлу (1905–1974)¹⁷ и др.; перепечатывались ставшие недоступными в советское время дореволюционные комментированные переводы, выполненные П.А. Преображенским (1828–1893) – например, Иустина¹⁸ (ум. ок. 165 г.).

Номера журнала в советское время тотчас же становились библиографической редкостью. Их искали... добывали... бережно хранили, передавали из рук в руки... но, главное, ими пользовались.¹⁹ Журнал того времени представлял собой «некую живую реальность» – реальность, которая была создана самими людьми, мысль

которых изменялась и развивалась (XXVII, с. 3). Так продолжалось вплоть до перестройки.

Nil permanent sub sole. Так было и с «Символом». С появлением в постперестроечной России изобилия духовной литературы и публикаций собраний сочинений многих русских христианских мыслителей (пусть зачастую на плохой бумаге, с почти неразличимым текстом и рассыпающимися в руках), журнал отчасти «потерялся»; у редакции складывалось впечатление, что он перестает быть нужным читателю. Но были и радости: в России, в СНГ²⁰ журнал стал распространяться свободно, по подписке; его можно было купить в Москве; о появлении новых номеров стали сообщать средства массовой информации.²¹ Кроме того, за годы существования журнала между редакцией и читателями установились достаточно прочные связи, превратившиеся из узких «тропинок» в широкие пути. Об этом говорили письма, приходившие в редакцию – иногда из тех мест, куда журнал ранее никогда не поступал – свидетельствуя тем самым, что и в глубинке России, в ее провинциальных городах и селениях он достигал людей, которые ждали его (XXVII, с. 3).

Редколлегия все же пыталась «перестраиваться», продолжая работу как в постперестроечный период (1986–1991), так и после него. В журнале становилось все больше материалов, посвященных русской православной духовности,²² исследованию сущности понятия «христианская простота»;²³ появились переводные работы об идеологизированном обществе, лишаящем индивида права быть самим собой,²⁴ а также работы культурологического и историко-философского характера.²⁵ Как значительную публикацию того периода отметим появление третьей книги труда Я. Голосовкера «Имагинативный абсолют» («Абсолют воображения»), озаглавленную «Имагинативная эстетика»,²⁶ опубликованную в рубрике «Общественная и религиозная мысль».

Тем не менее, появлялись все новые трудности. Регулярность выхода журнала нарушилась. Складывалось впечатление, что редакция утратила понимание того, на какого читателя ориентирован журнал и для кого он предназначен. Так, была выпущена еще одна работа Я. Голосовкера – «Логика мифа» – исследование по фольклору и мифологии Востока; появился переизданный Майстер Экхарт.²⁷ Но эти выпуски журнала уже не находили своего читателя,²⁸ возможно, потому, что им он казался «явным анахронизмом».²⁹ Характерно и то, что вечер, посвященный 25-летию журнала, который редакции следовало бы отмечать в 2004 году, состоялся лишь в 2005 г.³⁰

Редколлегия «Символа» обратилась за помощью к Институту философии, теологии и истории св. Фомы, поскольку уже не могла своими силами изменить сложившуюся ситуацию. Таким образом, пятидесятый номер журнала,³¹ посвященный Игнатию Лойоле, вышел в конце 2006 г. не только в новом качестве, но и в другом редакционном составе – Николай Мухелишвили (гл. редактор), Анатолий Ахутин, Октавио Вилчес-Ландин, Ж-М. Глорье, Андрей Коваль, Рене Маришаль, Александр Мосин, Дмитрий Спивак, Сергей Хоружий, Николай Шабуров. Обновленный «Символ» был сразу же замечен³² читателями. Новому составу редакционной коллегии удалось продолжить дело, начатое еще 150 лет назад И.С. Гагариным, возобновить диалог западного и восточного богословия³³ и сохранить прежнюю академичность.³⁴

В целом, все исследования, опубликованные в первом номере обновленного «Символа», отражали новые подходы, основанные на самых разных методах ведения научного исследования, и в частности, методах психоанализа и структурализма. Затем последовали и другие тематические выпуски: пятьдесят первый выпуск был посвящен рейнской мистике – его ядро составили не только не публиковавшиеся ранее работы Генриха Сузо, но и новый, научный перевод Майстера Экхарта. Ключевой темой пятьдесят второго выпуска был исихазм; 53, 54,³⁵ 63 и 64³⁶ тома содержали в себе переписку и неизданные работы Вяч. Ив. Иванова.³⁷

Как представляется, члены новой редколлегии, продолжая традиционный диалог восточного и западного богословия, сделали «Символ» в большей степени научным и академичным, чем прежде. Тематически журнал стал охватывать не только область богословия (ранее основной темы), но и проблемы психологии, философии, интеллектуальной истории. Журнал сделался междисциплинарным в самом лучшем понимании этого слова. Философами, историками и религиоведами такие подходы не остались незамеченными и недооцененными, и всякий специалист, преподаватель, студент и просто образованный читатель непременно находил для себя что-то нужное, как для профессиональной деятельности, так и просто для души.

Журнал востребован и сегодня.³⁸ Так, один из его последующих (сдвоенных) выпусков содержит биографические материалы об архимандрите Серапионе (В.М. Машкине, 1854–1905) – ярком представителе русской философско-богословской мысли рубежа XIX–XX веков (№ 68–69). Среди его материалов – незаконченное произведение «Жизнь мыслителя» Павла Флоренского, считавшего себя учеником архимандрита Серапиона, чьей «исключительной честно-

стью мысли и внутренней свободой» он восхищался. По этой причине этот выпуск журнала является дополнением к предыдущей публикации «Системы философии» В.М. Машкина (№ 67).³⁹

Таким образом, уже на протяжении почти четырех десятилетий журнал «Символ», будучи изданием предоставляющим возможность для диалога между представителями католической и православной традиций, демонстрирует многообразное богатство общего христианского наследия, сохраняя его в наши дни.

Примечания

¹ Иезуиты – общество Иисуса (лат. *Societas Jesu*; официальное название), также Орден св. Игнатия (по имени основателя) – мужской духовный орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой и утверждённый Павлом III в 1540 г. Иезуиты принадлежат к числу регулярных клириков; они сыграли большую роль в контрреформации, активно занимались наукой, образованием и миссионерской деятельностью. Члены Общества Иисуса наряду с тремя традиционными обетами (бедности, послушания и целомудрия) дают и четвёртый – послушания папе римскому «в вопросах миссий». Девизом ордена является фраза *Ad maiorem Dei gloriam* («К вящей славе Божией»). Число иезуитов в настоящее время составляет 16 740 человек (данные 2015 г.), из них 11 978 – священники. Ок. 4 тыс. иезуитов в Азии, 3 тыс. – в США, а всего иезуиты ведут работу в 112 странах мира, они служат в 1540 приходах. Орден разрешает многим иезуитам вести светский образ жизни. В настоящее время главой (генералом) ордена является венесуэлец Артуро Соса (с 2016 г.). Главная курия ордена находится в Риме.

² О Славянской библиотеке см. Л. Ш[УР], «Из истории Славянской библиотеки», *Символ*, № XIV, 247-253. В настоящее время в Славянской библиотеке иезуитов с обширным архивом хранится ок. 50 тысяч книг, большей частью посвященных России, богатейшее собрание периодических изданий XIX в., а также еще не опубликованные архивы (в частности, с документами кн. И.С. Гагарина и письмами его корреспондентов: И.С. Аксакова, А.Н. Бахметьевой, А.И. Герцена, Ю.Ф. Самарина, П.В. Долгорукова, Н.И. Тургенева, А. Гакстхаузена, В.С. Печерина, С.П. Шевырева и других видных деятелей русской и западной культуры). См. Г.И. Любина, «Русская научная эмиграция XIX века в Париже: общий взгляд и уроки», *Вопросы истории естествознания и техники* № 2 (2002).

³ См.: ИВАН ГАГАРИН, *Дневник. Записки о моей жизни. Переписка*, сост., вступ. статья, пер. с фр. и коммент. Р. ТЕМПЕСТА (Москва: Языки рус. культуры, 1996), 7-48; Л. Ш[УР], «К биографии И.С. Гагарина», *Символ*, № XII, 200-203. Тридцать второй выпуск «Символа» полностью посвящен этому представителю русской и западной культуры, неизменно порождающий в России одновременно и резко критическое отношение, и глубокий интерес к его жизни и творчеству (XXXII: 3). См. также: А.А. КОЧЕТОВ, «Ненавязчивая пропаганда веры», *Независимая газета* (15 июня, 2005 г.). – http://religion.ng.ru/politic/2005-06-15/6_propaganda.htm (сентябрь, 2017).

⁴ В 1994–2000 гг. директором интерната был Рене Маришаль.

⁵ Этому вопросу посвящена работа И. Гагарина «О примирении Русской Церкви с Римскою» (Париж, 1856 г.). См. также Л. Ш[УР], «О книге И.С. Гагарина “О примирении Русской Церкви с Римскою”», *Символ*, № VIII: 197-202.

⁶ См.: А.А. КОЧЕТОВ. – http://religion.ng.ru/politic/2005-06-15/6_propaganda.html (сентябрь, 2017).

⁷ См.: *Символ*, № XXV: 2.

⁸ Мы укажем лишь на некоторые публикации: М. ГЕРШЕНЗОН, «Нагорная проповедь» (публ. В. ПРОСКУРИНОЙ), *Символ*, № XXVIII, 267-277; Р. ТЕМПЕСТ, «Два письма М. Жихарева», *Символ*, № XXX, 340-341; «Маркиз де Кюстин и его книга “La Russie en 1839” в неизданной переписке русских современников (А.И. Тургенев, Н.И. Тургенев, П.А. Вяземский)» (публ., вступит. ст., примеч. В.А. Мильчиной и А.Л. ОСПОВАТА), *Символ*, № XXIV, 255-281; «Неизданные письма И.С. Гагарина А.И. Тургеневу» (публ., вступит. ст., примеч. В.А. Мильчиной и А.Л. ОСПОВАТА), *Символ*, № XXII, 217-236. Полный перечень опубликованных работ (I–XXX) см.: «Тематический указатель», *Символ* № XXX, 345-356; «Содержание ‘Символа’ (I–XL)», сайт «Эсхатос». – <http://esxatos.com/simvol-zhurnal-1979-2002> (сентябрь, 2017). Полный комплект журнала имеется в библиотеке Иностранной литературы (Москва).

⁹ Немалое место в журнале было отведено публикациям об издательской деятельности основателя Славянской библиотеки князя И. Гагарина, его переписке с выдающимися представителями отечественной культуры, а также его неопубликованным материалам. См.: «И.С. Гагарин – издатель Ф.И. Тютчева и хранитель его литературного наследия (публ. Л. ШУР)», *Символ*, № XI, 197-229; «И.С. Гагарин – издатель ‘Философских писем’ П.Я. Чаадаева (публ. Л. ШУР)», *Символ*, № IX, 219-236; «Переписка И.С. Гагарина с Ю.Ф. Самариним», *Символ* № I, 167-174, *Там же*, № II: 164-181, *Там же*, № III: 157-166, *Там же*, № VII, 182-189; «Переписка И.С. Гагарина с П.В. Долгоруким (публ. Л. ШУР)», *Символ*, № XIII, 210-253; «Переписка И.С. Гагарина с И.В. Киреевским», *Символ*, № III, 167-174, *Там же*, № IV: 171-167, *Там же*, № V: 152-158; «Переписка И.С. Гагарина с Н.С. Лесковым», *Символ*, № XVII, 241-260; ГАГАРИН И.С., «Дневник (1834–1842)», *Символ*, № XXXIV, 229-322; Л. Ш[УР], «Из истории полемики И.С. Гагарина со славянофилами», *Символ*, № VII, 178-181; Л. Ш[УР], «Неопубликованная статья И.С. Гагарина ‘Наша цель’», *Символ*, № VIII, 247-251 и др.

¹⁰ Двадцать шестой выпуск «Символа», посвященный «личности и делу» (XXVI: 3-4) св. Игнатия Лойолы (1491–1521), основателя Ордена Иисуса (1537–1541), выпущен к 500-летию со дня его рождения. В нем (в соответствии с академическими нормами) опубликованы его наставительные сочинения («Духовные упражнения» [с. 15-121] в исправленном редакцией переводе С. Лихаревой [1933 г. Краков] [хотя не без имеющихся в раннем издании опечаток], предваряемые новой вводной статьей Э. Пуссе [с. 9-14]); «Выдержки из общего экзамена» (с. 129-133); жизнеописание Лойолы, составленное о. Перроа (с. 135-195), и работы о нем (Ф. Руло [с. 195-205], Ф. Фарузи [с. 207-211]). Обратим внимание читателя на то, что «Духовные упражнения» и «Духовный дневник» Игнатия Лойолы в новом русском переводе были опубликованы Институтом философии, теологии и истории св. Фомы (2006 г.) в виде отдельного издания, включающего в себя Автограф св. Игнатия на старо-испанском языке теологии. См.: ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА, *Рассказ паломника о своей жизни. Автобиография св. Игнатия Лойолы, основателя Общества Иисуса* (с илл. – 47 гравюр П.-П. Рубенса).

¹¹ В обмен на это по выходе в свет очередного номера «Символа» редакционный коллектив направлял таким «подписчикам» письмо, в котором давались сведения о содержании журнала и текущей ситуации верующих в СССР. Многие из тех, кто подписался на первые номера журнала, продолжали оплачивать «свою» подписку вплоть до Перестройки (№ XXX, с. 5-6).

¹² См.: Л. КАРСАВИН, «Монашество в Средние века», *Символ*, № XXV, 39-156; Л. КАРСАВИН, «О началах», (гл. 5-9), *Символ*, № XXXI, 177-350; Л. КАРСАВИН, «Проблема учения об ангелах (ангелология)», *Символ*, № XXXI, 357-365; Л. КАРСАВИН, «Святой Августин и наша эпоха», *Символ*, № XXVIII, 233-241. Публикация работ Л.П. Карсавина (как яркого представителя восточной традиции) великолепно демонстрирует тот диалог культур, существование которого стремилась показать редакционная коллегия журнала (XXXI, с. 3).

¹³ См.: П. ФЛОРЕНСКИЙ, «Философия культа (неопубликованные фрагменты)», *Символ*, № XXVI: 215-226; П. ФЛОРЕНСКИЙ, «Записка о Православии», *Символ*, № XXI, 91-98; П. ФЛОРЕНСКИЙ, «О суеверии», *Символ*, № XX, 241-267; П. ФЛОРЕНСКИЙ, «Общечеловеческие корни идеализма», *Символ* № XI, 171-193; П. ФЛОРЕНСКИЙ, «Около Хомякова», *Символ*, № XVI, 141-226; П. ФЛОРЕНСКИЙ, «У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики) (часть вторая)», *Символ*, № XXVIII, 125-216; П. ФЛОРЕНСКИЙ, «Христианство и культура», *Символ*, № XXI, 69-83.

¹⁴ См.: Н. БЕРДЯЕВ, «Идеи и жизнь (А.С. Хомяков и свящ. П.А. Флоренский)», *Символ*, № XVI, 227-236.

¹⁵ См.: Вл. СОЛОВЬЕВ, «Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о соединении Церквей», *Символ*, № XIV, 175-232.

¹⁶ См.: А. ДЕ ЛЮБАК, «Тайна Церкви», *Символ*, № III, 43-67.

¹⁷ См.: Ж. ДАНИЭЛУ, «Бог и мы», *Символ*, № XI, 7-155; Ж. ДАНИЭЛУ, «Истоки латинского христианства», *Символ*, № XXXI, 7-92; Ж. ДАНИЭЛУ, «Христос – центр истории», *Символ* № X, 9-23; Ж. ДАНИЭЛУ, «Христианское понимание истории», *Символ*, № XVI, 33-48; Ж. ДАНИЭЛУ, «Эсхатологические чаяния», *Символ*, № XVI, 49-56; Ж. ДАНИЭЛУ, «Богословие иудеохристианства», *Символ*, № IX, 15-32; Ж. ДАНИЭЛУ, «Израиль по замыслу Бога», *Символ*, № IX, 46-60. Редакция, публикуя работы Жана Даниэлу, позиционировала их автора как представителя западной традиции, труды которого оказали наибольшее влияние в Католической Церкви середины XX века и по сей день не утратили своей актуальности. В частности, исследование Ж. Даниэлу «Истоки латинского христианства» посвящено анализу основных памятников латинской раннехристианской литературы, раскрывается конвергенция характерных для той эпохи различных тенденций и подходов – конвергенция, которая порождает богатство вселенской религии, поскольку она укоренена во всех человеческих культурах (XXXI, с. 3-4).

¹⁸ См.: ИУСТИН МУЧЕНИК, «Послание к Диогнету», *Символ*, № IX, 137-145; ИУСТИН МУЧЕНИК, «Речь к эллинам», *Символ*, № X, 165-169; ИУСТИН МУЧЕНИК, «Увещание к эллинам», *Символ*, № X, 174-204; ИУСТИН МУЧЕНИК, «О единовластительстве».

¹⁹ Во время встреч членов редакции с лицами, ответственными за учебный процесс в церковных учебных заведениях, или через письма их учащихся и преподавателей, приходящих на адрес Славянской библиотеки, были сообщения о том, что благодаря тем или иным томам «Символа» они получили доступ к материалам, необходимым для их обучения или преподавания – для членов редколлегии журнала это являлось свидетельством о качестве проводимой работы (№ XXX, с. 5).

²⁰ С 1991 г. читателям не только России, но и СНГ на журнал можно было подписаться в московском представительстве.

²¹ Так, в литературном журнале «Новый мир» (№ 1, 1994) появилась статья, посвященная обзору содержания двух (уже «перестроечных») выпусков «Символа» (№№ XXVII и XXVIII), в заключении которой была помещена информация о возможности оформления подписки на «Символ» (см.: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/1/knzarub.html [сентябрь, 2017]).

²² Например, большая часть материалов XXVII выпуска «Символа» посвящена именно этой теме. В нем опубликованы хорошо известные западной читающей публике и переведенные на множество иностранных языков «Рассказы странника» арх. Михаила (Козлова) ([с. 7-75], с приложением «Рассказы пятого, шестого и седьмого» [с. 79-135]), раскрывающие глубину русской православной духовности, и сопровождаемые статьями А. Пентковского и И. Басина. См.: А. ПЕНТКОВСКИЙ, «От 'Искателя непрестанной молитвы' до 'Откровенных рассказов странника' (К вопросу об истории текста)», *Символ*, № XXVII, 137-166; И. БАСИН, «Авторство 'Откровенных рассказов странника'», *Символ*, № XXVII, 167-190. Также большую часть XXXV выпуска занимает переведенное на русский язык сочинение Лоренцо Скупольи «Брань духовная, или Наука о совершенной победе самого себя», вышедшее впервые в 1787 г. в Москве, которое стало одним из главных «духовных руководств восточных иноков» (прежде всего на Афоне) (XXXV, с. 3). Оно сопровождается обстоятельной вступительной статьей А. Мосина (с. 7-12).

²³ См.: Г.-У. фон Бальтазар, «О простоте христиан», *Символ*, № XXIX, 7-69.

²⁴ См.: П. Тиллих, «Мужество быть», пер. с англ. О. СЕДАКОВОЙ, *Символ*, № XXVIII, 7-119.

²⁵ Например см. работы А.Ф. Лосева, опубликованные в разных выпусках «Символа» – А.Ф.ЛОСЕВ, «Первозданная сущность», *Символ*, № XXVII, 255-281; А.Ф.ЛОСЕВ, «Миф – развернутое магическое имя», *Символ*, № XXVIII, 217-232; А.Ф.ЛОСЕВ, «Философия имени у Платона (доклад 1 ноября, 1922 г.)», *Символ*, № XXIX, 135-144; А.Ф.ЛОСЕВ, «Философия символических форм у Э. Кассирера», *Символ*, № XXX, 311-336; А.Ф.ЛОСЕВ, «Абсолютная диалектика = Абсолютная мифология», *Символ*, № XXXVII, 307-318; А.Ф.ЛОСЕВ, «Бытие, его сверхлогические, логические и алогические элементы», *Символ*, № XXXII, 191-209.

²⁶ См.: Я. ГОЛОСОВКЕР, «Имагинативная эстетика как опыт имагинативной гносеологии», *Символ*, № XXIX, 73-128. В этом же выпуске см. статью Н. Брагинской о Я. Голосовкере (с. 129-134).

²⁷ Ситуация складывалась весьма критически. Зачастую выбранные для публикации статьи зарубежных авторов попадали для перевода к не вполне компетентным людям, о чем свидетельствуют ошибки и изменение смысла исходного текста.

²⁸ Если точнее, то «залеживаться» на прилавках журнал стал начиная с XXX выпуска. В 80-е годы были случаи, когда читатели пытались обменивать первые номера журнала, в которых были опубликованы статьи Ж. Даниэлу, на только что вышедшие книги.

²⁹ См.: А.А. КОЧЕТОВ, «Ненавязчивая пропаганда веры: иезуитский журнал 'Символ' продолжает дело князя Гагарина», *Независимая газета* (15 июня, 2005 г.). См. также: http://religion.ng.ru/politic/2005-06-15/6_propagan-da.html (сентябрь, 2017).

³⁰ Этот вечер, приуроченный к выходу XLVIII выпуска, прошел 9 июня 2005 года в Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. О нем сообщала «Независимая газета» (15 июня, 2005 г.).

³¹ Этот номер «обозначил» юбилей, отмечавшийся Орденом Иезуитов в 2006 году. В 2006 г. исполнилось 450 лет со дня смерти Игнатия Лойолы (31 июля 1556 г.), основателя монашеского Ордена Иезуитов и прошло 500 лет со дня рождения товарищей Игнатия по годам парижского студенчества – Франциска Ксаверия и Пьера Фавра, единомышленников Игнатия, составивших вместе с ним «малое общество» – прообраз будущего ордена (L: 4).

³² См. появившуюся 1 марта 2007 г. публикацию О. Балла «Дон Кихот из Лойолы: 'Символ': журнал христианской культуры (№ 50, 2006)» в «Независимой газете», в рубрике «Ex libris». – <http://gertman.livejournal.com/14976.html> (сентябрь, 2017).

³³ Ранее «Независимая газета» (15 июня, 2005 г.) писала: «...интересы издателей почему-то "перекочевали" с Запада на Восток. «Символ» стал все больше и больше писать о православии. Из журнала, освещающего жизнь католической Церкви, он превратился в издание, в значительной степени посвященное восточному христианству, его богословию, истории и культуре. О причинах такой метаморфозы остается только догадываться...».

³⁴ Если попытаться охарактеризовать этот выпуск, то его можно назвать посвященной Игнатию книгой. Его составляют и аналитические статьи, направленные на изучение литературного наследия Игнатия Лойолы, и источники, дополняющие и разъясняющие ранее переведившиеся на русский язык труды Игнатия, позволяющие лучше понять его духовное становление. Так, в частности, выпуск открывает статья Пьера Эмоне «Друзья во Господе» (с. 7-26), анализирующая переписку (личную и предназначенную для распространения) между Лойолой, Фавром и Ксаверием (с. 18). Отмечены стилистические особенности каждого из участников переписки: официальность и нейтральность стиля самого Игнатия (с. 17); сухость и краткость адресованных Лойоле писем Ксаверия; непринужденность и эмоциональность личных писем Фавра и Ксаверия. Для русскоязычного читателя немаловажно и то, что это исследование включает в себя немалое количество фрагментов писем Лойолы, Ксаверия и Фавра. Публикация на русском языке двух писем Фавра, написанных в Кельне, в эпоху борьбы с последователями Лютера (1544 г.) и адресованных Ксаверио (с. 19-26), с одной стороны, продолжала предыдущую работу, «иллюстрируя» её, а с другой стороны, являла собой самостоятельную ценность (поскольку в научный оборот вводился новый эпистолярный источник), дополняющий историческую картину той эпохи. Немалый интерес вызвала работа Хуго Ранера «Видение св. Игнатия в часовне Ла Сторта» (с. 27-44), направленная на изучение духовной жизни св. Игнатия. В ней реконструируется душевное состояние Игнатия перед видением (с. 32-38), показано, как это видение встраивалось в историю его внутренней жизни (с. 38-39) и какое влияние оно оказывало на последующие годы Игнатия, его мистическую жизнь. Статья Жиля Кюссона «Духовные упражнения» (с. 45-68) ориентирована на надлежащее представление читателю этого текста Игнатия Лойолы, его правильное прочтение и правильную интерпретацию (с. 58-62). В ней говорится об истории появления «Упражнений» (с. 50-51 и 56-58), их композиции (с. 55-56), указываются источники Лойолы (с. 51-55), конспективно излагается содержание и структура этого сочинения, выявляются текстуральные (весьма различные) элементы «Упражнений» (с.45-48). Филологическое исследование Ролана Барта «Лойола» (с. 227-263) также посвящено анализу «Духовных упражнений».

Барт демонстрирует многоплановость этого сочинения (229-230), выявляет стиль Лойолы (227-228). Следующие две работы, принадлежащие Луи Бернарту, отражают возможности психоаналитического прочтения текстов Лойолы, как его «Упражнений» (с. 293-305), так и его «Дневника» (с. 307-322); еще одна, также написанная Л. Бернартом (с. 264-292), посвящена изучению и анализу духовного опыта Игнатия, из которого родились его «Духовные упражнения». Весьма важной представляется работа Вальтера Байера, озаглавленная «*Vita Christi* Лудольфа Саксонского» (с. 69-90). Как пишет сам автор, это первое сопоставительное исследование выполненных на испанский язык переводов «Духовных упражнений» и «*Vita Christi*» (с. 75). Автор не только подчеркивает значимость для Игнатия сочинения немецкого картезианца Лудольфа – и для его духовного становления (с. 69-70), и при создании «Упражнений», – но и показывает тематические сходства обоих работ, приходя к выводу о зависимости Лойолы от Лудольфа. В этой работе выявлены и другие источники «Духовных упражнений» Лойолы, оказавшие существенное влияние на его дальнейшее мировоззрение (с. 72-73). Немалый интерес вызывает и приводимая автором статьи историографическая полемика исследователей, образовавшаяся вокруг источников Лойолы, с объяснением полученных ими заключений или критикой их выводов (с. 73-75, 75-77, 83-86). Помимо этого, автор исследования пишет о дружеских отношениях Игнатия с картезианцами, подчеркивая их взаимовлияние (с. 71-72). Отдельный тематический блок выпуска представляют две публикации: комментированный перевод анонимного «Краткого компендия “Духовных упражнений”» (с. 127-226) и фундаментальная статья Эме Солиньяка под названием «Краткий компендий ‘Сборника упражнений’ Гарсии Хименеса де Сиснероса как один из источников ‘Духовных упражнений’ Игнатия Лойолы» (с. 91-125), которая в методическом и проблемном отношении примыкает к упомянутой выше работе В. Бальтера. Э. Солиньяк сосредоточивается на изучении источников Лойолы с применением методов просопографии. Он выдвигает рабочую гипотезу о возможности знакомства Игнатия с неким вариантом «Краткого компендия». Автор исследования, замечая, что «Краткий компендий» вполне мог служить источником Игнатия, реконструирует историческую картину событий 1522 года, связанных с пребыванием Игнатия в Монтсеррате и Манресе, чтением им «Краткого компендия» и написанием своих «Духовных упражнений» (с. 123-125). Важно отметить, что 50-й выпуск великолепно иллюстрирован. Наиболее значительными представляются автограф «Духовных упражнений» (с. 46), титульный лист (с. 126) и страница (с. 135) «Краткого компендия “Духовных упражнений”», а также страница рукописи «Духовного дневника» Лойолы (с. 306).

³⁵ Ответственный редактор Н.Л. Мухелишвили.

³⁶ Ответственный редактор Томас Гарсиа-Уидобро; научный редактор – Николай Мухелишвили.

³⁷ Так, в 53 и 54 (2008) выпуски вошли такие работы как “*Ars Mystica*”; «Евангелский смысл слова ‘Земля’», «Русская идея», «Историософия Вергилия», «Гуманизм и религия», «Эхо», «Мысль о поэзии», «Послание Иоанна Пресвитера», а также избранная переписка: Иванов – Бубер; Иванов – Шор; Иванов – Степун; в 64 выпуске (2014) опубликована работа «Эллинская религия страдающего бога»; в 65 (2015) – «Дионис и прадионисийство».

³⁸ В настоящее время главным редактором журнала является А.А. Сукиасян.

³⁹ См.: <http://sfoma.ru/publisher/journal-symbol> (сентябрь, 2017).

Авторы • Authors

АНТОШИН, Алексей Валерьевич – профессор. Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Кафедра востоковедения, Екатеринбург, Россия.

БЕЗНИН, Михаил Алексеевич – заместитель директора. Вологодский государственный университет, Педагогический институт, Вологда, Россия.

БУЗГАЛИН, Александр Владимирович – профессор. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет, Кафедра политической экономики, Москва, Россия.

БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА, Людмила Алексеевна – профессор. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Философский факультет, Центр современных марксистских исследований, Москва, Россия.

БУЛДАКОВ, Владимир Прохорович – главный научный сотрудник. Российская академия наук, Институт российской истории, Москва, Россия.

ДИМОНИ, Татьяна Михайловна – профессор. Вологодский государственный университет, Кафедра отечественной истории, Вологда, Россия.

КОЛГАНОВ, Андрей Иванович – профессор. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет, Лаборатория сравнительного исследования экономических систем, Москва, Россия.

МАЛЯСОВА, Галина Владимировна – специалист. Российская государственная библиотека искусств, Отдел хранения, Москва, Россия.

ПЕТРОВА, Майя Станиславовна – главный научный сотрудник. Российская академия наук, Институт всеобщей истории, Москва, Россия.

ПОРШНЕВА, Ольга Сергеевна – профессор. Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Кафедра истории и социальных технологий, Екатеринбург, Россия.

РЕПИНА, Лорина Петровна – член-корреспондент. Российская академия наук, Институт всеобщей истории, Москва, Россия.

РУСИНА, Юлия Анатольевна – доцент. Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Кафедра Истории России, Екатеринбург, Россия.

ХМУРКИН, Георгий Георгиевич – старший преподаватель. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Кафедра ФН-11 «Вычислительная математика и математическая физика», Москва, Россия.

ЧУРАКОВ, Дмитрий Олегович – профессор. Московский педагогический государственный университет, Кафедра новейшей отечественной истории, Химки, Россия.

* * *

BEBESI, György – Associate Professor. University of Pécs, Faculty of Humanities, Institute of History, Department of Modern History, Pécs, Hungary.

CSUNDERLIK, Péter – Assistant Professor. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Department of Economic and Social History, Budapest, Hungary.

DI GIUSTO, Anna – Teacher and Independent Researcher. Italian Society of Women Historians, Florence, Italy.

DUBROVINA, Olga – Course Lecturer. University of Modena and Reggio Emilia, Department of Studies on Language and Culture, Carpi, Italy.

FARLEY, Brigit – Associate Professor. Washington State University, College of Arts and Sciences, Faculty of History, Pullman, WA, USA.

FILIPPOV, Szergej – Senior Research Fellow. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Centre for Russian Studies, Budapest, Hungary.

FITZPATRICK, Sheila – Professor. University of Sydney, Faculty of Arts and Social Sciences, Department of History, Sydney, Australia.

FÓRIS, Ákos – PhD Candidate. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Department of East European History, Budapest, Hungary.

GÁSPÁR, Roland – PhD Student. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Doctoral School of History, Russian Studies Doctoral Program, Budapest, Hungary.

GYIMESI, Zsuzsanna – Head of the Centre for Russian Studies. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Centre for Russian Studies, Budapest, Hungary.

GYÓNI, Gábor – Research Fellow. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Centre for Russian Studies, Budapest, Hungary.

HALÁSZ, Iván – Associate Professor. J. Selye University, Faculty of Education, Komárno, Slovakia.

IGNATENKO-DESANLIS, Oxana – PhD History of Art. Institute of Slavonic Studies, Paris, France.

KELLERMANN, Philippe – Masters' Degree in Philosophy and History. Berlin, Germany.

KLEIMOLA, Ann – Professor of History Emerita. University of Nebraska, Department of History, Lincoln, NE, USA.

KRAUSZ, Tamás – Professor. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Centre for Russian Studies, Budapest, Hungary.

LE BLANC, Paul – Professor of History. La Roche College, Pittsburgh, PA, USA.

LI, Sui-An – Professor, Vice-Director of Institute. Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences, Institute of History, Harbin, China.

LIH, Lars T. – Independent scholar in Russian history and course lecturer. McGill University, Schulich School of Music, Montreal, Canada.

MÉSZÁROS, Zsófia – PhD Student. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Doctoral School of History, Russian Studies Doctoral Program, Budapest, Hungary.

MOMMEN, André

Aix-Marseille University, Department of Sociology and Anthropology, Lanaken, Belgium.

- OTČENÁŠOVÁ, Slávka – Assistant Professor. Šafárik University, Department of History, Košice, Slovakia.
- SCHMUTZ, Thomas – PhD Student. University of Zurich, Doctoral Program in History, Zurich, Switzerland.
- SHNEYER, Aron – Senior Researcher. Hall of Names, the Institute for Memory on the Holocaust Martyrs and Resistance Heroes (“Yad Vashem”), Jerusalem, Israel.
- SZABÓ, Viktor – PhD Student. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Doctoral School of History, Russian Studies Doctoral Program, Budapest, Hungary.
- SZÉKELY, Gábor – Professor Emeritus. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Department of Modern and Contemporary History, Budapest, Hungary.
- VALLE, Camila Oliveira do – Researcher. Federal University of Rio de Janeiro, Laboratory of Studies on Hegemony and Counter-Hegemony (LEHC), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.
- ZHAO, Xu-Li – Associate Professor. Shaanxi Normal University, School of History and Civilization, Xi’an, China.

Ruszsztikai Könyvek



Книги по русистике

- I. Zsidók Oroszországban 1900–1929 (Szerk.: Krausz Tamás, Szilágyi Ákos, 1995)
- II. Тамаш Краус: Советский термидор (1997)
- III. 1917 és ami utána következett. Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből (Szerk.: Krausz Tamás, 1998)
- IV. Русская литература между Востоком и западом. Сборник Статей (Ред.: Лена Силард, 1999)
- V. Место России в Европе / The Place of Russia in Europe (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 1999)
- VI. Bebesi György: A Feketeszázak. Az orosz szélsőjobb kialakulása a századelőn (1999)
- VII. Andrej Szaharov: Az orosz történelem új terminológiája (2000)
- VIII. Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter utóélete (2001)
- IX. Место России в Евразии / The Place of Russia in Eurasia (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2001)
- X. Radnóti Klára: Európa Moszkóvia-képe a XV–XVI. században (2002)
- XI. Czéh Zoltán: A GULAG mint gazdasági jelenség (2003)
- XII. Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban (1985–1991) (Szerk.: Krausz Tamás, Sz. Bíró Zoltán, 2003)
- XIII. Московия: специфика развития / Muscovy: The Peculiarities of its Development (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2003)
- XIV. Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban (2005)

- XV. Halász Iván: A tábornokok diktatúrái – a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917–1920 (2005)
- XVI. Новые направления и результаты в русистике / New Directions and Results in Russistics (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2005)
- XVII. Holokauszt: történelem és emlékezet / Холокост: история и память (сборник конференции) (Ped.: Krausz Tamás, 2006)
- XVIII. Региональные школы русской историографии / Regional Schools of Russian Historiography (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2007)
- XIX. С. Филиппов: Религиозная борьба и кризис традиционализма в России XVII века (2007)
- XX. Varga Ilona: A központosítástól az abszolutizmusig. Válogatott tanulmányok az orosz állam fejlődéséről (2009)
- XXI. V.O. Kljucsevszkij: Az orosz történelem terminológiája (2009)
- XXII. Государство и нация в России и Центрально-восточной Европе / State and Nation in Russia and Central-East-Europe (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2009)
- XXIII. Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956) az oroszországi levéltári források tükrében (2009)
- XXIV. Gyimesi Zsuzsanna: Andrej Platonov prózája és Pavel Filonov festészete (2010)
- XXV. Alekszandr Djukov: Holokauszt, kollaboráció, megtorlás a Szovjetunió ukrán és balti területein (2011)
- XXVI. Gyóni Gábor: A történelmi Oroszország népei. Adattár (2011)
- XXVII. Роль государства в историческом развитии России / The Role of the State in the Historical Development of Russia (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2011)
- XXVIII. Bótor Tímea: A tatár függéstől az önálló uralkodóig. A Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336–1462) tükrében (2011)
- XXIX. Forgács Iván: Filmtörténetek olvadása. Az 1950-es évek második felének szovjet-orosz filmművészete (2011)

- XXX. Русистика Руслана Скрынникова (Ред.: Дюла Свак, Игорь Тюменцев, 2011)
- XXXI. Kriza Ágnes: A középkori orosz képvédő irodalom (2011)
- XXXII. Háború és nemzeti önismeret: 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót (Szerk.: Bartha Eszter, Krausz Tamás, 2011)
- XXXIII. Krausz Tamás: Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX. századi történetében. Előadások, esszék és tanulmányok (2011)
- XXXIV. Bálint József: A Szovjetunió gazdasági kifosztása dokumentumokban elbeszélve (1941–1944) (2011)
- XXXV. Двенадцать имен России (Ред.: Дюла Свак, 2012)
- XXXVI. Историк и мир – мир историка в России и Центрально-Восточной Европе / Historians and the World - the World of Historians in Russia and Central and Eastern Europe (Ed.: Gyula Szvák, 2012)
- XXXVII. Szvák Gyula: Klió, a csalfa széptevő – Kvász Iván: Klió, a tanító (2013)
- XXXVIII. Дюла Свак: На службе у Клио и у власть предержащих (Этюды по руссиеведению) (2014)
- XXXIX. Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió területein (Szerk.: Krausz Tamás, Barta Tamás, 2014)
- XL A mi Ruszisztikánk. Tanulmányok a 20/25. évfordulóra (Szerk.: Szvák Gyula, 2015)
- XLI. Альтернативы, переломные пункты и смены режима в истории России / Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian History and Culture (conference volume) (Eds.: Gyula Szvák [Chief Editor], Szergej Filippov, Zsuzsanna Gyimesi, 2015)
- XLII. Историческая русистика в XXI веке / Russian Studies in History in the 21st Century (Eds.: Gyula Szvák [Chief Editor], Szergej Filippov, Zsuzsanna Gyimesi, 2017)
- XLIII. Kemény László: A Szovjetunióból a 21. század Oroszországáig (2017)
- XLIV. Tertium datur 70. Írások Krausz Tamás születésnapjára (Szerk.: Juhász József, Szvák Gyula, 2018)

*Издание осуществлено
при финансовой поддержке фонда «Дьёрдь Лукач»*

•
*This volume was partly sponsored
by the “György Lukács” Foundation*

ISSN 1219–4905
ISBN 978–615–5651–05–2

Ответственный издатель
Председатель Фонда за русский язык и культуру в Венгрии
профессор Дюла Свак

•
Published by
the President of the Hungarian Foundation for Russian Studies
Professor Szvák, Gyula

В оформлении обложки использованы фрагменты плаката
Эль Лисицкого «Клином красным бей белых» (1919–1920)

•
The design of the cover was created with the use of fragments of
El Lissitzky’s poster “Beat the Whites with the Red Wedge” (1919–1920)

Обложка • Cover
Péter Somos

www.russtudies.hu

В издании приняло участие Издательство «Аквилон»
(Россия, Москва)

•
Published with the assistance of Aquilo Press
(Russia, Moscow)

Ответственный редактор • Executive Editor
Майя С. Петрова • Maya S. Petrova

Отпечатано в • Printed by
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., Komárom

Директор • Director
János Ferenc Kovács

*Опубликованные в книге иллюстрации находятся в открытом доступе
и обработаны авторами.*